ВАСИЛИЙ БЕЛОВ

ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА







РУССКАЯ
ПРОЗА
XX
ВЕКА

ВАСИЛИЙ БЕЛОВ

ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА

ХРОНИКА НАЧАЛА 30-Х ГОДОВ.



МОСКВА
·ГОЛОС·
1994

ББК 84Р7-4
Б 43

Художники: А. ЛАПТЕВ, С. ТРОФИМОВ, В. САВЧЕНКО

Фотопортрет В. И. БЕЛОВА работы Н. КОЧНЕВА

Б $\frac{4702010201 - 63}{M800(03) - 94}$ Без объявл.

ISBN 5-7117-0191-6
ISBN 5-7117-0125-8

«Всеобщая война, которая разразится, раздробит славянский союз и уничтожит эти мелкие тупоголовые национальности вплоть до их имени включительно.

Да, ближайшая всемирная война сотрет с лица земли не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы, и это также будет прогрессом».

«...Мы знаем теперь, где сосредоточены враги революции: в России и в славянских землях Австрии... Мы знаем, что нам делать: истребительная война и безудержный террор».

Фр. Энгельс

ЧАСТЬ 1

I

После величайшей смуты, унесшей в своем знобящем вихре миллионы жизней, не прошло и десяти лет, а Россия и Украина уже стояли вблизи очередной, не менее страшной трагедии. Казалось, все силы зла снова ополчились на эту землю. Вступая на пустующий императорский трон, знал ли угрюмый Генсек, что через несколько лет, в день своего пятидесятилетнего юбилея, он швырнет им под ноги сто миллионов крестьянских судеб? За все надо чем-то платить, даже за наркомовскую фуражку. А тут неожиданно подвернулась аж Мономахова шапка...

И когда б в стране имелся хотя бы один-единственный не униженный монах-летописец, может, появилась бы в летописном свитке такая запись: «В лето одна тысяча девятьсот двадцать девятого года в Филиппов пост попущением Господним сын гродненского аптекаря Яков Аркадьевич Эпштейн (Яковлев) поставлен бысть в Московском Кремле комиссаром над всеми христианы и землепашцы».

Таких летописцев не было.

Сонмы иных писателей вопили о кулаках и о правой опасности. Кто был опасен и главное для кого? Троцкий покинул страну вместе с двумя вагонами награбленного, но перед тем он раскидал семена своих антимужицких идей на тысячеверстных пространствах России. Разнесенные ветрами двух последних десятилетий, эти семена тут и там смело пускали ростки, укреплялись и махрово цвели, давая новые обиль-

ные семена, уже не боящиеся ни сибирских морозов, ни степных суховеев.

Совсем недавно Россия давала третью часть мирового хлебного экспорта. Что-то будет теперь? Эпштейн, возглавляя сельское хозяйство великой державы, не ведал разницы между озимым и яровым севом. Конечно же, подобно младшим своим соратникам Вольфу и Беленькому, Клименко и Каминскому, Бауману и Каценельбогену, он на все лады раздраконивал и клеймил троцкистов.

Он ничего не боялся.

5 декабря 1929 года его шеф Каганович — этот палач народов — за несколько минут накидал список из двадцати одного кандидата в состав изуверской комиссии. Политбюро утвердило. И уже через три дня Яковлев сварганил восемь подкомиссий, которые тотчас начали разрабатывать грандиозный план невиданного в истории преступления. В тот же день, то есть 8 декабря, Яковлев стал комиссаром российского земледелия.

В субботу и воскресенье 14—15 декабря все восемь подкомиссий непрерывно заседали, после чего были поспешно приняты предложения председателя колхозцентра Г. Н. Каминского — одного из главных подручных новоиспеченного комиссара земледелия. Речь в этих предложениях шла главным образом о сроках раскулачивания. Они торопились, дорвавшись до власти! В понедельник и вторник, 16—17 декабря, шабаш продолжился с новой силой, а в среду, 18 декабря, комиссия уже утвердила проект постановления. В портфель Якова Аркадьевича легла уютная папка с листами, испещренными теми сатанинскими знаками, которые программировали жизнь, а вернее смерть миллионов людей. Они, эти знаки, предрекали гибельный путь для великой страны, в значительной мере определявшей будущее целого мира!

Да, бумаги были готовы, они ждали, и теперь все зависело от «шашлычника» или «семинариста», как троцкисты за глаза называли Генерального. Очередное Политбюро планировалось провести в понедельник, но в субботу Сталину исполняется пятьдесят. И в его маленькой полукруглой гостиной в узком кругу, за стаканами с прекрасным красным и белым кавказским вином наверняка зайдет речь о тезисах Яковлева.

Надвигалась решающая суббота...

* * *

Сталин был раздражен собственным юбилеем и множеством поздравлений, напечатанных в «Правде». Волей-неволей приходилось подбивать жизненные итоги, но они, по его мнению, были не столь внушительными, чтобы с легким сердцем выслушивать и вычитывать пышные словословия. И сегодня, в этот субботний день, он был раздражен больше обычного. Но чем сильней становилось это внутреннее раздражение, тем неторопливей были его движения.

Обед, завершенный молча, обидел жену, но Сталин редко замечал не собственные обиды. А когда замечал, то сразу же забывал их, считая, что в его положении иначе нельзя. Он так и не ответил ей, кто приглашен на вечер и в котором часу накрыть стол. Поднялся, с добрым улыбчивым прищуром взглянул на детей и, слегка косолапя, вразвалку, но довольно проворно ушел из гостиной в свой маленький кабинетик. Он знал, что недоумение, оставленное им, немедленно превратится в еще большую обиду, обида перерастет в конфликт, но, как всегда, не захотел предотвратить все это. Лежа на диване и просматривая газеты, он попытался погасить раздражение и задремать, но газетные сообщения не оставили для этого времени. А тут оставалась еще куча телеграмм, собранных в одно место Сашкой Поскребышевым...

Сталин прямо на ковер отбросил пачку газет, откинулся и закрыл обесцвеченные годами глаза.

Итак, пятьдесят лет... Много это или мало? Много... Он мыслил и выступал с трибун с помощью метода краткого христианского катехизиса. Вопрос, ответет.

В и О. Говорили, что его отец, сапожник Джугашвили, совсем ему не отец... Вопрос: кто говорил? Говорила жена духанщика, толстая ведьма, никогда не знавшая собственной матери. Еще говорили, что путешественник из Петербурга Пржевальский, будучи на Кавказе, потерял голову из-за черноглазой жены сапожника. Кто говорил? Кому это было надобно? Говорил об этом...

Но все это чушь, жалкая дрянь! К черту! Не стоит раздумий...

Он умел останавливать, перебивать не только чужие, но и собственные мысли, слова, раздумья. Однако ж раздумья не исчезали сегодня.

Он вспоминал многие эпизоды своего полувекового пути, хотя иные из этих эпизодов хотелось забыть. Но он был не в силах этого сделать. Он помнил все, в том числе и тот позорный для него день 18 октября 1888 года!

Накануне, то есть семнадцатого, в двенадцать часов дня между станциями Борки и Тарановка Азовско-Курской железной дороги с насыпи высотой в шесть саженей обрушился пассажирский поезд. Вагоны один за другим с треском валились друг на друга. Ринулся под откос и вагон-столовая, где, возвращаясь с Кавказа, завтракал император Александр с семьею и свитой. Газеты того времени сообщали, что из разрушенного вагона извлекли икону Спаса-нерукотворного и что стекло иконы оказалось целым. Царь якобы выбрался из-под вагонных обломков и тотчас распорядился спасать оставшихся в живых пассажиров, императрица будто бы сама оказывала помощь раненым. На станции Лозовой, в честь спасения царской семьи, было благодарственное молебствие, затем отпевание погибших. На другой день вся Россия возносила молитвы, миллионы людей ставили свечи в церквах, вспоминали гибель Александра Второго — реформатора и освободителя крепостных. Опустив уже тогда тяжелые, словно у гоголевского Вия, веки, старательно, с чувством молился и девятилетний мальчик-грузин, учащийся одного из духовных училищ на юге империи. Худой и маленький, этот мальчик, как большинство недоростков, имел привычку задирать при ходьбе голову, на молебне же он держал ее чуть наклоненной вперед. Он поминутно сглатывал копившийся комочек молитвенного восторга...

Сталин крепко сжал восковой кулачок, спичечная коробка и карандаш треснули в его ладони. Отгоняя навязчивые видения, он вскочил, в одних шерстяных носках заходил по ковру. Набил трубку, нашел в столе новый спичечный коробок с изображением бьющего по наковальне кузнеца. В чем дело? Он мог с полпути убежать из армии, покинуть дальнюю ссылку или тюрьму, внушая уважение к себе у самого опытного жандарма. Он мог тут же навсегда вышвырнуть из своей памяти любую историю. Почему же именно эта мерзость, происшедшая с ним более сорока лет

назад, не забывается и не исчезает? Он был Давидом и Нижерадзе, Ивановичем и Кобой, был Чижиковым и Сталиным. И ни один из них не вызывал у него такого отвращения, как тот молящийся мальчик с грузинской фамилией. Старый Хашим, в чьих кувшинах они прятали типографские шрифты, сказал когда-то: «Ты рожден громом и молнией! У тебя великое сердце! Ты — афыр-хаца!»

Но старый Хашим врал, как пьяный мингрел в грузинском застолье. Врут и эти... Врет Клим, врет и Лазарь. Врет Бергавинов, который от имени объединенного пленума прислал из Архангельска подхалимскую телеграмму: «...мы обязуемся сверх краевого экспортного плана дать в золотой фонд индустриализации твоего имени миллион валютных рублей. Мы решили переименовать город Архангельск, северный морской форпост Союза, в Сталинопорт».

Синий табачный дым слоился почти на уровне верхней фрамуги.

Чего же мы достигли, каков итог? Стезя была нелегка и опасна. Но и нынче ему труднее, чем комулибо, опасности поджидают его ежедневно.

Рыжий писатель, он же и живописец, и любитель птичьего рынка, не хочет капитулировать. Кажется, что уже обезврежен, сбит с толку, но все еще пускает остроты. Впрочем, его песенка спета. Рыков не страшен, поскольку считает себя вне политики. Каков идиот! Как будто бывает кто-нибудь или что-нибудь вне политики. К тому же бородач пьет перед обедом, и пьет не солнечное цинандали, а свою рыковку. Скрябин и Рудзутак верны. Верны? Даже этот, с виду дураковатый крестьянский козел Калинин на самом деле старая и хитрая лиса. В любой момент может переметнуться. Клим? Дурак и бабник. Оба с Кировым любители балерин. Ах, этот Демосфен в Ленинграде! Все еще играет в свою паршивую демократию, без охраны ходит по заводским митингам. Пожалуй, доходится... Он тоже пока верен, но на кого опереться в трудный момент?

Сталин день и ночь держал в голове всех членов Политбюро. Оргбюро, Секретариата и контрольной комиссии. Он тасовал их, словно колоду карт, раскладывал, как пасьянс, сопоставлял, приравнивал друг к другу и противопоставлял, потом комбинировал возможные группировки, независимо от себя. Он помнил

всех членов ЦК и ЦКК, знал их достоинства и психологические особенности, физические недостатки и бытовые привычки. Люди чередой проходили перед ним, стоило ему закурить трубку и прищурить глаза. Для него не было разницы между живыми и мертвыми. Иногда мертвые служат не хуже живых. Евангельский Лазарь был воскрешен Христом, харьковский Лазарь сам способен воскрешать мертвецов. В том и беда, что последыш хазарского каганата знает о мертвых не хуже Сталина! Неужели он и впрямь связан с Троцким? Всякий раз при этой мысли зубы сжимают самшитовый чубук, отвратительный холодок страха рождается между ключицами, стремительно опускается вниз, охватывает внутренность живота и так же стремительно угасает. Кооптация Кагановича в Секретариат ничего не дала, он стал еще самоуверенней. Может быть, лучше было оставить его на Украине? Нет, таких лучше держать под боком!

Усилием воли Сталин пытался успокоить себя, взял из стола толстый том Пыпина и задумчиво полистал. Текст был совершенно тупой, нудный, как речи вождей. И эти масонские атрибуты, вся эта романтическая заумь со шпагами и свечами... Она похожа в чем-то на детские игры. Но все это ему придется читать! «Афыр-хаца...»

Он не мог вытравить из своей памяти и еще один день — день православной Пасхи 1909 года. После операции ЭКС не прошло и двух лет. Он помнит, как мальчишки с той же Эриванской площади бросали в него камнями... В тот день 1-я рота расквартированного в Тифлисе Сальянского полка прогнала его сквозь строй... Солдаты, эти бывшие мужики, привыкшие жалеть даже скотину, не умели пороть, они опускали прутья на его спину только для вида, лениво и с хохотом. Офицер нарочно то и дело глядел в сторону, фельдфебель торопил экзекуцию... И только один из солдат сильно ударил ниже спины, Сталин навсегда запомнил тот казарменный двор.

Навсегда...

Но что значит тот удар по сравнению...

Его начинал душить гнев, когда он вспоминал нечто ужасное, нечто кошмарно-непредсказуемое, связанное с одной анонимкой, полученной во время борьбы с Троцким.

Бледнея от злобы, поднялся он над своим столом, смахнул на ковер телеграммы и прошел в тесный коридорчик-прихожую, где висело пальто с меховой шапкой и стояла утепленная обувь.

Он ничего не заметил, ни на кого не взглянул осмысленно, пока не вдохнул холодного декабрьского воздуха, пока снег не скрипнул под валенками.

В Кремле было морозно, пусто и совершенно безлюдно. Закатное солнце упиралось остывшими лучами в белый бок Ивана Великого. Казалось, что оно светило откуда-то снизу.

Нет, он никогда не хотел быть кремлевским затворником! Но ему наплевать ровным счетом, что о нем думают... Ровным счетом...

Но какая же мерзость, какое унизительное состояние всегда быть зависимым! Как гнусно, как омерзительно вечно ощущать над собой этот топор, занесенный над головой! Он висит над тобой день и ночь, день и ночь не исчезает угроза разоблачения. Откуда у них бумаги? Почему он, Коба, был таким дураком, что не ударил палец о палец, чтобы уничтожить архивы охранки? Как попали они в руки Троцкого?

Он думал сейчас о великой стране, которой руководил. Прошлогодняя поездка в Сибирь еще раз убедила в том, что Троцкий по отношению к крестьянству был абсолютно прав. Эти мешки с дерьмом действительно не годятся даже на баррикады. Мировая революция выдохнется и растворится в инертной мужицкой массе. Этого почему-то не чувствовал лысый пророк, написавший письмо к съезду. Сколько же можно вспоминать эту гнусную записку, написанную в предсмертном бреду? Наш живописец, любитель певчих птиц и писатель, все еще мнит себя первым наследником Ленина. Впрочем, уже с оглядкой мнит. Участь его была решена на апрельском пленуме. Выступая, он бил себя в грудь и кричал во весь Андреевский зал: «Вы не дождетесь платформы! Я не правый! Уклона не будет!» Он сравнивал себя с зайцем в клетке, в которого тычут палкой. Он взывал к членам ЦК, требовал справедливости и ждал, что Коба возьмет наконец слово и защитит его от нападок. Но разве в том дело, что кто-то правый, а кто-то левый? Дело в другом... Не надо было бегать к Зиновьеву! Только благодаря либеральному заступничеству Бухарина Троцкий не расстрелян, а выслан в Алма-Ату.

Какая ошибка! Бухарин дурак, он ничего не понимает в политике. Лучше бы он занимался гимнастикой, кормил кенаров да сочинял статьи о Демьяне Бедном. Да, он помогал избавиться от Троцкого, но вместе с Крупской спас его от расстрела и выпустил за границу. Он все еще думает, что существует какая-то партийная этика. Ему не приходит даже в голову, что сам-то Троцкий ни минуты не стал бы раздумывать. Что ж, Бухарин, пеняй теперь на себя... Он, Коба, не раздумывая, отдает его на съедение. Пусть они им подавятся! Им и тем мужичком, который на вопрос «почему не сдаешь хлеб?» сказал: «А ты попляши, парень, тогда я тебе и дам пуда два!» Нет, Сталин не собирается плясать даже под масонскую дудку, не говоря о мужицкой! Он разделается с ними позднее, а пока... Пока он должен, наконец, выяснить автора анонимки.

Как всегда, определенность ближайшей задачи вернула ему хладнокровную деловитость. Он бодро открыл наружную дверь и поднялся по лестнице. Он даже козырнул охране — молодцеватому деревенскому парню, одетому в несколько мешковатую форму. Парень то и дело разгонял ремнем складки гимнастерки и не смог скрыть восторженную улыбку. В приемной сталинского кабинета точь-в-точь те же движения повторил поднявшийся навстречу Поскребышев. Только улыбка была не такой долгой.

— Принеси два стакана чаю! — сказал Генсек помощнику, когда тот вошел в кабинет следом за ним и вкрадчиво положил на стол папку от Яковлева.

— Может, повеселей что-нибудь, Иосиф Виссарионович? — спросил Поскребышев.— Все-таки день-то сегодня особенный.

Генеральный ничего не сказал. Он терпеть не мог фамильярности. Поскребышев ничуть не испугался, хотя и ушел поспешно.

Сталин отодвинул газету со статьей Ворошилова, затем прочитал черновик записки, с утра отосланной в редакцию «Правды»: «Ваши поздравления и приветствия отношу на счет великой партии рабочего класса, родившей и воспитавшей меня по образу своему и подобию. И именно потому, что отношу их на счет нашей славной ленинской партии, беру на себя смелость ответить вам большевистской благодарностью.

Можете не сомневаться, товарищи, что я готов и впредь отдать делу рабочего класса, делу пролетарской революции и мирового коммунизма все свои силы, все свои способности и, если понадобится, всю свою кровь, каплю за каплей.

С глубоким уважением
И. Сталин

21 декабря 1929 г.»

Что-то раздражало его вновь: то ли разорванный и выброшенный черновик, то ли склеротический хрип трубочного самшитового мундштука. Или вновь перемена погоды?.. Да, сентиментальную «каплю за каплей» надо было, пожалуй, выбросить. Но если звонить в редакцию, то будет еще хуже: звонок стал бы поводом для зубоскальства. Ему вспомнилась бухаринская острота насчет Поскребышева и Ворошилова: «Тут поскребем да там поворошим, глядишь,— и нет хлебного дефицита». Что же не скребут и не ворошат эти болваны из ведомства Менжинского? Конверт с вологодским почтовым штемпелем все эти годы стоял в глазах. Сталин был уверен, что писали из Ленинграда. Адрес был отпечатан на старой, еще с ятями машинке, по-видимому «ундервуде». Заглавное «О» было похоже на заглавное «С», поскольку сносилось. Разве так трудно обнаружить владельца «ундервуда»? Прошло несколько лет, но Менжинский все еще ничего не сделал. Неужели все они заодно? Сталин сопротивлялся, старался забыть содержание той анонимки. Но она сидела в мозгу прочней год от года! В ней было всего три с половиной строчки. Не мог он забыть, как, поддавшись жестокой панике, он написал тогда заявление в Политбюро: «Прошу освободить меня от обязанностей Генерального секретаря. Потому что больше не могу исполнять эти обязанности, я не могу быть Генеральным секретарем. Сталин».

Нет, его не освободили тогда от этих обязанностей! Политбюро приказало остаться, и он подчинился и тогда же мысленно произнес: «Пеняйте теперь на себя...»

Вошел Поскребышев с чайным подносом, с пачкою новых телеграмм. Сталин зажег настольную лампу, рассеянно полистал яковлевские тезисы и отло-

жил папку. «Подождет! Довольно и того, что сделан наркомом...»

— Еще что, Иосиф Виссарионович? — Поскребышев стоял, чувствуя, что можно не уходить.

Сталин медленно и косолапо ходил около своего стола:

— Ты помнишь анекдот? Пустили троцкисты, а Угланов, кажется, рассказывал на Московском пленуме.

— Они много анекдотов пускают.

— Ну тот, что про меня и про Ворошилова.

— А...— кашлянул Поскребышев.— Ворошилов сказал: «Если Сталин не повернет вправо ЦК и Политбюро, я поверну вправо Красную Армию». Этот?

Сталин опять начал ходить, переваливаясь.

— Найди мне книги, касающиеся Пржевальского! — остановился и сказал он.— И еще книгу Шмакова «Еврейский вопрос».

— Слушаю. Сделаю.— Поскребышев развернул блокнот и записал.— Все будет завтра же...

— Тебя что, память подводит? — Сталин остановился напротив помощника.

— Да нет, Иосиф Виссарионович, на память пока не жалуюсь,— наконец смутился Поскребышев.

— Дай твой блокнот.

Сталин взял блокнот, повернул его одним боком, другим. Вырвал листок с последней записью Поскребышева, зажег спичку и аккуратно спалил бумажку над пепельницей. Крохотный оставшийся уголок бумаги, не сгоревший в его подростковых пальцах, он подал помощнику.

— Ясно, товарищ Сталин! — четко сказал Поскребышев.

— Сомневаюсь, что ты быстро найдешь книгу Шмакова. Может быть, ты не найдешь ее не только завтра, но и послезавтра... Да, свяжись с Бергавиновым. Скажи ему, что переименовывать города намного легче, чем строить социализм. Пускай лучше поскорее разбирается с вологодскими правыми.

— Разрешите идти, Иосиф Виссарионович? — снова бодро отозвался Поскребышев и, не дожидаясь ответа, такой же бодрой походкой вышел из кабинета, осторожно прикрыл за собой большую бесшумную дверь.

За окном сквозь бесцветные зимние сумерки холодным мертвенным светом исходили кремлевские

фонари. Наиболее сильно желтели отблески этого освещения со стороны Кутафьей башни, где находилась дежурная будка Буденного. Разбирая свежую порцию писем и телеграмм, Сталин вдруг ощутил тревогу: в куче корреспонденции оказался тонкий пакет со штемпелем города Ленинграда с подозрительно аккуратным адресом, написанным округлым и крупным женским почерком. Он с ненавистью разорвал пакет, и чутье опытного конспиратора не обмануло его. Листок, отпечатанный на машинке, гласил: «Только для служебного пользования! Опись матерьялов, извлеченных из синодальных и жандармских архивов: № 1. Характеристика училищного совета. № 2. Отношение начальнику Енисейского охранного отделения А. Ф. Железнякову за подписью зав. особым отделом Департамента полиции от 12 июля 1913 года. Продолжение в следующем письме». Он вздрогнул, словно в ознобе. Паршивцы! Они знали о нем все, знали больше, чем он думал.

* * *

В воскресенье 22 декабря бумаги Яковлева обсуждались в Политбюро и были раскритикованы. Сталин неожиданно оказался левее самых левых. Он сделал значительные поправки к проекту постановления... в сторону ужесточения. Но заместитель предсовнаркома Рыскулов загнул левее даже и самого Сталина, обвиняя шайку Яковлева ни больше ни меньше как в правом уклоне! Так нарастало и крепло соревнование в левизне, так Верейкис, Голощекин и Косиор с Беленьким оказались правее Сталина и Рыскулова! Это поистине сатанинское превращение произошло в пятницу, 3 января нового, 1930 года, а 5 января (опять воскресенье!) родилось знаменитое решение ЦК «О темпах коллективизации». Бесы все больше и больше входили в раж. Через десять дней, 15 января, они учинили вторую яковлевскую комиссию — зловещий синклит по выработке методов уничтожения и разорения. Здесь, помимо андреевых и бауманов, появились новые лица, такие, как Анцелович и Юркин. Был среди них и секретарь Севкрайкома Сергей Адамович Бергавинов...

Нужно было в невиданно короткий срок разорить миллионы крестьянских гнезд, требовалось натравить

друг на друга, перессорить их между собой, не выпуская из рук вожжей общего руководства. И если они, эти вожжи, по каким-либо причинам не удержатся в руках усатого ямщика, что ж, тем лучше! Пускай несется, пускай летит гоголевская тройка прямо в горнило новой гражданской войны! Ведь это было бы еще интересней.

Секретные бумаги всех подкомиссий второй яковлевской комиссии объединились в единый дьявольский свиток. Продумывались и тщательно взвешивались малейшие детали и варианты. Военная терминология позволяла сочетать глобальную по масштабам пространства стратегию с тактикой частного поведения. Операции намечались с точностью до одного часа.

Подкомиссия «О темпе коллективизации» по часам расписала сроки всех действий: подкомиссия «О типе хозяйств» выработала демагогический план подмены кооператива артелью; подкомиссия по оргвопросам расписала, куда кому ехать и кому за что отвечать, вплоть до района и волости. Отдельно от нее действовали подкомиссии «по кадрам», «по мобилизации крестьянских средств» и т. д.

С точностью до вагона, до баржи было высчитано, сколько потребуется транспортных средств, спланирована потребность в войсках и охранниках. Всех намеченных на заклание разделили на три категории. Установили минимальный от общего числа раскулаченных процент для расстрелов, то есть процент отнесенных к первой категории. Вторую категорию решено было выслать из родных мест в труднодоступные районы, третью лишить имущества и предоставить судьбе.

А на местах задолго до постановления уже свирепствовали местные, не имевшие терпения башибузуки. Уже стоял на земле великий плач — во многих местах Поволжья и Украины лились не только слезы, но и кровь.

Недолго же торговался Сталин, покупая себе место на троне! Он заплатил за него чистейшей в основном русской и украинской кровью, не зря же гуляла по Москве хитрая байка о перенаселенности русских и украинских деревень.

Но чтобы осуществить планы яковлевской комиссии, нужны были кадры и кадры...

II

Арсентий Шиловский возвращался домой глубокой ночью последним трамваем. Гремящий на стыках пустой вагон мотало из стороны в сторону, как мотает пьяного забулдыгу. Колеса бесцеремонно стучали по морозной спящей Москве. Кондуктор дремала на своем сиденье. Она забывала дергать за бечевку звонка, но не забывала прижимать к животу брезентовую сумку с монетами. Шиловский не дождался остановки, спрыгнул на повороте.

Сразу после неожиданной и скоропостижной смерти матери он переехал с Шаболовки. Дом «бывшего Зайцева» сменился красивым дворянским особняком, здесь Шиловский с женой Клавой занимали две комнаты. Но такие обширные были эти комнаты, так высоки потолки, что Арсентию становилось не по себе, когда он просыпался среди ночи. Лепнина вокруг большой потолочной люстры была такая внушительная, так велик был общий объем, что становилось холодно, неуютно, словно ночуешь не дома, а на вокзале. И тогда Шиловский жалел старую квартиру, где они жили когда-то с матерью и Петькой Гириным. Клава тоже не очень любила новое жилье: она по-прежнему работала на заводе, было далеко ездить.

Шиловский вспоминал былое время как счастливое и безбедное. Литейная гарь еще не выветрилась из старой его одежды, которую Клава хранила в кладовке. Еще снились по ночам опоки и стержни, снились кипящая, как самовар, полыхающая жаром вагранка и добрый, хотя и хмурый с виду, вагранщик Гусев. Ни мастера Малышева, ни Гусева, ни завальщика Гришку Устименко Шиловский ни разу не встретил с тех пор, как ушел с завода...

А почему он ушел с завода?

Трамвай рассыпал с дуги сноп красноватых искр, напомнивших литейный цех. Приглушенный морозом стук железа исчез. Арсентий поднял воротник полушубка, сшитого на манер украинской бекеши. Но его не радовал теперь ни этот полушубок, ни новая форма, висевшая больше в шкафу, ни эта квартира в красивом московском доме. Казалось, что и жена Клава стала с тех пор другая...

Однажды, вскоре после того, как Петька исчез из Москвы, а Клава окончательно перебралась на дру-

гую кровать, Арсентия вызвали в органы. Лысый кареглазый, с горбатым носом человек сказал: «Сядьте и подумайте, зачем мы вас вызвали!» Сказал и ушел. Шиловский минут двадцать сидел один, вспоминая свои грехи и проступки. Пришел другой начальник, еще более строгий и молчаливый. Шиловского держали много часов подряд, выспрашивая про Петьку Гирина. Под конец ему предложили все рассказанное изложить на бумаге. Шиловский добросовестно записал все, что знал о Гирине, но его тут же прошиб холодный пот: отпуская его, молчаливый допросчик как бы мимоходом сказал, что Шиловский обвиняется в связи с врагами пролетарского государства... Пораженный Шиловский не знал, что говорить.

— Но вы не беспокойтесь,— сказали ему напоследок.— У вас есть время все обдумать и во всем разобраться.

В чем надо было разбираться? Не знал он, в чем, но начал все-таки усиленно разбираться.

Через две недели, когда бригада формовщиков переходила на новую модель, в самый неподходящий момент измученного всевозможными предположениями Шиловского вызвали в райком. Билинкис без всяких предисловий объявил, что приходили из органов, интересовались личным делом. Шиловскому было приказано никуда не уезжать и ждать нового вызова, Арсентий похудел за те дни, от волнений на коже появилась какая-то сыпь. Работа валилась из рук. Во время третьего вызова ему сказали, что партия, в связи с особым заданием, отзывает его с завода. Будто упала гора с плеч! Если не считать некоторого тщеславия, связанного с особым к нему доверием, с особым предстоящим заданием, он ничего не испытывал, был рад, что все кончилось, и с легким сердцем ушел из дома по четвертому вызову...

С тех пор он не возвращался в литейный цех. Много недель жил Шиловский на казарменном положении. Домой появлялся редко. Спецгруппа из полутора десятков выдвиженцев изучала политграмоту, а также огнестрельное оружие и приемы силовой борьбы. Клава и Лаврентьевна были строго-настрого предупреждены, они ничего не должны были знать. На вопросы знакомых они отвечали, что Арсентий в отпуске, в Крыму. Вначале они и впрямь думали, что он в Крыму.

«Н-да, Крым...— Арсентий крякнул, разбираясь в ключах.— Это такой Крым, что...»

Он не додумал мысленной фразы, через черный ход прошел на парадную лестницу особняка и поднялся на второй этаж. Везде было темно, а его фонарик с севшей батарейкой еле светил. Арсентий только хотел другим ключом открыть высокую дверь, как вдруг в темном конце коридора обозначилась чья-то фигура. Шиловский замер, готовый к отпору, но человек громким шепотом успокоил его:

— Товарищ Шиловский?. Тише. Где вы были? Я жду вас третий час. Вам пакет. Распишитесь...

Незнакомец своим довольно ярким фонариком осветил ведомость, подал собственный карандаш. Электрический фонарик был признаком исключительности и высокого положения. Шиловский почтительно расписался. Нарочный козырнул и, видимо не путаясь в ключах, бесшумно исчез внизу.

Пакет. Сколько было таких пакетов за эту осень! Арсентий разорвал клееный из толстой бумаги конверт, светя умирающим фонариком, прочитал записку с надписью: «Сверхсекретно. По прочтении уничтожить». Он скомкал бумажку. Там ничего не было, кроме предложения явиться к десяти часам по определенному адресу. Ясно, что предстояла командировка. В отпуск. В Крым...

Он прошел в общую кухню, чиркнул спичкой. Положил бумажный комочек на примусную головку и той же не успевшей погаснуть спичкой поджег. С полминуты глядел на горящий комочек, а когда тот догорел, сдунул бумажный пепел с примуса и прошел в комнату.

У кровати, на которой, тихо похрапывая, спала жена Клава, Арсентий присел на стул, снял один хромовый, пахнущий гуталином сапог и задумался. Долго сидел он так, забыв про другую обутую ногу. Он сидел так, зная, что ему опять не уснуть, сидел и, как ему представлялось, думал о своей жизни. На самом деле в его голове ничего не было всерьез осмысленного. «Кому-то надо...» — твердил он про себя.

Картины прошедшего дня и ночи яркими, вполне реальными и все же кошмарными видениями опять одна за одной всплывали перед глазами. Руки его тряслись, когда он снял второй сапог и, не желая будить жену, полулежа разместился в старом глубоком

кресле. Сколько времени? Он пытался уснуть, закрыть глаза. Но стоило ему зажмуриться, как вновь и вновь перед ним явственно обозначалась лохматая женская голова, расширенные от ужаса глаза и, наконец, толстые ноги, широко и бесстыдно раздвинутые на цементном полу. «Органы,— мелькнуло в его туманном, бесконечно усталом мозгу.— Тут и ту... органы...» Как началось все это? Нет, ему не вспомнить бы все по порядку, если б даже он захотел вспомнить все это.

Только что завершился шахтинский процесс, начинались дела с промпартией. После нескольких недель казарменного положения его вместе с другими отобранными однокашниками направили в охрану Лефортова, затем так же быстро отозвали и ежедневно, подолгу беседовали с каждым из них. Темой бесед неизменно было одно и то же: близость войны, классовое самосознание и важность особого партийного поручения, особой ответственности, которая отныне возлагается на него, Арсентия Шиловского.

К тому времени он уже превосходно владел маузером.

Однажды руководитель группы, одетый в тот день в гражданское, привез его в незнакомое место. Они ехали в закрытой безоконной машине, ехали долго, и Арсентий не смог бы определить, где они находятся. Машина остановилась в каком-то дворе, задом к лестнице, ведущей в подвальное помещение. Когда спустились вниз и вошли за окованную железом дверь, начальник панибратски хлопнул Шиловского по спине:

— Вот, сдаю с рук на руки!

Арсентий обернулся и увидел небольшого черноглазого человека, одетого в полувоенный костюм, почти юношу, однако совсем лысого, спокойного и невозмутимого. Глаза лысого юноши прищурились и пронзительно уставились прямо в лицо Шиловского. Арсентий отвел взгляд, по спине пробежала легкая знобящая дрожь.

— Товарищ Шиловский? Садитесь.— Человек подал вначале стул, потом сунул в руку Арсентия маленькую, холоднокостлявую ладоньку. И слегка давнул, продолжая: — Познакомимся. Вам поручено особо важное задание. Надеюсь, вы с честью с ним справитесь. Как вы себя чувствуете?

— Чувствую? Хорошо.

Шиловский недоуменно оглянулся на руководителя группы, но услышал новый вопрос:

— Вы ели сегодня?

— Да. То есть чай пили внакладку...

Начальник группы молча стоял в маленьком оштукатуренном кабинетике, где ничего не было, кроме стола и сейфа.

Незнакомец опять с головы до ног оглядел Шиловского. Леденящий взгляд этот завораживал, и пугал, и отталкивал, и притягивал. Зрачки были то черными, то белыми, они то расширялись, то исчезали. Но Шиловского больше всего поразила девичья нежность на щеках этого миниатюрного человека. Казалось, бритва никогда не касалась этих матовых щек.

— Встать! Смирно! — крикнул вдруг руководитель группы.

Шиловский вскочил.

— Товарищ Шиловский, слушайте приказ. Вам поручается особо важное задание участвовать в ликвидации преступного элемента, вашего классового врага и врага всего трудового народа!

Арсентий не успел осмыслить сказанного: все трое уже шли по узкому, длинному, беленому известкой подвальному коридору. Он не заметил исчезновения начальника группы. Запомнились одни колена и тройники центрального отопления и канализации. Дальнейшее происходило тоже машинально, буднично и как-то даже скучно. Они вдвоем зашли в помещение без окон, правильной кубической формы. Лысый оставил двери открытыми. Под потолком, в сетке из ржавеющей проволоки, горела электрическая лампа. Арсентий заметил даже муху, присохшую к проволоке. Потолок и три серых стены были голые, лишь противоположная от входа стенка забрана деревом, покрытым каким-то войлоком. В покатом гладком цементном полу вдоль по периметру трех стен явственно обозначались неглубокие желобки с тремя канализационными отверстиями. Отверстия, прикрытые квадратными дырчатыми железками, напоминали казарменный душ или даже коммунальную баню...

Шиловский машинально взял толстую дукатовскую папиросу, также машинально прикурил от огонька лысого юноши. В эту минуту через раскрытую дверь послышались звуки шагов. Шиловский видел, как лысый неторопливо бросил окурок и достал из

кобуры оружие. Юноша велел встать рядом с дверью, сам встал тоже около двери, но с другой стороны. Он повернул дуло на себя, прищурился и зачем-то дунул в него. Шаги — они были двойные — приблизились. Лысый галантно, словно приглашая на танец, отвел в сторону руку с маузером. В дверях появился седой, стриженный ежиком человек в ботинках, без головного убора, покрытый непромокаемым макинтошем. Легкий толчок конвоира направил его на середину комнаты. Конвоир тотчас отпрянул и удалился, притворив за собой дверь, которую лысый проворно закрыл на крюк. Человек в шелестящем плаще в недоуменном раздумывании переступил с ноги на ногу, начал поворачиваться лицом к двери.

Шиловский плохо помнил, что было дальше. Кажется, стриженный ежиком, увидев наведенное на него дуло, зажмурился как бы от яркого света и вскинул правую руку. В то же время послышались два хлопка, отрывистых и коротких. «Макинтош» упал к ногам Шиловского, судорожно повернулся на спину, дернулся и с хрипом, по-птичьи двигая пальцами рук, тихо распрямил ноги в коленях. Арсентий без испуга глядел на бордовую дырку во лбу, на стеклянные, глядевшие в потолок глаза. Струйка крови брала начало из-под седого затылка, она потихоньку искала путь в сторону бетонного желоба.

— Вот так, товарищ Шиловский,— слышал Арсентий словно из-за стены.— Еще один контрик отбрыкался. Как вы себя чувствуете? Не тошнит?

Шиловский не помнил, что ответил на этот сочувствующий вопрос. Он шел коридором в какой-то странной, тупой забывчивости. «Кому-то надо,— твердил он сам себе.— Кому-то надо...»

Назавтра, когда его вновь привезли сюда, его бросило в пот. Лысый юноша встретил Шиловского как старого знакомого, успокоительно давнул на плечо:

— Обедал?

Арсентий не обедал.

— В каком состоянии твой маузер? — по-домашнему спросил юноша, взял маузер Шиловского и положил на стол.— Возьми лучше мой.— Открыл сейф и достал свой.

Арсентий с изумлением увидел в сейфе бутылку водки и двойное кольцо колбасы. Лысый спокойно, из сейфа же, достал два граненых чайных стакана. Вы-

шиб из бутылки бумажную, залитую сургучом пробку, налил один стакан полным, другой вполовину. Потом разорвал кольцо колбасы и подал одну часть Шиловскому:

— Держи! Больше ничего нет.

Шиловский взял колбасу и половинный стакан, но лысый отнял и подал полный.

— Пей!

Шиловский выпил одним махом, не переводя дух, откусил колбасы. Все же он наблюдал за лысым. Тот брезгливо понюхал содержимое стакана, отпил глоток и выплеснул остальное в угол:

— Дрянь... Плебейское пойло. Ты русский?

— Да,— сказал Шиловский.

— Пей! — Лысый вновь налил в стакан.— Впрочем, нет. Сейчас нет. Лучше после выполненного задания.

Шиловский вздрогнул. Хмель не туманил сознание, но команду «встать! смирно!» он выполнил с запозданием, слова приказа совсем не запомнил. «Кому-то надо»,— вертелось в мозгу. Также нечетко, вяло он брал оружие, шел коридором, курил словно во сне и словно во сне он услышал шаги. Когда обреченный от ловкого, хорошо заученного толчка в спину оказался посреди комнаты, лысый злобно и яростно зашептал Шиловскому в ухо: «Ну? Живо! Живо!»

Шиловский, подчиняясь чьей-то властной всесильной воле, в страхе поднял взведенный маузер, долго, мучительно фиксировал оружие в воздухе. Запомнил Арсентий одно: подчинился он совсем не этому юноше, можно было оттолкнуть его и уйти. Нет, он подчинялся в тот миг чему-то совсем иному, какая-то иная внутренняя сила велела нажать на спуск. Человек, в грудь которого Шиловский стрелял, словно бы удивленно развел руками, долго не хотел падать. Но вдруг его повело в сторону, ноги его подкосились, он грохнулся на цементный пол.

— Молодец. Очень хорошо! — Лысый сунул в левую руку Шиловского зажженную папиросу.

Дальше, в другие дни, все пошло своим чередом. Машина. Сейф. Полстакана водки и сорок шагов коридором. Кубическая пустая оштукатуренная коробка с желобами. Растерянная фигура, перетаптывающаяся на цементном полу. Когда фигура начинала поворачиваться — выстрел, иногда два. И снова сорок

шагов. Следствие вели одни, приговор выносили другие, третьи вытаскивали на носилках трупы. Отвозили же четвертые, а пятые приходили в подвальную комнату со шваброй и ведром теплой воды. В этой очередности истинно третьим был сам Шиловский, но про себя он почему-то всегда забывал, словно не участвовал во всем этом.

Дни проходили за днями.

Да, дни проходили за днями, и Шиловский получил уже множество благодарностей, и его ни разу не стошнило, не вырвало. Вот только сегодня... И то потому, что он впервые расстрелял женщину. Когда он закрывал дверь на крюк, женщина увидела маузер, все поняла и закричала пронзительно, со вселенским ужасом, и от этого крика, вместо того чтобы стрелять, он отпрянул к стене. Она же, не теряя времени, птицей бросилась на него. Обняла, рыдая, прильнула к нему, увлекла на цементный пол и все говорила и говорила что-то полубезумное, разрывая свою одежду, раскрывая ему свое лоно... Она была молода, и это было так для него непосильно, что он забыл про себя, про свой классовый долг, он враз превратился в исступленного, яростного самца. Она была прекрасна, эта цепляющаяся за жизнь женщина, но его рука даже в тот момент не выпустила оружия. Исступление длилось всего две или три минуты. Оно моментально превратилось в досаду, в недоумение, и тут... тут захлестнула Шиловского злоба. То была злоба на самого себя. Он же, ни к чему не прислушиваясь, оборотил свою злобу в ненависть к этому победившему его существу...

Он вскочил и расстрелял в нее половину боезапаса, в лежащую, обезумевшую, и когда она, лохматая, окровавленная, ползла к нему и хваталась за его сапоги, его начало рвать. Его рвало, пока он расходовал остальные патроны, ступал коридором, пока закрывал сейф, отмечался на проходной и ждал машину.

Он попросил шофера отвезти его в Сокольники. Он долго бродил по лесу, пока неизвестно как не очутился на Каланчевке. Он сел в трамвай и ездил по Москве до глубокой ночи. Он пробовал подремать, пересаживался из трамвая в трамвай, словно пытаясь уйти от видений. Лохматая окровавленная голова и мощная белоснежная грудь с коричневым обводом вокруг

соска то и дело менялись местами, и тогда его настигал ужас, и он открывал глаза, и будничность трамвайных ездоков снова приводила его в себя.

...Сейчас он сидел в кресле, стараясь изо всех сил забыть видение, освободиться от него навсегда. Почему двенадцать мужчин, расстрелянных им, ни разу, никогда, даже во сне не вставали в его глазах? Почему? А эта... Он вновь с отвращением вспомнил все что было и встал. Уже светало. В рассеивающемся сумраке он увидел спящую на кровати жену, у нее была та же самая поза: широко раскинутые колени и разлохмаченные вокруг головы волосы... Он весь содрогнулся. Клава на секунду показалась ему мертвой. Он прикрыл одеялом ее белеющее в сумраке колено, она пробудилась, сладко потянулась к нему, улыбаясь и не открывая глаза:

— Арсик, который час?

— Спи...— шепотом произнес Шиловский.

Жена до сих пор не знает о новой службе. Она живет себе припеваючи. На часах четверть девятого. У всех выходной, а ему ровно в десять надо явиться в означенное место столицы. Предстоит длительная иногородная командировка. Но она, его Клава, спокойно спит в этом буржуйском особняке.

* * *

Шиловский выехал с Ярославского вокзала в распоряжение орготдела Северного краевого ОГПУ. Шифровка о приезде в Архангельск спецкомандированного опередила его на двое суток, потому что поезд на север шел нудно и долго. В Данилове замерзли какие-то трубы, и проводник отогревал их кипятком. Пар мешался в тамбуре с вонючим запахом желтого антрацитного дыма. Шиловский вторые сутки ничего не ел, только пил чай да курил в тамбуре, даже не пробуя заводить знакомство с соседями.

В Данилове поезд основательно застрял, расписание сбилось. Вместе с проверкой билетов второй раз проверяли документы, и Шиловский вышел в холодный тамбур.

Наружная вагонная дверь была открыта. На соседних путях стояли пустые полувагоны-телятники. Раздался буферный грохот и лязг, составом, видимо, маневрировали. На место порожняка, шипя паровозом, уже накатывался новый состав. Шиловский на-

считал десять теплушек. Над каждой из них подымался дымок, несколько вагонов были оборудованы под конюшни. Поезд не остановился, он лишь замедлил ход: составы с войсками ОГПУ пропускались на север без очереди.

Пожилой даниловский железнодорожник, махая грязно-желтым флажком, остановился неподалеку. К нему, с другой стороны станции, подошел высокий военный в шинели и финской шапке с еле заметной звездочкой. Черные, словно от ваксы усы военного привлекли почему-то взгляд Шиловского. Военный повернулся к Шиловскому в профиль, и Арсентий узнал в нем Петьку Гирина. Или это не он?

Шиловский хотел окликнуть Петьку, но одумался и проглотил окрик. Он прикрыл дверь, оставив для наблюдения достаточно широкую щель.

Сомнений не стало. На перроне стоял Гирин. Только усы у него были не соломенно-белые, а густо-черные, даже с отливом. «Чем это он накрасился? — подумал Шиловский.— Так... Так-так, Петр Николаевич». Неудержимое желание окликнуть Гирина опять завладело Шиловским, но он вновь подавил это желание. Поезд наконец тронулся. Вагон прошел в полутора метрах от Гирина и железнодорожника, Шиловский услышал даже гиринский голос. Петька громко доказывал что-то, тыкая пальцем то в одну, то в другую сторону.

Шиловский прихлопнул дверь. «Скрывается,— с волнением подумал он.— Наверняка под чужой фамилией. Так-так...»

Он пока не знал, что означало это «так-так». Но в нем уже зрело какое-то определенное и точное решение.

В Вологде поезд тоже стоял дольше обычного. Шиловский остался один в купе, взял из чемодана листок почтовой бумаги и начал писать карандашом без помарок и не спеша:

«Довожу до сведения, что уроженец д. Шибанихи Ольховской волости Вологодской губернии Петр Николаевич Гирин сего числа был встречен мною, Шиловским А., на ст. Данилов СЖД в форме войск ОГПУ. Ранее т. Гирин был уволен из канцелярии ЦИК с должности курьера и выехал из Москвы. По всей вероятности, т. Гирин скрывается от органов... К сему».

Шиловский расписался. Затем он переправил «т» у фамилии «Гирина» на «гр.» и хотел уже поставить число, как вдруг его осенила новая мысль: «Откуда тебе знать, что он скрывается? Может, его выслали из Москвы специально... Нет, нельзя торопиться. Не стоит. Бумага пусть полежит, время есть».

И Шиловский сунул донос на дно чемодана, где лежал его номерной маузер, бритвенный прибор и смена теплого байкового белья.

Никаких иных бумаг или документов, кроме удостоверения и одного маленького предписания, у Шиловского не имелось. Все инструкции получены были в устной и только в устной форме! Надо было явиться в краевое ОГПу лично к товарищу Аустрину и объяснить, что прибыл для выполнения особых заданий. Никто из работников ОГПу, кроме Аустрина, не должен был знать, о каких заданиях шла речь. Когда в Москве Шиловский спросил, надолго ли его посылают, тот, кто выдавал устную инструкцию, полушутливо сказал: «Пока пароходы на Соловки не двинутся». Служба в органах была действительно особая служба. Старшие тут почти всегда были с тобой на «ты», могли в любую минуту шутливо обматерить или похлопать по мокрому от холодного пота хребту. Никогда ничего не узнаешь толком. Начальник энергично пожал Шиловскому руку и сказал, вроде уже всерьез: «Не задерживайся. Но если на месте не подготовишь себе замену, о Москве не мечтай. Жена будет в курсе».

Легко сказать, «подготовить замену!» Шиловский думал, прикидывал, с чего начать и чем кончить. В голову ничего путного не приходило.

Поезд опоздал чуть ли не на двое суток. Хорошо еще, что пришел он засветло. На другой берег Двины Шиловский добрался без приключений. Город, однако же, сразу ему не задался. Во-первых, стоял какой-то промозглый собачий холод, хотя температура была едва-едва пониже нуля. Во-вторых, не было ни одной порядочной улицы, одни какие-то деревянные, иногда совсем косые дома. Народу мало. Ветер шелестел обрывками афиш на деревянном заборе.

«Гастроли мюзик-холл!» — прочитал Шиловский.

Более мелким шрифтом перечислялись участники этого «мюзика»:

«Известный трансформатор
ВАЛЕНТИН КАВЕЦКИЙ

Артисты Ленэстрады, сатирики
НЕКЛЮДОВА И МУРАВСКИЙ

Партнерные акробаты
РУГБИ

Салонный жонглер-чечеточник
ЖЕРВЕ

Исполнитель оригинальных песен современности
П. Д. БАУЭР

Оркестр под управлением
А. С. ЛИТВЯК».

В другом объявлении говорилось, что в кинотеатре «Революция» идет новая научно-игровая фильма «Гоноррея». Кинотеатр «Арс» приглашал посмотреть фильму «Радио-лев» и американскую фильму «Сады Семирамиды». Четвертая фильма, которая шла в Архангельске, была «Трубка коммунара» по Эренбургу. «Надо сходить на досуге»,— решил приезжий, но тут же чуть ли не вслух выругался: афиши оказались еще сентябрьской поры.

В центре города рабочие разбирали обширный церковный собор, перестраивали его во что-то иное. Шиловский не стал спрашивать, что тут будет. Рядом, около, как выяснилось, бывшего губернаторского дома, стояли настоящие аэросани, окруженные двумя десятками любопытных мальчишек.

Все люди, даже совслужащие, ходили в валенках. Пахло торфяным дымом.

Устроившись в гостинице, Шиловский составил себе мысленный план действий: сходить в баню, подшить свежий подворотничок. Потом хорошенько поспать с дороги и только после этого, утром, идти в управление. Если командировка пойдет нормально, он завтра же начнет просмотр дел, заведенных на заключенных здешней тюрьмы. Может быть, он отберет пять-шесть подходящих кандидатур не только в тюрьме, но и в КПЗ, посоветуется с товарищами и отберет. После чего можно было бы начать приглядку, выбор самого подходящего и постепенное обучение.

III

Владимир Сергеевич Прозоров опять проснулся раньше всей камеры. Он лежал с открытыми в темноту глазами, даже иногда улыбался в эту душную вонючую темноту и все гадал, кто из соседей проснется первым. С некоторых пор Владимир Сергеевич испытал смутное ощущение нравственного обновления. Не желая вникать в подробности внутренних перемен, испытывая непреодолимое, почти физическое отвращение к самоанализу, он радовался новому состоянию и боялся его спугнуть. Когда вспоминалось душевное состояние во время ольховского сидения летом 1928 года, Прозорову становилось стыдно...

Но что же переменилось? Что произошло за полтора этих года? Казалось, что ничего, кроме плохого. И тем не менее он чувствовал странное душевное облегчение.

За пределы родного уезда его выслали без суда и несколько месяцев содержали в Архангельске. Затем он физически трудился на лесных разработках и дослужился до звания «советского десятника», построил в дальнем лесопункте подвесную дорогу и, уже как специалист, был отозван обратно в Архангельск.

Звание административно-высланного не очень и тяготило. Прозоров занимал довольно серьезную, требующую инженерных знаний должность. Реконструирование лесозаводов и убыстряющиеся объемы лесопиления заслонили все на свете, вплоть до классовых и религиозных признаков — святая святых новой власти. Ведь еще Ленин требовал от русского Севера полмиллиона ежегодных валютных рублей...

Владимиру Сергеевичу было разрешено жить на частной квартире. Домик с подполом стоял на болотных сваях, был обшит закройной доской, покрашен и огорожен спереди палисадом. Пожилая хозяйка Платонида Артемьевна была бездетной вдовой погибшего на Новой Земле промысловика. Жила она в одной половине вместе с золовкой, другую часть дома занимал Прозоров. Стена была капитальная, но вход в прозоровскую половину имелся только один, через хозяйскую кухню с русской печью. Дверь никогда не закрывалась. Два больших с зелеными лоснящимися листьями фикуса, два сундука и два комода, три кровати и гнутые венские стулья, два киота и две эта-

жерки заполняли все домовое пространство. На тесаных неоклеенных простенках красовалась пара норвежских гравюр, изображавших корабль у входа в фиорд и лесную хижину под скалой. На окнах стояли горшки с геранями.

У той и у другой старушки имелось по старой муфте из черно-бурой лисы. Обе муфты висели в шкапу на шнурах и вынимались по воскресеньям. После хождения в церковь старушки ставили граммофон, чтобы послушать голос Плевицкой. Ранним утром они топили русскую печку, вечером — облицованную изразцами «голландку». Даже в будни пекли овсяные блины, но особенно нравились Прозорову картофельные рогульки. Каждую свободную минуту обе хозяйки весело подхватывали куфтыри и немедля усаживались где посветлее. Прозоров быстро привык к сухому характерному цокоту коклюшек. Почти родными и очень понятными казались ему и розовеющие в сумерках резные окошки, когда он возвращался с работы. И эти герани, и эти ситцевые занавесочки, над которыми издевались клубные синеблузники, вызывали в нем совершенно иное, просветленное чувство.

— А что, право слово, Влодимер да Сергиевиць, мы бы тебе кряду и невесту нашли, было бы от тебя говорено согласное слово! Как тут и было бы.

Напевная поморская речь Платониды переплеталась с бряканьем коклюшек, перемежалась иной раз и старинным, похожим на киевскую былину, протяжным речитативом. Платонида плела косынки черными нитками, золовка ее, Мария, любила плести белые...

Прозоров при разговорах о женитьбе отшучивался или отмалчивался, но старушки были настойчивы:

— Сегодня всю утрену кошченка-то на окне умывалася, да все одной правой лапкой. Я умом-то и думаю: к чему бы она прихорашивает сама себя? Маша, говорю, ну-ко давай ведра-ти! Надобно по воду бежать, самовар ставить, кошка понапрасну умываться не будет. Так и есть. Божатушка из Бакариц весь день плыла. Чаю-то напилась, да и говорит; уж я бы болярина твово так бы ублаготворила, век бы за меня Бога благодарил! Уж я бы Сергеивиця к месту прихитила...

Прозоров ухмылялся. В доме периодически появлялись то «божатушка из Бакариц», то «крестная из Соломбалы», каждая с трогательной наивностью пеклась о его холостой судьбе... Однажды Платонида позвала его в воскресному самовару:

— Влодимер Сергиевиць, не знаешь ли, пошто у нас с Машей суставы-то к погоде тоскуют? Ты бы поискал доктора понадежнее! Только чтобы со светлой-то трубоцькой.

Маше было шестьдесят, Платониде больше того, но Прозоров посулил. Уже образовались кое-какие знакомства.

Преображенский Алексей Андреевич — увы! — вообще не имел стетоскопа, ни деревянного, ни металлического, но лишенный даже политического доверия, он не боялся заниматься практической медициной. Люди знали и уважали его. Земля и впрямь полнилась слухами. Преображенский еще в прошлом году вылечил у Прозорова какой-то «обменный дефицит», спас от цинги. Жил доктор в бараке, а в остальном его общественное положение ничем не отличалось от прозоровского, отчего они хорошо понимали друг друга.

Летом и осенью Преображенский носил серый прорезиненный макинтош, который шумел на всю набережную. Зимою доктора согревала малица, подаренная ненцами в Нарьян-Маре. Крупная фигура Преображенского, несмотря ни на какие невзгоды, не теряла осанки. Походка была по-прежнему «докторской» — неторопливой и сдержанной, стриженная «под ежика» голова только что начинала седеть. При всех обстоятельствах Алексей Андреевич ежедневно брился, седеющие усы были всегда тщательно и ровно подстрижены.

Ко дню докторского прихода поморки добела начистили самовар. После медицинского осмотра и рекомендательных разговоров доктор взошел на прозоровскую половину.

— Нуте-с, Алексей Андреевич, каковы мои патронессы? — вполголоса спросил Прозоров.

— Не беспокойтесь за них, Владимир Сергеевич. Сердце у той и другой как у семнадцатилетней гимназистки. Надеюсь, переживут даже советскую власть. А... что вы ерзаете, как на шильях?

Прозоров покраснел.

— Ну, если вы способны еще и краснеть, то тем более! Позвольте быть до конца откровенным. Да, я не люблю эту власть. А за что же ее, скажите, любить? Хотелось бы знать ваше просвещенное мнение.

— Когда нет выбора, вопрос любить или не любить отпадает...

— Позвольте не согласиться,— твердо сказал Преображенский и отвернулся. В профиль его лицо было еще интереснее.— Выбор, насколько мне известно, у русских интеллигентов был. Мы предпочли то, что есть к данному времени. И, что всего примечательней, не желаем признать ошибку...

В тот вечер Платонида принесла самовар на прозоровскую половину. Владимир Сергеевич до полуночи просидел с доктором. Резкость, откровенность и новизна докторских рассуждений поначалу пугали. Но чем чаще приходил Преображенский, чем больше они говорили, тем раскованней чувствовал себя с этим человеком Прозоров. Доктор преображал всех, с кем общался, он как бы оправдывал собственную фамилию...

— Посмотрите, сколько такта у этих женщин! — говорил он во время их последней встречи.— Ради нас с вами они даже кошку из дома выпроваживают. А вот Кедров Михаил Сергеевич, этот потомственный интеллигент, будучи в Архангельске, не различал дамских и мужских туалетов...

— Вы его знали? — удивился Прозоров.

— О, еще как! — Преображенский пил чай с блюдца, по-старомодному, щипцами, мельчил сахар.— Весьма примечательная личность.

Прозоров также знал Кедрова: во-первых, видал его в штабе VI Армии, во-вторых, Кедров был женат на Ольге Августовне Дидрикиль — дочери лесника-управляющего. (Август Иванович Дидрикиль много лет служил потомкам Суворова, кои владели лесной дачей в прозоровском уезде.) Об этом Прозоров и рассказал собеседнику. Тот в свою очередь тоже удивился:

— Значит, Раиса Майзель — это вторая жена Кедрова? Вот оно что! Партийный псевдоним у нее Пластинина... Город Архангельск весьма и весьма близко знает этого палача в юбке.

Прозоров в изумлении отставил чашку, и тотчас доктор сказал:

— Не удивляйтесь, дорогой Владимир Сергеевич! Я своими глазами видел, как Пластинина стреляла в тифозных больных. А ее муженек развлекался тем, что прививал тиф выздоравливающим раненым. Медицинское образование он получил в Лозанне... Гордится знакомством с Горьким, играл Бетховена Ленину. Какая широта интересов, не правда ли? Впрочем, всем музыкальным инструментам он предпочитает, по-видимому, маузер. Не знаете ли, в какой сфере он сейчас подвизается? Дражайшая его половина, по слухам, снова в Архангельске. Заклинаю вас, берегитесь ее! Ей неведомо сострадание, это воплощенная ведьма. Я напугал вас? Прошу прощения...

— Нет, нет, что вы,— очнулся Прозоров.— Не спешите, прошу вас. Можете переночевать.

Но Преображенский уже надевал свой макинтош. Послышался шум от этого надевания, перемежаемый возгласами гостеприимных старушек. Они снабжали доктора паренной в печке брусникой, на все лады приглашали заходить еще.

Доктор Преображенский, не чинясь, взял берестяной буртасок с ягодами. Прощаясь, пообещался зайти в ближайшую субботу. Он горделиво, с достоинством сошел с резного крыльца прямо в кромешную тьму ветреной северной ночи.

* * *

...То было осенью, а сейчас стояла зима, и в камере, где сидел Прозоров, пахло гнилыми портянками. В нарах кишмя кишели клопы всевозможных возрастов и калибров. То, что эти кровожадные твари были разных калибров, можно было увидеть только днем, сейчас же, в темноте, они все представлялись одинаковыми, отвратительно воняли и безжалостно впивались в кожу.

Владимир Сергеевич из-за них не спал по ночам. Казалось, что соседи по камере были неуязвимы для насекомых, все шестеро спали, как дома, двое-трое с выразительным храпом. Который час? Странно, что такая действительность не вызывала в Прозорове ни озлобления, ни возмущения. Арест и нелепое обвинение во вредительских связях с шахтинскими спецами вызывали в нем лишь ироническую улыбку. Интерес следователя к доктору Преображенскому был побоч-

ным, не главным, и Прозоров не очень тревожился за собственную судьбу. Он не ощущал за собой вины.

И все же случившееся представлялось вполне логичным. Было бы странно, если бы все было не так! Непонятно, пожалуй, другое — то, что именно в таких идиотских условиях и именно сейчас, впервые за много лет, он, Прозоров, ощутил душевное равновесие. Чем это было вызвано? Может быть, той ясностью, что пришла после знакомства с Преображенским? «Преображенский и мое преображение,— опять подумалось Прозорову.— Да, фамилии что-то значат. Все Введенские, Вознесенские, Преображенские происходят от безвестных сельских и городских приходов».

Владимир Сергеевич вспомнил сейчас и многозначащую реплику старого нормировщика, тоже из административно-высланных, какого-то бывшего управляющего: «У вас, Владимир Сергеевич, очень удачная фамилия. Я бы на вашем месте тут не сидел. Эх!» — «А что?» — недоумевал Прозоров. «Что? А вот что... Ну-ка, возьмите да распишитесь». Удивленный Прозоров расписался на газетном клочке. Счетовод взял карандаш и подставил к четвертой букве палочку. И, оглянувшись, молча вышел из бревенчатой будки, где происходила вся эта сцена. Прозоров сразу все понял. Да, достаточно одной этой палочки, чтобы уехать куда-нибудь за тысячу верст, быть на свободе и жить нормально! Но это значило стать не Прозоровым, а Проворовым... Отречься от самого себя, от всех своих предков, безмолвно взирающих из глубины российской истории на него, Владимира Прозорова, и на все, что происходило в стране?.. Нет, жизнь под чужим именем представлялась ему отвратительной и потому никому не нужной.

После разговора о Кедрове Преображенский несколько раз посещал Платошу да Машу, как называли старух соседи.

Прозоров каждый раз удивлялся необычной ясности докторских суждений. Он пытался спорить с ним, когда речь зашла о Петре, потом пробовал защищать декабристов, но у доктора имелось множество фактов, о которых Прозоров либо не знал, либо по каким-то причинам не считал важными. Преображенский говорил, например, что Наполеон был обязан своими военными победами не полководческому таланту, а тамплиерам и розенкрейцерам, что ключи первокласс-

ных крепостей они сдавали его генералам без всяких кровопролитий, поскольку генералы Наполеона тоже были масонами.

Прозоров не мог с ходу это осмыслить и поверить рассказчику.

Декабристы, по словам доктора, служили России лишь внешне, внутренне же, сами того не ведая, подчинялись «Великому Востоку» и тому же «Розовому Кресту».

— Почему победили большевики? — сердился Преображенский, хотя Прозоров не противоречил ему в такие минуты.— Отнюдь, государь мой, не потому, что с помощью классической демагогии обманули мужиков и солдат, то есть пообещали народу златые горы. Все было намного проще: англичане не прислали Колчаку обещанные патроны. Солдатам нечем было стрелять... Англичанам в ту пору красные были нужнее белых.

— Позвольте, позвольте! — Прозоров не успевал за мыслью доктора.— А интервенты? А захват Архангельска теми же англичанами?

— Противоречие чисто внешнее! Кровь пускают друг другу простые люди. Вдохновители революций и вдохновители контрреволюций сидят не в окопах. Они, эти люди, одной и совсем иной породы. Если, конечно, люди, а не дьяволы. Да, да! Государь мой, они превосходно понимают друг друга! Мировому злу абсолютно все равно, каким флагом потчевать обманутых. Ну, скажите, существует ли разница между белым Мудьюгом и красными Соловками? И если существует, то в чем? Впрочем, вы не видели ни то, ни другое. И не дай вам Бог увидеть...

— Но государство все равно существует,— сопротивлялся Прозоров.— Независимо от цвета знамен...

— Я врач! Я должен лечить людей, а вынужден пилить на бирже дрова. Вот и скажите, выгодно ли сие государству? С теми, кто сейчас правит, Россия стоит на пути самоуничтожения. Посему у меня с ними разные группы крови. Знаете ли, что происходит, если больному перелить чужую кровь? Организм отторгает ее, и человек погибает.

— Значит, вы все-таки признаете классовую борьбу?

— О нет, государь мой, эта борьба отнюдь не классовая. Скорее национальная, а может, и религи-

озная. Нас разделяют и властвуют... И всех, всех, кто знает об этом, поверьте мне, опять будут расстреливать! Как десять лет назад, знающих просто сотрут с лица земли! Помяните мое слово и... держитесь от меня подальше, дорогой Владимир Сергеевич. Проказа правды... Уверяю вас, это вполне опасно.

Прозоров не верил таким слишком мрачным пророчествам, великодушно молчал. Но вскоре доктор исчез, не показывался с ноября, а в декабре старухи узнали, что он арестован. Прозоров не сразу ощутил последовательность и логическую завершенность событий. Арест доктора со всей ясностью обозначил и его собственный путь.

На службе он высказал однажды опасение по поводу закладки зимних фундаментов. В ответ ему отказали сначала в профессиональном, а вскоре и в политическом доверии. Следователь всерьез уверял Прозорова в том, что он, Прозоров, вредный специалист, и с упорством рассерженного была добивался сведений, подтверждающих связь Владимира Сергеевича с шахтинскими спецами. Прозоров лишь улыбался да разводил руками...

Смешно ему было и при аресте: все представлялось как бы детской игрой или балаганным трюком. Ощущение дурацкой неестественности подкреплялось не только несерьезностью следствия, но и тюремными порядками. Двери в камеру не запирались. Тюрьма была временная, не настоящая, приспособленная на скорую руку. Арестованные свободно выходили в коридор, заглядывали в соседнюю камеру, играли в карты. Нелепость и несуразица чувствовалась и в еде (кормили почему-то одной свежей треской), и в домашних разговорах с «часовым», как называли красноармейца-охранника.

— Мы кушаем рыбу, клопы кушают нас. Часовой? Где р-революционный порядок?

Это портовый вор по имени Вадик фамильярничал с красноармейцами, которые приносили пищу.

Действительно, где? Да, несерьезность и какая-то странная никчемность, и одновременно вызванная из ничего и ничего не обещающая деловитость царили вокруг!

И все же Прозоров был спокоен и не мог надивиться. Если раньше, в ту ольховскую пору он ощущал собственную никчемность, свою личную внутрен-

нюю нелепость, связанную с неверием в бессмертие души, то нынче, после всего, что видел и слышал, он ощутил нелепость внешнюю. Никчемность событий стала для него очевидной. Она чувствовалась даже в сочетании тех, кто содержался в тюрьме. Напрасно искал Прозоров хоть какой-то порядок и смысл в этих камерных группах, не объединенных ничем, кроме трехлинейной винтовки добродушного, страдающего от насморка часового. Что может быть общего между... ну, хотя бы этим часовым и его командиром, маленьким человеком с выпуклыми стекляшками коричневых глаз? Командир, одетый в кожаное полупальто, отпустил зачем-то буденновские усы и говорил, вернее, покрикивал примерно так: «Не торопитесь спешить!» или «Заведывающий, кто здесь заведывающий?» Впрочем, марьяжное сочетание часового и усатого командира имело, кажется, вполне определенное объяснение, точно так же существовала логическая связь между вдохновителями террора и исполнителями террора. Итак — террор. В переводе с французского слово означало ужас. Прозоров, с детства картавивший, еще в гимназии терпеть не мог этого слова. Но против кого террор?

Тут-то и начинался полный абсурд, нелепость, нечто неподвластное человеческой логике. Жертвами новой власти оказался странный, совершенно абсурдный конгломерат личностей, не укладывающийся в нормальное сознание. Абсурд начинался уже с того, что в камере имелись и подследственные, и уже осужденные. Одни ждали суда (какого еще суда?), другие ждали прихода весны и первого парохода на Соловки. То есть сочетание опять же было абсурдным.

Допустим, что он, Прозоров, бывший дворянин (как, впрочем, и бывший революционер), действительно опасен властям (хотя ничего, кроме пользы, он не делал для них). Допустим. Но чем же опасен для них Акиха — этот крестьянский парень из-под Шенкурска? Или добродушный ненец Тришка, арестованный за то, что, укрываясь от переписи, угнал стадо оленей в Комипермяцкие земли? Нелепостью было и то, что двое блатных, поджидающих первый пароход на Соловки, пользовались у власти каким-то поощряющим подбадриванием, какой-то цинично-веселой поддержкой. Оба носили джимы — широконосые хромовые сапоги. Блатным позволялось иметь даже собственные

бритвенные приборы. (Остальных каждую субботу под конвоем водили в баню и парикмахерскую.)

Вор по имени Вадик имел, вероятно, еще особую воровскую кличку, но его коренастый друг, известный в блатном мире под кличкой Буня, называл Вадика только Вадиком. Голова Вадика была красиво подстрижена, но шея, почти мальчишеская, вызывала жалость к этому, как выяснилось, коварному и подлому существу. Кожа у Вадика была белая, северная, но брови чернели, и глаза мерцали по-южному томно. Вадик беспрестанно что-нибудь напевал, не расставался он и с кирпичным обломком, о который то и дело тер большой палец правой руки, пытаясь навсегда избавиться от дактилоскопических происков.

Если Вадик напоминал по своей комплекции подростка, то Буня, несмотря на средний рост, походил на циркового борца. Кожа на его щеках была серая, в синих точках угрей. Сломанный в драке нос постоянно посвистывал, а глаза, спрятанные довольно глубоко, не имели выражения и цвета. На шее Буни днем и ночью красовалось розовое шелковое кашне с поперечными белыми полосками. Оба носили еще тельняшки. Болезненное стремление воров к чистоте выглядело довольно комично.

В то утро, после завтрака, они мирно готовились колоть татуировку на мощном белоснежном плече шенкурского Акихи. Макая спичкой в тушь и намечая рисунок — парень пожелал девичий профиль,— Буня тихо, приятным воркующим баритоном напевал:

Разве тебе, Мурка, плохо было с нами,
Разве не хватало барахла?

У них имелся даже пузырек с тушью. Вадик связал нитью три иглы. Примерно в одном миллиметре от игольных кончиков он намотал ограничительное кольцо, макнул в тушь и начал колоть.

Акиха весь напрягся, вздрогнул было, но терпеливо замолк.

— Сиди и не дергайся! — приказал Буня.— Ты как сюда попал?

— Да у нас там тюрьма-то больно маленькая. Ина баня просторнее...

— Я не об этом... За что?

— На Троицу драка спыхнула,— говорил Акиха, стоически перемогая боль от уколов.— С робетешек-

соплюнов все и зачалось-то, один пристал за этого, тот за другого.

Ты зашухерила всю малину нашу

— Ну и ты за кого? — допытывался Буня, прерывая пение. Вор подмигнул Прозорову.

— Я-то? — с готовностью отозвался Акиха.— А я уж и не помню с кем, там сшибка пошла...

— Так-с. Сшибка, значит? — Буня опять подмигнул, но Прозоров задремал. В светлое время клопы меньше свирепствовали.

Кажется, Владимир Сергеевич спал, но спал так, что слышал, что творится в камере. Слышал он одно, а видел совсем иное, причем с еще большей четкостью. Отрадный многоцветный образ теплой лесной поляны раскрылся вдруг так широко, так объемно, так осязаемо, что сердце во сне сладко замерло. Зеленая первая березовая листва, зеленый щавель в траве, зной, а на луговой тропке в сенокосной рубашке стоит шибановская девица Тоня, стоит и все трогает на затылке косу, словно после речного купания. Волнение и радость охватили Прозорова, он очнулся, сопротивляясь реальности...

— Все! — сказал Вадик.— Хватит на первый раз. Надевай рубаху, гуляй.

Он откинул голову, полюбовался своей работой и громко запел:

Гуляй, моя детка,
Гуляй, моя детка,
Пока я на воле, я твой...

Буня подхватил баритоном, и в камере зазвучало довольно стройно:

Тюрьма нас разлучит,
Тюрьма нас разлучит
Высокой кирпичной стеной.

Довольный Акиха натягивал рубаху на богатырские свои плечи.

— Ну? Кто следующий? Господин нэпман, налетай! — Вадик обернулся к ненцу.— Тришка? Ты птицу хотел, так?

— Я не птица хотела,— сказал Тришка, сидевший калачом ноги. Он отодвинулся на нарах подальше.— Хотела солнушко, сичас не хóцю...

— Хо́цу, не хо́цу,— добродушно передразнил Буня. Вор достал откуда-то круглое зеркальце и начал старательно выдавливать угри.

Прозорову чуть не до слез жалко было исчезнувшего, такого почти осязаемого сна. Он уже и раньше наблюдал за созданием фресок на живом человеческом теле, хотел снова забыться, вернуть сон и мельком взглянул на Сидорова — пятого своего соседа по нарам. Сидоров, «поселенный» вчера, почему-то не имел никаких вещей, кроме матраса и байкового, почти нового полупальто, вызвавшего знаменательный интерес Вадика. Сидоров, лежа на матрасе и положив этот пиджак под голову, молчал, делал вид, что тоже хочет уснуть. Но спать ему явно не хотелось. Прозоров пытался заговорить с ним, но получилось как-то нескладно, пришлось замолчать. Да и зачем это очередное знакомство? С появлением Сидорова, от которого пахло одеколоном, ощущение сплошных странностей, нелепостей и бессмыслицы только усилилось.

Впрочем, день, начавшийся татуировкой шенкурского Акихи, скрасился недурным обедом и колкой дров на морозном дворе. Под вечер Прозорову вновь повезло: он получил из соседней камеры окружную вологодскую газету «Красный Север». Газета была не свежая, неизвестно каким способом попавшая в Архангельск. Однако ж масляные пятна, оставшиеся от скоромного пирога, не мешали чтению. «№ 258, 7 ноября, четверг,— прочитал Владимир Сергеевич.— «Решающая схватка».

Так называлась передовая статья, посвященная 12-й годовщине революции. Всю третью и четвертую страницы занимала статья Сталина «Год великого перелома». Прозоров углубился в нее. Мощная, свисавшая с потолка электрическая лампа давала достаточно света, клопы и воры вели себя покамест спокойно. Прозоров читал-читал и вдруг удивился тому, что не верит ни единому слову: «...Можно с уверенностью сказать, что благодаря росту колхозно-совхозного движения мы окончательно выходим или уже вышли из хлебного кризиса. И если развитие колхозов и совхозов пойдет усиленным темпом, то нет основания сомневаться в том, что наша страна через каких-нибудь три года станет одной из самых хлебных стран, если не самой хлебной страной в мире».

Прозоров отдал газету по-детски любопытному Тришке, лег на спину и закрыл глаза.

Что за чушь! Опять все выглядело шиворот-навыворот. Во-первых, страна уже была самой хлебной. Во-вторых, именно коллективизация оставит, уже оставляет страну без хлеба, в этом для него не было никаких сомнений. Что это? Вероятно, он, Прозоров, является свидетелем и даже участником грандиозной мистификации. Да, да, он был статистом необъятного по масштабам спектакля, проводимого на просторах России, среди развалин еще совсем недавно великого государства. Но кто дирижирует всей этой свистопляской? Кто покорил страну? И самое главное, надолго ли? Неужто опять, неужто новое иго? «Внемли себе!» — вспомнил он слова доктора Преображенского.

В эту минуту в камеру ввели высокого, обросшего русой бородой мужика. Невыцветший пятиугольник от недавно снятой звезды был очень заметен на матерчатой красноармейской фуражке. На ногах сапоги явно не по сезону, видать, арестовали задолго до холодов.

— Буня! — послышался веселый глас часового.— Прими пополнение.

Буня не отозвался. Он продолжал сосредоточенно разбирать карты, сбрасываемые Вадиком. Воры играли на четыре руки, с двумя несуществующими партнерами.

Мужик поздоровался, довольно уверенно оглядел компанию, потеснил Прозорова и Сидорова, сел, опустил к ногам свой самодельный чемоданчик, перетянутый кожаным, также красноармейским ремнем. «Я где-то видел его,— тотчас подумал Прозоров.— Но где?»

— Ты не Андрей Никитин будешь? Деревня Горка, если не ошибаюсь.

— Я и есть! — обрадовался Никитин.— А ты... Вы то есть... Владимир Сергиевич? Личность-то, вижу, знакомая. Вот ведь... где встреча-то...

— Да, да...— Прозоров был рад земляку.— Встреча, конечно, не очень... Но все равно. Забыл, как у тебя отчество.

Тришка улыбался во всю широкую кирпично-красную физиономию:

— Цево не бывает... Все бывает.— Он тоже радовался, словно сам встретил знакомого.

Земляки проговорили далеко за полночь. В темноте, под Тришкин храп и носовой свист блатного Буни Никитин рассказал, что был осужден на два года за потворство «чуждому алименту». Его двоюродному, Ивану, за сопротивление власти присудили еще больше — пять лет. Их разлучили уже в Вологде, и вот теперь Никитин чуть не матом ругал судью и следователя Скачкова. Громкий шепот то и дело переходил на хриплый приглушенный бас, обида вскипала в горле, не давая рассказывать:

— Я это... два года в Красной Армии... Сам Тухачевский, бывало... выносил благодарность... А тут... За што и про што? Ну, братуха Микуленка коромыслом огрел. Дак ведь сам и признался... Эх... Владимир да Сергиевич... Душа задохнулась, не выздохнуть...

Прозоров не заметил, как стал засыпать.

Ночь промелькнула. Рано утром кто-то из арестованных, бродивших в нужник, зажег свет, но просыпались кто когда. Шенкурский парень Акиха сладко спал на правом боку, улыбка блуждала на его покрасневшем во время сна лице. Правая рука вытянулась над изголовьем, между пальцами и стенкой образовалось крохотное, в два-три миллиметра пространство. На стене перед этим пространством скопились в круг и замерли большие и маленькие клопы. Они дожидались того момента, когда средний палец Акихи коснется наконец штукатурки.

Прозоров подивился удивительной способности насекомых: видимо, они на расстоянии чуяли человеческую плоть. Но почему им обязательно нужна кровь? Ведь живут же они и тогда, когда сосать совсем нечего и некого?

Калачом ноги, обутые в узорчатые пимы, сидел ненец Трифон. Он широко улыбался Прозорову, и от этой улыбки, как всегда, приходило иное, раньше неведомое Прозорову, психологическое состояние. Прозоров словно бы сам становился этим улыбающимся самоедом:

— Что, Трифон Савельич, как ночевал?

— Холосо! Я холосо носювал, да ус осень тепло! Несем дысать... Хосю Нарьян-Мар. Потом домой тундра хосю... Жонка хосю...

Проснулись воры. Вадик по-кошачьи спрыгнул на

пол, начал делать гимнастику. В тельняшке, босой, в узких штанах, он был похож на клоуна. Выкрикивал между приседаниями:

— Часовой? Жену гражданину Тришке! Где часовой? Раз-два, раз-два.

Буня хмуро курил, сидя на нарах, как Тришка, калачом ноги. Шенкурский парень Акиха трогал и разглядывал свое разрисованное и припухшее плечо; Сидоров лежал, но не спал. Когда Андрюха Никитин пошел в уборную, Буня одним взглядом остановил Вадика.

— Угол! — буркнул он между двумя затяжками и еле заметно кивнул в сторону фанерного никитинского чемодана.

Вадик, играя бедрами, босиком прошелся по камере, остановился и присел возле чемодана на корточки. Он, вероятно, прикидывал, как открыть.

«У этих уже ликвидирована частная собственность»,— подумалось Прозорову. В тот же момент в дверях показался Никитин. Он с недоумением посмотрел сначала на Вадика, уже открывавшего чемодан, затем на всех других по очереди.

— Ты што делаешь? — спросил Никитин, подходя к Вадику.

Тот притворился глухим и продолжал потрошить чемодан.

Пинком ноги Никитин хотел отбросить вора, но сапог только скользнул по плечу. Вадик по-кошачьи упруго успел отскочить в сторону. Никитин шагнул к нему. Вадик отскочил еще и сделал стойку, широко расставив полусогнутые ноги, так же широко раскинул и руки. Лезвие бритвы блеснуло в правой, левая, шеперя тонкие девичьи пальцы, делала плавные змеиные движения.

Прозоров встал. Буня, не двигаясь, даже не повернул головы в его сторону, вежливо произнес:

— Будишь бледным.

В тот же момент Вадик прыгнул к Никитину, головой сильно ударил ему в нижнюю челюсть и опять отскочил. Все слышали, как кляцнула челюсть. Мужик устоял на ногах, удивленно потрогал подбородок и... бросился на обидчика. Вадик стремительно развернулся, рука с лезвием мелькнула на уровне никитинских глаз, но Прозоров успел-таки схватить запястье и дернуть эту ставшую ненавистной полосатую

руку. Вадик замер. Буня уже встал с нар и медленно подходил к Прозорову, когда дверь в камеру вдруг распахнулась. Усатый командирчик, сопровождаемый вооруженным красноармейцем, влетел на середину камеры и по-вороньи, на два приема, выкрикнул:

— Пре-кратить!

Он начал по очереди подходить к каждому, по очереди каждого обмеривать взглядом коричневых глаз, по очереди перед каждым покашливать. Остановившись напротив блатных, сказал:

— Я не понимаю, э-э, как вас, Буня... В приличном обществе так не делают. Прошу бардак немедленно ликвидировать. Гражданин Прозоров? Кто Прозоров?

Прозоров не отозвался, зная о том, что командирчик давно знает, кто тут Прозоров.

— Вам разрешено свидание. Идите. Вас проводят.

С недоумением последовал Владимир Сергеевич за часовым, который провел его вниз по лестнице, то ли в караулку, то ли в какую-то кладовку.

Боже мой, со скамьи поднялась навстречу и всплеснула руками принаряженная Платоша! Прозоров, растроганный, легонько обнял старуху. От ее праздничного казачка веяло морозной улицей, попахивало и нафталином. Она батистовым платочком вытерла прослезившиеся глаза:

— Влодимир да Сергиевиць, батюшко. Вот мы с золовушкой рогулек-то напекли и с заспой, и с гущей. Да и картофельных, глядим, а помазать-то нецем! Она мне и говорит: «А ежели, Платоша, постным маслицем?» Нет, говорю, ну-ко на рынок сбегаю, может, найду цево поволожнее. Дай-ко попробуем! Еле тебя нашла, начальства-то густо, а никто ницево не знает. А один до того обходительной, что на стул посадил. Я уселася как мадама и говорю: рогулецки зря напекла, хожу кабинетами. Дверей много и все скрипают, тоже, видно, помазать-то нецем. Сердешные, так и визжат, так и плацют, двери-ти...

После короткой встречи с доброй старушкой Прозорова с рогульками, завернутыми в платок, обрадованного и ошарашенного, вывели на лестницу. Было чему подивиться и порадоваться: уходя, Платоша поматерински перекрестила его. Но целостность окружающего, восстановленная этой нежданной встречей, мгновенно разрушилась, святочная белиберда вновь

расщепила ум Прозорова. Что за чертовщина творилась в мире? В глубине нижнего коридора вместе с маленьким командирчиком стоял и мирно, даже снисходительно, беседовал заключенный... Сидоров. Командир вопреки всякой субординации подобострастно выслушивал Сидорова. «Телефон здесь, товарищ Шиловский!» — услышал Прозоров, когда поднимался по лестнице.

«Часовой» хлюпал носом и звякал о ступени прикладом. Шел он не сзади, как положено, а впереди Прозорова, словно прокладывал дорогу наверх. В камере было подозрительно тихо, подчеркнутое спокойствие воров не предвещало ничего хорошего.

К вечеру Андрея Никитина вызвали куда-то с вещами.

Исчез и Сидоров. Ночь еще больше оттенила дневные странности мира. Прозоров не спал, опасаясь нападения блатных, впрочем, клопы тоже не забывали своих обязанностей. Кажется, он начинал понимать, что происходит. И хотя он не знал еще, как ему жить в этом мире, сошедшем с ума, что делать среди абсурдных явлений, среди катавасии, лишенной всякого смысла, он знал уже, что узнает и это. Он вполне определенно ощущал в себе эту уверенность. Предчувствие душевного подъема понемногу овладевало Прозоровым, и, отбиваясь от камерных кровопийц, Владимир Сергеевич думал и думал. Ему казалось, что от него то и дело ускользает нечто главное. Ему так не хватало сейчас доктора Преображенского!

Время клубилось. Иногда оно отделялось от реального мира, но какая же это реальность? Реальностей не существовало. Был абсурд. И, как думал Прозоров, видимость иерархии в действиях новой власти только обманывала: логика там также отсутствовала. Иначе зачем же они уничтожают уже и сами себя?

Великая свистопляска, притихшая после гражданской войны, опять набирала разгон, она катилась по необъятной стране, поперек и вдоль. Сама земля, очарованная зимой и дремлющая под снегами родины, может быть, и не чуяла новой беды. Только ведь как знать? Время то мелькало кровавым сполохом, то вдруг останавливалось и замирало. Земля, едва принявшая в свое лоно миллионы страдальцев, не готовилась ли опять к новым, таким необычным трудам? Сила разбуженной злобы в своем вихреобразном дви-

жении охватывала все новые пространства, опять втягивала в свою воронку массы ничего не подозревающих людей.

Россия гибла снова и снова.

Все вокруг мешалось, путалось и теряло образ. Может быть, так это и начиналось? Вначале когда-то он, этот образ мира, позволил втянуть себя в свое зеркальное изображение и был раздвоен. Расщепленный надвое, он потерял свою жизнеспособность, отдал половину себя своему мертвому отражению. Зеркальные обратные образы, заполонившие мир, не были совсем-то уж мертвыми, они жили, правда, жили за счет живого и цельного. Но живой и цельный образ мира при этом дробился. И осколки его летали в хаосе, сверкая блестками неполных отрывочных истин.

«Внемли себе...» Но, внимая себе, Прозоров вспоминал Бога и снова думал о Боге: «Господи, где Ты? Не оставляй меня,— шептал он про себя,— научи молиться Тебе, избавь от лени и страха. Страшна ли мне дорога страданий? О, нет! Боюсь не ее. Страшней во сто крат торжество зла. Что оставлю я на земле, какими стезями, куда ступать мне среди земных страданий под крики веселых безумцев?»

Свет на ночь выключала подстанция.

Под утро Владимир Сергеевич скорее почуял, чем услышал крадущегося к нему Вадика. Вор тихо залез в свободное пространство между Прозоровым и шенкурским парнем, начал легонько тянуть за прозоровский пиджак с часами, лежавший в изголовье. «Иди спать!» — сказал Прозоров и слегка стукнул по руке Вадика. «Гад буду, а пасть тебе все равно порву!» — прошипел Вадик. И все затихло. Вероятно, вор бесшумно убрался на свое привилегированное крайнее место.

IV

Блатные не успели «порвать пасть» Прозорову: к вечеру следующего дня его перевели в настоящий Архангельский Домзак. Когда Прозоров уходил из «времянки», Вадик сделал ему ручкой, а Буня сказал: «До свиданьица». В голосе звучало неподдельное добродушие, но Прозоров уже чувствовал, что угодил в черные святцы. Члены воровского клана никому ничего не прощали.

Он не знал причин срочного перевода.

Причины же были очень просты: начальство потеряло единый стиль. Ощущение бессмысленности событий испытывали отнюдь не одни «бывшие». Приближение хаоса видели и в среде власть имущих, особенно рядовых и здравомыслящих, особенно на местах.

В партийных организациях Севкрая царили растерянность и тревога. Уже осенью 1929 года никто не знал, где право, где лево. С помощью доносов, сочиненных женами и клевретами таких деятелей, как Турло, была спровоцирована проверка деятельности Вологодского губкома оргруппой ЦК во главе с неким Седельниковым. И хотя руководство Вологодской губернией было наголову разгромлено, вологжан в лице Стацевича все же слушали на Секретариате ЦК, и было вынесено специальное постановление. После этого даже самые рьяные и самые отпетые сорвиголовы очутились в лагере правых и в недоумении разводили руками: «За что?» Подобно Николаю Бухарину, они истерично били себя в грудь и кричали в залы собраний и пленумов: «Я не правый!» Но что толковать о рядовых, если и сам Емельян Ярославский был вынужден публично, через печать, оправдываться перед какой-то ретивой дамочкой!

Северные партийные газеты, возглавляемые Шацким и Геронимусом, шельмовали партийцев, занимающих самые высокие посты в Вологде и Архангельске, призывали к расправе над мягкотелыми судьями и прокурорами, провоцировали движение рабселькоров-доносчикв, скрывающихся за псевдонимами вроде «Свой» или «Зоркий». Пропечатанные в газете тотчас подвергались репрессиям, тюрьме, разносу или штрафу.

Уже и красный профессор Демидов (Долбилов), создавший колхоз-гигант в богатой Тигинской волости, был печатно обвинен в правом уклоне. Сперва он, возмущенный, немного похорохорился, но вскоре начал публично отрекаться от самого себя. Наговорил сам на себя, напридумывал собственных ошибок и уехал в Москву, доучиваться. Уже не хватало бумаги на подобные самооговоры, на доносы и анонимки. Многие активисты, предупреждая будущие обвинения в их адрес, в панике безжалостно губили друг друга.

Колхозы-гиганты, рожденные в воспаленных мозгах долбиловых, пеленались в бумажные полотнища

отчетов, многословных постановлений и директив. Уже не кусты, а целые районы были объявлены зонами сплошной коллективизации. Первые пробы крестьянских погромов, бесшумные, словно грозовые вспышки, мелькали на зимних просторах древних новгородских владений. Никто не знал, что будет завтра и послезавтра. Уже мелькали в газетах сообщения о расстрелах...

Член второй комиссии Яковлева, секретарь Севкрайкома Сергей Адамович Бергавинов всю последнюю неделю спал по три-четыре часа в сутки. В конце января нового 1930 года бюро крайкома заседало едва ли не ежедневно, и секретарь разучился дышать свежим воздухом. Шифровальщик особого отдела тоже редко выходил за пределы крайкомовского здания, ночевал и дневал в своей особо охраняемой комнате. Шифровки шли одна за другой, каждая требовала срочного, особого, чрезвычайного решения. Среди множества подобных секретных бумаг оказалась и шифровка из Центра, повлиявшая на судьбу Прозорова: «...убрать административно-высланных отовсюду и всех, исключая высших технических спецов, занятых на строительстве и реконструкции лесопильных заводов. Разрешить использовать их только на тяжелых черных работах, хлебный паек и норму выдаваемых им продуктов уменьшить в два раза относительно других категорий работающих».

Слова «высших технических спецов», подчеркнутые Бергавиновым, относились к таким, как Прозоров. Противоречие, заключенное в самой шифровке, предоставляло право широкого толкования. Страстный поборник Лесоэкспорта, Бергавинов старался экономить инженерные кадры, что и влияло весьма сильно на судьбу Прозорова.

Та шифровка была уже уничтожена, секретаря донимали сегодня иные дела, иные спецы. «Что это?— вяло подумал Бергавинов, читая очередную бумагу.— Проект или решение?» Бергавинов как лунатик прошелся вокруг стола. Телефонный звонок вернул его на место. Звон получился слабый, словно из подземелья. Бергавинов взял тяжелую, как кувалда, трубку. Сообщали о прибытии эшелона с войсками ОГПУ. «В чем дело? — мелькнуло в мозгу.— Ведь войска ОГПУ давно приняты и размещены... Восемь эшелонов раскулаченных тоже прибыли 27 января». Он,

Бергавинов, телеграфировал об этом шифрованным текстом Сталину, Молотову и Кагановичу. Дети, женщины и старики со Средней Волги. Он просил разрешения ослабить террор. Какое сегодня число? Он помнит текст этой шифровки: «Мы будем строить для них бараки шалашного типа... Норма хлеба 250 граммов на человека. Они рвутся на работу в делянки. Рабочие Архангельска проявляют спокойствие и сочувствие к раскулаченным».

Копии своих шифровок путались с текстами телеграмм из Москвы. Так. Дальше. Шифровка Сталина о самоедах с Северного Урала. Ненцы бросились со стадами оленей в Архангельскую тундру. «Эта запоздала,— гордо подумал он.— Да мы еще задолго до нее приняли меры! А когда принята шифровка о ликвидации кулака? Подписали Каганович и Молотов... Интересно, день или ночь сейчас на Дальнем Востоке?..»

В голове, где-то в затылочной части, возникла боль. Самым мучительным было то, что он никак не может вспомнить, какое сегодня число.

«...Брук отозван почему-то в Москву, в краевой контрольной комиссии его заменил Турло,— размышлял Бергавинов.— Оба, и Турло, и Шацкий, настаивают...»

Откинувшись на спинку высокого стула, секретарь спал. Да, он спал за своим широким столом, загроможденным бумагами, графином, двумя телефонами, чернильным прибором и чайными принадлежностями. Он спал, но его серые белорусские глаза, провалившиеся за эти дни, были открыты. И мозг его по инерции пытался продолжать свою нескончаемо-утомительную, одинаково-бюрократическую работу:

«...Настаивают... на чем? На том, чтобы дело Шумилова переслать в ЦК, а пред контрольной комиссии РКИ Комиссаров выступает против. Почему? И что за документы, о которых говорит Шацкий?..

Почему холодно? Так недавно была весна... В апреле он выступал на шестнадцатой партконференции. Он, Сергей Бергавинов, заверил товарища Рыкова в том, что за счет лесоэкспорта любой ценой добьется к концу пятилетки двухсот пятидесяти миллионов валютных рублей в год. Ленин говорил об одной второй миллиарда. Что ж, если поднатужиться, можно и полмиллиарда. Это тоже реально. Он, Бергавинов,

все свои силы вкладывал в выполнение лесо-валютной задачи, как вдруг... Пожалуй, не очень-то кстати это новое раскулачивание! Впрочем, канитель началась раньше. Вологда и Коми область объявили войну Архангельску. Северодвинцы тоже не очень-то подчинялись крайкому. Это центробежные силы. Вологжан пришлось приструнить через Москву, их слушали на Секретариате ЦК. Многие полетели с работы. Но и после этого вологжанам неймется... Работы хватало и до кампании по раскулачиванию. Но когда он жаловался? В тридцать лет жаловаться смешно, тем более убежденному большевику, герою гражданской войны...»

За все эти годы Бергавинов ни разу не показывался на людях без ордена. Орден был главным богатством, единственной ценностью, смыслом и символом всей тридцатилетней жизни.

«Молоды мы еще, так молоды»,— думал он во сне. Отрывочно и бессвязно вспоминался ему пройденный путь. Вступил в партию ранней весной семнадцатого, а в двадцать лет был уже комиссаром Орловского полка. Комиссия Дзержинского посылала в самые жаркие места Украины. Партизанил в белом тылу. Однажды попался, был приговорен к расстрелу. Сумел убежать от пули. С какой скоростью летит пуля? Нет, это уже не молодость. Все его нынешние соратники не намного старше его. Возьми Митьку Конторина или Наташу Когинову. Правда, начальник ПП ОГПУ Рудольф Аустрин старше, этот с девяносто первого. Да и Семен Иоффе на целых три года обскакал Бергавинова. Зато Шацкий Иосиф, тот на три года моложе. Шайкевичу уже сорок...

Шерстяной пиджак с орденом боевого Красного Знамени, привинченным к пиджачному отвороту, соскользнул со спинки стула. Это вернуло секретарю потерянное ощущение реальности. Он дернулся, будто от удара электрическим током. Выпрямился на стуле. «Да, так что там за матерьял приехал из Устюга? И почему, собственно, Шацкий Иосиф Исакович прет как ледокол против Шумилова Ивана Михайловича? Ведь Шумилов член ЦИК, уполномоченный РКИ давно покинул богоспасаемую Вологду. Кстати, в Вологде работает новая оргтруппа ЦК... Кто такой Вилюмати, посланный дополнительно? Делают там что хотят — через голову крайкома и окружкома...»

Секретарь читал материалы, компрометирующие прошлое бывшего секретаря Вологодского губкома Ивана Шумилова. Обвинения были настолько серьезны, что вопрос опять же надо было выносить на бюро... А стоит ли говорить о Шумилове на бюро?

Бергавинов выудил тяжелую часовую кругляшку, на кожаном ремешке опускаемую из петлицы в нагрудный карман пиджака. Щелкнула крышка.

Была пятница, 31 января 1930 года, девять тридцать утра. До внеочередного закрытого заседания бюро Севкрайкома оставалось полчаса. Ночь была позади, и Бергавинов почувствовал, что бодрость снова возвращается к нему.

За окном в тусклом холоде падал редкий снег или иней. Архангельск давно притерпелся к зиме. Пока собирались члены бюро, секретарь-машинистка заварила свежего английского чаю, принесла добавочные стаканы. Она сообщила Сергею Адамовичу, что представители ОГПУ Аустрин, Осипчик и Шейрон уже прибыли и что Конторин и Шацкий тоже сидят в кабинете Иоффе, Цейтлин и Каценельсон подойдут позже, они приглашены на десять тридцать.

Для полного кворума не хватало Натальи Когиновой — завотделом наробраза да Сергея Ивановича Комиссарова — председателя СевкрайКК РКИ. Но вот пришли и они. Бергавинов по голосам узнавал членов бюро. Он встал им навстречу, раскрыл дверь. Все бодро и шумно пошли в кабинет, начали размещаться по обе стороны стола, накрытого голубой плотной материей.

Бергавинов, не здороваясь, тотчас открыл заседание. Он начал сообщением об успехах массовой коллективизации, с каждым часом развертывающейся во всех районах обширнейшего Северного края. Он сравнил кулаков, сопротивляющихся этому делу, с гоголевскими мертвыми душами. Начитанность секретаря не осталась незамеченной: язвительный ум бывшего моряка Семена Иоффе постоянно требовал себе тренировок. Иоффе обернулся к Шацкому и вполголоса, но весело и так, чтобы его услышали, спросил: «А кто Чичиков?» Бергавинов отчетливо разобрал реплику, но не стал пререкаться, работа, по его мнению, предстояла долгая и ответственная.

— Товарищи,— вновь заговорил секретарь,— планом ОГПУ нам предложено в самые ближайшие дни

принять семьдесят пять тысяч кулацких семей. Эшелоны с юга уже движутся. Это общим числом около трехсот пятидесяти тысяч. Вполне возможно — прибудет до полумиллиона... Вот основной вопрос, который нам необходимо разобрать в срочном порядке! Предлагаю высказываться...

Первым слово для информации взял Шейрон, командированный из Москвы представитель ОГПУ. Он сообщил, что на первых порах прибудет восемьдесят тысяч, и зачитал перечень срочных мероприятий, необходимых на сегодняшнее число.

...После долгого, утомительно-однообразного и под конец сонного заседания бюро крайкома приняло разнарядку по округам.

Шейрон предложил отделять от семей трудоспособных мужчин и партиями от пятисот до тысячи человек отправлять в необжитые лесные и тундровые районы. Всех нетрудоспособных членов семей решили разместить в церквях, монастырях, бараках и, как выразился Иоффе, в «тому подобных местах шалашного типа».

* * *

С юга ползли и ползли эшелоны с лишенцами. Печальные гудки паровозов пытались заглушить многотысячные рыдания и крики мольбы, проклятья отчаявшихся и молитвы, детский плач и всплески удивительных украинских мелодий. Безмолвная северная зима намного быстрее бежала навстречу этим бесконечным составам.

Один такой эшелон из числа направляемых в Архангельск, составленный из десятка вагонов, битком набитых украинскими лишенцами, вторые сутки продвигался на север. У пыхтящей «овечки» не хватало силенок тащить этот живой груз. Паровоз часто останавливался. То заправлялись водой, то в тендер загружали уголь, то вдруг прицепляли теперь уже одиннадцатый вагон с киргизами. Не доехав несколько километров до Брянска, поезд почему-то снова встал. Охрана, сколоченная на скорую руку из киевских комсомольцев, спала в своем, специально выделенном «телятнике». Дежурный, стуча винтовкой, перетаптывался в конце состава на открытой кондукторской площадке. Обдуваемый на ходу слева и справа, старый кожух не спасал от холода. На каждой останов-

ке парень спрыгивал на землю и, недовольный железной тяжестью оружия, ругался с природой, бегал вдоль состава. В одну из таких пробежек он услышал крики и шум сразу в трех или четырех вагонах, начал стучаться в охранный вагон. Очнулся старший, разбудил первого попавшегося.

— А ну, глянь, шо там таке,— приказал он, сонно глядя на молодого, ничем не вооруженного хлопца, тоже сонного и замерзшего.— Бистро, бистро!

Хлопец наконец пробудился и убежал выполнять приказание. Старший открыл дверцу железной печки. Угли давно потухли. Холод гулял по вагону. Вагон был такой же, как и все спецоборудованные, с такими же поперечными нарами, но с печкой. Горел фонарь «летучая мышь»... Кутаясь в шарф, намотанный поверх поднятого воротника, старший подошел к неприкрытым дверям, выглянул в ночь. Посланный уже бежал обратно:

— Товарищу командир! Там, у третьому вагони, дид помер, сусидка каже тиф...

— Тише ты! Сусидка... Ну? Лезь суда, бистро...

— Тиф, товарищу начальник, треба ликаря.

— Молчать! Нет никакого тифа. Ясно? Буди Ярмуленку и растопи печь. Никаких тифов нет, понятно?

Последние слова старший произнес шипящим шепотом.

— Ясно, нема ньякова тифу...— Хлопец торопливо полез в вагон будить Ярмуленку.

Старший с наганом в руке спрыгнул на бровку. Ему подали второй фонарь. Ночь была не холодная, без ветра и без луны, почти светлая от лесного белого снега. А может, это рассветные сумерки? Старший шел от середины состава к паровозу, освещая фонарем вагонные запоры, закрученные для надежности проволокой. Он остановился у третьего вагона, который сдержанно шумел, как шумит потревоженный мышами пчелиный улей. Женский тихонький вой сочился в уши. Плакали дети. Мужские голоса иногда пресекали общий шум, но он нарастал снова. Старший кулаком постучал по обшивке:

— Тихо! А ну тихо, чертовы куркули! В Брянск приехаем, там разберемся.

Но вагоны загудели еще сильнее. В это время «овечка» легонько гукнула, колеса ее с шумом сделали пробуксовку. Поезд тронулся с места. Старший

погасил фонарь и побежал вдоль полотна навстречу вагону с охранниками. Поезд все-таки набирал скорость, и он поспешно схватился за железную скобку, запрыгнул в вагон.

Через час поезд вполз в развалы приземистых брянских пакгаузов.

— Подъем! Бистро, товарищи! — крикнул старший. Но все «двенадцать апостолов», как называла себя киевская охрана, и без этой команды давно проснулись. Они были совсем юные, одетые кто во что, с торбами для еды, вооруженные всего тремя заржавленными винтовками времен Петлюры и батьки Махно. Когда поезд перестал наконец греметь и дергаться, старший выстроил охрану для инструктажа:

— Ходить вдоль и не останавливаться, ходить и не останавливаться. Бистро по своим местам!

И с туго набитым портфелем побежал он на станцию искать милицейскую комнату.

Военный в финской шапке и в долгополой шинели сидел в дежурке, насквозь провонявшей табачной золой, и крутил черные, явно окрашенные усы. Он спорил о чем-то с приземистым человеком в тужурке и галифе. Трое милиционеров, расположившись у круглой высокой железнодорожной печки, молчаливо палили цигарки. Все пятеро были вооружены, одни наганами, другие винтовками.

— Ну, братцы, вы и мастера дымить! — притворяясь веселым, сказал приземистый.— Хоть бы в коридор вышли.

Милиционеры неохотно погасили цигарки. В дежурку без стука вошли еще один милиционер и юркий человек с давно измочаленным, давно не скрипящим портфелем под мышкой.

— Вы с киевского? — обернулся приземистый к портфелю.— Оч-чень хорошо! Вот, познакомьтесь. Вас ждет товарищ Гиринштейн. Он сопровождает ваших э... подопечных дальше на север. Сдадите ему состав и все документы.

Старший охраны с усмешкой поглядел прямо в черные усы Гиринштейна и подал руку. Несоответствие черных усов с белыми телячьими ресницами насторожило его.

— Прошу принять под расписку. Здесь списки всех куркулей и лишенцев... Портфель тоже казенный. Извиняюсь, не закрывается...

Черные, едва ли не буденновские по длине и пышности усы Гиринштейна дернулись как у кота. Военный не торопился хватать портфель со списками. Он опять обернулся к приземистому:

— Одиннадцать вагонов... Это сколько ж всего семейств?

— В среднем по тридцать — сорок семейств в вагоне,— буркнул киевский старший.— Всего четыреста девять семей, итого около тыщи двухсот человек.

— Почему около? — Черные усы снова дернулись.

— Грудных и молокососов в списках не значится.

— Н-да! Около тыщи...— вздохнул черноусый, опять оборачиваясь к приземистому.— Всей охраны вместе со мной только четверо. А ежели разбегутся на первом же перегоне? Под трибунал и вас и меня!

— Не разбегутся, товарищ Гиринштейн.— Приземистый брянский встал.— Им бежать некуда. А ежели утикает кто, у нас на всех дорогах заслоны. Не будем, товарищи, терять золотое время! На подходе другие составы.

Все шестеро поспешно вышли на воздух. Киевский старший держал портфель под мышкой. Он вел их, пересекая пути, на ржавый тупик, где стоял состав. Паровоз давно отцепили. В вагонах глухо шумело, хрипело, плакало и стонало. Киевляне, которым было приказано «ходить и не останавливаться», стояли по два человека с обеих сторон в каждом конце поезда. Один держал винтовку в левой руке... Другой стаскивал ее со спины.

— У вас должны быть повагонные списки! — резко сказал Гиринштейн киевлянину, когда прошли весь состав.— Где они?

Киевский старший, не растерявшись, также резко ответил:

— Я, товарищ Гиринштейн, принимал их не повагонно, а поголовно. Киргизов прицепили без моего согласия. За них я, к вашему сведению, не расписывался.

— Без точных списков эшелон не приму.

— Можете не принимать, ваше дело. Буду жаловаться, искать представителя ОГПУ!

— Так ведь мы с ним и есть эти самые представители,— примиряюще усмехнулся приземистый брянский.— Ну? Давай скручивай. Будем считать...

Подскочивший киевский парень долго не мог рас-

крутить проволоку, которой была замотана замочная накидка. Железный дверной полоз был изогнут, дверь не двигалась. Изнутри помогли передвинуть ее в сторону.

Узлы и сундуки едва не посыпались из проема, вагон был до крыши набит народом и человеческим скарбом. Тяжелый запах мочи, залежалых продуктов, отсыревших одежд, несмотря на холод, овеял пришельцев. Женщина, держа одной рукой и узел, и плачущего, завернутого в одеяло ребенка, едва не вывалилась из вагона. Хватаясь за что попало, она кричала, звала какого-то Якима, и ее утянули в нутро. Крики и плач наполовину стихли.

— Ласково просимо! — сказал дюжий мужик, изнутри помогавший открывать двери. Он хотел спрыгнуть, но киевлянин зычно вскричал:

— Молчать! Всем оставаться на своих местах!

Приземистый брянский с трудом забрался в вагон.

Он боком пристроился у проема, двумя руками уцепившись за скобы. Узлы и наволочки, набитые сухарями, мукой, печеным хлебом, матрасы и одеяла, черенки заступов, обшитые мешковиной топоры с пилами — все было сбито в кучу вместе с людьми. Сверху из-под узлов высовывались чьи-то обширные чеботы, из-за груды мешков и узлов слева и справа торчали живые руки и ноги. В одном углу вагона тихо скулило два или три женских голоса, в другом углу надрывно кашляли, в третьем, отдавая последние силы, плакал давно охрипший младенец.

— Больные есть? — крикнул приземистый брянский и утвердился у самого края на крохотном свободном пространстве.— Кто за старосту?

Он не слушал ответных криков, подал руку черноусому, а тот едва не сволок приземистого обратно на снег, но удержался за край двери и звонко спросил:

— Кто грамотный?

— Нема, товарищу начальнику! Тобто ми вже стали дуже грамотни, аж до витру другу добу не ходемо!..

— Пересчитать можешь?

— А чого нас переличувати, ми й так один одного знаемо.

— По фамилиям и количество взрослых членов семей! Бистро! Бистро! — кричал снизу киевский старший.

— Малодуб — шестеро, Степанець — сам девъятый, Литвиновы, Ратько, Пищуха, Митрук да Петренки два, Галина, скильки вас? Та чого на личити? Сорок разив рахували, доки гнали до Киева...

Черноусый крякнул, подобрал полы шинели и спрыгнул. Он, а за ним и приземистый, и киевский старший зашагали ко второму, затем к третьему вагону... Смрадом и вонью из этих вагонов несло еще сильнее, но узлов и мешков почти что не было. На полу и на нарах, застланных немолоченым житом, вплотную лежали, сидели, стояли люди — многие были одеты совсем по-летнему. Одна девушка ехала босиком, пряча ноги в солому и в какие-то тряпки. Гиринштейн с удивлением задержался около:

— Где обутка?

Она ничего не ответила. Она даже не повернулась к нему, но он заметил, что она что-то шептала. Кругом кричали:

— Та, пане начальнику, вона скажена. Як з хати погнали, так и мовчить. А де чеботы, не знаемо, ми шукали, нема чебит...

Открыли еще один вагон. Подражая приземистому, Гиринштейн крикнул:

— Больные есть? Откуда?

— Мелитопольски...

Черноусый откинул сивую голову окоченевшего старика, над которым, тихо качаясь, сидела старуха, наглухо завязанная платком. Она сидела и тихо качалась. Она тоже не обращала на охрану никакого внимания.

— Совсем старый был дидок,— с притворной бодростью сказал старший из киевской охраны и взглядом обвел вагон.— Лет девяносто? Да?

Черноусый повернул голову старика в прежнее положение.

Передача эшелона проходила до полдня, часа три подряд. Сверяли списки одних взрослых. За это время мелитопольцы сняли мертвого старика и положили на снег. Старуха не сопротивлялась, она и одна продолжала тихо качаться. На каждый вагон милиционеры принесли по две бадьи с кипятком. Параши, то есть такие же ведра, были опорожнены прямо на снег, двери снова были закручены проволокой. Сменилась бригада паровозников. Киевская комсомолия уехала попутным грузовым поездом. Вскоре стронулся

с места и принятый Гиринштейном состав, начал нехотя набирать скорость. Только не в сторону Киева, а в леса и в снега, на север, все дальше и дальше.

* * *

Первый вагон, до потолка набитый крестьянским скарбом, казалось, нисколько не унывал, особенно в своем правом переднем углу. Здесь среди подушек и одеял, мешков и ящиков, кто как, на нарах и под нарами, ехали две семьи: Малодубы и Казанцы. Понемногу начали привыкать к новому званию спецпереселенцев (сначала их называли кулаками, потом лишенцами), хотя привыкнуть к вагонному холоду и сумраку было нельзя. Но и все же в этом углу чуялась жизнь. Душой этой компании был сынок Антона и Парасковьи Малодуб, двухлетний Федько, весь укутанный шубами. Деверь Параски, веселый рыжеусый Грицько, тыча пальцем в то место, где был живот племянника, приговаривал:

— Ах ти, бисив Федько! А якього ти, хитруне, класу, а ну скажи. Ты ж куркульського класу, так?

Федько пускал розовым ртом пузырь и отрицательно мотал головой.

— Значить, ти не куркульського класу? А якого ж тоди, невже дворянського?

Ребенок соглашался коротким кивком. Все смеялись.

— Пан, ий-богу, воистину пан!

— Бачишь, не дарма в шуби поиздом иде.

— И челяди у нього пиввагона.

Марфа, свекровь Параски, широкой кости молчаливая старуха, доставала сухарь, совала внуку и тоскливо отворачивалась. Ей вновь и вновь вспоминалось то, что случилось за последние недели. Старый ее муж Иван Богданыч ни за какие посулы не захотел вступать в колхоз. Его уговаривали и так и сяк, упрашивали: и сама Марфа, и сыновья Антон и Грицько. Иван Богданович только отпихивался локтями во все стороны. «Ось и доотпихався, старый хрич!» — в сердцах задним числом ругалась Марфа, но ругалась не вслух, а сама про себя. Она то и дело ощупывала узлы с мукой и печеным хлебом, расстраивалась, что пропали куда-то две пуховые подушки.

Киевским разрешено было брать по двадцать пудов на семью. «А ось мелитопольских везуть, вважай, роздягнутих, ни хлиба, ни муки нема. Куди нас, гришних, везуть, Господи!»

Марфа крестилась.

Никто во всем хуторе не хотел вступать в колхоз, только два или три приезжих голодранца да одна бобылка подали заявление. Остальных загоняли в колхоз наганом. Тех же, кто не вступил, сперва обложили большими налогами, а неделю назад, глухой ночью, из Киева в район пришла депеша. И в ту же ночь из района в сельскую раду прискакал верховой с письменным указанием: немедленно приступить к ликвидации кулачества как класса. Те, кто ничего не успел припрятать, остались голодные и холодные. Отобрано было все, вплоть до огородного заступа.

«И чого вона регоче, безпутна баба? — думала Марфа, глядя в темноту на красивую и веселую невестку Параску.— И ци регочуть... Наче на висилля поихали».

Соседи — и хуторские, и вагонные — были тоже старик со старухой, сын Петро Казанец да невестка Мария. А у той Марии пятеро, один другого меньше... Самой маленькой и трех месяцев нет, а старшему двенадцать годков... Мария то и дело их пересчитывала, стаскивала в одно место, к своим узлам. То и дело она застегивала им пуговицы, увязывала в платки и шарфы и утирала носы. Муж ее Петро подсоблял ей в этом.

— Марийко, а це ж наче не наш. Чи й цей наш? Щось на Пищухинську породу схожий. А хай, згодиться теж...

— А пишов ти до биса! — сердилась жена.— Накопив диток, чого тепер? Куди везуть, що будемо робити, як жити? Ой, лихо мени, лишенько...

Марийка едва начинала подвывать, как Петро трогал ее за какое-нибудь место либо шептал ей какое-нибудь особенное словечко. И плач ее тотчас же замирал, не успевая родиться, и где-то в груди таяла горечь. Марийка опять улыбалась.

— А хто там Пищуху згадав? — отзывался откуда-то из-за узлов и мешков сам Пищуха, сосед хуторянин, тоже такой же многодетный.— Мои вси тут, тильки одного й нема. Це ничого: плюс-минус одна одиниця. Припустимо.

Семейства Митрука и Петренки теснили по боковой вагонной стене, а в другом конце вагона ехали бедные, голодные и холодные мелитопольские. Где-то там, среди мелитопольских, и затерялась Груня Ратько с двумя дочерьми.

— Груня, Явдошка, Наталочко, де ж ви там сховалися? Повзить до нас,— кричала Параска, но те не отзывались. Из-за шума и стука колес ничего не было слышно. Параска сидела на обшитом рогожей и мешковиной ящике со столярным инструментом Ивана Богдановича. Перед тем, как пришли описывать имущество, мужу и деверю удалось спрятать инструмент у родственников. На станцию его привезли те же родственники, тайно погрузили вместе с другими узлами. Сейчас Параска и сидела на этом ящике. Ей казалось, что с этим ящиком не страшен будет никакой север и никакой мороз, это во-первых; а во-вторых, около нее есть три мужика, не считая свекрови, да ее главной кровинушки Федька. Пусть мужики и думают, как там жить...

Груня, Авдошка и Наталочка плакали по очереди. Не успевала затихнуть одна, как начинала другая, затем третья. Они сидели на двух своих небольших узлах, куда Груня успела завязать лишь кое-что из приданого своих дочерей. В основном это были одеяла и рушники. Со всех боков давили на них какие-то шумные мелитопольские тетки, мужики и ребята как бы ненароком натыкались на Груниных дочек. Да и самой Груне то и дело то одну, то другую ручищу приходилось выпроваживать из-за пазухи. Отец и брат этих сестер скрылись неизвестно куда перед самым отходом поезда. Брат успел-таки шепнуть младшей, Наталочке, что они уедут в надежное место, что, как только явится возможность, сообщат свой адрес тетке на хутор около Ржищева...

Мать и сестры Ратько дважды пробовали вместе с узлами перебраться поближе к своим хуторским. Но узлы были так зажаты другими вещами и места так мало, что даже нельзя было пошевелиться. Особенно страдала младшая, Наталочка, горевавшая от стыда при одном запахе поганой бадьи... После Брянска, где человека, унесшего бадью, сопровождал милиционер, где уже никто не стеснялся друг друга, она наконец осмелилась. Бадью поставили ближе к вагонной стенке. Авдошка и Груня одеялом занавесили

свою стеснительную Наталочку. И хотя в вагоне и так стоял полумрак, стук колес и так бы заглушил все остальное, обе начали громко разговаривать с мелитопольскими. Бадью обвязали тряпкой и передали дальше, а Наталочка ткнулась в колени к матери Груне... Особенно стало стыдно, так стыдно, что щеки ее покраснели и налились жаром, когда она вспомнила брянскую остановку, когда черноусый военный долго ее разглядывал и даже улыбнулся. (По девичьей неопытности она не заметила, что разглядывал Гиринштейн не ее и улыбнулся не ей, а ее сестре Авдошке. Та была настолько бойка, что спросила у него, куда их везут.)

Вагон качался и вздрагивал. Колеса стучали на рельсовых стыках. Дети кричали на разные голоса, терпеливое материнское убаюкивание то и дело сменялось облегчающей крикливой руганью: «А щоб тебе! Щоб ти подавився, щоб тоби й не видихнуть!» Кашель, плач, ругань, тихое подвывание и все голоса вдруг разом затихли, когда Грицько Малодуб, усевшись с Петром Казанцом спина к спине, запел старую хуторскую песню:

Пливе човен, води повен,
Та все хлюп-хлюп, хлюп-хлюп.
Ходить козак до дивчины,
Та все тюп-тюп, тюп-тюп...

Они запели так чисто и стройно, так сердечно и тщательно выводили каждый поворот, что к ним вторым голосом тотчас пристроился Антон Малодуб, а за ним не вытерпели ни Пищуха, ни отец с сыном Петренки. А тут и Парасковья Марковна Малодуб подала Федька свекрови, глубоко, во всю грудь вздохнула и начала подсоблять мужу и деверю. Вслед за ней незаметно влились еще два или три женских голоса, а тут песня переметнулась и в другие вагоны. Под стук промерзшего вагонного чугуна как бы вздыхало и разливалось зеленое степное тепло:

Пливе човен, води повен,
Тай накрився лубом.
Ой, не хвастай, козаченьку,
Кучерявим чубом.

Бо як вийдешь на вулицю,
Твий чуб розивьется.
А из тебе, козаченьку,
Вся челедь смиется.

Пливе човен, води повен,
Тай накрився листом.
Ой, не хвастай, дивчинонько,
Червоним намистом.

Бо як вийдешь на вулицю,
Намисто порветься,
А из тебе, дивчинонько,
Вся челедь смиется.

Ой, прийдется ж, дивчинонько,
Намисто збувати,
Та все ж тому козаченьку
Тютюн купувати.

Словно не желая глушить эту обильную, роскошную и широкую южную мелодию, поезд остановился на подмосковной станции. Песня затихла не сразу. Она затихала вместе с поездным шипением и колесным стуком. Холод и снег Подмосковья подступили к составу. И снова то тут, то там по вагонам заплакали дети, забормотали старухи, и скулящий женский вой зарождался во многих местах.

Уже три покойника лежало в третьем вагоне, когда в ответ на крик и плач охрана открыла двери. Черноусый военный приказал закрыть мертвых мешковиной или соломой. После чего он вновь обошел весь состав. Сейчас его никто не сопровождал. Он открутил проволоку, откинул защелку на первом вагоне, откуда только что слышалась песня. Напрягшись, подвинул дверь.

— Поем? Правильно, граждане! Уж лучше петь, чем реветь в голос. Москва скоро. А Москва, сами знаете, слезам не верит...

— А потом куди нас, товарищу начальник? — Грицько был всех ближе к выходу.— Кажуть в тайгу. Та ви залазьте до нас, товарищу начальник...

Гиринштейн, взявшись за скобу, закинул шинельную полу, поставил ногу в хромовом сапоге на лесенку и легко запрыгнул на свободное место в вагоне.

— Тифозные есть?

— Живем поки.— Иван Богданович Малодуб, кряхтя, отодвинул кривые свои сапожищи.— А чи довго будемо живи, видимо одному Господу...

Он, этот черноусый военный, явно искал глазами вчерашнюю черноглазую. Авдошка Ратько сразу это почуяла и выглянула из-за кучи узлов.

— Вы... как вас? — Черноусый еле-еле не покраснел.— Идемте со мной... Получите кипяток и варево.

Авдошка проворно выпросталась к дверям и сама хотела спрыгнуть на снег, но военный помог ей, подал обе руки.

— Ой! Господи, хоч витерцем свидим подийхати.

— Замерзла? — Черные усы Гиринштейна поехали вверх кончиками.

— Ни! Я горяча...

На ней был темный плисовый казачок с борами, самодельные, не фабричные сапоги и шерстяная коричневая фата.

— Дивись, Явдохо, не пидкачай,— крикнул Грицько.— На тоби все передове завдания!

— Тепер не пропадем! — послышалось из вагона.

— А чому вин Явдошку вибрав?

— Не всих одразу, дойдемо и до инших.

— Груня, Наталочко, ну що ви засумували? Никуди вона не динется, зараз прийде...

И впрямь, Авдошка появилась через двадцать минут. Она, как воду с криницы, на палке принесла два десятилитровых ведра. В ведрах был горячий гороховый суп.

— Оце так Явдошка, ой молодець дивчина,— хвалил девку Петро Казанец.— Я такого супа й дома три роки не ив.

— Ти що говриш, бисова харя? — взметнулась на него жена Мария.— Ти що мелеш дурним своим язиком? Ось визьму палку, та по шии, бугай недоризаний! Та я такий поганий суп и сворбать не буду и тоби не дам!

И Марийка под смех хуторян плеснула содержимым своей алюминиевой кружки на вагонную стенку, хотела, наверное, прямо на растерявшегося Петра, да быстро одумалась.

...Гороховый суп сделал короче долгие мытарства на Окружной и дорогу до Вологды. Никто в первом вагоне не заикнулся, никто не хотел вспоминать о том, что в третьем телятнике ехало три тифозных покойника. А может, уже и не три, а тридцать три... Или их сгрузили в Москве? Никто ничего не знал. «Овечка» тихо, но настойчиво тянула за собой хвост из одиннадцати вагонов. Правда, одиннадцатый, набитый молчавшими малахайными киргизами, был бесхозный. Гиринштейн имел право отцепить этот ва-

гон на любой остановке, поскольку за киргизов не отвечал и не расписывался. Но почему-то даже в Москве он не сделал этого.

V

Вологда встретила двадцатиградусным холодом, настоянным на угарном запахе горящего антрацита. Белая снежная перхоть медленным сеевом опускалась на крыши теплушек. Большие плоские кристаллики инея опушили железо. Состав затолкали на крайний путь и отцепили от паровоза. Паровоз ушел. Трое охранников ходили вокруг состава, пока черноусый начальник бегал куда-то на станцию хлопотать о новой паровозной бригаде. Он вернулся часа через полтора.

— Товарищ Гиринштейн, скоро поедем? — поколачивая о мерзлую землю валенками, спросил один из охранников.— В седьмом вагоне два покойника!

— Как? В седьмом? — вскинулся Гиринштейн.— Немедленно открыть вагон!

Начальник отвернулся, когда открыли вагон и под крики и плач женщин начали стаскивать новых покойников. Их положили рядом на межпутье. Вагон снова закрыли, и, как это ни странно, он сразу стал затихать. Точь-в-точь пчелиный улей, успокоенный двумя-тремя вздохами дымаря в руках опытного пчеловода.

Гиринштейн вздохнул и послал одного из охранников искать носилки...

Он подошел к первому вагону, опять, как вчера, открыл тяжкую полужелезную дверь. Пассажиры зашевелились.

— Явдоха? — нарочно и громко закричал Антон Малодуб.— А де вона сховалася ,наша Явдоха?

Но Авдошка как тут и была.

— Ну... Берите бадью да за кипятком! — сказал Гиринштейн, краснея. В вагоне одобрительно загудело. Авдошка стыдливо зажимала в коленях свой багряный с зеленой наподольной оторочкой сарафан. Опять, как и тогда под Москвой, она не могла осмелиться прыгнуть. Черноусый начальник расставил руки, сзади ее толкнули, и она, стараясь не завизжать, полетела прямо на черноусого. Он поймал ее и

поставил рядом. Сверху подали две пустые бадьи. Гиринштейн хотел задвинуть ворота, но раздумал.

— Гляди тут...— бросил он подошедшему охраннику и повел Авдошку к вокзалу.— Что, испугалась?

— Ни! Я смелая! — так же, как тогда под Москвой, засмеялась она. Сноп золотых сверкающих искрящихся блесток из ее карих горячих глаз осыпал черноусого.— Я и даже больших командиров не боюся...

— Ишь ты. Не боится она... Неужели ничего не бывало страшного?

— Ни! Тильки мышей.

— Ну, мышей-то и я побаиваюсь.— Военный засмеялся.

— Правда? — обрадовалась Авдошка, отчего даже остановилась.

— Правда,— сказал он, поравнявшись с ней.

— Та якие у вас в городу мыши? У вас там и гумна нема. И снопов тоже не треба.

— Нема в городу снопов,— согласился он.— Только...

Она видела, как он спохватился, замолчал и ускорил шаги.

Ловко помахивая ведрами, Авдошка бежала за ним то слева, то справа. Она так и сыпала на него своей украинской мовой. На ее щебечущий голосок люди оглядывались и улыбались.

Около водоразборной будки, вся в пару, волновалась очередь за горячей водой. Военный раздвинул всех, набрал две бадьи кипятку, вынес из толпы и подал Авдошке.

— Унесешь ли? — усмехнулся он и еще раз оглядел всю ее ладную, даже форсистую фигуру.— А то подсоблю.

Она возмущенно хмыкнула.

Вагон номер один встретил две бадьи кипятка вполне одобрительно. Авдошка подала воду наверх, а сама не стала спешить в вагон. Военный слегка задвинул двери. Он отошел и встал за вагонным торцом, прислонившись к буферу. Кивнул ей, она подбежала. Он оглянулся и вдруг положил обе свои руки в перчатках на плечи ее плисового казачка.

Вокруг никого не было. Авдошка с радостным испугом взглянула на него снизу вверх. Сердце у нее так и замерло. На нее пронзительно и печально смот-

рели глаза военного, такие синие, синей, может, и самого синего неба, какое бывает в летний безоблачный полдень.

— А як же тебе звати, миле...— сказала она и не договорила, он уже коснулся усами ее лица и вдруг крепко-крепко прижался щекой к ее щеке, потом оттолкнул, но не отпустил ее плечи.

— Петром зовут,— сказал он сдавленно.— Поцелуешь меня? Когда в другой раз свидимся, обещай...

— Ой... та де ж я вас зустрину... Може, помру, як той дид... Куди нас тягнуть? Там холодно?

— Там — холодное море. Беги... Иди в свой вагон... Стой! Беги лучше за мной...

Он метнулся в одну сторону, затем в другую, подбежал ко второму вагону. В конце состава пыхтел маневровый, неспешно надвигаясь на бесхозных киргизов.

— Стой, Авдошка...— Он, видимо, лихорадочно что-то соображал.— Ты когда именинница? В марте? Евдокия замочи подол, зажги снега...

Авдошка в недоумении поглядела на свой подол.

Багряный ее сарафан с зелеными узорами по подолу и впрямь словно бы полыхал среди этого железа, среди прокопченного серого снега.

— Да! — Военный бросился в другую сторону.— Еще у нас примета была. Ежели на Евдокию курица воды напьется, на Троицу корова травы наестся. А там... Там, голубушка, будет еще холодней... Хочешь остаться здесь?

Авдошка молчала в недоумении. Он вдруг метнулся к сцеплению. Он долго с натугой скручивал какой-то винт, затем подставил плечо.

— Подсобляй! Мать-перемать... Да тихо... чуешь? Так. Ну?

Вагон отцепился. Начальник побежал к паровозу, но тут же вернулся, раскрыл полевую командирскую сумку. Вытащил клок бумаги и карандаш, быстро что-то написал и подал записку Авдошке.

— Бери! Тут адрес, никому не показывай. Зайдешь, когда придет возможность. Спросишь...

Он закрыл сумку и так же быстро, не оглядываясь, побежал к паровозу.

Авдошка не успела осмыслить случившееся: вдоль по всему составу прошел оглушительный лязг, второй вагон дернулся, и весь состав сначала тихо, потом все

проворнее начал удаляться от первого вагона. Маневровый паровоз выводил поезд на главный путь, чтобы ехать дальше, туда, к холодному Белому морю. Авдошка хотела бежать вслед, но тут же очнулась, остановилась... Первый вагон стоял в одиночестве. Она расстегнула под казачком сарафан, сунула записку под лифчик. Она долго стояла не шевелясь, стояла, пока не начали замерзать руки в варежках. Она сняла одну варежку. Варежка упала к ногам.

...Когда Грицько осторожно, плечом отодвинул дверь настолько, чтобы можно было пролезть, вокруг была безлюдная тишина. Лишь со стороны вокзала слышались редкие гудки, шипение паровозов и крики сцепщиков, махавших своими желтыми фонарями. Еще больше удивился Грицько, увидев плачущую Авдошку. Слезы не успевали скатываться и сморaживали ее длинные черные ресницы, плечи вздрагивали.

— А це що ж за кавалери пишли? — высунулся Грицько.— Заманив дивчину, а сам втик. Де начальник? Хлопцы, та ми ж выдчеплени...

Мужики поочередно начали вылезать из телятника. Некоторые женщины разворачивали одеяла, тоже выбирались на свет. Авдошка молчала.

— Видно, шестерьонка якась зипсувалась, ось и видчепили,— сказал кто-то из мелитопольских.

— Яка тут шестерьонка?

— Чорновусый кинув геть.

— А може це накраще, братци? Явдоха, скажи свое слово!

— Ах ти, та не журися, Явдоха, за цими вусами! Воно сльозы в ней як горох.

Что было делать? Мужики долго советовались. Грицько и Антон Малодубы вызвались идти искать какого-нибудь начальника. Но едва Антон и Грицько спрыгнули на снег, как новый, только что прибывший состав из Ростова, выкатываемый на этот же путь, начал медленно приближаться, заполнять пространство, и вдруг сильный толчок сбил все планы Грицька и Антона. Железнодорожник стоял на площадке в конце нового состава. Он спрыгнул, засвистел, помахал замызганным табачного цвета флажком и побежал отцеплять паровоз. Вдоль состава бежали милиционеры и военные с винтовками, за ними следом, на незначительном расстоянии, шла группа в гражданском.

Вагон из Киева затих в тревоге. Безвестное буду-

щее вновь обрывалось перед людьми, обрывалось бездонной и жуткой своей пропастью...

Ростовский состав, а заодно и киевский вагон, ставший бесхозным, были мгновенно оцеплены. Комиссия или группа начальства шла прямиком и остановилась напротив.

— Эт-то что такое! — сказал один из гражданских.— Двери? Почему не замкнуты? Где начальник состава?

— Товарищ командир, это не наш вагон,— подбежал ростовский сопровождающий.

— Что значит не наш? Не наших вагонов нет и не может быть. Товарищ, как вас там...— Он обернулся в другую сторону.— Начинайте.

Другой начальник приказал охране открыть двери. Люди в вагоне безмолвно ждали, что будет дальше.

Начальник сдвинул на бедро тяжелую кобуру, подтянул перчатки и отчетливо скомандовал:

— Всем взрослым мужчинам с вещами — сюда! Живо, живо, това... Вы слышите, граждане? Только одни мужчины!

Шевеление и первые возгласы нарастали в вагоне.

— Ну? Сколько же можно ждать? — крикнул другой, в черных высоких валенках и в полушубке, тоже перетянутом широким командирским ремнем.

В вагоне зашевелились, заговорили, заплакали сразу несколько женщин.

— Спокойно, спокойно! — крикнул тот, кто был гражданским.— Объясняю: мужчины отделяются от вас временно. Они будут направлены на рубку леса и строительство! Ясно ли говорю, товарищи куркули?

Оратор пытался шутить и, довольный, оглянулся на сопровождение.

— Ясно! — послышались голоса.

— А симейства куди?

— Ми готови...

— Тильки куди? Ще далеко?

— Семейства, граждане, остаются здесь, в Вологде, до навигации! — кричал оратор.— Живее, граждане, говорю убедительно!

Грицько Малодуб наскоро обнял отца и мать и первый спрыгнул на снег. За ним прыгнул Антон.

Вскоре все мужики, схватив что попало из еды и одежды, наскоро попрощавшись, начали прыгать на

бровку. Бабьи крики и женский плач усиливались, но начальство уже переместилось к другому вагону — к ростовскому. В ту же минуту киевский вагон закрыли, заперли. Мужчин построили в одну шеренгу.

Детский плач и женские причитания не стихали в вагоне. Последние наказы через стенку, слова утешения, крики конвойных и паровозные сливались в сплошную разноголосую звуковую путаницу. Группа киевских мужчин, пристроенная к первой партии ростовских, была уведена под конвоем в сторону вокзала. Начальство шло дальше от вагона к вагону. Открывались двери, и везде начиналось то же самое: крики, плач, возгласы. У каждого вагона получался небольшой митинг. Оратору пришлось выступать столько раз, сколько было вагонов. Только стоял оратор не наверху, а внизу, и ему приходилось задирать голову, и массы, к коим он обращался, взирали на него и задавали вопросы сверху, как бы с трибуны.

Все путалось в мире и вставало с ног на голову.

* * *

Параска, обессиленная, сунулась на зашитые в мешковину тяжелые упаковки, сердце совсем зашлось и билось часто-часто. Во рту пересохло, в ноги бросилась какая-то нежданная слабость. С той самой минуты, когда муж Антон спрыгнул вниз и двери вагона закрылись, и стало опять темно, время для нее начало то останавливаться, то пятиться в прошлое, и многое из того, что она говорила и делала, улетело бесследно. Она помнила только, как подала свекрови закутанного в одеяло Федька и начала таскать узлы из вагона к тому месту, где их ждали подводы. Возов для всех не хватало, местные ездовые бегали вокруг перегруженных розвальней, просили остановиться, не класть, но возы росли и росли, и наверх громоздились еще старухи и старики с грудными и малыми, тогда возчик бил вожжами по лошади, либо отъезжал, либо спихивал груз.

Пока свекор Иван Богданович караулил багаж в вагоне, Параска кое-как отправила на подводе свекровь с Федьком да еще успела сунуть к ней узел с мукой. Сама побежала за другой поклажей, а когда притащила узлы, подводы с Федьком и свекровью уже не было. Параска взревела было на весь вокзал. Но

ее успокоили другие возчики, сказали, что свезут туда же, и вот она оставила узел Авдошке и опять побежала, теперь уже за ящиками и за свекром. Они оба на плечах притащили тяжесть к подводе. Иван Богданович сумел погрузиться с узлом, где была сложена одежда, а тяжелые ящики и Параску никто не взял, и вот она, едва живая, сунулась на эти ящики. «Господи! — мысленно, а может, и вслух, то и дело повторяла она.— Господи, не оставь моего сынка. Господи, Господи, не оставь...»

Когда слабость в ногах и бедрах прошла, а сердце начало тукать ровнее, она взглянула вокруг и удивилась: где она очутилась? Вокруг площади стояли незнакомые деревянные двухэтажные дома с резьбой на крылечках и окнах. На крышах нахлобучены белые снежные шапки. Она догадалась, что где-то близко вокзал, вспомнила поезд и вдруг зарыдала, затряслась, упала на свою тяжкую, лежащую на снегу поклажу... Кто-то осторожно потряс ее за плечо. Она сквозь слезы увидела старичка в заячьей шапке и тулупе. «Ты што, девка? — послышалось ей.— Пошто э-та ревишь-то? Ревела бы дома».

А дальше у нее снова образовался провал в памяти. Мужик в тулупе отвез ее прямиком в тюрьму, которая стояла на берегу реки и называлась Московской. Параска запомнила только высокую стену да широченные ворота, за которыми копошились бабы, детки и старики с ростовского поезда. Параска издали увидела свекровь, сидящую на узлах, но Федька на руках Марфы не было, она забыла и про старика в тулупе, и про поклажу, бросилась на тюремный двор, к свекрови.

Слабость опять начала опускаться в ноги, но Федько спал между двумя мягкими и теплыми узлами. Иван Богданович пробовал рассчитаться с тулупом, которого пропустили прямо в ворота, но старичок ничего не взял, только прибежал опять, когда охранник не стал выпускать его за ворота: «Выручите, пожалуйста!»

Старичка в тулупе выпустили. Ночью в тюремном подвале Параска пришла в себя. Здесь оказалось теплее, хотя на стенах и в желтом свете электрической лампочки поблескивал иней. Так же, как и в вагоне, было тесно от узлов, только теперь не было мужиков, и все люди перемешались: ростовские, киев-

ские, мелитопольские. Плакали дети, кое-какие старики и старухи лежали ничком, прямиком на полу. Правда, пол был все-таки деревянный, и Марфа развязала узел, разостлала два стеганых одеяла. Федька устроили потеплее. Иван Богданович, перелезая через чужую поклажу и перешагивая через людей, направился искать отхожее место... Въяве или в задымленной памяти звучала сердечная песня? Откуда летели к Параске поющие голоса Грицька и Антона?

Пливе човен, води повен,
Тай накрився листом.
Ой, не хвастай, дивчинонько,
Червоним намистом

Голоса деверя и мужа Антона летели к ней издалека. Плач ребенка оборвал те голоса, но она, в тревоге и в страхе, никак не могла проснуться. Тяжкое забытье и тьма, словно сама смерть, обвалились на нее и поглотили... Изо всех сил старалась Параска встать и бежать к сынку, а ноги были как не ее, никак не слушались, и вот она встала на четвереньки, чтобы ползти, но и руки тоже не слушались. «Господи, Господи...» — опять твердила она во сне и пыталась ползти на сыновий голос.

Пришло утро, людей по пять человек с детьми начали выпускать из подвала, переводили в другое место. В подвальном этаже стало чуть посвободнее. Появились бачки с водой, народ шевелился. Память Параски из течения новых времен вырывала кое-какие картины, выделяла из небытия и кошмаров. Вот после нескольких дней и ночей явился какой-то новый начальник и потребовал: каждый должен написать и сдать ему объяснение, в котором нужно подробно указать социальное положение, когда и за что осужден или арестован. Это, мол, требуется для того, чтобы дело пересмотреть и отпустить ни в чем не виновных. Он сказал это, а сам ушел и ни карандаша, ни бумаги не дал, а что тут поднялось в тюремном подвале! Параска худо помнит... Свекор встрепенулся утренним кочетом. Начал шарить карандаш и счетоводную книгу — запаслив Иван Богданович! Эту чистую книгу успел прихватить на всякий случай.

— Я казав, що нас дарма разкуркулили,— говорил он.— Ни в чем ми не шли против советской власти!

И тут же, мусоля химический карандаш, начал писать заявление.

Через минуту ничего не осталось от той счетоводной книги! За каждый лист совали свекру то последние деньги, то последние сухари, он деньги отталкивал, но вырывал и раздавал листы в чьи-то руки, пока от книги не осталась одна картонка.

Груня Ратько, вся в слезах, отвернулась от Малодубов:

— Хиба мало ми вам добра зробили?

Никто из троих — ни Груня, ни Наталка с Авдошкой не могли осмелиться написать хотя бы одно слово, и свекор Иван Богданович на этой последней оставшейся от книги картонке долго корябал за них объяснительную. Бумаги, собранные в одну кучу и унесенные начальником, канули навсегда. Женщины забыли о них, помнил один Иван Богданович...

После бани, которую спецпереселенцы встретили будто светлое воскресенье, их начали переводить из Московской тюрьмы по разным местам. Малодубы разлучились с Петренками. Груню Ратько с ее дочерьми увозили первыми: девчата рыдали навзрыд, прощались как навсегда. Говорили, что их переводят в Прилуки. Семейства Малодубов и Казанцев перевозили тоже на другой берег, в церковь Андрея Первозванного. Свекровь умудрилась сложить поклажу на одну подводу. Высокий рыжий бородатый мужик, сам, видно, из заключенных, погрузил ящики и узлы, густющим своим басом рыкнул на лошадь. Он провез их по льду реки к паперти одноглавого храма. Перекрестился, Марфа отдала ему сухую, как камень, гулыгу подового хлеба.

— Не откажусь! — поблагодарил возчик, загребая в рукавицу широкую рыжую бородищу.— Поелику слаба плоть человеческая...

Он спрятал ковригу на груди, под грязный ватный пиджак, подпоясанный ремнем, отчего стал еще толще. Огляделся вокруг и помог затащить инструмент на паперть.

Широкий настил из свежих досок тянулся от правого клироса и от левого до самого схода с паперти.

Вначале было хоть и холодно, но совсем просторно. Воздух был чистым, только уже через два дня в храм набилось густо, и люди ночевали впритык. Параска смутно помнила, как носила бачки с кипятком и какое-то картофельное холодное варево. Вскоре открылся тиф... Каждый день кто-нибудь умирал, и по-

койников выносили из храма на паперть, и тот самый рыжий здоровый возчик складывал мертвых на розвальни, прикрывал сеном и увозил на Горбачевское кладбище.

Приходила женщина в белом халате. Она отбирала тифозных и с тем же рыжим отправляла в больницу. А Иван Богданович все ждал и ждал ответа на свою объяснительную... Однажды, лежа под старым, но теплым кожухом, он тяжело задышал и попросил Параску потрогать голову. Она сдвинула шапку, положила ладонь на его широкую лысину: голова свекра была совсем горячая. Иван Богданович все понял и заплакал: «Не говорите, ради Христа... Не отправляйте в больницу. С вами-то я поправлюсь...»

А эшелоны, видать, все прибывали в Вологду. Параска кормила Федька мучной болтанкой, когда в церковь нахлынуло, сдавило со всех сторон, захлестнуло голодным и злым народом: тут были и мужики, и евреи. Она знала, что из города богатых евреев трогали редко, а по хуторам под горячую руку кое-кого загребли, только им разрешалось увозить сколько хочешь поклажи. Они откупали целиком вагоны, и везли те вагоны почему-то отдельно, с пассажирскими поездами...

Однажды женщина в белом халате остановилась около Ивана Богдановича. Притворяясь здоровым, он бодро вскочил с нар, но она велела ему поднять рубаху. Он попробовал даже отшутиться, тогда она сама задрала подол его клетчатой домотканой рубахи. На белом, втянутом под самые ребра животе не густо, но ярко краснела сыпь... Он заплакал, прощаясь. Свекрови разрешили проводить его до больницы.

Параска плохо запомнила и то утро, когда снова, в который уж раз, волочила тяжелые укладки с инструментом и узлы, как свекровь, оставив ревущего Федька на возу, прибежала ей помогать, и оттого они разругались с ней, разругались впервые за все время Параскиного замужества.

Их перегоняли в Прилуки. Возчик был тот самый, рыжий бородач, который перевозил их из тюрьмы в церковь Андрея Первозванного. Только лошадь и дровни оказались иные. Вожжи он использовал на то, чтобы перевязать воз, и лошадь ему пришлось вести под уздцы.

Охрана конных стражей сопровождала до самого монастыря. Конвоиры отгоняли в стороны любопытных мальчишек, сердобольных старух и женщин. Народ выходил из домов. Было видно, как охранник отпихивал с дороги женщину, которая хотела дать что-то двум еле бредущим старикам. Их везли на многих подводах, кое-кто шел сам, многие падали. Параска несла Федька на руках, на возу ехала ослабевшая свекровь. Параска думала только одно: как бы за что-нибудь не запнуться да не упасть, да не уронить свою ношу, да добраться до нового места — а там опять будь что будет... Только за что же, за что посылает Господь такие страдания и муки? И время опять кидало ее далеко назад. В глазах плыли то зеленые хуторские нивы, то золотые маковки Киевской Лавры. После свадьбы, на масленице, деверь Грицько возил ее и Антона в Киев. Тогда и нагляделась Параска всего до всего: главы соборов плавились от золотого предвесеннего солнышка, они просто купались в бирюзово-синем небесном раздолье. Воробьи, встречая весну, чирикали на дорогах и в подворотнях. Под крышами урчали голуби. Только что же это такое? Соборные маковки стали вроде не те, и не те чирикали воробьи. Под ногами катались мерзлые конские катыши, скрипели полозья, и Лавра была вроде не Лавра... Падает снег, соборные маковки душит серое беспросветное небо.

Прилуцкий северный монастырь встретил Параску холодным ужасом. Она подала ребенка свекрови и скинула с подводы узлы, сковырнула ненавистные ящики и начала их таскать на паперть. Попробовала таскать в собор, но внутри храма негде было ступить.

На крутых холодных ступенях соборной паперти силы совсем ее покинули. Память, еле до этого брезжившая, растаяла, и Параска провалилась во тьму.

Она пришла в себя от детского плача и бросилась, как затравленная, в сторону плачущего ребенка. Только это плакал чужой младенец. У нее что-то обрушилось внутри от страха за исчезнувшего со свекровью Федька. Где? Куда их спрятали от нее? Крик еле не вырвался из горла. Этот утробный материнский вопль оборвался в самом начале.

— Влекитесь за мной! — послышался мощный бас, и Параска увидела над собой рыжебородого возчика. Он легко взял под мышки два тяжелых ящика

с инструментом и провел ее через крытые переходы в обширную монастырскую трапезную, тоже заполненную женщинами, стариками и детьми всякого возраста.

Параска бросилась к свекрови и сыну. Она совсем позабыла про возчика. Но поп Рыжко и сам тотчас забыл про нее.

* * *

Ноги Николая Ивановича, обутые в широкие как мешки растоптанные и кое-как стоявшие во ставу валенки, ступали в редкие промежутки между телами, грозя раздавить чью-либо сморенную голову. Ватный пиджак, подпоясанный солдатским ремнем, был под стать валенкам: такой же обширный и так же обметанный ледяным панцирем. Шапка была явно мала и не вмещала большую рыжую голову...

Николай Иванович выбрался наконец из кричащей, плачущей, шевелящейся трапезной. Только на морозе запах сквозного поноса отнюдь не исчез, а стал еще пронзительнее. Тиф гулял по монастырю в одном строю с дизентерией. «Перемешалось дерьмо и толокно,— подумал Перовский, оглядываясь и не находя свою лошадь с дровнями.— Уже разверсты врата преисподней... Да чем лучше поверх-то земли?»

«Поверх земли» бесчинствовал холод, розовый горизонт опускался за монастырские стены, и ночной сумрак уже нарождался под сенью юго-западных стен. Могучие угловые башни безмолвно громоздились вокруг собора и трапезной. Кресты, подернутые морозною сединой, бросались в глаза как ни повернешься. Николаю Ивановичу пришлось пересиливать косность и перекреститься. А ныне после крестного знамения каждый раз нарождалась в нем скорбь, раньше неведомая, и он чуял смуту душевного раздвоения.

Монастырь являл собой странный, как бы не совсем и здешний образ: собор стоял посреди человеческого кала, горящих костров и каких-то жалких пожитков. В кострах горели надмогильные кресты и лестничные перила, ступени церковных папертей и монашеских келий. На смотровой башне, как в смутные времена, перетаптывался воин, смотрящий, но выглядывал он не наружных врагов, а обитателей

внутренних. У красных, едко дымящих пожогов шевелились какие-то детки и старики, востроглазые хохлушки перегаркивались между собой на своем не очень сурьезном, как показалось Перовскому, наречии. Часовня и склеп богатого вологжанина были растворены, каменные надгробия, железные кресты и мраморные обелиски коптились в дыму.

Николай Иванович нашел повозку, подвел к монастырскому пруду и напоил из проруби лошадь. Затем он передал повозку с рук на руки знакомому красноармейцу.

— А чересседельник-то где? — возгласил парень.

Николай Иванович только руками развел. Чересседельник исчез, пока Перовский помогал выселенке заносить поклажу.

— Ладно, иди! — смилостивился красноармеец и без чересседельника выехал за охраняемые ворота.

Перовский зашел в дежурку, где его кормили отдельно от охранников. Он съел большой кусок ситного с холодными, сваренными в мундирах картофелинами. Выпил кружку горячей воды и отправился на ночлег.

Вот уже третью ночь он ночевал в соборе у северных клиросных врат, на досках. Как же попал он в Прилуки? За угон паровоза его судили во второй раз, и во второй раз он был послан грузить бревна. На станции Семигородней отец Николай прижился было совсем хорошо, но его неожиданно увезли в Вологду и дня три держали без дела в тюрьме. На четвертый его вызвал начальник и оставил наедине с другим начальником. Этот второй был не кто иной, как Ерохин. Тогда Николай Иванович сразу признал его и словно обрадовался:

— Доброго здоровья вам... Нил Афанасьевич, если не ошибаюсь?

— Ошибаетесь! — Ерохин резко задвинул ящик стола.— Я вам не кум, не сват, а гражданин начальник...

Да, Ерохин был, как прежде, начальник, только теперь в форме чекиста. Не ахти какой чин, на воротнике гимнастерки всего два треугольника, но поп знал уже, что чем меньше чин, тем больше охота командовать. Ерохин с полчаса читал ему акафист насчет момента. Он закончил неожиданным предложением: из тюрьмы выйдешь и будешь жить в При-

луках на красноармейском пайке! Но при условии: ночевать вместе с высланными...

Николай Иванович, не долго думая, согласился, и Ерохин закончил разговор совсем по-домашнему:

— Дадим тебе лошадь с повозкой. Запрягать-то умеешь?

— Мне не управиться! — Отец Николай почувствовал что-то не то.

— С паровозом управился, а с лошадью тем более управишься,— засмеялся Ерохин.— Шалить не будешь? Гляди, дурака не валяй.

— А ежели убегу?

— Пуля догонит!

— Как она догонит, ежели я по лошади хлесть — и был таков?

— Учти, Перовский, прямо летит не каждая пуля. Иная зигзагой...

И Ерохин, водя ладонью, показал, туда, мол, сюда, а отец Николай расхохотался и сказал утробным своим басом:

— А чем так жить, Нил Афанасьевич, так лучше копыта откинуть. Пусть догоняет! Хоть прямо, хоть зигзагой...

Сегодня, засыпая на досках, Николай Иванович вновь дословно припомнил тот разговор с Ерохиным. Он давно понял, почему его взяли из Московской тюрьмы и поселили в Прилуках. Время от времени его вызывали в город в другой — Духов монастырь и спрашивали, кто по ночам отпевает в Прилуках покойников. Николай Иванович отшучивался:

— Товарищи, мне ведь на два монастыря не под силу! У меня и так тяжкая должность: возить покойников. Каждый день десятка по два-три, ну чем я не Харон? Только у того ладья, а у меня дровни! Переведите обратно...

Обратно? Он знал, что обратных путей у него нет и не будет. В любой час тифозная вошь либо дизентерийный микроб, либо та же пуля, что летает «зигзагой», остановят его земной путь. А вот что будет потом, отец Николай все еще не знал...

В соборе было холодно, стены заиндевели, человеческий муравейник не стихал круглые сутки. Круглые сутки скрипели, грохотали железные двери, круглые сутки плакали дети, стонали старые люди, и круглые сутки витал под сводами запах жидкого ка-

ла. Время, словно остановленное под этими сводами, иногда — тоже «зигзагой»! — срывалось в далекое прошлое, и отец Николай явственно слушал, как пели сорок монахов, заживо сжигаемые в деревянном Прилуцком храме. То были тоже смутные времена. Литва и русские воры ходили по деревням, насиловали жонок, отбирали скотину и рубили головы мужикам. Один Кирилловский монастырь устоял... Либо слышал вдруг отец Николай зимний скрип многих полозьев: то въезжал в монастырь большой московский обоз. Москва-матушка горела и шаяла, наполеоновские гренадеры патрáшили в первопрестольной, а сюда, в Прилуки, въезжал обоз. Несчетные вороха царской казны, несметные богатства православных московских церквей были отправлены сюда, в Прилуки, и хранились тут, пока Москва, как птица-феникс, не восстала из пепла. А ныне-то где те сокровища русские? Они рассыпались по лику грешной земли, плывут за море, звенят и блистают в чужих подворьях. Из одного Кириллова утянуто две баржи и неизвестно куда... А он, грешник, не верил патриарху, когда тот взывал к христианам в своем первом послании: «Тяжкое время переживает ныне святая православная церковь Христова в Русской земле. Гонения воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово и вместо любви христианской всюду сеять семена злобы, ненависти и братоубийственной брани...»

Послание патриарха Тихона стояло в глазах и сейчас. Та бумага давно пожелтела, выброшена. Имел ли он, Перовский, право не читать патриаршее послание шибановским верующим? Нет, не имел... «Благодатные таинства, освещающие рождение на свет человека или благословляющие супружеский союз семьи христианской, открыто объявляются ненужными, излишними; святые храмы подвергаются или разрушению, или ограблению и кощунственному оскорблению; чтимые верующим народом святыни захватываются безбожными властителями тьмы века сего и объявляются якобы народным достоянием...»

«И впрямь народное достояние...» — подумал Николай Иванович и повернулся лицом к развороченному алтарю. Под ним скрипнули доски разломанной солеи. Соседи — два старика и две старухи — тоже зашевелились, закашляли. Даже ноги для отдыха

нельзя было вытянуть, такая была теснота, но усталость брала свое. Почему же он, Перовский, так и не прочитал с амвона послание патриарха? Хотел как лучше... Нет, не боялся Игнахи Сопронова, хотел как лучше. Не верил Его Святейшеству, верил себе. А он, Тихон-то... Своей ли уж смертью почил? В Питере вон, там ведь многие стреляны были... Новые иерархи объявили святым Иуду апостола... Он, Перовский, в стане живоцерковников... Да и Во Христа-то уже веришь ли? Но коли Бога не было, так нет и Диавола. Тогда следы-то диавольские повсюду откуда взялись? Как он смущает тебя, враг истины, царь тьмы! Уже и молитвы заставил забыть, отучил и от любимых псалмов.

Отец Николай начал мысленно произносить символ веры и произнес без запинки, но на добавлении от второго собора он сбился и безмолвно заплакал, терзаемый страхом... Быть может, он продлевал свои дни предательством православия, подобно живоцерковникам и обновленцам? Бесам служи — долго живи. Богу не нужны такие, как он. Иерофей — епископ Великоустюжский и викарий Вологодский убит в голову при аресте, когда народ не дал его в обиду. Это он — епископ Иерофей — не пожелал подчиниться митрополиту Сергию... А ему, Перовскому, и подчиняться не требовалось. Господи!

Николай Иванович, изо всех сил борясь со сном, попробовал вспомнить девяностый псалом, но тяжесть и мука обступили его. Тогда он начал шептать из того, что вспомнилось: «...несть исцеления в плоти мой от лица гнева Твоего, несть мира в костех моих от лица грех моих. Яко беззакония моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне. Воссмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего... Господи, пред Тобою все желание мое и воздыхание мое от Тебя не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя сила моя и свет... Врази же мои живут и укрепишася паче мене и умножишася ненавидящие мя без правды... Не остави мене, Господи Боже мой, не отступи от мене. Вонми в помощь мою, Господь спасения моего...»

Отец Николай провалился в тяжкий необлегчающий сон.

В середине ночи, может, под утро, бывал в соборе короткий временной промежуток, когда тишина сле-

тала на людской муравейник и ненадолго, отдохнув от страданий, замолкали младенцы, засыпали измученные матери, замирали в различных позах спящие старики. И часа полтора под высокими куполами истаивало отрадное успокоение, и как будто в эти минуты веяло откуда-то родимым теплом. А может быть, это витала человеческая надежда. Тот, кто доживал до этого промежутка, уже не умирал и доживал до следующего утра, а тот, кто умирал, так и лежал безмолвно, ничем не отличаясь от спящих, пока сердце близкого не вздрагивало во сне. Смерть близких будила спящих рядом, и тогда то в одном месте, то в другом тихонько слышался сдавленный плач или несильное подвывание. Перовский слышал эти звуки каждую ночь и по ним знал, из какого соборного угла понесут завтра поклажу на его розвальни.

В эту ночь, сквозь мучительное желание какого-то раскаяния, сквозь неутоленную жажду сделать что-то очень необходимое, отец Николай увидел четкий, но совершенно бессмысленный сон. Будто он идет по крыше Евграфа Миронова вдоль по князьку. Крутая крыша, высокая. Он знал, что это ему снится. Любил ведь и въяве ходить по крышам — потому что далеко видно и опасно ходить. Грех ведь, наверное, а любил лазать по крышам. Еще любил рыбу удить, выпивал и от женского полу редко отказывался. Лес любил, Господи! А нынче что? Харон... Только плывет не ладья, а скрипучие дровни. Нет, это плывет тесовая крыша Евграфа Миронова. И конь тоже на крыше... Реют белые легкие облака вокруг, не вверху, а внизу...

Что и кому он должен сказать? Не забыл ли сделать важного дела? Какой грех оставлен, нет ли какого стыда и неисповеданной злобы? Кого не простил за обиду? Благословен Бог наш... Ему показалось во сне, что он умирает, что это за него, за немогущего глаголати, говорит чей-то совсем незнакомый голос: «Через бурю напастей по житейскому морю притекаю к тихому пристанищу и молю Тебя: спаси от тления живот мой... Уста мои молчат, но сердце глаголет: огонь сокрушающий возгорается внутри. Призри на мя свыше, милость Божия, увидев Тебя, от тела отойду радуясь».

Я умер, и это за меня, уже не могущего говорить, читают канон. Но если б я умер...

Отец Николай проснулся с сильнейшим сердцебиением, вспомнил, где находится, и увидел в темноте колеблющийся язычок свечного пламени. Сосед-старичок в жилетке, надетой поверх вязаной шерстяной рубахи, только что умер, и ему еще не закрыли глаза. Три женские фигуры шевелились около, четвертым был тот, кто читал отходную. Голос был приятным, без хрипоты и испуга:

«...приими в мир душу раба Твоего Андрея и покой ю в вечных обителях со святыми Твоими, благодатию Единородного Сына Твоего, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, с Ним же благословен еси, с Пресвятым и Благим, Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».

Отец Николай был потрясен тем, что увидел. Священник произнес «аминь» не громко, но твердо; зыбкий свет от свечного пламени блеснул на миг в его спокойном и ясном взоре. Батюшка свернул епитрахиль и положил около нее Евангелие. Старая, но чистенькая фелонь растворилась в темноте, потому что свеча погасла, а свет от двух керосиновых фонарей, висевших у входа, недостигал даже середины собора...

Так было и на вторую ночь. И на третью все повторилось, и на четвертую тоже, только в разных местах собора. Подпольный батюшка, вероятно, не успевал соборовать всех умирающих. Перовский вывозил их ежедневно возами. За пять дней Николай Иванович насчитал больше шестидесяти, а утром шестого дня в собор ворвался молодой, с наганом поверх дубленой шубы. За ним встали два красноармейца с винтовками. Три фигуры качались в сумерках.

— Кто тут ночью разводил панихиду? — звонко воскликнул веселый пришелец.— Ну? Не скажется сам, всех вытряхну на мороз! Хоть вы и куркули, а передохнете, как тараканы!

Собор замер, только плакал за иконостасом младенец.

— Подавай мне попа! — раздался новый крик.— Живо, живо! Пять минут сроку.

Тишина и темень в соборе стали еще страшнее, только плакал младенец.

— И чтобы все поповские причиндалы сюда! — снова послышался звучный молодой крик.

Николай Иванович сквозь сумрак видел, как у столпа зашевелилась груда чьих-то пожитков. Из-под стеганого одеяла показался человек с тонкой черной бородкой.

— Ну? Осталось две минуты? — послышалось снова.

Николай Иванович поднялся и вдруг громко на весь собор воскликнул:

— Я поп!

Он сделал несколько шагов, мельком наклонился к священнику, прошептал: «Быстрее, дайте мне фелонь либо епитрахиль!» Священник в темноте развязал один из узлов, Николай Иванович схватил фелонь, затолкал ее под полу своего непросохшего ватного пиджака и ступил ближе к свету и выходу. На стене собора колыхались тени стражей.

— Я поп,— повторил Перовский.— А вам-то что требуется?

— Идите за мной!

Все четверо исчезли за грохочущим и визжащим железом соборных врат.

Жизнь Николая Ивановича Перовского повисла на волоске. Он это чувствовал и, ступая по снегу, удивлялся собственному спокойствию. «Не я первый, не я и последний»,— рассуждал он и вспоминал ленинградских страдальцев за веру. Его усадили в его же розвальни и повезли за ворота. Сейчас он пытался осмыслить свое отношение к московскому местоблюстителю патриаршего престола и к вологодскому архиепископу. Дивился неправым делам, спрашивал сам себя. За что шибановцы прозвали его прогрессистом? А было за что... Да, живоцерковники предались новым властям, но чего вымолили обновленцы у власти? Пожалуй, что и ничего, кроме нового разорения. Сотни пудов серебра выплавлено из иконных окладов под видом помощи голодающим. Ободрали с икон и драгоценные камни, священные сосуды из алтарей выкрали. Над мощами Сергия Радонежского надругались, как надругались над соловецкими угодниками. Осквернены могилы, разрушены алтари. Теперь вот колокола скидывают. В Вологде запрещен колокольный звон. Говорят, что медь нужна на подшипники тракторам. Господи, какие подшипники? Металл звенящий славил Русь православную, врагов окольных далече гнал и отпугивал. Ныне плавят его на копья

вражды. Но таким ли копьем прободено тело Спасителя? И отцу Николаю стало невтерпеж от стыда за свое прошлое.

...Ограда Духова монастыря была не высока, но упориста, ворота скованы прочные, стены собора и монашеских келий непробиваемы. Отца Николая полдня держали взаперти, так как Ерохин был занят. Жизнь отца Николая висела на волоске, и он знал об этом, но жизнь Ерохина тоже была под угрозой, и Ерохин не знал об этом.

И знать не хотел.

Восторг, испытанный им под Шенкурском, не выветрился никакими сквозняками в политике. Никакие несправедливости и ложные обвинения в правизне не остудили его горячую голову. Мало ли что бывает? Губком разогнан, губерния поделена на округа. Однако ж он, Ерохин, не был забыт, его взяли работать в ОГПУ. Пригодилось старое знакомство с Семеном Райбергом, который рекомендовал Ерохина Касперту и Прокофьеву. Теперь Ерохин вновь на переднем крае, ему поручено дело борьбы с поповской контрреволюцией...

У него было снова оружие и отдельный стол в общей комнате, но Касперт уже сулил кабинет, дело совсем за не многим. Хозяйственники подыскивали Ерохину подходящую «келью».

— Нил Афанасьевич! — доложил молодой румяный гепеушник.— Попа в Прилуках выявил и арестовал. Куда с ним?

— Сактировать,— спокойно сказал Ерохин.— Ликвидацию не затягивать.

В это время в комнату сперва заглянул, после зашел оживленный с мороза Райберг. Поздоровался, погрел руки о железную столбянку. Его белые бурки стучали по полу словно копыта, пока не оттаяли.

— Кого это ты решил ликвидировать, Нил Афанасьевич? — спросил Райберг.

— Религиозный подпольщик. Выявлен в Прилуках, Семен Руфимович.

— Так... так.— Райберг опять погрелся о печку.— Через сорок минут у меня бюро окружкома. Может, успеем? Я бы хотел взглянуть на этого миссионера.

Ерохин крякнул.

— Я его еще не допрашивал, Семен Руфимович, но... пожалуйста. Он тут. Приведите попа!

...Отец Николай еле пролез между дверной створкой и косяком. Заполнив собою значительное пространство комнаты, он как бы с удивлением, сверху вниз, оглядел чекистов. Райберг в свою очередь с любопытством уставился на арестованного. Ерохин же, увидев совсем не того, кого следовало, был удивлен, но сделал вид, что так все и должно быть.

— «Блажен муж...» — улыбался Райберг.— Как там дальше у вас?

— «...Иже не иде на совет нечестивых!» — добавил Николай Иванович.

— Значит, мы — это совет нечестивых?

— Истинно так! — громогласно произнес отец Николай.— Дожили...

— Как ваше имя? — Райберг сел на место Ерохина, забарабанил по столу сухими пальцами.— Вы что, действительно верите в Бога?

— Не верил, когда служил! Ныне властью духовной не облечен, но верую. За грехи и великое бесчестье Земли готов пострадать. Ибо есть Бог милующий, но Он же и наказующий!

Райберг встал и сначала слева, потом справа оглядел Николая Ивановича. Недоумение в голосе Райберга не только не исчезло, оно нарастало:

— Милующий и наказующий... Но чем вы докажете недоказуемое? Я утверждаю, что нет никакого Бога!

— Зачем же тогда вы боретесь с тем, кого нет? Сие утверждение лишено смысла.

— Мы боремся против невежества и мракобесия.

— Нет, это Христос восстал против невежества и мракобесия. Вы же восстали против Христа. И потому вы антихрист.

— Но есть право и лево. Вы считаете себя правым, но и я тоже считаю себя правым. Кто же из нас действительно прав?

— Ступайте сюда...— гудел бас Николая Ивановича.— Где ваша правая рука? Эта? Вы не станете утверждать, что она левая?

— Нет, не стану,— с легкой усмешкой произнес Райберг.

— Теперь взгляните на свой образ, там, за стеклом...

Большое зеркало, реквизированное в дворянском особняке, стояло в углу комнаты. Отец Николай, глядя на Райберга сверху вниз, продолжал:

— Покажите мне правую вашу руку в зеркале! Видите? Там ваша правая стала левой! Вот в чем разница! — Голос Перовского гудел, набирался силы, в дверь заглядывали.— Вы антихристы, перевертыши! Вы обратное отражение живых и верующих! Потому вы и мертвы пребудете из века в век, что...

— Однако ж мне пора,— перебил Райберг.— Мы еще продолжим наш диспут.

— Нет, не продолжим! — рявкнул отец Николай, схватил Райберга за левый рукав и вновь потащил к зеркалу.— За что вы так ненавидите христианство?

Райберг поспешно вырвался, ничего не сказал и скрылся за дверью.

— Ты, Перовский, нахал! — очнулся Ерохин.— Мы обкорнаем тебе бороду! Хотя бы в противопожарном отношении, но все равно обкорнаем!

Ерохин был доволен своим остроумием. Борода отца Николая действительно горела рыжим широким пламенем. Только с висков и около больших ушей она была подернута серым пеплом изрядно появившейся за последние месяцы седины.

— Садись и пиши! — Ерохин встал со стула.— Все пиши! Что видел, где был, с кем говорил, что делал.

— За старое, за новое и за три года вперед! — усмехнулся отец Николай.— Нет уж, избавьте, Нил Афанасьевич! Писаря из меня не получится... Это вы на все руки мастак, писать, стрелять, налог выскребать. Да что говорить, и скоморошить умеешь! Вон как в Ольховице выплясывал. Скреби, скреби! Кошка скребет на свой хребет.

— Молчать!..— Приглушенный ерохинский мат оборвал отца Николая.— Я тебе покажу, где раки зимуют!

— А у рака с какого конца страка? — дразнил судьбу арестованный, чем окончательно вывел из себя начальника, который выхватил браунинг.

Когда Николая Ивановича увели, Ерохин с побелевшим от гнева носом заталкивал оружие в непослушную кобуру.

— Черт... Рыжий гад...— рычал он вполголоса и скрипел зубами.— Ну, дай срок! Я тебя, гада, отправлю на тот свет. Недолго тебе осталось, дай срок...

Но все сроки были в иных руках, отнюдь не ерохинских.

В тот же день, вернее в ночь, Ерохину пришлось спешно выехать в командировку. На станциях и разъездах, на дальних лесоучастках не хватало оперативников для приема раскулаченных. Эшелоны все прибывали с юга.

VI

Зима в тот год стояла необычайно мягкая, почти без лютых морозных окриков. Спокойно слетела она на землю, словно последняя посильная милость судьбы, потраченная временем из небесных, казалось, неиссякаемых источников справедливости и добра. Отголоском давно отзвучавшего всесветного звездного хора звенели короткие нехолодные дни. Но вот однажды, в середине Рождественского поста, этот ясный, легкий, северный звон начал стихать, истончился и вовсе сошел на нет. Воздух замер. И все звуки в мире исчезли. В лесных краях, остуженные снежным холстом поля, зимующие холмы и распадки, осененные гривами сосняков, все эти тысячелетние глухие урочища, и мхи, и болота прислушались к дальнему печально-щемящему звуку, рожденному неизвестно кем и где.

И та печаль приближалась и нарастала, вскармливая сама себя.

Снежины косо полетели с небес. Широкие, плоские, вроде бы совсем не холодные, они падали так неторопливо и так густо, что живым существам на земле нечем стало дышать. Движения стали тяжелыми, будто в воде. Потом закружились, заметались по миру оскорбленные чем-то и как бы голодные ветры. Смешались снега, падающие сверху и поднятые с земли, заклубились в тесноте и во тьме.

Два дня и три ночи бесилась погода, на третий день улеглась. Ветер стих. Враз уступил он всю северо-западную московскую и новгородскую Русь тишине и морозу. Малиновый солнечный шар коснулся снизу сквозной юго-восточной лазури. Он всплывал из-за леса, уменьшаясь и плавясь в золото. Этот слепящий золотой сгусток быстро отделился от горизонта. Вся лесная стихия приняла невиданно сказочный образ. Безбрежная, непорочно чистая голубая лазурь

была тем гуще, чем дальше от солнца. На другом небесном краю еще умирал палевый сумрак ночи. Месяц, ясно и четко оттеняемый этим светлым сумраком, бледнел над лесами, когда снега заискрились окрест. Ели, отягощенные белыми снежными клубами, изменили свои очертания, но безмолвствовали. Кроны старых сосен гордо остались сами собою, лишь молодую сосновую поросль вынудил снежный гнет: нежная, не окрепшая плоть там и тут напряглась в основаниях мутовок.

Белизна заставляла еще яростней зеленеть сосновые лапы. Пар непростывших влажных низин поднялся на уровень древесных вершин и замерз, и рассыпался на свободных от снега березовых ветках. Несчетные россыпи мельчайших бисеринок засверкали на солнце. С последним колыханием исчезающего осеннего тепла все замерло. Мороз начал неспешно гранить, ковать, серебрить, лудить все, что имело хоть самую малую долю влаги.

Лесная речка, еще вчера бежавшая навстречу метели, начала сдавливаться серебряными зубцами. Прозрачный лед уверенно наползал на середину струи, сужая водяной ток несокрушимым ребристым панцирем.

И все вокруг бесшумно сияло, сверкало, искрилось от морозного света. Но, едва поднявшись над лесом, едва успев разгореться, расплавиться слепящим своим золотом, великое наше светило начало краснеть и падать на дальние лесные верха. Розовое холодное половодье затопило четвертую часть горизонта. Лиловые заревые крылья, переходящие в зеленоватую глубь темнеющего морозного простора, спускались все ниже. Правее, в созвездии Близнецов, блеснул своим красноватым глазом пробудившийся Марс — бог римских язычников, покровитель войн и пожарищ. Но этот блеск тотчас исчез, затерянный в мерцании бесчисленных звезд. И вот уже повисли над миром близкие и дальние звездные гроздья. Они словно бы раздвигались и в глубинах темного неба вскрывали новые объемные гроздья. За ними роились другие такие же, роились и раздвигались.. Только месяц, горящий ярким желтым, но все же нездешним светом, казался совсем близким морозной лесной земле.

Царство безмолвного знобящего холода раздвигалось подобно звездам, захватывало глубины небес и

земного пространства. Но откуда же мимолетно и тихо пахнуло вдруг березовым, неунывающе бессонным дымком?

Урочище называлось Сухая курья.

Сосновая грива, понемногу переходящая в густой болотистый ельник, дремала под звездами на невысоких горушках. А на склоне, около родника, была срублена большая приземистая изба. Крытая берёстой, прижатой тесаным желобом, она сгрудила на себя срубленные вокруг дерева, оказавшись на середине необширной поляны. Из деревянной трубы высоко в морозное небо отвесным столбом струился дым. Желтели запушенные инеем небольшие окошки. Невдалеке чернело конское стойбище: расколотые пополам сосновые бревна, стоящие чуть наклонно и плотно прилаженные друг к другу, были зарыты концами в землю и составляли три стены. Сверху на еловых жердях была накидана хвоя. Внутри этой недоступной ветру времянки стоял сплошной и ровный, словно бы дождь, шум от хрупающих сено лошадиных зубов. Слышалось звучное и долгое конское фырканье, короткое всхрапывание либо глухие удары о землю кованых копыт. Дровни с подсанками стояли тут и там. Повсюду вокруг избы и конюшни были навалены кучи сена. Груда коротких грубо и крупно наколотых дров громоздилась у самых дверей. Эти скрипучие двери то и дело открывались прямо на белый свет, и вместе с теплым паром, а может, и с дымом вылетали на мороз всплески мужского хохота. Человек в накинутой на плечи шубе на скорую руку хватал охапку сена и тащил своей лошади, роняя с плеч шубу и крякая. Затем проворно нырял опять в избяное тепло.

Коней в конюшне стояло десятка два, в избе скопилось столько же мужиков. Стены обширной этой хоромины были увешаны просыхающими хомутами, седелками, вожжами и рукавицами. (В бревна нетесаных стен было вделано множество березовых штырей, называемых деревянным гвоздьем.) По двум сторонам сколочены сплошные нары, устланные сеном. Кое-где в изголовьях имелись холщовые, набитые мякиной подушки. Мешки, корзины и гнутые фанерные чемоданы с провизией заполнили место под нарами, а на самой середине избы, словно горн в кузнице, возвышался сложенный из больших валунов круглый очаг. Над очагом висел широкий, сделанный

из кровельного железа капюшон, суженный кверху и переходящий в деревянную трубу с деревянной же поперечной задвижкой.

Березовый бездымный и жаркий огонь давно вскипятил воду в чугунном котле, вычерпанном и сдвинутом теперь в сторону от огня. Шибановские, ольховские и прочие лесорубы сидели кто как вокруг тагана, вернее вокруг лысого усташенского старика бухтинщика Ивана Апаллоновича Тяпина, обладавшего непечатным прозвищем. Усташенские, жившие на восьмой версте в такой же избе, привезли его на один вечер в обмен на Киндю Судейкина. Старик без устали плел бывальщины и бухтины.

— А вот когда я помоложе-то бы, меня весь женский пол оченно уважал. Бывало, идешь куды либо конному, из всех окошек девки и бабы меня уже стеклят, в рамы стукают: «Апаллоныч, далеко ли? Приворачивай чай пить». Я, конешно, не каждой и откликаюсь, с разбором. У одного окошка по лошаде хлесть — и дальше, у другова приостановишься. Это пока жонки не было. Ну а ковды подженился, тут уж дело иное...

— Да какое иное-то? — не утерпел шибановский Жучок, но на него тут же зашикали.

— Афришка Дрынов не даст соврать, он свидетель! — продолжал рассказчик.— Поехал я раз на мельницу, на рендовую-то... Было два мешка молоть да три толочи. Жонка наказывает: мели да толки при себе, домой впусте не уезжай. Чтобы муку-то у тебя не ополовинили. Мельник Жильцов ковал жернова, мне навстречу выхрамывает: «Воды нет, колеса сухие». Оставляй, говорит, дня через три смелю. Я ему поперек: жонка велела молоть при себе, впусте не уезжать. Жильцов говорит: «Ну, Апаллоныч, она тебя омманывает». Это почему? А потому, что она тебя нарошно из дома послала. Я, грит, и об заклад готов. Вон, ежели не так,— вся рендовая твоя! Ладно. Запирай, говорю, мешки, поехали на проверку. Дело ночное, позднее. Приехали мы в нашу деревню, глядим — и правда в окне огошек. В моем дому хахаль в гостях. За самоваром сидят, любезничают. Вижу, она огонь в лампе увернула. Горело, горело да и погасло. Ворота изнутри заложены. Жильцов говорит: «Знаешь какой-нито лаз, чтобы в дом без стуку забраться?» — «Знаю, как не знать».— «Заскакивай в

избу и кричи: «Жена, дуй огонь». А я, грит, двери припру с улицы, чтобы полюбовника в плен захватить». Так и сделали. Я в избу вскочил и кричу: «Жона, дуй огонь!» — «Да ты что,— она говорит,— с ума-то сходишь? Ложись да спи, карасина и так в обрез».— «Сказано — дуй!». Она лампу зажгла и говорит: «Ну вот, будет у нас теперь неладно. Сказывай, какой ты есть начальник?» Я говорю: «Я в начальниках не бывал и не буду, и в роду никого начальников не было». Она к Жильцову, к мельнику: «Ну, а какой ты начальник?» — «Никакой я не начальник, и в роду не было». Жонка товды к полюбовнику: «Сказывай, какой ты начальник?» Тот в ответ: «Не бывал и не буду. И в роду никого не было». Жонка тут голос повысила: «А у меня в роду бывал волостной староста! Я и буду вас всех троих судить-рядить». Взяла огонь, вышла в сенник, надела там крытую шубу. Села за стол и начала нас допрашивать. Меня первого: «Ты с каким прошением?» Я говорю: «Жил с женой дружно, никаких промеж нас кляуз. Поехал молоть, а воды мало, а мешки оставлять не велено. Вот и сбился с мельником об заклад. Ежели жена курва, отдаю ему две телеги с хлебом. Ежели нет, так он мне всю рендовую». Жонка одну пуговицу на шубе расстегнула: «Как ты смел, негодяй, в залог удариться? Кабы жена у тебя была изменница, пропали бы два воза с хлебом. Оставил бы ты ее без хлеба, насиделись бы голодом. Дать ему за то двадцать горячих!» Потом к мельнику: «А твои какие претензии?» — «А я, мельник грит, ковал жернова. Воды мало. Апаллоныч приехал молоть, я сбился с ним на всю рендовую мельницу на два постава». Она говорит: «Ах ты подлец такой! Ведь ежели бы у его жена оказалась такая, ты бы пробил не свою мельницу. Какое право имел? Дать ему пятьдесят горячих!» После этого вопрос к полюбовнику: «А у тебя, гнилые портки, какая к судье тяжба?» Он говорит: «Пришел я на огошек к мужней жене, потому как муж Апаллоныч был на мельнице...» Судья как гаркнет: «Ты почему, сукин сын, на такой грех осмелился? А ежели бы на тот час муж приехал! Ведь он бы тебя убил. Долго ли до уголовного дела? Даю тебе семьдесят пять горячих, чтобы вперед неповадно! Суд окончен, обжалованью не подлежит». Жонка двери в избе настежь и всех нас выставила.

Слушатели завершили рассказ таким шумом, что спящие перестали храпеть и перевернулись с боку на бок.

— Вот до чего востра!

— Ну, Апаллоныч,— прокашлялся Жучок,— гли-ко какого суда сподобился.

— Ну, а чего Совочик-то? И ночевать не пустили?— спросил Ванюха Нечаев про мельника, когда компания начала затихать. Но Апаллоныч не слушал вопросов. Довольный собой, он, ничуть не мешкая, на ходу подбирался к новой бухтинке:

— А то на днях пошла за водой на колодец да суседку на тропке и встретила. Суседка с полными ведрами, моя с пустыми. И до чего оне досудачили, что у обеих снег под ногами до самой земли протаял! За это времё у моей-то ведра дочерна оборжавели. У той вода до капельки высохла, а до самых главных вопросов еще и не добралися, судят пока предварительно...

Павел Рогов слышал сквозь сон добродушную речь Апаллоныча, лежа под теплым тулупом между Ванюхой Нечаевым и Володею Зыриным. Зырин давно спал, а любопытный Нечаев не сомкнул глаз, все сидел и слушал усташенского бухтинщика. Павел работал в лесу на пару с Нечаевым на его, нечаевской, лошади. С утра валили хлысты, обрубали сучья, затем накатывали, и пока один отвозил дерево к реке и сдавал десятнику, другой успевал обкорнать хлысты и подготовиться к новой ездке. Но кобыла была жеребая, возили по одному дереву. Ванюха долго раскачивался, зато, когда входил в раж, его надо было останавливать, забывал в работе про все, в том числе про себя и кобылу. Вот и он повалился на нарах, усталость взяла свое. А голосок Апаллоныча все журчит да журчит, будто вешний ручей. Уже совсем немного осталось бодрых слушателей, уже и в таганок никто не подкидывает. Угли краснеют, покрываются белой пепельной бахромой. Треснул мороз. Кто-то долгой клюкой задвинул под потолком трубу. Легкие судороги пробежали по рукам и ногам. Отдых, отрадный и сладкий, охватывал Павла, дрема ласковой занавеской отделила от него и эти красные угли, и обвешанную хомутами стену. Голос рассказчика звучал где-то далеко-далеко, будто Апаллоныча отодвинуло за тридесять земель...

Но рассказчик обязан был говорить, пока не спал хотя бы один лесоруб. Шибановский Жучок, укладываясь, вроде бы дал старику передышку: «Оне, бабыте, у тебя хоть на улице. А вот у нас Игнаха Сопронов загонит народ в помещенье — и двери на крюк. Говорит по целому дню, на волю не выпустит. Сидишь, бывало, сидишь, да чево-нибудь и приснится».

Последние слушатели улеглись, и только тогда Апаллоныч тоже начал устраиваться. Но и лежа еще долго продолжал говорить. Павлу хотелось расхохотаться во сне. Жена Апаллоныча в судейской шубе ухватом выставляла из печи посуду. Сквозь сон все журчал голосок Апаллоныча, она же выставляла посуду, но вместо нее оказалась жена Вера, тоже в шубе с борами. Сердце Павла Рогова сладко заныло. Жена будто бы вышла из кути, а он, Павел, спал в нижней дедковой избе. Вера пришла к нему за перегородку и будит, расталкивает его, смеется, а у самой брюхо не вмещается в дубленую шубу с борами. «Паша, да проснись,— шептала она,— пробудись ради Христа, ведь это я...» Он очнулся:

— А? Што?

Вера стояла с горящей лучиной и трясла его за ногу. Он вскочил босиком на земляной пол и обнял ее.

— Откуда взялась-то?

— Ой, унеси водяной! Завертка лопнула, еле доехала... Сена вот привезла. Тятя свернулся, поезжай да и только. У мужиков, говорит, сено кончилось и самим, наверно, жевать нечего... Ивана Нечаева тятя велит отпустить.

От нее пахло морозом и сеном. Павел еще раз прижался к ней, ощутил округлось ее живота. Встрепенулся, нашел валенки:

— Да как? С заверткой-то?

— Выпрягла да. От вожжины конец отрубила. Кое-как оглоблю припутала.

— Пойду погляжу... А ты вались на мое место и спи.

— Да я уже выпрягла Карька-то,— шептала она в темноте.— На-ко корзину-то...

Павел под нары задвинул корзину-пирожницу, накинул на плечи шубу, вышел на холод.

Небо, фиолетовое до черноты, опрокинулось над избой своей безбрежною звездной чашей. По звездам время шло часам к трем. Карько, распряженный, но

в хомуте, стоял у сенного воза белый от инея. Конь всхрапнул, узнавая хозяина. Павел отвязал его, обтер сенным жгутом и провел в конюшню. Поставил к нечаевской кобыле и принес большую охапку сена. Звезды роились. В лесу несильно треснул мороз. Дверь избы опять заскрипела. Жучок в одних портках, в валенках на босу ногу, но в шапке и в балахоне выскочил на мороз. Он торопливо помочился, оглянулся и вдруг подскочил к сенной куче Акиндина Судейкина. Нагнулся, взял большое беремя сена и, так же торопясь, понес своей лошади. Павел громко откашлялся. Жучок вместе с ним подбежал к дверям избы:

— Пашка, это... Не говори никому! Ради Христа...

— Не христараdничал бы, Северьян Кузьмич.

Жучок схватил за руку:

— Ради Христа не сказывай!

Павел выдернул руку, с усмешкой хмыкнул:

— Ты бы хоть по очереди да через ночь... А то берешь у одного Кинди Судейкина...

Оба враз запрыгнули в избяное тепло. Жучка как бы и не было, он исчез. Павел в темноте пробрался к своему месту, забрался к жене под тулуп. Вера не спала, начала шепотом говорить о шибановских новостях.

Самая главная новость: старик Носопырь опять всерьез посватался к Тане, да бесполезно, ушла по миру. Еще собирали сход, чтобы сбросить с церкви колокол, но старики отстояли, а в Ольховице уже и балки на колокольне подпилены. Павел боялся спросить про мельницу.

— Дедко-то...— ворковала Вера с беззаботной доверчивостью.— Толчи толчет, а молоть без тебя боится. Птицу деревянную сделал, чтобы ветер показывала... Ванюшка по утрам глядеть бегает, куда хвостом повернулась...

Он спрашивал ее о чем-нибудь, а сам и не ждал ответов, она говорила сама, сама знала, что ему интересней всего. На сгибе руки он держал ее голову с большой коковой родимых, пахнущих баней волос. Стены теплой избы трещали от наружного холода. Лесорубы храпели в темноте, сопели, ворочались перед утром, Апаллоныч даже во сне бормотал что-то своей ровной скороговоркой.

Павел не мог больше уснуть. Он дождался, когда Вера начала спокойно и глубоко дышать, потихоньку высвободил руку и выбрался из-под тулупа. Открыл задвижку, подул на угли и растопил огонь. Он оделся по-настоящему, подпоясался ремнем, взял ведра, сходил на родник, подладил на тагане огонь и вылил воду в котел. Пора было уже и поить лошадей, но вся изба спала, наслушавшись вчерашних бухтин. Он вновь пошел к роднику, обрубил ледяные наросты с длинных деревянных колод, из которых пили лошади. Снял с колодезного обруба хвою, положенную для тепла, и начерпал воды в колоду. Мороз тонким ледяным панцирем тотчас схватывал воду. Кто-то из мужиков громко понукая, уже выпускал из конюшни первую лошадь. Потом двери избы заскрипели чаще, звезды на небе начали тускнеть и гаснуть...

В избе просыпались то в одном углу, то в другом. Огонь в очаге, освещая сонные лица, горел в полную силу.

— Робята,— послышался чей-то хриплый от сна голос.— Человек-то с вечера был Пашка, а утром Верка. Вот чуда-то! За одну ночь из мужика получилась баба.

— И правда! Нет, ты погляди! Ивановна, ты ли это? — Нечаев не верил глазам.— А я думаю, Пашка под боком-то. Вот до чего долесничил.

Смущенная Вера достала из привезенной корзины рукотерник:

— Иди-ко лучше водицы полей!

Нечаев ковшиком в двери полил ей на руки, она умылась наскоро.

— Ишь! — восхищался Нечаев.— Мы тут как медведи, редко и моемся. Уж три нидили дома-то не был, в баню охота! Ты мою жонку не видала ли?

— Видала, видала! Вон поклон от ее привезла! — Вера подала Нечаеву пироги, завязанные в холщовую скатерть.— А на возу молоко мороженое.

Кто варил пшенную кашу, кто картошку. Чугунки облепили таган. Двери поминутно скрипели. На улице заржал напоенный Ундер, порученный Киндей Володе Зырину, пока хозяин коня веселил усташенских лесорубов. Мужики уважительно, по очереди спрашивали Веру о своих, выпытывали, варят ли старики пиво на Николу, какова дорога, вывезено ли сено с дальних полянок.

— Апаллоныч, а ты чего спрятался? — сказал повеселевший Володя Зырин.— Давай хоть ко мне причаливай. Только у меня кроме толокна один сущик.

— А и ладно, сицяс пост,— проговорил Апаллоныч.— Я сущику-то давно не хлебывал.

— Мужики, дайте ложку взаймы Апаллонычу.

— А вот загадку отганет, так дам,— сказал Новожилов.— Скажи, Апаллоныч, ворона два года прожила, чево будет?

— Будет ей третий годик,— сказал Апаллоныч.

Мужики одобрительно крякнули, начали хвалить старика. Завтракали, пили простой кипяток, мочили сухарики. Обжигаясь, дули в кружки.

Павел кувырнул сено с дровней, поставил их набок и разрубил замерзшую веревочную завертку. В избе, на штыре, имелись у него настоящие запасные. Он сходил, взял березовое кольцо, распустил его в длинную витую вицу и сплел его снова, но уже на копыле дровней. Затем вставил в него конец оглобли и туго, со скрипом завернул на три четверти оборота. Оглобля как тут и была.

Светало. Вера, едва попив кипятку, начала собираться в обратный путь. Надо было сменить нечаевскую кобылу, а Карька оставить. Пусть Нечаев как хочет, а он, Павел, решил не ехать домой даже и на Никольской неделе... Нечаев собирался ехать, оттого и смущался:

— Это... В баню схожу и приеду.

— Давай-давай! — успокоил его Павел.— Съезди, а после я. Авось не арестует Сопронов-то. Скажи там отцу да дедку, что дело идет... Кубометров вывезли больше сотни. Ежели Карько не подведет, вывезу до Крещенья и еще столько... А там уже немного и останется. Поезжай...

Нечаев привязывал к дровням свой гнутый из фанеры чемодан.

На людях долго прощаться было стыдно. Вера уселась поудобней, спиной к Нечаеву, он разобрал вожжи. Через минуту они были далеко от избы. «Как привиделась,— подумалось Павлу.— Ну да пусть... К вечеру дома будут».

Мужики запрягли коней, совали за кушаки топоры, распутывали веревки подсанков, клали на дровни колодки и пилы. Полозья неистово и надсадно скри-

пели от холода. Перед тем как разъехаться по делянкам, спохватились:

— Стой, робятушки, а куды Апаллоныча-то?

— Пускай заместо дневальново! — сказал Африкан Дрынов, мужик из чужой волости.

— Нет, не дело, чево ему одному?

— И Киндю Судейкина обратно надо бы привезти. Обменять, как уговаривались:

— Давай жеребей, кому ехать,— предложил Зырин.

Апаллоныч сидел в избе с виноватым видом, приговаривал:

— Да ведь я что... Я уж, ежели, и сам добежу.

— Сиди! Добежу,— сказал Зырин.— Тут верств шесть с гаком.

— Как привезли, так и свезем.

— Сколько нас? Давай спички, отсчитывай...

Зырин отсчитал спички, отвернулся, зажал между большим и указательным пальцами:

— Вот! Горелая везет!

Шибановцы начали тянуть жребий, четвертым или пятым по счету подошел усташенский мужик в ватных штанах, Кошкин. Он-то и вытянул из зыринского кулака горелую спичку.

— Ну, братцы, опеть мне! — искренно огорчился Кошкин.

— Да пошто опеть? В тот раз, когда за махоркой ездили, я вытащил. А начальника вон Колюха возил.

Но Кошкину почему-то казалось, что не повезло опять ему:

— Такая уж у меня планида. Да я свезу, мне недолго. Кабы мерин-то у меня пошел. У меня мерин Гриня...

Апаллоныча с почетом посадили на дровни Кошкина. Сам Кошкин подстелил на колодку сенца и расправил вожжи. Его не больно откормленный вислозадый мерин прижимал то одно ухо, то другое. Володя Зырин хлопнул рукавицей по крестцу:

— Пошел!

Но мерин никуда не пошел. Он вдруг расставил задние ноги и выгнул спину. Из-под его заиндевелого брюха зашумела оранжевая струя, выбившая в снегу большую пенистую воронку.

— Вишь, когда ему приспичило,— сказал Володя—. Заморозишь у нас Апаллоныча-то. Пошел!

Мерин справил свои дела, но с места не сдвинулся. Напрасно взыкал и шевелил вожжами встревоженный Кошкин.

— Он чево, с норовом у тебя? — подскочил Зырин.

— Ох, лучше не говори! У цыгана купил на свою шею. Гриня? Ты што? На восьмую версту не хошь?

Кошкин слез с дровней, погладил мерина, потрепал за гриву. Опять сел на дровни и присвистнул. Мерин, однако ж, не слушал хозяина. Мужики окружили подводу.

— Чево-то ему не хватает. Стоит.

— Ему дрына хорошего не хватает, вот и стоит,— сказал Жучок.

— Бывало ли раньше-то?

— Бывало, как не бывало! — в сердцах отозвался Кошкин.— Опозорил, подлец, опеть опозорил мою голову...

Кошкин раскрутил вожжи и сильно огрел мерина. В ответ мерин лишь отмахнулся хвостом. Апаллоныч слез с дровней.

— Кошкин, ну-к, дай мне вожжи-то,— попросил Зырин.— Точь-в-точь, как саватеевская кобыла.

И тут все сразу вспомнили норовистую кобылу Саввы Климова, которую пришлось променять цыганам. Дело случилось, как рассказывали, еще до столыпинских отрубов. Савва поехал однажды за сеном, навил большой воз, а кобыла при выезде на большую дорогу заупрямилась. Савва бил ее, понукал, уговаривал, но лошадь оказалась упрямей его. Мимо будто бы ехал торговец дегтем и скипидаром. Он-то и выручил Климова. Кобыле под хвостом мазнули скипидарной мазилкой, кобыла дернула и понеслась с тяжеленным возом. Савватей видит, что воза ему не догнать, говорит торговцу: «Помажь-ко и мне!» Помазали. Савватей подскочил и бежать. Кобылу с возом он будто бы догнал, но пробежал мимо, и шпарит дальше, в деревню. Дома стучит в окошко: «Матка, матка, лошадь с сеном прибежит, дак ты выпряги, а я еще маленько побегаю». И побежал Савватей Климов дальше, в деревню Залесную...

Пока вспоминали случай с кобылой Саввы Климова, мерин тоже отдыхал и, вероятно, копил упрямство: при очередном хлестком ударе по тощей его лядвее он только слегка покосился на лесорубов.

— Вишь ведь бес! Что делает,— сказал Жучок сиротским своим голосом.— Ну точь-в-точь как ты, Новожилов. Такой же упорный, ей-богу.

— Это когда я был такой упорный? — окрысился Новожилов.

— А когда в колхоз-то тебя ташшыли. Помнишь? Ташшыли, ташшыли, так и отступились...

Павел Рогов и Зырин взяли по толстой вице и встали по бокам упрямого мерина:

— Садись, Кошкин! Держи вожжи-то...

Они начали хлестать мерина по заднице, но Гриня только вздрагивал да храпел, да вскидывал голову. Он пробовал даже пятиться...

— И чего ты такого дурака сеном кормишь! Давно бы надо на живодерню!

— А по псе и поминки бы все! — согласился Кошкин.

— Робя! — крикнул Зырин.— А давай его на буксир. Выводи Ундера, Судейкин не рассердится. За ним же и ехать...

— А что? Можно. Кошкин, ты сам-то чего думаешь?

Расстроенный Кошкин только плюнул:

— Что ты? Пустое дело, и паровозу не утащить, не то что Ундеру...

Гриню манили сеном, соленой горбушкой, ничего не помогало. Толкали сзади, он шеперил передние ноги, становился в упор. Время шло. Уже совсем рассвело. Тут Апаллоныч шепнул вдруг что-то на ухо Кошкину. Тот хмыкнул, поперетаптывался и побежал в избу, вытащил из-под нар свою пустую плетенную из лозы корзину, где хранил сухари. Нарочно долго прилаживал ее к дровням... Разнузданный мерин косил назад неспокойным, но цепким глазом.

— Ну, с Богом! Домой, Гринька, домой! — сказал Кошкин и чуть-чуть шевельнул вожжами.

Апаллоныч еле успел упасть на дровни...

Многие лесорубы стояли, разинув рты, все забыли про своих лошадей. Кошкина с Апаллонычем как будто и не было.

— Вот ведь...— пришел в себя Новожилов.— Животина, можно сказать, бессловесная тварь. И та знает про дом. А я что? Хуже мерина? В баню хочу!

И Новожилов хлопнул оземь своей собачьей шапкой.

— Пускай бы Сопронов сам сперва уши коптил!

— Все, братчики! И я поехал домой! — заявил Жучок.

— Видали мы эту Сухую курью! — ругнулся Зырин.

...Лесная изба за какие-то полчаса затихла, выстудилась и опустела.

В конюшне Ундер тоскливо переступал с ноги на ногу, вострил большие как рукавицы уши.

Павел Рогов, не зная, что делать, гладил длинную морду Карька. Прислушался. Крики лесорубов и скрип полозьев еще доносились из леса. Кто-то шпарил на морозе частушки:

Сталин Трочкому сказал:
Пойдем-ка, милый, на базар,
Купим лошадь карюю,
Накормим пролютарию...

Вторая частушка прозвучала неразборчиво.

Павел задумчиво покачал головой, распряг Карька, поставил его поближе к Ундеру. Кинул обоим самолучшего, с клевером и мышьяком, сенца.

Ехать в делянку показалось совсем не к месту... Он вошел в избу, подкинул дров на очаг и стал ждать Кошкина, который посулил привезти Киндю Судейкина.

Как будто Судейкин-то знал, как дальше жить и что затевать!

VII

Кошкин привез-таки Судейкина, но работать опять не пришлось, назавтра Сухую курью приказали очистить для украинских выселенцев, коих ждали с часу на час. Лесорубы Ольховской волости переехали на восьмую версту. Их поселили в одном бараке с усташенцами. Ездить в делянку стало намного дальше, но что было делать? Пришлось привыкать и к шумной усташенской молодяжке, которая приехала на участок со своей гармоньей. В бараке что ни день — дым коромыслом. Плясали, а то до полночи играли в карты. Павел Рогов не высыпался все эти дни. Из шибановских лесорубов работали в лесу только он с Киндей Судейкиным да Жучок, приехавший позже. Володя Зырин с Ванюхой Нечаевым как уехали, так

больше и не показывались. Еда опять была на исходе. Правда, на восьмой версте вместе с двумя бараками имелись еще пилоставка, баня и ларек, торговавший соленой треской и кое-какими сладостями. Но вся беда — денег не выдавали, а не выдавали потому, что сбежал десятник. Нового не прислали, и за десятника был теперь сам Лузин, начальник лесоучастка. Он и хлысты клеймил, и кубы высчитывал, и в приказах он расписывался, но денег не выдавал. Может, их просто у него не было. Правда, в ларьке отпускали в долг, под запись, но Павел не хотел быть должником. Да и треска давно уж поднадоела. Это еще полбеды, беда целая в том, что сена осталось всего на неделю.

Однажды, в честь воскресенья, работу закончили раньше. Пошли давать лошадям, и Акиндин Судейкин доверительно взял Жучка за локоть.

— Давай уж, Северьян Кузьмич, по очереди: ты у меня по ночам таскаешь, а я у тебя буду днем. А иначе мне своего Ундера не прокормить, он вон как жорет.

Судейкин сгреб порядочное беремя Жучкова сена и поволок Ундеру. За ним, нога в ногу, ступал Жучок, неспокойно покашливал:

— Ты, Акиндин, это... не сказывай людям-то.

— Да люди, что люди? — не возражал Судейкин.— Им не надо и сказывать, оне все видят...

Павел слышал этот разговор и еле не фыркнул, удержал в себе готовый вырваться смех. Завернул подальше за угол барака, чтобы не смущать Жучка.

В бараке тоже творилось непонятно что. Усташенские лесорубы устроили выходной или забастовку, а может, то и другое вместе. В одном углу играли в очко, у дверей плясали под гармонь. Пока шибановцы обедали и пили кипяток с ландрином, стало ясно, к чему идет дело. Парни выворачивали полушубок, еще двое размалевывали углем берестяную личину.

— Тронулись,— удивлялся Жучок,— ведь святки давно прошли.

— Усташенцы, что с их возьмешь? — сказал Судейкин, переобуваясь.— Им что пост, что масленица. Павла тоже так и подмывало что-нибудь сделать, сплясать либо там еще что-нибудь, вплоть до святочной рожи. Пока все вертелось вокруг Апаллоныча, который с переездом на восьмую версту шибановского

Судейкина совсем завял. Не каждый хотел слушать его длинные сказки, зато стихи и частушки Кинди Судейкина покорили усташенцев. Да упрям был и сам Апаллоныч, ни за что не хотел признать своего поражения! Вот опять он торощится, торопится рассказать:

— Учуял я, что за морем мухи дороги, коровы дешевы. Наимал мух два мешка, поехал за море. Мух продал, накупил коров. Гоню их домой, а море не застыло. Как делу быть? Вплавь пустить — коровы потонут. Я взял мутовку, сунул корове в ж... Накручу на мутовку сала, кину в море. Накидал много, от сала море застыло. Коров перегнал по морю, остался один бык. Тут витер подул, море тронулось. Как делу быть? Быка на той стороне оставлеть не дело. Я схватил быка за фост, не за рога, раскрутил вкруг себя и фурнул на ту сторону. Бык через море перелетел и я за им. (Я от хвоста-то не опустився.) Дома чем коров кормить? Я овса насияв, каши овсяной наварил, размазал ее на пожне. Налетела всякая птича и давай кашу клевать, а в когтях у птич трава, наносили мне сена много зородов...

Апаллоныча мало кто слушал, всего человек пять. Но старик упрямо держал свою марку:

— Повез я сено да в ляге завяз. Хлестнул по лошаде, лошадь сдохла. Я ее оснимал, из кожи вырезал ремень. Один конеч к возу, другой притащил к гумну, за угол привязая. Я овин зажег, ремень от жары скручивает, телегу к гумну ташшыт. Потом чую: на небе — у всех богов нет сапогов, нарубил я дров, зарезал коров, съел яишницу, сделал на небо лисницу. Прорубил дыру тож, натащил наверх коровьих кож, большим богам сшил по сапогам, маленьким божкам сшил по сапожкам... Полез обратно, глянул, а внизу нету и дна, лисница обрана...

О том, как Апаллоныч вил мякинную вервь и слезал с неба, никто не слушал, все сгрудились вокруг ряженых. Толстый, маленький ростом усташенец нарядился чертом, а длинный парень ведьмой. Цветастое лоскутное одеяло было превращено в юбку, на голове по-старушечьи завязали платок. Ведьма сильно нарумянилась давленой клюквой. Черт тащил ее по бараку и сватал за лесорубов: «Она у меня цесная девушка!» «Девушка» смущенно поеживалась и отворачивалась, изображая стыдливость. Когда она зади-

рала подол своей юбки, обнажались ноги в подштанниках, и женихи один за другим отказывались, пока черт не посватал ее Апалонычу.

— Возьму,— сказал старичок уважительно.— Ежели в голове умеет искать.

Невеста начала искать у Апаллоныча в голове, потюкала по его лысине и басом сказала: «Ницего нет». Сунула промеж ног березовую метлу и поскакала с криком:

— Не хоцю старика, хоцю нацяльника! Не хоцю старика, хоцю нацяльника!

Павел видел, как в общей кутерьме, в криках и хохоте черт начал стегать «невесту» широким красноармейским ремнем. Она взвизгивала и подскакивала, а он стегал да приговаривал:

— Ох, не бывать тебе замуж, дура ты лешева!

— А пошто не бывать? — включился в игру Судейкин.— Девка хорошая.

— Она, вишь, больно разборчивая,— по-сиротски сказал Жучок.— А начальников ноне мало, на каждую-то не напасешься.

— Да, может, за Степана Ивановича пойдет? За нашего-то?

— Нет, не пондравится ей и Степан Иванович. Больно скуп.

— А что, надо попробовать...— сказал «черт», и тут «ведьма» запричитала, чуя конец своего девичества.

Взыграла гармонь. Ватага усташенцев выпросталась на мороз. Пошли «сватать» начальника лесоучастка Лузина...

Степан Иванович Лузин жил в соседнем бараке холостяком, семья оставлена в Вологде. К бараку была прирублена с одной стороны контора, с другой через холодный коридор — ларек. Небольшая комната-боковушка с двумя окнами и отдельной печкой отгорожена досками. Она примыкала к сушилке, где денно и нощно прели, сохли рукавицы, шубы, хомуты, вожжи, портянки, ватные брюки и всевозможные валенки. Лузин вначале особенно страдал от этого прелого запаха, но постепенно привык. После разгрома Вологодского губкома он едва-едва удержался в партии. Его дважды публично обозвали стойким по-

следовательным бухаринцем, но разворачивающиеся лесные дела сперва заслонили троцкистскую травлю, потом захлестнули новое руководство. Лузин, сам не зная как, уцелел и очутился начальником лесоучастка.

Пока ряженые шли до большого барака, их горячность остудило морозом, пыл у «черта» ослаб. Он первый вывернул шубу, а личину бросил в печной огонь. «Ведьма» сволокла с головы бабий платок. Парень вернулся в барак, скинул лоскутное, подпоясанное веревкой одеяло, быстро надел штаны и побежал догонять остальных.

Павел с Киндей Судейкиным почувствовали, что на этом дело не кончится. Они оделись и тоже прошли в соседний барак. Усташенцы приглушили гармонь, когда Степан Иванович вышел из боковушки.

— Здравствуйте, товарищи! — Он вынул из кармана блокнот.— В чем дело? Почему рано шабашите?

— Поплясать прибажилось, товарищ начальник,— сказал бывший «черт».— Денег нету ни гроша, да зато поет душа.

— Да, денег пока нет, берите что надо в долг.

— Да там одна треска.

— Табаку и того нету,— добавил кто-то.

Лузин сквозь толпу, скопившуюся у дверей и в проходе между нарами, пробирался к центру, вернее к передней стене, на которой между окнами висела большая, покрашенная черным фанера. Она была разделена графами поперек, на шесть частей. Перед каждой графой, слева, красовалась наклеенная картина. Первым стоял самолет, ниже его поезд, в третьей графе бегущий северный олень, ниже оленя пешеход, еще ниже змея, а под ней в самом низу значилась большая крашеная улита.

На восьмой версте работали люди из шести деревень. Через каждые пять дней вписывались мелом названия всех деревень. Ах, знал-таки Степан Иванович, чем разбередить русскую душу! Каждую пятидневку десятник вставал с мелом к «доске». На весь барак он громко выкрикивал название деревни: «Усташиха!» И весь барак затихал, пока Лузин искал в своем блокноте цифры о вывезенных к сплавной реке кубометрах. «Самолет!» — объявлял он, и весь усташенский угол начинал торжествующе и одобрительно крякать. Если же усташенцы попадали к «улите», то

они виновато, как провинившиеся школяры, молчали и уходили подальше с глаз.

Ольховицу и Шибаниху проставляли на доске весь зимний сезон, проставляли Залесную и остальные деревни. Особенно сильно ревновали друг дружку Усташиха с Ольховицей. Они всю зиму и ехали то в «самолете», то в «поезде», сегодня же вдруг Усташиха сравнялась с «улиткой», а на самом верху, где летел «самолет», Лузин вписал Шибаниху.

У Павла даже дух захватило. Он и не знал, что так приятно быть впереди всех.

Лесорубы шумно обсуждали это событие.

— Ты гляди, шибановцы!

— Шибанули всех выше.

— А Усташиха-то что?

— Курят с утра до паужны!

— Палить оне мастера.

— Наврано! Я вчера десять хлыстов вывез.

— Как не стало десятника, так начали путать.

Лузин весело отбивался от обиженных усташенских лесорубов, пробирался к выходу. Только ему было ясно, что вчерашние кубометры, не записанные усташенцам в пятидневку, все равно не спрячешь, их придется записать в следующую пятидневку, и тогда усташенцы снова окажутся впереди всех...

Павел знал, что свою норму он давно выполнил, что вывез свое и Ванюха Нечаев, работавший в паре. Можно было ехать домой, но ехать один без Жучка и Судейкина он стеснялся. Сегодня же, после усташенских святок, ему нестерпимо захотелось запречь Карька и, свистнув, уехать с восьмой версты, туда, домой, к жене и сыну, к своей бане, к мельнице... Шутка ли — всю осень в бараках? Да и тревога сочилась откуда-то из нутра: как там отец и тесть, что с колхозом. Говорят, Куземкина уже сняли, а кто поставлен взамен? Ежели переписали у всех семена, фураж и остальное зерно, то чем кормятся? У кого ключи от амбаров? Брат Васька домой в отпуск сулился. Может, уже приехал...

Павел Рогов решительно двинулся в конторку. Начальник лесоучастка Степан Иванович отбояривался от наседавших усташенцев:

— Да что вы, ребята, как маленькие? Ну, вчерашнее не попало в сегодняшнее, попадет в завтрашнее! Не все ли равно?

— Не все!

— Поезд! Это вам что, худо, что ли? А на самолете я и сам еще ни разу не летывал.

— Перепиши, Степан Иванович!

— Нет, не перепишу! Когда обгонишь шибановцев, тогда и перепишу. Вот он, спросите, как хлыст обкарнывать.

И Степан Иванович указал на вошедшего Павла.

Не желая учиться обкарнывать, усташенцы вышли из конторы. Лузинские глаза смеялись.

— Ну, что, Павел Данилович, я уж вижу, зачем пожаловал. Что ж... Ты свое дело сделал, поезжай. Поезжай, скажешь от меня поклон Даниле Семеновичу... Расчет с тобой произведут в сельисполкоме. Такое есть указание...

У Павла екнуло сердце, но сгоряча он не захотел спрашивать, что это за указание. Домой! В ночь и выехать. Он уже схватился за железную скобу. Лузин окликнул:

— Павел Данилович! Одну минуту... Есть вопрос...

Павел остановился. Лузин подал ему карандаш и попросил расписаться. Павел недоуменно поставил подпись на старой газете.

— Сколько у тебя классов? — спросил Лузин.— Ты служил в Красной Армии?

— Три класса. На действительной еще не был, на приписке был.

Степан Иванович задумчиво разглядывал морозный узор на внутренней раме.

— У меня нет десятника. Пиши заявление и оставайся.

— Маловато моей грамотенки, Степан Иванович. Нет...

— Подумай. А насчет грамотенки... выучим! Таблицу умножения знаешь? Ну, а ежели таблицу знаешь, узнаешь и все остальное.

— Без таблицы я проживу, а без жены? Нет, Степан Иванович, поеду домой.

— Ну, как знаешь. Поезжай. Надумаешь, сообщи. Через Никулина либо письмом.

Начальник лесоучастка попрощался за руку. Павел, как в детстве, по-ребячьи выскочил из дверей. Через коридор сбежал на снег, двумя прыжками перемахнул крыльцо своего барака.

— Ты чего? — удивился Жучок.— Выпил с кем?

— Домой!

— А мы? — подскочил Акиндин Судейкин, но тут же сник: вспомнил, что норма не выполнена.— Свези хоть рыбы моим девкам...

Павел Рогов запрягал Карька, когда на восьмую версту въехал возок в сопровождении двух конных милиционеров. Пока милиционеры слезали с седел, высокая фигура Ерохина успела исчезнуть в конторке у Лузина. Павел, не обращая внимания, собрал что надо, стремглав привязал корзину к среднему вязу дровней, положил сена.

— Ну, Киндя! Все! И ты, Северьян Кузьмич, говори, чего дома сказать.

Мужики так были расстроены, что ничего не могли придумать. Павел шевельнул вожжиной. Карько не стал ждать второго разрешения, зыркнул и рысью, а потом вскачь пронес дровни мимо возка новоприезжих, мимо двух бараков и пилоставки.

Вскоре восьмая верста осталась далеко позади. Лесная тишина успокоила мерина. Дорога шла вековыми ельниками. Далеко справа остались порубочные делянки. Павел остановил мерина, перевел дыхание. Тишина показалась ему такой глубокой, такой нездешней, что он кашлянул. Не сон ли? Нет, все настоящее, даже Карько прядет ушами, ждет позволения бежать домой. Деревья стояли недвижимые, морозец бодрил дыханье.

— И-и-э-эх! — Ликующий крик полетел в пустоту морозного леса. Павел упал на дровни. Карько понес без понукания и подхлестывания. Подсанки на веревках сзади дровней мотало из стороны в сторону. На повороте они стукнулись о сосну. Слетела навалочная колодка, но ездок не остановился. Шут с ней, с колодкой, вырубим новую!

Восторг передавался от ездока к лошади и от лошади к ездоку — через вожжи, что ли? — и тот и другой переживали одно и то же, словно на масленице.

Павел приосадил мерина, перевел на нетороплнвую рысь. Не удержался, спел коротушку:

Люблю Карюшку за гривушку,
Дугу за высоту.
Эх, люблю девушку молоденьку
За ум, за красоту.

Он пел еще и еще, а когда кончились коротушки, запел долгую — про московский пожар, которую любил на праздниках больше, чем иную другую.

Что было тогда и что за Москва была, когда шумел этот московский пожар? Павел не знал по-настоящему ни того, ни другого. Но почему-то он пел, сочувствуя и даже представляя, как «на стенах вдали кремлевских стоял он в сером сюртуке». Карько тоже знал что-то про Наполеона, иначе зачем бы ему то и дело поворачивать назад свое левое ухо? Мерин перешел на ровный шаг, рассчитанный на долгую дорогу.

К сумеркам проехали большое болото. Небо быстро чернело, спускалась ночь, но тут пошли веселые горушки и сосняки, а за горушками уже начинались усташенские лесные покосы. Павел вспомнил, как в долгие барачные вечера он разговаривал с одним мужиком о здешних ветряных и водяных мельницах. Мужик называл деревню, в которой вырубали из камня мельничные жернова. Павел тогда не осмелился даже думать о том, чтобы заехать в эту деревню. Сейчас мелькнула вдруг нежданная мысль: «Не заехать ли? Хотя бы поглядеть... А может, и купить бы, ежели подходячий жернов. Денег нет, но ведь можно договориться и в долг».

Чем ближе была отворотка к Усташенской волости, тем больше попадалось стогов и зародов. Выехал поздно, все равно ночевать, так не заехать ли к жерновам? Да там и заночевать. Вот! И думать тут нечего...

Павел Рогов не любил долго прикидывать. Он направил мерина на Усташиху. Под самое горло подкатила новая коротушка. Павел проглотил слова и напев: перед глазами махала крылом его новая мельница. Она будто крестила его! Он слышал сквозь скрип морозных дровней и сквозь надрывное пенье полозьев ласковый шорох верхнего жернова, ощущал в ладони теплоту ржаной пересыпающейся муки. Домой! Завтра Вера пораньше затопит баню, а сейчас он заедет пока в Усташиху.

Мерин сам, без ведома хозяина, остановился посредине деревни! Да уж не знак ли это самой судьбы?

Павел Рогов спрыгнул с дровней. Деревня дымила трубами, ночь была тихая, только где-то в конце

взыграла вдруг бологовка. У мелких девчонок, пробегавших домой, он спросил, в котором дому куют жернова. Девчонки залились хохотом: «Да этот и есть!»

Побежали, оглядываясь.

Дом обшит и с хорошим въездом. Рябины в инее. Шесть окон по переду да с боков по два, в одном боковом краснеет ламповый отблеск. Значит, еще не спят. Павел, не привязывая Карька, постукал в ворота.

— Кто стукает? — послышался из дворного нутра голос.

— Проезжий...

— Так заходи, ворота не заперты.

Мужик с фонарем поздоровался с Павлом, провел вверх по лестнице, открыл двери в избу. Пахнуло теплом, запах свежих черемуховых вязов мешался в избе с запахом пареной брюквы. Павел поздоровался во второй раз, спросил, тут ли живет Иван Александрович.

— Тута,— сказал кривой старик, вязавший вершу.— Минька, дай человеку стул.

«Минька» — бородатый, сильно похожий на отца — погасил фонарь, повесил на жердку:

— Раздевайтеся!

— Откуда будем? — спросил старик. Его бельмо мелькнуло в ламповом свете, когда Павел сказал про себя и назвал Шибаниху.

— Бывал, бывал. Да и про тебя слыхивал.

Из-за печки выглянули две детские бессонные головенки. Старуха, выйдя из кути, поздоровалась с Павлом. Дородная молодуха, то ли дочь, то ли старикова невестка, пришла с прялицей с бабьей беседы. Поставили самовар...

Карько был не привязан. Минька хотел сам сходить привязать лошадь к рябине и бросить сена, но Карька надо было поить, и Павел вышел на волю. Как быть? Ночевать не хотелось.

Он напоил мерина из колодца двумя ведрами, одним, чистым, доставал, другим, скотинным, потчевал. Карько выпил больше ведра.

Павел вернулся в избу. На столе уже стоял самовар и были нарезаны пироги. Кривой старик щипцами колол сахар. Павел откашлялся:

— Я к тебе, Иван Александрович, насчет нового жернова.

— Да я уж чую, что это,— сказал мельник.— Да тебе пошто новое? Бери старое. Отдам за так... Вон у хлева оба лежат, и новое, и старое...

Павел спросил, какая у них мельница.

— Водяная двухпоставная. Была, да сплыла,— невесело засмеялся Минька.— Гарнец наложен двести пудов... Тятька вон окривел из-за нее, а мне оторвут и всю голову.

— Да, да, Павло Данилович.— Старик отодвинул чашку.— Не во време ты мельницу выстроил! Отымут... Дак нашто тебе и новые жернова?

— Руки-то не отымут...— смутился Павел.— И мука любой власти нужна.

— Оно верно. Да мне не жерново жаль, а тебя жаль. Вези! Ядрены ли дровни-ти? Как бы на раскате не обдавило копылья.

— Да я рассчитаюсь! Привезу кожу опойковую либо овечьей шерсти... А то и деньгами!

Старик своим синим единственным глазом удивленно глядел на Павла. Из-под стального зубила пулей летит осколок гранита, никого не должно быть около, когда куешь жернова. Уметь надо и зубило держать... Сколько же видел он на своем веку своим единственным глазом, сколько перемолол зерна? И вот потух у него и второй глаз, слезится, не зажигает души собеседника.

Что потушило? Неужто и ты вот так же когда-нибудь...

Павел тряхнул головой, подал руку.

— Литки, Иван Александрович!

— Не надобно, парень, литки... Минька, поди укажи место! Да ты бы, Павло Данилович, ночевал. В утре уехал бы.

Павел не захотел ночевать. Выпил чаю две чашки, попробовал пирога — и во двор. Вдвоем с Минькой просунули в дыру еловый кол, откатили от стены тяжелый жернов. (Как раз о таком и думалось по ночам!) Осторожно, на вагах, задвинули камень на дровни и привязали веревкой.

Павел заскочил в дом, попрощался с семейством и, не стыдясь радости, выехал из деревни. Лесной Усташенский волок не пугал ни темнотою, ни холодом...

Теплая хмарь, сулившая потепление, рассеялась в небе. Крупные звезды вызрели над пустынной лесной дорогой. Карько споро тянул воз, но, чтобы не надсадить мерина, Павел спрыгивал на дорогу, когда дровни шли на подъем. Вершины елок и сосен, раздвигаясь перед дугой влево и вправо, уплывали и уплывали назад. Смыкались за спиной лесные темные дебри. Волок тянулся часа два, Павел шел за возом, не чувствуя холода. Вдруг впереди он скорее почуял, чем увидел идущего по дороге. Чтобы не ударить пешехода запрягом, он приструнил мерина. Встречный или попутчик? Встречный...

Павел остановил Карька. Перед самым рылом мерина стояла женщина с закутанным наглухо ребенком. Она пыталась встать в глубоком снегу, чтобы пропустить подводу. Платок, перевязанный через плечо, поддерживал тяжелую ношу. Сзади, на спине, висела еще и котомка. На ногах была не понятная Павлу, никогда не виданная стеганая обутка. Зато рукавички на руках, даже при свете звезд, оказались такими праздничными, что Павел развеселился и крикнул:

— Доброго здоровьица!

Она ничего не ответила. Зимние дороги узки, она все пыталась зайти в снег, чтобы пропустить подводу. Павел стоял у дровней. Он не поймал ее взгляда, лицо было наполовину закутано. Но, кроме праздничных рукавиц, он успел разглядеть новый добротный, правда, совсем летний казакин с борами, а из-под него виднелась темно-синяя длинная юбка домашней пряжи.

— Куда правишься-то? — спросил Павел.

Женщина поправила ношу и, ничего не сказав, начала краешком дороги обходить упряжку.

— Да ты погоди...— Павел только сейчас начал понимать, кто они.— Ты не в Сухую курью?

— Туды... В Сухую.

Она наконец подала голос, и Павел заговорил смелей:

— А кого тебе там? К выселенцам, видать...

— К своим. Чоловик тамо, и деверь Грицько тамо...

Он хотел сказать, что никого там нет, барак в Сухой курье пуст. Хотел сказать, что нет там ни чоловика, ни деверя, но сказал ей совсем другое:

— Далеко. Не дойти на ночь-то глядя.

Она упрямо обходила упряжку:

— Ни. Пийду до Сухой курьи...

— Ты что, с ума сошла? — всерьез рассердился Павел.— Пропадешь в лесу вместе с дитем! Холод, снег...

— Пийду...

— Да нет там никакого Грицька! Чуешь? Нету...

— Нема наших? — Она остановилась.

— Нема! — кричал Павел.— Пустой барак, никого нету! А ну, садись на дровни, поедем в деревню. Заночуешь, потом видно будет.

Она все еще не хотела отступать назад.

— И дите ведь застудишь. Садись на сено! Тут рядом деревня. Замерзли ноги-то?

Он усадил ее на жернов, спиной к себе:

— Дёржитесь? Поехали...

Он хотел сказать ей, что нечего торопиться в Сухую курью, что искать надо в другом месте, на станциях, может, в Вожеге, может, в Семигородней, что с ребенком лучше бы совсем не соваться в такие места, но она молчала.

— У тебя кто, девка аль парень? — опять не утерпел Павел, когда кончился наконец волок и обозначилось поле.— Как звать-то?

— Хведя...

Он через свой полушубок, через ее казакин и через котомку почувствовал, как затряслась она в страшных рыданьях, как сдерживала свой животный, нутряной крик, не вмещаемый ею. Она сдержала в себе, задушила тот страшный и безутешный крик, распиравший ее, и этот крик начал медленно сдавливаться, он сгущался вокруг ее сердца и твердел, твердел, пока не затвердел и не сдавил ее сердце в железный комок. Только в эту минуту Павел Рогов понял, почему так долго не сказывался ребенок. Понял, и сердце его тоже сжалось, сдавилось холодом и железом.

В первой же после волока деревне Павел остановился у дома, в котором еще горел свет. Ворота оказались незапертыми. Павел забежал в избу, договорился насчет ночлега, чуть не силой втолкнул женщину в сени, затем в избу.

— Со Христом,— сказала бабушка, колыхавшая зыбку на березовом очепе.— Места хватит. Проходи, матушка, проходи.

Люди впустили Параску в избяное тепло.

Только веселому Федьку, ее сынку, ее кровинке, пришлось остаться в сенях на трескучем крещенском морозе...

Павел в отчаянии выбежал на улицу, хлестнул вожжиной ни в чем не виноватого Карька. Почудилось вдруг, что это не она, не украинская выселенка, а жена Вера брела по морозу под хмурыми елками. Куда несла она свою мертвую ношу? Он бросился к дровням, снова ударил вожжиной по мерину.

Карько истратил последние сегодняшние силы и в галоп вынес Павла в ночное чистое поле. В небе сквозь бесконечную морозную даль светились, мерцали, роились крупные и мелкие звезды. На пожнях завыл волк, собаки трусливо взлаяли по задворкам. И Павел тоже зарычал, как пес, утробно, не разжимая зубов...

Не вернуться ли на восьмую версту? В десятники ставят не каждый день. Бросить бы все, да и к Лузину под крыло. Этот не даст в обиду. Потом бы съездил, забрал из деревни Веру с Ванюшкой. По всему видно: лесное дело не на год, не на два, пойдет оно вширь и вглубь. Либо на службу уйти, как брат Василий?.. «Карько, ты-то куды хошь? Согласен ли в лесу век свой вековать? Конюшня у тебя будет— одно небо вверху. Со звездами. Вода зимой — ледешки брякают. Сено чужое — жди, когда привезут. И куды ни глянешь, везде один лес, ни гумна, ни часовенки. Надолго ли хватит там и тебя, и меня? Эх, нет, Степан да Иванович! Ищи себе иного десятника...»

Павел закрыл глаза. Сквозь невеселые думы все мерещились веселые украинские рукавички. Он так и не успел разглядеть закутанное до глаз лицо выселенки, и какая-то посторонняя сила все подставляла на место этого лица образ жены Веры Ивановны. Страшась этого наваждения, Павел заставлял себя думать о новом жернове, о том, как заменит он старый, совсем легкий и маленький. Потянет ли мельница два постава с новым таким тяжелым камнем?

Карько отфыркнулся, будто вместо хозяина избавился от сомнения. Рассвет одну за другой стремительно гасил звезды. Заря растекалась широкой и красной небесной лужей. Мороз утром взъярился, как акиндиновский Ундер в свою лучшую, еще доколхоз-

ную, пору. Павел едва не ознобил нос и щеки, пришлось распустить шапку и обвязаться шарфом. Лошадь парила и покрывалась инеем, полозья тянули свою бесконечную скрипучую песню.

Но вот и ольховские пустоши! Через час открылась вся розовая Ольховская волость. Павел не стал заезжать к отцу, решил ехать прямо в Шибаниху. Он срезал большой угол, для чего пришлось ехать через реку. Дорога была и тут хорошо наезжена. На берегу Карько слегка подзамялся. Ободренный хозяйским свистом, мерин ступил на запорошенный лед. Дорога по льду, обозначенная замерзшей наслудой, незаметно пропала, и Карько опять замялся. Павел искал глазами выезд, поехал вдоль берега. Выезд оказался совсем рядом, но мерин поторопился к нему, свернул на сажень раньше и ступил на травяное, худо простывшее место... Лед под передними ногами коня обрушился. Павел ничего не успел сделать, задние ноги лошади тоже оказались в воде. К счастью, было не очень глубоко. «Стой! Стой, Карюшко!» — тихо уговаривал Павел, но замерзающий Карько дернул, и тяжелые дровни тоже обрушились. В ледяной обжигающей воде Павел долго не мог нащупать и вытащить из вяза топор. Надо было как можно скорее освободить бьющегося в воде мерина. Наконец Павлу удалось достать топор и тюкнуть по одному гужу. Хомут раздвинулся, дуга упала. Павел перерубил и чересседельник, тогда конь, несмотря на топкое прибрежное место, выскочил на берег.

Из реки торчал один передок дровней. Павел решил оставить дровни и подсанки в воде, но жернов вздумал выволочь на берег на вожжах. Он тюкал под водой куда попало, чтобы разрубить веревки. Освободил камень от дровней, обрубил замерзшие вожжи. Под водой он просунул один конец вожжины в жабку жернова. Продернул ее, привязал к уцелевшему гужу хомута и, помогая мерину, начал вытаскивать жернов на берег.

— Карюшко! Скорей.. Дергай... Ну? Скорей, милой, скорей...

Оба дернули, напряглись и выволокли жернов из воды. Ледяной панцирь быстро сковал одежду. Ноги и руки совсем зашлись от холода, теряли чувствительность. Лошадь дрожала, горбатилась, поджимала задние ноги. Павел обрубил вожжи, бросил на берегу

топор, котомку, дровни и этот проклятый жернов. Уже невозможно было двигаться. Штаны и шуба стояли колом, но каким-то чудом с дровней, поперек, завалился он на конский хребет. «Выручай, Карюшко, вывози..» Куда вывозить? Было утро, вдали топились ольховские печи. Пока доберешься до отцовского дома, закоченеешь совсем. До Шибанихи еще дальше. Самое ближнее жилье — избушка на водяной рендовой, куда ездил молоть старик Апалоныч... Ближе ничего нет... Карько и сам чуял, что ближе нет ни тепла, ни жилья. Пока добрались до мельницы, ноги совсем перестали слушаться. Павел чувствовал, слышал, что мельница не безлюдна, только не узнал даже, кто открыл ему скрипучую, как у Кеши Фотиева, дверь в теплушку. Кто-то помог забраться на нары и освободиться от мерзлой одежды. Павла, голого как младенца, завернули в сухой и теплый тулуп...

Несчастья не ходят поодиночке. Карько, обтертый жгутом соломы, устоял, а обмороженный и насквозь простуженный хозяин его захворал. Жара в избушке и чай-зеробой не помогли, и лихорадка трясла Павла Рогова как былинку...

VIII

— «Останемся здесь, говорил Роберт жене своей; зачем вверять нам опять коварному морю жизнь свою! Пусть она протечет в этом земном раю, вдали от людей, посреди природы и ея чистых, простых удовольствий.— Но эта прелестная мечта не рассеяла в Анне Дорзе мрачных предчувствий, тяготивших ее с некоторого времени, уныло слушала она фантазии своего мужа».

Как раз на этом месте кривой Носопырь громко всхрапнул, девки рассмеялись и разбудили его. В большой Самоварихиной избе заместо девичьей беседы шло занятие по ликбезу. Марья Александровна Вознесенская, поповна и учительница Шибановской школы первой ступени, строго оглядела беседу, подождала, когда все затихнут, и снова взялась за книгу:

— «Действительно, только три дня продолжалось их щастие. На следующую ночь поднялась буря, и корабль их, долго носимый без мачт и парусов по безднам океана, был выброшен на берега варваров,

осудивших небольшой экипаж его на рабство. Нещастные любовники...»

Ученицы — шибановские неграмотные девки — старались не шуметь ради наставницы. Собирались дружно, сидели, терпели, но у Марьи Александровны получалось худо. У нее не было практики, как у старшей сестры Ольги Александровны. Ах, не зря ли она согласилась учить неграмотных? Обширная изба Самоварихи совсем не похожа на школу, девицы не имели ни книг, ни тетрадей, они пришли на учебу с прялками. На всех две-три тетрадки да столько же химических карандашей.

Вздохнула Марья Александровна и решила не останавливать урок чтения. Далее сочинение Александра Волкова продолжалось уже в стихах:

— Перед побегом своим из родительского дома,— повысила она голос, и девки снова затихли.— Письмо первое.

Все кончено, иду! Ах, Дженни, как ужасно!
Как сердце бедное волнуется, кипит!
Рассудок, совесть, честь — все, все, увы! Напрасно!
Их нет, когда нам страсть о милых говорит...
Ты знаешь, я к нему, нещастная, пылаю...

— Девки, моряк! — Тонька-пигалица кинулась к боковому окошку, чуть-чуть не вышибла стекло головой. За ней бросились к окнам все остальные. Носопырь сочувственно поглядел на учительницу. Та и сама сделалась как все, тоже глядела в окошко. Девки отпихивали друг дружку от подоконников:

— Дай мне-то, мне-то бы поглядеть.

— Гли-ко, гли-ко, штаны-ти! Широкие-то.

— Ой, дурочки, ведь к нам!

— Нет, к Мироновым правится.

— Это чей есть-то?

— Да ольховский, Василей Пачин! Давно уж сулился. Знамо он,— тараторила Тонька.— Вишь, прямо к Палашке, двоюродной-то. Потом к брату к Павлу пойдет, к Роговым. Агнейка, ну-ко ставь самовар!

Кое-кто фыркнул, но хозяйка ничего не заметила.

— Дайте мне-то хоть, мне-то, лешие! — совалась Самовариха то к одному окну, то к другому.— Вишь, и миня не пускают. Уставилися.

— Тонька, беги да кричи его, загаркивай,— обернулась Агнейка Брускова.— Пусть приворачивает.

— Да на беседу-то вечером, однако, придет.

— Ой, а у меня и нос в черниле...

Агнейку отпихнули от зеркального обломка, приделанного к Самоварихиному простенку, но прохожий уже свернул к дому Роговых и скрылся в проулке. Наставница — тоже дева — застыдилась своего поведения. Подражая своей старшей сестре, застучала она карандашом о Самоварихин стол, вокруг которого только что сидели ее полногрудые ученицы:

— А теперь повторим заданье по чтению и письму!

— Ой, Марья да Олександровна, надо домой!

— Вечер вот-вот, а мы и чаю не пили.

Вознесенская пробовала остаться настойчивой. (Отец Александр предшествовал в Шибанихе отцу Николаю, попупрогрессисту. Все Вознесенские-женщины, несколько поколений, были наставницами.)

— Читает Брускова Агнея!

Агнейка взяла листок, засунутый было в прялку, за куделю. Расправила на столе. На ее востроносом, как у Жучка, лице явился страх и детская растерянность.

— Начали! — скомандовала наставница.

Девка поставила палец под первой буквой, шевельнула губами:

— М-м-м...

— Ой ты! — присела на скамью Самовариха.— Да ведь я да и то поняла.

— Сиди! — огрызнулась Агнейка и замычала вдругорядь: — М-м-м... мы.

— Так, правильно,— подбодрила учительница.

— Мы-я...

— Не мы, Агнеюшка, а мя,— поправила Тонька.

— Дальше.

— Мы-я-сы-о,— прочитала наконец девка. Агнейка даже растрепалась и покраснела от напряжения.

— Правильно! — поддержала учительница.— А что получилось?

— Говедина! — выпалила восторженная от счастья Агнейка.

После общего хохоту девки опять заговорили про Ваську Пачина, исчезнувшего в заулке Мироновых. Вознесенская закрыла урок ликбеза.

— Собираемся через два дня, в среду, в конторе,— объявила она, уходя.— Не опаздывать!

Двери за учительницей проскрипели и хлопнули.

— Ой, Марья Олександровна! Какие тут буквы, в среду мой черед коров колхозных доить.

— А я лошадей обряжаю!

— Я так, девушки, наплюю и на скотину, буду за моряком ухаживать.— Тонька-пигалица вышла среди избы, звонко пропела частушку:

Пятилетка, пятилетка,
Пятилетка, девушки.
Из-за этой пятилетки
Не видать беседушки.

Девки всем гуртом начали просить Самовариху, чтобы пустила беседу на вечер.

— Я што, я пожалуста,— хмыкала своим широким носом Самовариха.— Карасину ищите в лампу да и пляшите. Хоть до утра.

— Да ведь пост, девушки, плясать-то нельзя.

— Ну, эко место, что пост,— обнадежила Самовариха. Девки похватали прялки, одна за одной, а то и сразу по две выпростались в сени и дальше на улицу. Все разговоры у них опять же крутились около ольховского Василия Пачина. И впрямь, настоящий моряк да еще зимой для Шибанихи был не малым событием...

Уже четыре дня, если не больше, ярым огнем горела морская душа! Что было делать Ваське Пачину, старшему брату Павла Рогова, ежели грудь его не вмещала восторга? После успешных курсов его перевели с Черного моря на Балтику, дали коротенький отпуск. Всего десять дней, не считая дорог. Словно в похмельной дреме ехал Василий из Севастополя, вспоминал трудные курсы. Особенно досталось ему от электричества. На всю жизнь запомнятся эти плюсы и минусы... Ведь в школу ходил всего по три зимы. Одно дело драить палубу на крейсере «Червонная Украина», другое дело корпеть над законом Ома. Все постигал от самого малого. Спасибо дружкам: помогали ему тайком после отбоя изучать электричество. А как только понял электричество — дело-то само и покатилось, вроде бы как по маслу, и уже не было ни единой заминки. Теперь начинается сверхсрочная служба. Есть что рассказать отцу и братанам, ольховским одногодкам-дружкам и красным девкам. Хотя бы про то, как приезжал на крейсер товарищ Сталин, как шел он вдоль выстроившейся команды в

своем белом кителе. На что похожа матросская жизнь? Да ни на что, применительно к деревенской. Все, все до капли иное, и вот уже на станции он чуть не расхохотался у всех на виду, когда услышал вологодскую речь: «Пока цяй пила, котомицю на возу собацьки уцюели. Гляжу, ведь поволокли!» Потом едва не заплакал при виде скрипучих дровней, а от запаха зимнего суходольного сена совсем уже в горле сдавило. Пробежал станционным поселком из конца в конец, заглянул на базу потребкооперации. Из Ольховицы ни одной подводы. Ночевать не остался: в ночь по морозу, в ботинках, не размышляя, чуть не бегом ударился к дому. Хорошо, что чемодан не больно тяжел! Нес его через плечо на ремне. На середине пути вместе с усташенскими обозниками попил чаю в одной деревне, поспал часика три и опять в путь. Почти перед самой Ольховицей догнали Василья две шибановские подводы. Матрос остановился, чтобы пропустить лошадей.

— Это кто в ботинках-то по снегу бежит? — остановил Киндя Судейкин Жучкову лошадь.

— Летит! — сказал Жучок.— И ногами до земли не касается.

— Наверно, Пашкин братан Васька,— сказал Судейкин.— Сулился на Рождество. В матросах служит.

— В матросах это хорошо,— по-сиротски пропел Жучок.— Матрос да весь иньем оброс. Тпру, мать перемать! Эй, замерзли ноги-то? Садись, ежели...

Жучок остановился.

— Да тут рядом! Добегу.

— Садись, садись.

Матрос Василий Пачин пристроился на дровнях.

— Ждут, поди-ко, отец-то с маткой? — заговорил Киндя.— И брат Пашка ждет! Он раньше нашего домой уехал.

Судейкин до самой Ольховицы рассказывал матросу про Сухую курью...

Матрос Василий Пачин слушал Судейкина, потом слушал материнские причитания и жалобы, вечером слушал шипение банных камней и отцовы рассказы, слушал о новой колхозной жизни. Слушал и младшего брата Алешку, который громко на всю избу разучивал стихотворение:

Мы с тобой родные братья,
Я — рабочий, ты — мужик,

Наши крепкие обьятья
Смерть и гибель для владык.

Едва матрос переночевал под родимой матицей, только успел рассказать отцу-матери про свою черноморскую службу, про голубые и сивые морские валы да про зеленый город Севастополь, как защемило, заныло сердце: вспомнил про девок... Неужто напрасно наказывал им поклоны в своих письмах? На второй же день ринулся на ольховскую беседу, на третий день ударился матрос Пачин в деревню Шибаниху. Хотелось поскорей повидаться с родным братом Павлом, с двоюродной сестрой Палашкой Мироновой и заодно погулять, на шибановскую беседу. Забыл враз материнские слезы. Черт с ней, с этой зингеровской машиной, с новым костюмом, описанным за недоимки! Отобрана и выделанная кожа-коровина, да неужто без нее отцу не прожить? Проживем! Лишь бы больше не трогали...

Когда шел ольховской улицей, сердце поминутно всплескивалось от волнения и радости. Погода была не очень морозной, бушлат расстегнут. Эх, жаль, нет бескозырки, матросская шапка в отпуске совсем не то... А в Шибанихе что? К брату сперва? Или к дяде Евграфу? К нему, к божату, чтобы договориться с Палашкой насчет вечера.

Гуляет волостями черноморский матрос Васька Пачин, гуляет и думает... эх, да ничего он не думает! Одна у него сейчас мечта: поиграть у столбушки толстой девичьей косой, услышать запах земляничного мыла, посидеть на коленях у шибановских девок, потом проводить какую-нибудь по снежной тропке да сказать что-то такое, чтобы запомнила на вечные веки...

А что? Так и будет! И не когда-нибудь, а сегодня вечером. Перед службой не много удалось погулять: у горюна бывал всего два-три раза, да и то с ольховскими девками-перестарками. Учили целоваться, да так и не доучили. Так вот, пусть ныне молодые доучивают, и не ольховские, а шибановские! А что тут и учить, не электричество... Широко видно матросу, думается и того шире. В ольховских белых полях дороги проложены туда и сюда, и при колхозе возят назем. Также крутится и отцовская толчея, днем и ночью толкет овес. Поглядим теперь, что творится в Шибанихе.

Ветер-свежак полощет полотнища широких матросских брюк, румянит щеки, раздувает золотой огонек душистой дукатовской папироски. Семь километров как не бывало. Где же братова мельница? Вот она! Стоит на угоре, но стоит без движения.

Будет вам и движение! Брат Павел, наверно, не ждет, сват Иван Никитич дома ли? Тетка с божатом Евграфом дома, ворота открыты. Двоюродная Палашка кинется сейчас к шестку самовар ставить...

Так и было.

Горела душа, особенно после мироновского самовара, ходил матрос по деревне к знакомым ребятам и уже видел кое-кого из девок. И близился вечер. Уже знал, в каком доме соберется беседа. Сердце то и дело всплескивалось обжигающей радостью, и матрос Васька Пачин забыл рассказы про все недоимки и про то, как прятали добро по гумнам и погребам, как Селька Сопронов тайно разворошил не один клад. И в печальных глазах двоюродной, готовых к обильным слезам, не заметил матрос нездешней обиды. Заметил ли он и округлый Палашкин живот? Сарафан и передник стремились сровняться с высокой девичьей грудью. Нет, не заметил и этого счастливый матрос Васька Пачин! И лишь неприятно стало, когда сказали, что брата Павла нет дома, что его ждут из лесу со дня на день. Как так? Мужики говорили, что дома! Спутали, что ли, с кем?

Пришли с двоюродной на беседу. Девки — человек двадцать — пряли с короткими песнями. Ребят оказалось меньше. Палашка сразу уселась прясть. Василий Пачин молча, с каждым за руку, поздоровался. Он обошел всех по порядку. Девки, не вставая с копыльев, брали веретена в левую руку, а правую умильно подавали матросу. Поздоровался Пачин за руку и с Селькой Сопроновым. Частушки на это время стихли, только потрескивала прядущаяся куделя, и веретена постукивали о сосновый Самоварихин пол.

— Садись-ко, садись, Василей Данилович! — Улыбчивая черноглазая пряха подхватила свою прялку, освобождая место на лавке. Она так глянула на него, так проворно вспорхнула и повела плечами, что у матроса заныло что-то в груди — честь да и место! «Чья это?» — подумал он, только думать стало совсем некогда. В сенях пиликнула гармонь, пришли Володя Зырин с ольховским Акимком Дымовым. Оба

навеселе. Акимко свой, ольховский, стало легче дышать. Запахло по-городскому, папиросы пошли в ход, но матрос разговаривал с ребятами невпопад. В одно ухо влетало, в другое вылетало. Он пытался не глядеть все время на Тоню, но глаза то и дело воротили в ее сторону. Одетая в коричневую кофту-пальтушку, клетчатый полушерстяной сарафан, обутая в аккуратные черные валенки, Тоня то и дело клала прялку, встречала новых пришельцев, устраивала гармонь сушиться с мороза. Шептала что-то на ухо Самоварихе. «Наверно, столбушку смекают,— подумалось Пачину.— А ежели на перепляс вызовут? Ведь четыре года не плясывал». Коричневая, с морхами на бедрах, с пышнями на круглых плечах пальтушка была оторочена по вороту черным кружевом, она плотно облегала девичью талию. Темные, заплетенные в косу волосы то и дело терялись, заслонялись, потом опять оказывались на виду, и тогда Васька Пачин, черноморский матрос, заставлял себя отворачиваться, чтобы никто не заметил его интереса. В избе становилось все шумливей, народу прибывало, но матрос чувствовал, что находится в самом центре беседы. Ребята старательно здоровались, девки поглядывали, успевая прясть и петь. Двоюродная тоже пела вместе со всеми. Пела Палашка про любовь, но больше все про измену. Теперь Пачину было и вовсе не до нее. Плясать в пост нельзя, да мало ли чего нельзя делать в посты? Зырин поиграл сперва под частушки, а тут недалеко оказалось и до пляски, почти все девки сложили прялки на полати, иные в куть, да и пошли метелицей, парами. Восторг волной захлестнул матроса. За печью уже налаживалась первая горюн-столбушка, но тут пришел на беседу Митя Куземкин — шибановский напыженный председатель, в новом костюме, в валенках с блестящими калошами. За ним следом явился Савватей Климов и начал просить разрешения сплясать, обещая во что бы то ни стало переплясать колхозного командира.

— Сиди, Савватей, куды тебе!

— Мне? Да я перепляшу самого Калинина, ежели потребуется.

— Не потребуется!

Савватей вышел на середину избы и развел руками, чтобы освободили место. Гармонист, занятый разговорами, не обратил на Климова внимания, и тогда

кто-то из девиц начал наигрывать ртом. Климов не пожелал плясать под ротовую. Он решил «представляться» и показал, как петух топчет курицу, как кошка за собою «зацапывает», и под конец спел неприличную частушку:

Цяй пила, конфеты ела
У хороших у людей,
Не успела оглянуться
. . . . . .

Девки замахались, заругали Савватея, схватили за полу и отволокли в сторону, но матрос Василий Пачин уже не слышал частушку, поскольку был позван к горюну. Селька Сопронов вызвал его и провел за печь, где только что сидел с кем-то из девок. Откинув плотную, сделанную из одеяла завесу, он показал направление, и матрос ступил в темноту. У стены в закутке стояла короткая скамья, а на скамье...

— Ты, что ли? — удивился матрос, когда зажег спичку и узнал в девке двоюродную.

— Садись.— Палашка подвинулась.— Да поближе, я ведь не укушу. Все уж теперича... Откусалася...

Палашка всхлипнула, но матрос взял ее за руку, начал перебирать пальцы, словно бы пересчитывая.

Только сейчас она рассказала ему историю с Микуленком. Слезы все-таки потекли и текли в два ручья, пока она жаловалась на свою судьбу.

— Вот так и живу, Василей, на белом свете. Хуже-то не бывает...

— Не тужи уж так-то,— сказал он.— Еще уладится.

— Нет, Васенька, не уладится...

Палашка платочком осушила глаза.

— Тебе кого позвать-то? Может, Тоню? Я видела, ты на нее поглядывал. Ну, думаю, надо подноровить...

— Ее! — Матрос еле выдохнул — так сильно забилось сердце.

Палашка ушла.

У столбушки парень с девицей не сидели подолгу, она уходила и звала по его заказу другую. Потом должен был уйти он сам и позвать того, кого попросит та, которая остается, и так продолжалось весь вечер. Если же кто-то с кем-то засиживался, то это был уже горюн, и приходилось заводить вторую столбушку. Обо всем этом знал матрос Васька Пачин и

раньше знал, да забыл и теперь удивлялся тому, как это все хитро устроено.

Палашку, двоюродную, было, конечно, жаль, но что значило ее горькое горе, ежели своя радость и свой восторг палили огнем...

Минута прошла, вторая. Беседа шумела. Голоса девок заслоняли зыринскую гармонь. «Неужто сделает головешку, не придет?» Головешка — это когда отказывают и не идут ко столбу... Ему показалось, что это она, Тоня, спела в избе частушку:

Ягодиночка на льдиночке,
А я на берегу,
Перекинь сюда тесиночку,
К тебе перебегу.

Почему же она не идет? Матрос Василий Пачин весь горел от стыда, когда наконец послышался шорох. Девичья рука откинула занавеску. Он зажег спичку, глаза Тони блеснули так не по-здешнему, так лукаво и жарко, что он позабыл все на свете. Спичечный огонь был словно погашен девичьим взглядом.

— Ой! Где скамеечка-то? — громко проговорила девка.

— Вот, вот...

Он хотел вновь поздороваться, назвать ее по имени-отчеству, как это положено у столба. И ничего не сказал. Ах, дурак, не спросил у двоюродной отчества... Говорить, говорить же надо! Язык у матроса словно присох. Тоня выручила его из беды, заговорила сама:

— Давно ли приехал-то, Василей Данилович?

— Да третий день всего.

И тут разговор пошел у них сам по себе, без надсады и понукания, без тех обычных глупых вопросов и глупых ответов, которыми пользуются у столба в первую встречу.

Они сидели, лишь слегка, плечами касаясь друг дружки.

Матрос Пачин, ликуя и напрягаясь от счастья, рассказывал ей о своей службе, спрашивал о знакомых, вспоминал праздники. Тоня отвечала ему вслух, тоже говорила и говорила, пока оба не почуяли нужный срок.

Теперь уже ему надо было уйти, а ей остаться. Он должен был позвать к столбу того, кого она назовет,

ему так не хотелось покидать ее, так славно и так радостно было, так ровно тукало его счастливое сердце, что он осмелился взять ее за руку и в темноте приблизить свои губы к ее горячему маленькому ушку:

— Тебя кто провожает?

Она промолчала. Матрос Василий Пачин не помнил себя от восторга. Не выпуская ее руку, он тихо проговорил:

— Согласна ли, Антонина, вместе гулять? У меня никого нет. Не было и до службы, знаешь сама. А на службе тем более нет! Любить буду, как только могу...

Она, как ему показалось, вся замерла, затихла. Волнение его все прибывало. Не сдержавшись, он взял ее за маленькие крепкие плечи.

— Ой, Василей Данилович, нет.— Тоня освободила плечи от его рук и заплакала.— Занятая ведь я... Нету моего согласия...

— Ну? — его словно окатили холодной водой. Он враз отстранился от девки и встал:

— А кто? С кем? Кого ко столбу?

— Кого надо, того нету...— сказала она спокойно.— А чтобы столбушку не нарушать, позови хоть Акима Дымова.

— Он что... из-за тебя в Шибаниху ходит?

— Нет, не из-за меня. А из-за кого, спроси у него сам...

Мир сразу поблек и переменился. Он оставил Тоню в темноте на скамеечке и потерянный, оглушенный вышел на свет. В избе было тесно, пришли гулять из других деревень. Василий нашел Акимка Дымова, послал его ко столбушке.

— Не уходи без меня, я скоро,— шепнул на ходу Акимко.— А то тут некоторые завыплясывали...

Через две минуты Тоня вышла от столба, она отослала туда белокосую девку из деревни Залесной.

Василий Пачин еще дважды ходил ко столбу, его звали и звали, но теперь все эти вызовы казались ему ненужными, неинтересными. Что-то рвалось в нем на мелкие части. Душа холодела, хотя сердце не унималось. Хотелось драться...

Несколько раз выходил он на улицу, глядел на заметенную снегом загородку, слушал притихшие шибановские дома, собачью брехню и мычанье новорожденных колхозных телят на каком-то подворье.

А бывать ли еще в этих домах? Все газеты сулят войну...

Метет по Шибанихе снег, метет без сна и без устали. Палашка ушла домой, велела приходить ночевать к ним, поскольку брата Павла дома нет.

«Нет... Где брат? Ведь мужики, когда ехал с ними, говорили, что Павел уехал домой раньше их...»

Тревожная мысль о брате была заглушена пляской Мити Куземкина. Вместе ходили когда-то в школу, во вторую ступень. Митя плясал на беседе, а Володя Зырин играл. Играл и морщился, отворачивался, сидя на коленях Агнейки Брусковой.

— Ты чево все вертишься-то, Володя? — кричала Агнейка сквозь голос гармони и шум беседы.

— Надо было овса высушить мешка два,— скороговоркой сказал Володя.— Изопихали сейчас бы, а потом бы и в муку истолкли!

Да, Митя худо плясал, словно «опихал» ногами сухое зерно. Зырин старался, подыгрывал, но Митины ноги толкли грузно, да все чего-то не в лад с игрой. Митя как раз вызывал на перепляс Акимка Дымова и спел что-то про «супостатов». Не разобрал Василий, что спел пляшущий председатель, но понял, что спето было что-то обидное для Ольховицы, а тут показалось еще, что костюм на Мите какой-то совсем знакомый. Ну, и верно! Костюм знакомый...

Володя Зырин заиграл по-новому, звонче и четче, когда Акимко вышел на смену Куземкину, который стоял, покачиваясь, глядя в ноги Дымову. А Дымов плясал складно! Хорошо отстукивал Дымов, хорошо и частушки пел, только зачем он все еще ходит гулять в Шибаниху? Неужели еще не забыл Веру — бывшую свою сударушку, нынешнюю жену Павла? Нет, не кончится это добром, ежели так. Митя качался в своем новом костюме, глядел в ноги ольховскому плясуну.

Акимко Дымов с дробью прошелся по кругу, притопнул перед Куземкиным, остановился и спел частушку:

Мы, ольховские ребятушки,
Пока не мужики.
Дай бы Господи не нашивать
Чужие пинжаки!

Митя стоял, пока Дымов свое доплясывал, и ушел к дверям.

Зырин прикрыл игру. Дымов, утираясь носовым платком, сел на колени к залесенским девкам.

— А ну, выйдем на пару слов! — произнес вновь появившийся на кругу Митя Куземкин и уже направился было в сени, но Дымов насмешливо отказался:

— С пылу да на мороз, для здоровья вред.

Председатель скрипнул зубами, но драки не было. Ему пришлось уступить, хотя шибановцы то и дело ходили из избы да на улицу.

Палашка, почуяв неладное, пришла с дому и увела матроса. Дымова увел ночевать Володя Зырин. Митю прибрали к рукам шибановские девицы. Хоть и разведенный, а все-таки холостяк.

Что было теперь в душе у матроса Василия Пачина? Смятение и дым...

— Божат, а божат? — позвал он Евграфа Миронова, когда пришли с беседы.— Запряги мне лошадь!

Евграф поспешно слез с печи:

— Лошадь, Василей Данилович, надо спрашивать у Мити Куземкина. Хомут и сани тож у ево! Ночуй, завтра поедут с маслом, дак свезут.

— Не в Ольховицу!

— А куды?

— Надо бы поискать Пашку.

— Где его ночью будешь искать? — пробудилась за шкапом тетка. Она вышла в одной рубахе.— Утро-то вечера мудренее, ложись-ко спать.

— Пойду, божатка, пешком. Валенки только дайте.

Нет, знал Евграф пачинскую породу! Хорошо знал. Что задумают, обратно не своротить. Потому и начал без лишних слов собираться:

— Погоди! Запрягу без Митькина позволенья. Куды поедешь?

— К мельникам! Отец говорил, что брат ищет новые жернова.

Евграф вышел из дому. Палашка с матерью, притихшие, сидели на лавке. Вторые петухи давно пропели.

— Хоть бы простокиши бы похлебал! — сказала тетка, но матрос Василий Пачин не стал хлебать теткину простоквашу. Он даже не стал переобуваться в Евграфовы валенки, схватил только тулуп и выскочил во двор, когда за окном послышался скрип розвальней. Он выбежал, бросил тулуп в повозку, завернулся в него, и Евгарф едва успел кинуть в руки вожжи.

— Гляди в оба, не заблудись! — напутствовал Евграф.— А то, вишь, опять заметает. Ищи отворотку по вехам...

Повозка скрылась в ночи. Евграф махнул рукой.

И пошел ездить по снежным полям и лесам черноморский матрос Василий Пачин! На чужой, не на своей лошади, завернувшись в тулуп, погоняет коня, где дорога легла. Скачет на красные огоньки ночных деревень, на запах печного дыма. Едет и едет, бессонный, почти шальной от дум и снежного ветра. Уже и отец его, Данило Семенович, прослышал об этом, бросил тесать колхозные жерди да и тоже запряг, не свою — колхозную лошадь, поехал по сыновьему следу. По метельным проселкам, по дальним волостям несутся Даниловы розвальни. Да где же искать их, непутевых братанов? Велика Ольховская волость, Шибановская тоже не маленькая. А там за Шибановской другие подряд и везде мельницы: водяные и ветрянки. Ищи свищи! Данило не мог миновать Шибаниху, сват Иван Никитич тоже был уже подпоясан, готовый ехать на поиски. Уговорились с Данилом — один в одну сторону, второй в другую. На скорую руку попили чаю да и на двор, по лошадям хлесть! Готовые на слезы бабы не успели взреветь...

* * *

Лохматое чудо шарашилось за выстывающей мельничной избой в ночной темноте, оно стучало копытом в двери, пытаясь открыть. Там, во тьме, шуршали чьи-то широкие крылья. Нет, это за дверями топочет в пристройке верный Карько. Совсем без сена, непоеный. И никто не летает над крышей, это шумит на колесе мельничная вода. Тогда почему не толкут песты? А где же сам-то Жильцов? Наверно, ушел домой, в Залесную...

Павел, очнувшись, оглядывает прокопченную мельничную избушку. Заметался и едва не погас крохотный огонек керосиновой коптилки, стоявшей на тесаных плахах стола. Темнота то раздвигалась, то сжималась. Болела уже не одна ступня, а все тело, знобящая мука размывала сознание и память.

Печь из камней чернела в ногах. Надо бы затопить, обогреть избу и вскипятить воду. Карька изобиходить бы...

Рассвета не было. Павел снова забылся в бредовом сне. Снова что-то лохматое и черное забродило вокруг, снова пошли один за другим кошмарные образы. Потом он увидел свою ветрянку. Почему-то она молола без крыльев, и ему хотелось остановить, выяснить и понять, что с нею. Он не знал, как остановить мельницу, и мучился в лихорадочном сне. Его трясло и знобило.

Людей нет, а мельница мелет. Какая, чья мельница? Кажется, мелет... Нет, это ветер со снегом. Явь, сон и бред сменяли друг друга, боролись между собой. Как тяжело больному во сне! Вот опять оно... Темень и холод, скрипят двери. Если никто не поможет, лохматое чудо задушит его... Нет... Нельзя поддаваться. Надо встать. Легче стало дышать. Хорошо стало. Кто же зовет его?

Павел с неохотой, тяжким усилием вернул себя из какой-то нездешней, невыразимо хорошей иной стороны, откуда все тутошнее показалось ненужным и мелким. Открыл глаза. Кто-то держал коптилку в руке, трогал ему лоб.

— Васька! Братан...— хотел крикнуть Павел, но крика не вышло. Он только сел на помосте, обнял брата.

— Лежи, лежи...— Матрос укрыл Павла тулупом.— Сейчас печь затоплю...

— Откуда ты? А и я-то где? Вот... Занемог... Да, Жильцов тут был, молол для залесенских... Ушел в деревню. Соль, говорит, кончилась.

— Арестован Жильцов.

Василий поджег берёсту. Изба осветилась. Павлу показалось, что все это снова во сне. Но нет, запахло горящей берестой и даже городской папиросой. И Васька, брат, был живой, в морской форме, на шапке бляшка из золота со звездой. Даже не верилось.

— Давно ты тут? — Голос вроде бы изменился...

— Обморозился я.— Павел говорил хрипло.— Думал, на мельнице отогреюсь — и домой. Просил Жильцова не сказывать. Дровни на берегу оставил, около переезда... И вот заболел...

Берёста догорела, вновь стало темно.

Матрос зажег лучину, откинул тулуп:

— Ну-к, покажи ногу.

И присвистнул: ступня была вся синяя. Большой палец уже почернел, из него текла сукровица.

— Эх, Пашка! — Матрос прикрыл ногу тулупом.— Худо дело, надо в больницу.

— Наверно, сена у Карька нету. И напоить бы надо,— не слушая брата, сказал Павел Рогов.

— В больницу! Чуешь?

— Фершала нет в Ольховице, знаешь сам. Только в Усташихе. Дак чево с Жильцовым-то? Ты видел его?

Матрос Василий Пачин растопил печь. Он не видел мельника. Он заезжал лишь в деревню Залесную, но Жильцова не было дома, его увезли в Ольховицу. Отобрали ключи от подвала, от амбара, от мельницы и увезли за то, что не сдал двести пудов — гарнцевый сбор, за то, что отказывался молоть.

— Да откуда Жильцову взять двести пудов? — Павел сел на топчане.— Насчитали за шесть годов...

Печь разгоралась все жарче и ярче. Матрос Василий Пачин выходил из избушки в конский сарай, напоил Карька и дал ему сена. Свою лошадь тоже поставил под крышу, но не распряг. Уже светало. Калачи, оставленные мельником, и кипяток в котле пробудили голод, а брат выпил только полкружки горячей воды и откусил калача. Пожевал, откинулся к стенке.

— Нет... Ничего не хочу. Порасскажи, каково служить. И надолго ли...

— Эх! — Василий сел наконец на сосновый чурбан, хлопнул шапкою о колено.— И что тут у вас творится, а, Пашка?..

— А чего творится? — схитрил Павел. Его знобило, в ноге проснулась нестерпимая боль.

— Чего вы все... зажались как...— Матрос не мог подобрать слова.— Этих... братанов Сопроновых боятся сразу две волости. Да их... скрутить обоих и... под зад коленом!

— Этих скрутим, другие явятся.

— И тех туда! А чего? Вы уж совсем скисли! Пикнуть боитесь! Никуда не жалуетесь, будто грамотных нет!

— Отец вон до Москвы дошел, до Калинина,— тихо возразил Павел.— А что толку? Вернули было право голоса. А после прижали еще туже...

Но Василия не могли убедить слова брата. Он говорил свое. Он звал, стыдил, ругал шибановцев и

ольховлян, предлагая дать срочную телеграмму Ворошилову. Грозился своротить рыло Игнашке Сопронову, предлагал порвать опись имущества и вызвать начальство из Вологды.

Павел слушал брата с полузакрытыми глазами. Похудевший, с небритым лицом, он слушал голос родного брата, слушал и не вникал. Потому что давно уже вник во все и думал больше о дровнях с подсанками, вмерзших в лед, об оставленных на берегу топоре и домашней корзине. Срам на всю округу... Еще прислушивался к шелесту ветра и к шуму вхолостую падающей воды да любовался матросом, его темно-синей форменкой, но Васька, казалось, рванет сейчас и тельняшку, и форменку, рванет пополам, на две стороны, и тогда что-то навсегда пропадет и исчезнет. Что, пьяный он, что ли?

Матрос почувствовал братнино насмешливое недоверие:

— Ты чего лыбишься?

На небритой щеке Павла уже высыхала маленькая мокрая полоска. Он спокойно полулежал, опершись плечами на бревна стены. В груди матроса все клокотало. Все в нем кипело и плавилось, а брат, его родной брат, молчал и не двигался!

— Очнись! — сказал Павел спокойно.

Матрос вскочил с чурбана с жестоким северным матом.

Павел так же спокойно остановил его:

— Там, под лавочкой... Корзина с жильцовским струментом. Дай суда!

Матрос нашарил корзину и поставил на стол. Павел поднялся. Попросил подать левый валенок, обул его. Оторвал от мучного мешка льняную завязку и оглядел правую обмороженную ступню. Снова откинулся на топчане...

— Ты чего? — спросил матрос, когда Павел дважды, вдоль, разорвал чистую холщовую скатерку, в которой были завернуты жильцовские калачи. Павел молча достал из корзины широкую жильцовскую стамеску, попробовал острие:

— Лапка-то... вишь, синеет. Зажги лучину! — тихо, но твердо сказал Павел.— Да не одну, а пучок...

В голосе брата было столько уверенности, столько спокойной силы, что матрос затих, вопреки себе. Он зажег пук лучины и приблизился к топчану.

— Дай топор! Там, за печью.

— Ты что? — заговорил было матрос, но брат жестом приказал замолчать. Василий, не зная, что будет дальше, принес топор. Павел взял стамеску и начал калить ее на лучинном огне. Бросил недогоревшую лучину на земляной пол и поставил обмороженную ступню на сосновый чурбан:

— Бери топор и стамеску!

Старший брат растерянно взял стамеску, но взять топор не осмеливался. Мельничная избушка на минуту утонула в стылую тишину. Казалось, даже дрова в очаге перестали трещать.

— Ну? Васька... Бери топор, бей. Я сам подержу стамеску-то...

Павел наставил стамеску к основанию большого пальца.

Матрос Василий Пачин нехотя взял топор.

— Эх... ну? — Павел скрипнул зубами.— Дай топор мне! Тютя. Держи стамеску. Наставляй! Выше, выше, под самый корень. Держи прямо, бл... такая, кому говорю? — закричал Павел.

Когда рука матроса перестала дрожать, Павел ударил обухом по стамеске. Палец отлетел далеко к дверям. Кровь показалась не сразу. Павел успел лечь на спину. Матрос начал пеленать рану холщовой лентой, она быстро наливалась бордовым цветом. Он льняной бечевой перетянул ступню наискось от среднего пальца, но вторая холстина тоже быстро краснела.

Теперь Павел лежал на спине поперек топчана, белый как полотно. Нога была поднята и упиралась пяткой в стену избы. Кровь останавливалась.

Матрос Василий Пачин плакал, он сидел рядом, на чурбане, который не успела оросить Павлова кровь. Сидел, упершись локтями в колени. Кровавые сжатые кулаки подпирали его обросшие за ночь скулы.

— Ну? Ты чего? — Павел шевельнул головой.— Три к носу, все пройдет. Еще поживем. Поглядим, что будет... Прибери... схорони мертвую плоть...

Матрос нашел у порога отсеченный палец, завернул его в остаток окровавленной жильцовской скатертки. Вышел в пристройку. Оба коня, наставив уши, тревожно глядели на человека. Василий сходил к запертой на замок мельнице, взял стоявшую у ворот

пешню, которой мельник Жильцов скалывал с желобов лед. Матрос Василий Пачин вернулся к избушке. В углу пристройки, где стоял сторожкий Карько, промерзло не очень глубоко. Пешня тремя ударами пробила мерзлую землю...

IX

Еще осенью, по доносам троцкистов-горкомовцев, Вологодский губком был разгромлен.

Борьба вологжан за то, чтобы центр Севкрая был в Вологде, закончилась поражением. Губернию ликвидировали. Хотя Сталин и не поддержал переименование города в Сталинопорт, но столицей вновь образованного края сделал Архангельск. В Вологду посылали специального инструктора Седельникова, после чего ЦК слушал секретаря Вологодского окружкома Стацевича. Содоклад Седельникова, одобренный Кагановичем, лег в основу резолюции по Вологде.

Текст постановления гласил[1]:

«1. ЦК отмечает отсутствие пролетарски выдержанной политической линии в работе организации. Признавая на словах борьбу с правым уклоном и примиренческим к нему отношением, партийное руководство на деле оказалось политически совершенно близоруким и проводило в ряде случаев на практике явно оппортунистическую политику. В условиях острой классовой борьбы в деревне не было уделено, несмотря на значительный рост политической активности основных масс крестьянства, никакого внимания организации батрацко-бедняцких и середняцких сил для отпора кулачеству. Политический террор кулачества нередко квалифицировался как хулиганство, а напор кулачества в низовые советские и кооперативные органы рассматривался в отдельных случаях как здоровый процесс вовлечения «зажиточных» в советское и кооперативное строительство. В руководстве решающими для деревенской экономики отраслями хозяйства — животноводство, льноводство, лес, кустарные промыслы — отсутствовала выдержанная пролетарская классовая линия, в результате чего, не-

---

[1] Орфография документа полностью сохранена. (Здесь и далее примеч. автора).

смотря на общий хозяйственный подъем основных масс крестьянства, кулацкие слои деревни имели возможность быстро расти и укрепляться. В проведении важнейших мероприятий Советской власти — сельскохозяйственный налог, самообложение, землеустройство — наблюдается ряд отклонений на практике от партийной линии — случаи недообложения кулака, уравнительность при самообложении, насаждение кулацких хуторов и отрубов.

Благодаря такой явно неправильной политике и практике руководства работой в деревне, кулак сумел, несмотря на общие хозяйственные и политические успехи Советской власти в Вологодской деревне, добиться в некоторых районах известного укрепления своей политической и экономической роли, а в отдельных случаях даже подчинить своему влиянию советский и кооперативный аппарат (факты сращивания аппарата с кулачеством — Шуйская волость, Кубено-Озерская, Верхне-Вологодская).

ЦК отмечает поворот организации за последнее время (в период после районирования) в наступлении на кулака. Однако ЦК считает мероприятия Вологодского ОК и Северного краевого комитета партии в этом направлении недостаточными и предлагает перестроить работу всех звеньев организации, добиваясь решительного перелома в состоянии всей работы в деревне.

ЦК предлагает провести с тщательной подготовкой досрочные перевыборы всей сети партийных органов и созвать чрезвычайную окружную партийную конференцию, энергично развертывая в ходе перевыборной кампании самокритику снизу и мобилизуя всю организацию на решительную борьбу с конкретными проявлениями правого уклона и примиренческого к нему отношения.

Проверить тщательно во время проходящей чистки партии и госаппарата весь состав руководящих кадров (окружных, районных и сельских) с точки зрения их боеспособности, моральной устойчивости и выдержанности в проведении директив XV съезда партии о наступлении иа капиталистические элементы и о развертывании социалистического строительства. В первую очередь проверить состав тех соворганов, в работе которых имели место явные классовые извращения — земельный отдел, финотдел, а также,

принимая во внимание, что кулак крепче всего окопался в органах кооперации (особенно в маслосоюзе), провести снизу доверху проверку состава и работы коопорганов, беспощадно изгоняя из них всех проводников кулацкого влияния.

Отмечая неудовлетворительность руководства местными органами со стороны ряда центральных учреждений (НКЗем, НКФин, Маслоцентр, Союз Союзов, Колхозцентр), предложить им укрепить постановку организационной работы.

Боевой задачей ближайшего времени поставить организацию бедноты и батрачества по всей системе советских и кооперативных органов, обеспечив их руководящее влияние в этих органах и добиваясь изоляции кулака в вологодской деревне на основе укрепления союза рабочих и бедноты с середняком.

Поручить орграспреду ЦК выделить в месячный срок для укрепления Вологодской организации пятьдесят выдержанных и твердых работников из состава Ленинградской и Московской организаций, в первую очередь для низовой партийной и советской работы и оздоровления аппаратов кооперации (особенно Маслосоюза и Животноводсоюза).

Командировать в Вологодский округ сроком на 1 месяц члена ЦКК и члена ЦК.

2. Крупнейшим недочетом в работе организации является совершенно недостаточное внимание развитию животноводства и маслоделия, играющих решающую роль в экономике округа и имеющих известное общесоюзное значение,— темп подъема этих отраслей чрезмерно медленный, а животноводческих совхозов и колхозов нет ни одного. ЦК предлагает СНК РСФСР, Северному комитету партии и окружкому разработать мероприятия, направленные к социалистической перестройке животноводческого хозяйства (строительство крупных молочно-животноводческих и племенных совхозов и колхозов, организация машинно-мелиоративных станций и др.) и к усилению темпа подъема всей массы животноводческих индивидуальных бедняцко-середняцких хозяйств.

3. ЦК предлагает добиться превращения лесозаготовок в одну из основных общественно-политических кампаний в деревне, руководствуясь директивами ЦК от 29 июля 1929 г. по докладу Северных парторганизаций.

В области кустарных промыслов обратить особое внимание на борьбу с засилием кулацких и нэпмановских (скупщики) элементов, на создание в районах из наиболее развитых промыслов (Кубено-Озерский, Усть-Кубинский, Шуйский) крупных коллективных промысловых хозяйств.

4. Отмечая совершенно неудовлетворительное состояние парторганизации в деревне — незначительное количество крестьян-коммунистов и хозяйственное обрастание части из них,— предложить Северному краевому комитету партии и окружкому принять меры к укреплению рядов деревенской организации путем вовлечения в партию лучших батраков и бедняков, а также усилить работу по политическому воспитанию всей деревенской организации.

5. ЦК считает, что извращения в области работы в деревне явились результатом, в первую очередь, отсутствия связи партруководства с деревней, а также пассивности городской парторганизации в деле мобилизации пролетарских масс для социалистической перестройки деревни и укрепления политической работы в ней. В частности, организации ж.-д. мастерских не оказывали должного влияния на состояние деревенской работы вследствие того, что среди отдельных групп рабочих-железнодорожников все еще наблюдаются элементы хвостизма, цеховщины и непонимания классовых задач пролетариата. Необходимо улучшить руководство деревенской работой в организации, наладить систематическую живую связь с местами, ввести практику регулярных выездов ответственных работников в районы и т. д. Добиться решительного перелома в состоянии парторганизации и массовой работы на предприятиях округа, мобилизуя на основе социалистического соревнования широкие рабочие массы на выполнение поставленных производственных задач и на действительную практическую помощь работе в вологодской деревне.

6. Командировать в распоряжение Вологодского ОК 1 пропгруппу и 2 орггруппы».

26 декабря, в четверг, Каганович утвердил список оргруппы, направляемой в Вологду. В группе насчитывалось семеро. (После нового года, 6 января, в по-

недельник, дополнительным решением к группе присоединился восьмой, по фамилии Вилюмати.)

Ну, и дала ж вологжанам перцу эта оргруппа! Игнорируя распоряжения из Архангельска, действуя помимо крайкома, эти люди развернули поразительную активную деятельность. Бергавинов глотал множество золоченых пилюль, он не очень охотно соглашался с действиями московских уполномоченных. В Вологде над самыми боевыми партийцами нависла угроза обвинения в правизне. Обвинения же в малоактивности сыпались на всех подряд, начиная с секретаря окружкома Стацевича. Все чувствовали, что надвигается нечто неотвратимое.

В четверг, 30 января, Стацевичу принесли телеграмму из Архангельска, переданную открытым текстом:

«По сообщению уполномоченного крайколхозсоюза, в Грязовецком и Вожегодском районах начался выход членов из колхозов в результате кулацкой агитации среди колхозниц и недостаточного руководства районных организаций. Руководящие организации за подсчетом процентов коллективизации забыли о качестве колхозов. Предлагаем немедленно обратить на это внимание — бросить в районы сплошной коллективизации силы и сломить противодействие кулачества, развернуть работу по организации бедноты, женщин. Ответственность возлагаем на вас».

Стацевич красным карандашом подчеркнул слова о «сплошной коллективизации», о том, что нужно «сломить противодействие кулачества», и занялся было очередными делами, но ему тут же принесли еще одну шифровку, подписанную Бергавиновым. В этой шифровке предлагалось немедленно выделить дополнительные помещения для прибывающих с юга раскулаченных в Прилуцком монастыре, Высоковской запани и в Грязовецких казармах.

Телеграммы шли одна за одной. Оргруппа действовала автономно. Крайком требовал одно, Москва другое. Текущим и местным делам не оставалось времени...

Того же дня, вечером, по требованию члена оргруппы ЦК Сагитулина пришлось срочно созвать бюро окружкома. Кроме членов Ромашина, Гуляева-Зайцева, Шевковой, Рыбина, Сидорова, Колмакова, Рахманского, Анохина и Рогаткина на заседании при-

сутствовали: Козлов, окружной прокурор Головин, представитель ОГПУ Райберг, Карельский, Пузырев, Болод, Гиндин и член оргруппы ЦК Сагитулин.

По выступлению Рыбина «О практических мероприятиях по выполнению решения партии и ликвидации кулака как класса» бюро единогласно приняло постановление, в котором предлагалось:

«...всем парторганизациям немедленно приступить к учету и конфискации всего кулацкого имущества, обратив при этом внимание не только на основные средства производства, но и на возможные запасы дефицитных товаров в кулацких хозяйствах».

В ночь на 31 января почти никто из членов окружкома и окрисполкома не спал. Шли срочные инструктивные совещания. Секретные телеграммы были немедля переданы по всем районам. По всем районам, не дожидаясь утра, выехали специальные и оперативные уполномоченные. Органам милиции и подиву 10-й дивизии были даны спецуказания.

И все же долгая январская ночь оказалась намного короче, чем требовалось. Специальные группы в районах были организованы только под утро, да и то кое-как, наспех. Районный актив, поднятый нарочными, торопливо ознакомили с телеграммой из Вологды.

Как и кого раскулачивать? Никто толком не знал. Прежде чем выехать в Ольховицу, замначальника милиции Скачков в четвертом часу утра вызвал на телефон Сопронова — председателя Ольховского сельисполкома. Он дал ему устное указание немедленно приступить к экс... экспро-про-про-приации.

* * *

Скачков словно на школьном уроке потребовал повторить, что надо делать. Но Сопронов так и не выговорил как следует это костоглотное, хотя и давно знакомое, слово. Скачков отвязался. На столбе за стеной гудела железная телефонная жила. Нудно, надрывно, словно от зубной боли, стонала она от дальнего ветра и холода, но Игнаха слушал эту ночную струну с нарастающей бодростью. Он все еще держал в руке телефонную трубку. Рядом на стуле коптила зажженная Степанидой «летучая мышь». А где сама Степанида? Он забыл, что турнул ее собирать сельсоветский актив.

Ночь выдалась нехолодная и без ветра. Темнее не могло уж и быть, тишина давила, казалось, снизу и сверху. Глухо, будто из-под земли, сказывались в Ольховских домах петухи. Степанида по памяти, чуть не на ощупь, выбрела к дому Гривенника. Пошарила по воротам, забрякала железным кольцом. Подождала. Никто не шевелился, и она начала стучать кулаком в полотно. Гривенник спал сном праведника. Степанида, потеряв терпение, начала пинать в полотно ногой, и ворота вдруг сами раскрылись. Баба напугалась темноты в холодных чужих сенях. От этого начала звать громче, и только тогда в избе зашабаркались. Не вздувая огонь, в одних портках Гривенник выглянул в двери:

— Кто?

— Унеси тебя водяной! До чего доломилась, что и руке больно. Вставай, поваровей!

Она велела Гривеннику скорее бежать в сельсовет, сама, опять на ощупь, по памяти направилась к дому Веричева. Ругала Игнатья, что отнял фонарь, зато у ворот Веричева пришлось стукать недолго. Едва ступила на крыльцо, в сенях громко, заливисто залаяла собака, будто обрадовалась неурочной побудке.

После Веричева Степанида сходила до прозоровского флигеля и подняла Митьку Усова. Оставалось сбегать к наставнице Дугиной.

Как раз в это время и зажглись нижние окна большого шустовского дома. Степанида слышала, когда пробегала мимо, что в проулке у Шустова что-то движется, за окнами тоже чуялось шевеление, но ей было велено — кровь из носу — скорее собрать ольховских членов ячейки, поэтому она тут же забыла про шустовское подворье.

«Лешие, сотоны,— ворчала уборщица.— Вишь, моду взяли и по ночам не спят!»

Она вернулась в сельсовет, зажгла десятилинейную лампу, подставила стул и повесила ее к матице. В сельсоветской комнате стало светлее. Когда собрались Веричев, Гривенник, Дугина, когда приковылял Митька Усов, председатель попросил Степаниду выйти... О чем они совещались? Она не знала, но примерно через час все пятеро дружно вывалились из дверей и по коридору на улицу.

Фонари несли Веричев и наставница. Длинные тени от валенок метнулись по снегу. Все молча двинулись по дороге. Сопронов на ходу приказал Степаниде запречь сельсоветскую лошадь. Степаниде было совсем невтерпеж. Ей обязательно нужно было знать, куда это и зачем двинулись активисты. Она решила, что лошадь ей недолго запречь, минутное дело. Она и после запречь успеет. Степанида пошла следом. Сперва она шла за ними на порядочном расстоянии, чтобы не видно было, но вскоре начала догонять, а в проулке у Шустовых и совсем присоседилась. Все пятеро были в таком состоянии, что и не заметили Степанидиной вольности. И вот уборщица совсем забыла, что надо запрягать сельсоветскую лошадь, она уже переговаривалась с наставницей, как будто так и надо.

Окна в нижней, первоэтажной избе Шустовых ярко светились. Сопронов предостерегающе поднял руку. Все остановились.

— Не спят! Надо было хоть ружье взять! — тихо проговорил Гривенник.

Веричев, лесной объездчик, насчет ружья промолчал. Минуты две стояли, не двигаясь. Переступив с ноги на ногу, Веричев произнес:

— Ну, что, чего стоять? Пришли, дак надо идти! Стоять нечего.

Сопронов взял фонарь учительницы и первым ступил с улицы к дому Шустовых. Остальные поспешно пошли за ним. Было около пяти часов за полночь. Кое-где в домах уже начинали вставать старики и большухи. Была пятница — последний день января 1930 года. Пятеро ступили на шустовское крыльцо. Сопронов хотел постучать, но ворота оказались настежь распахнуты. Сопронов оглянулся на спутников. Те молчали. Он пошел дальше, открыл двери нижней избы.

Пахнуло давно обжитым теплом. Смешанный запах печного варева и детских одежд, шорного дела и пирожной закваски успокоил Сопронова, за ним осмелели и все остальные.

— Встали хозяева? — с порога спросил Сопронов и еще смелее шагнул на свет.

Но ему никто не вышел навстречу. Под потолком ярко горела висячая лампа, в горнице светила настольная, семи линий, но в обеих избах было пусто.

«Спрятались, что ли? — мелькнуло в председательской голове.— Достанем из-под земли». И он дернул за колечко, открыл люк, ведущий в подполье. Посветил фонарем. Подполье было завалено картошкой и брюквой.

— А вот и ружье есть, Игнатей Павлович,— то ли всерьез, то ли с насмешкой сказал Веричев.

На лосиных рогах, вделанных в стену, действительно висели тульская сломка, сделанная из бычьего рога пороховница и патронташ. Сопронов поспешно снял ружье, проверил. Схватил патронташ и так же поспешно зарядил.

— В хлевы! — приказал он.

— В хлевах нам нечего делать,— сказал Митька Усов и сел на лавку.— Закуривай.

— То есть как нечего? — удивилась учительница.

— Так. Никого нет.

Но Гривенник и Сопронов с фонарями в руках уже шастали по верхнему сараю и в верхних холодных избах, распахивали сенники и спускались вниз. Вся скотина, кроме лошади, была на месте. Овцы в хлеву испуганно шарахались по углам, корова недоуменно глядела на незнакомцев.

Лошади в стойле не было.

Сопронов как угорелый выскочил на улицу, прыгнул под взъезд, где стояли обычно розвальни. Ни упряжки, ни розвальней тоже не было.

— Степанида! — заорал он.— Ты запрягла аль нет? Давай пулей чтобы...

Но Степанида уже пропала куда-то. Дом со всем добром брошен, а людей нет. Могла ли уборщица удержать при себе такую новость? Нет, это было ей не под силу... Сопронов прибежал в избу, хватая за рукав то Митьку, то Веричева, кричал:

— Уехал! Догонить надо гада. Быстро запречь и догонить!

— Ищи ветра в поле,— сказал Усов. Он не спеша заворачивал цигарку.

— Ты у меня...— Сапронов был окончательно взбешен.— Ты у меня после... после поговоришь!..

— Да куда ехать? — вступился за Митьку Веричев.— Оне, может, с вечера выехали, тридцать верст отмахали.

— Неизвестно ишшо, по какой и дороге-то...— вставил Гривенник, держа в одной руке затейливый

чайник, в другой пчеловодный дымарь. Глазами он успевал ощупывать шустовский стол с чернильницей и с какими-то книгами.

— Положь на место! — приказал Сопронов, и Гривенник поставил чайник на стол.

Все пятеро, ошарашенные и удивленные, не знали, что делать. Брошенный дом был полная чаша. В хлевах скотина, на верхнем сарае солома и сено. В ларях мука, в сундуках белье и одежда, в шкапах посуда и книги — все брошено на произвол судьбы! Но как осмелился Шустов, как уместил в розвальнях пятерых малолеток, старуху, глубокого старика? «Ну, ладно,— думал Митька.— Ядреные ушли за возом пешком. А как с харчами-то? С кормом для лошади как? Ежели на возу пятеро малолетков да два старика, туды уж больше ничего не положишь».

Комиссия между тем ходила с фонарями по всему дому. До рассвета успели описать самое главное: скот и одежду. Сопронов, не расставаясь с ружьем, распахивал сундуки и шкафы, откидывал одеяла. Драночная зыбка на березовом очепе еще хранила тепло, одеяльце еще не остыло. Пеленочный запах не успел выветриться. Сопронов перевернул всю внутренность зыбки и вдруг снова вскрикнул вороном:

— Под твою ответственность! — Он схватил Веричева за ворот.— Чтобы все до последнего гвоздя в список! Я его, гада, все равно догоню...

Он выскочил из дома и побежал к прозоровскому подворью, где стояли кони и где образовался центр усовского колхоза. Там было свалено сено и вся колхозная упряжь. Сопронов прибежал туда с фонарем и с ружьем, долго искал сбрую. Сельсоветская лошадь тоже куда-то исчезла. Бегая по Митькиному колхозному двору с ружьем и с фонарем, он вспомнил наконец, что велел запречь Степаниде, но у сельсовета ни повозки, ни уборщицы не оказалось. Пока бегал по Ольховице, лошадь, запряженная в санки, стояла у дома Шустова, где продолжала хозяйничать комиссия. Сопронов отвязал лошадь, положил ружье и патронташ в передок санок. Потом бросил в них охапку шустовского сена, развернулся и на ходу запрыгнул в корешковые санки.

«Куда он ударился? — думал Сопронов.— По какой уехал дороге?.. Ежели в сторону станции, надо позвонить в район. А ежели в сторону Пунемы? И еще

есть дорога, третья... Нет, на третьей Шустову нечего делать, он либо на станцию, либо в лесопункт. Может, и догоню, надо попробовать...»

И Сопронов привстал в санках, ударил по лошади ременной вожжиной.

* * *

Светало. Василий-матрос разверстал в розвальнях Евграфов тулуп, в другой тулуп завернул Павла и на руках вынес его из мельничного тепляка. Утыкал со всех боков:

— Ну, Пашка, терпи. Авось не заморожу тебя. Куда поедем? В Шибаниху или в Ольховицу?

— Вези, где сударушка.— Брат даже пробовал пошутить.— В Шибаниху...

Матрос гикнул, мельница исчезла за лесом. Дорога была переметена во многих местах, особенно на полянах, но застоявшаяся лошадь понеслась в галоп. Когда выехали на большую дорогу, совсем рассвело. Поземка настырно и косо неслась поперек пути. Следы от полозьев тотчас заметало. Лошадь сама перешла на шаг.

— Может, к отцу? — спросил брата Василий.— Тут ближе... И медицину легче бы вызвать.

— Нет. Давай уж в Шибаниху.— Голос Павла звучал глухо и равнодушно. Матрос погасил тревогу в душе. «Ничего, ничего...»

— Полундра! — вдруг крикнул он, когда встречная лошадь нисколько не отвернула в сторону. Ударились запрягами. Оглобли сцепились.

— Сдавай назад! — крикнул матрос.— Сворачивай.

— Сворачивай сам! — послышалось впереди.

— Нам нельзя в снег.

— А мне можно? Давай вороти, а то худо будет,— крикнул Сопронов.

«Кому худо будет, еще поглядим»,— подумал матрос Василий Пачин и спрыгнул в снег.

— Лежи, Пашка. Где топор? Я ему гужи обрублю...

Но лошади сами, без человеческого приказа подались вспять, оглобли упряжек расцепились. Можно было разъезжаться. Матрос не стал выдирать из вяза топор. Он взял встречную лошадь под уздцы и свел

ее с дороги в глубокий снег. Сопронов схватил из передка шустовское ружье. Матрос же прыгнул в свою повозку и тронул вожжи. Сопроновская лошадь вплавь, рывками выбиралась на твердое место. Павел шевельнулся в тулупе, слегка привстал и узнал Сопронова. «Он,— подумалось Рогову.— Опять с ружьем. Куда бы такую рань?» Василий замерз от купания в снегу. Надо было ехать скорее. Матрос показал Сопронову кулак, лошадь пошла скорой рысью. Повозка с братьями удалялась все дальше к Шибанихе.

«Чего это занесло меня на залесенскую дорогу?»— подумал Сопронов. Он положил ружье в передок санок. Взялся за вожжи. И сразу забыл Сопронов про побег Шустова. Сыновья Данила Пачина напомнили ему о родной деревне Шибанихе. Он начал прикидывать, что делать дальше: «Так. Значит, так. Скачков приедет не раньше ночи. Да за это время они все по родне растащат! Все попрячут. Нет, нельзя ждать Скачкова, надо самим! Догадаются ли Веричев с Усовым и Гривенником сходить с описью к Гаврилу Насонову? Учительша — эта только бумаги писать... Гаврила — опишем и Данила возьмем за жабры. Нонче Пачин не вывернется...»

Так думал Сопронов. Думал, гадал: то ли повернуть в Ольховицу, то ли ехать в Шибаниху.

«В Шибаниху! — вдруг твердо решил он.— Еще успею. Теперь не ускочат...»

Он решительно выехал к шибановской отворотке, куда только что скрылись братья. План уже выстраивался в голове. «Что сделать в первую очередь? Собрать комиссию. Группу, а то и две. Кого в группу? Митя Куземкин поведет одну группу, он, Сопронов, вторую. Чтобы успеть, пока не очухались. Куземкина в группу — раз, он, Сопронов,— два. Селька, братан,— три. Володя Зырин, счетовод,— четыре. Лыткин — пять, Кеша Фотиев — шесть. Для счету сгодится и Носопырь. Нет, не выйдет, пожалуй, на две группы! Придется одной...»

Так думал он, погоняя кобылу, возбужденный и радостный: «Пришли, пришли знатные времена. Дремать некогда. С кого бы начать? Знаем, с кого начать...»

Сопронов запалил кобылу. Она вся потемнела от пота, белые хлопья появились в паху. В деревне он кинул вожжи на колья своей изгороди, схватил из

санок ружье и вбежал в избу. Минуты через две из ворот выскочила Зоя, она побежала собирать намеченных членов... Потом, на ходу что-то пережевывая, появился Селька, он двинулся открывать красный шибановский угол, в котором всю зиму топил печь и подшивал газеты.

Не больно-то жарко натопил Селька в бывшей конторе, в половине лошкаревского дома! Вторые рамы имелись не в каждом окне, двери ничем не обиты, печка-щиток давно потрескалась.

Первым в читальню явился Миша Лыткин в своей желтой дубленке. На полах шубы намерзли ледяные бубенцы, они слегка побрякивали. Он снял шапку, но от холода сразу надел, отчего постеснялся читать, вернее глядеть картинки в газетах. (Читать, не снимая головных уборов, Селька не разрешал.) Вторым пришел Володя Зырин — продавец кооперации, он же счетовод колхоза «1-я пятилетка»; сразу за ним показался сам председатель Митя Куземкин. Последним, с ружьем за спиной, пришел Сопронов.

— Ты, Игнатей Павлович, чего это? — спросил Куземкин.— За охотой, что ли? У нас за гумном зайцы вон так и скачут...

Сопронов прищурился на Куземкина, и Митя сразу сменил тон.

— Товарищи! — заговорил Сопронов, когда все призатихли.— Ночью получена устная телеграмма из района. Есть указание немедленно приступить к разгрому кулачества как класса... В Ольховице уже начали. Не будем терять драгоценных минут, начнем сразу и мы...

Все замерли.

— А кто в Шибанихе кулаки-то? — спросил Зырин.— У нас нет.

— У меня список! — жестко сказал Сопронов.— Да все мы и так знаем, кто в Шибанихе кулаки, товарищ Зырин! Ежели тебе неизвестно, могу зачитать...

Кеша Фотиев как раз заглянул в двери. Сопронов махнул ему, чтобы заходил быстрее, и продолжал:

— Предлагаю: разделимся на две группы. Одна с Куземкиным, другая со мной. Кому начинать с ольховского конца?

— Нет, Игнатей Павлович, с двух-то концов не лучше,— сказал Куземкин.— Давай уж пойдем все вместе.

— Пока опишем в одном конце, в другом все спрячут! — со злом обернулся Сопронов.— Боишься, что ли?

— Не боюсь, а вместе надежнее!

Сопронов нехотя сдался. Он взял у Сельки карандаш и амбарную книгу для описей, первым открыл двери:

— Пошли! — В коридоре он перевесил ружье из-за спины на плечо. Лестница заскрипела, все двинулись за Игнахой.

У крыльца встретился Носопырь. Сопронов велел ему идти в дом к Роговым, Сельке приказал караулить Евграфа Миронова.

— А с кого будешь починать? — поинтересовался Куземкин.

— С Жука! — на ходу бросил Сопронов.

...Пятеро подошли к воротам Брусковых. Сильный стук в полотно ничего не дал. Сопронов пошел к окну зимней избы. За стеклом мелькнула женская кацавейка. Сопронов сильно постучал в раму, но ворота уже открылись.

Жучок в шубной жилетке поверх синей рубахи, простоголовый, стоял в воротах.

— Ну, здорово-те. Больно вас много! — промолвил он, бледнея. В избе он пнул тершегося о валенок кота.

— Матка, ставь самовар вдругорядь! Видишь, сколько сватов наехало? — Голос Жучка совсем истончился.— И ты, тятька, слезай с печи, погляди на гостей. Пришли раскулачивать...

Жучок проворно достал из шкапа какую-то бумагу. Он совал ее под нос Сопронову:

— Вот! почитай, ты грамотный! У меня с тятькой роздельный акт!

— Не имеет значенья,— сказал Сопронов.

— Это как это так?

— А так! Хозяйство разделёно с цели!

Напуганная, белая как холстина Агнейка стояла за такой же перепуганной матерью, две младших девчонки словно зверьки глядели из-за шкапа. Сивый сухой Кузьма по прозвищу Жук слезал с полатей. Его длинная, ниже колен рубаха удивила комиссию. Старик, стуча клюкой, по очереди подходил к каждому, пытаясь узнать по обличью, кто пришел.

— Сивирька, этот-то чей?

— Этот, тятька, у их главной конвой,— сказал Жучок про Мишку Лыткина.— Вишь, у одного батог, у другого ружье. Пришли как на медвидя...

Сопронов сел за стол, сдвинул чайные чашки. Поставил ружье между колен, подал Куземкину бумагу и карандаш.

Сиротский голос Жучка растворился в жутком женском плаче. Вслед за матерью взревела Агнейка, за шкапом тоненько заплакали младшие.

Жучок скакнул с лавки прямо к Лыткину, ткнул ему пальцем между ключиц:

— Что, Миша? Доходы мои пришел считать? Посчитай, коли своих нет! Посчитай, только гляди, Михайло, не просчитайся.

— Подай ключи от подвалов! — крикнул Сопронов Жучку, но тот сделал вид, что не слышит. Он только что обратился к Фотиеву:

— И ты, Асикрет Ливодорович, заодно с има? Добро, парень, очень добро! Давно бы так... Дело у тя пойдет...

Северьян Кузьмич подскочил наконец к Сопронову:

— Ежели право такое есть, иди ломай! Подламывай, Игнатей Павлович, был ты вор полуношный, ныне грабишь середь белого дня! Иди в сенники!

Сопронов сдержался. Кивнул Куземкину:

— Начинай! Узнаем, у кого наворовано больше.

Сопронов велел закрыть избу на крюк и никого не пускать, Кеша встал было у дверей, но плач в брусковском дому услышали Новожиловы. Появились и другие соседи. Сопронов диктовал Мите Куземкину:

— Самовар желтый, ведерный, да второй самовар белый! Записал? Котел чугунный. Шкап резной! Кровать железная.

Игнаха распахнул было шкап, да передумал и решил открыть вначале девичий сундук, Агнейка ничком упала на крышку:

— Не дам! Иди к лешему!

Он сильно отпихнул девку: взял у шестка лучевник. Подсочился и нажал. Крышка отлетела, сломанный музыкальный звоночек печально и тонко пропел в тишине.

— Пиши. Пара отласная. Холсты два конца. Строчи, фата кашемировка...

Агнейка, причитая, вместе с Марфой, своей матерью, покатилась по полу. Жучок вдруг схватил у

шестка железный ухват и хлестнул по залавку. Там все полетело, но Сопронов, с виду спокойный, обернулся к нему:

— За порчу имущества будешь отвечать по закону!

— Закон? Это какой закон? Вот тебе закон! Вот!

Жучок бил по горшкам, но Сопронов не слушал, диктовал Мите Куземкину:

— Труба самоварная, новая. Шуба крытая. Приборов чайных фарфоровых шесть, тушилка для угольев...

Игнаха не заметил, как исчез из избы Володя Зырин. «Убежал счетовод! — со злобой подумал Сопронов.— Ладно, это дезертирство мы припомним, придет срок...»

Наконец-то пошли по сенникам и подвалам. Кеша и Зоя Сопронова вязали узлы с одеждой, торопливо таскали на улицу и складывали в сельсоветские сани. Из подвала Кеша и Миша Лыткин волокли выделанные кожи, мотки пряжи, мешок с толокном, два с мукой, замороженную баранью тушу. Все это Сопронов велел возить под замок, в бывший орловский, нынче колхозный амбар.

Миша Лыткин, прикрякивая, топтался около воза. Его заинтересовало большое лукошко с вяленой брюквой:

— Ето... Больно много навялено! Галанки-то.

— Наворовано того больше,— поддержал Кеша.— Я этого Жучка знаю, он вор с малолетства. Бывало, ишшо ребенками ходили по ягоды. В сеновале уснули. Я очнулся, гляжу, он черницу перекладывает из моей корзины в свою.

— Давай не рассусоливай! Плотнее клади,— командовала Зоя около воза.

«Ничего не успеть! — выходя на крыльцо, подумал Игнаха.— Дело к вечеру, а мы с одним не управились».

Жук и Жучок, оба как пьяные, ходили по морозному дому, один босиком, другой без шапки, вскоре они как-то сразу стихли, одеревенели. Стояли посреди повети и бормотали что-то непонятное. В избе соседки оттирали снегом Агнейку и Марфу, кто-то увел из дому двоих девочек-малолеток. Сопронов вернулся в дом, поглядел поверх Жука и Жучка:

— К завтрашнему утру помещенье освободить! Ты, Северьян, мою натуру знаешь, второй раз говорить не стану.

— А куды? — по-бабьи взвизгнул Жучок.— Пес! Разорил гнездо, дак ты и скажи: куды мне топерь? Со стариком-то да с детками? Ты, пес, тебе, псу, все одно на какие пеньки с...! А мне-то куды?

Но Сопронов не слушал слезных криков Жучка.

От Брусковых, уже с фонарем, он направил группу к поповнам. Он рассчитывал там на драгоценный металл. Третьим на очереди был у него Евграф Миронов, четвертым...

«Успеем ли за ночь? — мелькнуло в разгоряченном уме.— Успеем». Он сдержал, не дал свободы восторженной тряске, готовой охватить его от ушей и до пят. Словно хозяйка-большуха, что оставляет овсяный кисель на конец праздничного застолья, он оставлял Роговых, как говорится, «на верхосытку»...

Гигантские тени от ног стелились по снегу, бесшумными призраками шагали вместе с Куземкиным к церкви и кладбищу. Поповка мерцала во тьме двумя желтоватыми окнами. Куземкин шел вперед и вперед, за Куземкиным с ружьем и с женой шагал Сопронов. За ними бойко ступал Кеша Фотиев, и сзади всех торопился взопревший Миша Лыткин. Они прошли мимо безмолвного, белеющего в ночи храма. Боясь взглянуть на церковь, спеша и оступаясь с высокой тропы в снег, они миновали поповский садик. Фонарь выдыхался, коптил, наконец и совсем погас. Когда направляющий ступил на крыльцо, свет в окнах тоже погас. Тихая тьма со всех сторон, снизу и сверху сдавила пришельцев.

— Ломись! — ободрил Сопронов Куземкина.— Чево испугался?

Председатель повернулся задом к дверям. Приноровился и начал пяткой подшитого валенка бухать по воротному полотну.

X

В Ольховице с отъездом Сопронова группа понемногу потеряла боевой пыл. Чуть не весь день описывали шустовское имущество, потом пили чай у Гривенника. Под вечер по предложению Дугиной ре-

шили было идти на Гаврила Насонова, чтобы отобрать хотя бы кузницу, но сперва Усов укостылял по своим колхозным тоже срочным делам, потом прибежали за Веричевым: у него начала телиться корова. Один Гривенник да учительша Дугина и уборщица Степанида с Гаврилом Насоновым явно бы не управились. Пока в исполком не прикостылял Митька Усов да пока не отелилась веричевская корова, все бездействовали, а тут пришло убеждение, что надо дождаться Игнатья Павловича и только потом идти кулачить Насонова.

И все разошлись.

Глубокой ночью в притихшую Ольховицу въехало две подводы. Усталые, запорошенные снегом кони с фырканьем остановились у сельсовета. Из первых санок выпростался Скачков в полушубке и Фокич в пальто. Из вторых — широких — вылезло два заснеженных милиционера. Они долго отряхивались, разминались, затем все поднялись в мезонин. Лесенка наверх, казалось, не вытерпит тяжести, ступени скрипели долго и жалобно. И вот уборщице Степаниде вторую ночь подряд пришлось бегать по всей деревне...

В мезонине было не очень холодно. Едва покормив лошадей, Скачков отправил одного милиционера и Смирнова Каллистрата Фокича в Шибаниху к Сопронову, с тем, чтобы они вместе немедля ехали дальше, в Залесную, где недавно был арестован мельник Иван Жильцов, и по другим деревням. Сам Скачков вместе со вторым милиционером остался и срочно потребовал в мезонин секретаря ячейки Веричева, а также председателя колхоза Дмитрия Усова. Веричев доложил обстановку, сказал о Сопронове.

— А вы чем тут занимаетесь? — на повышенном тоне спросил Скачков.— За весь день одно хозяйство? Вы чем думаете, головой или задницей?

И Скачков потребовал у Веричева список недоимщиков. Он тщательно изучил список, поставил на нем шесть или семь красных галочек. Задумался.

— Шустова мы найдем, далеко не уедет,— сказал он.— А эти? Пачин с Насоновым... что, они у вас на особом счету? Сейчас же реквизировать дома и имущество! Обоих арестовать! Выделить людей для охраны, отправить в район.

Веричев хмуро мял свою белую заячью шапку:

— Насонова с Пачиным мы не посмели трогать.

— Почему? — Скачков встал.— За какие заслуги?

— Сыновья у обоих в Красной Армии,— поддержал Веричева Митька Усов.

— Это не ваше дело! — взъярился Скачков.— Вы оба понесете партийную ответственность.

— За что, товарищ Скачков? — не удержался Веричев.

— За то, что потворствуете классовому врагу! — Он сбавил тон, заговорил тише.— Я из-за вас неприятностей наживать не хочу, поймите. Надо выправлять положение. Собрать понятых!

Пришел сонный Гривенник.

Скачков расстегнул кобуру, проверил наган.

— Учтите. Сегодня спать не придется,— улыбнулся он Веричеву.— Надо бы хоть по стакану чаю сперва.

Веричев повел приезжих к себе. Гривенник, Степанида и Усов спустились вниз, терпеливо стали ждать возвращения начальства. Зазвонил телефон. Усов взял трубку. Далекий голос Меерсона требовал срочно позвать к аппарату Сопронова.

— Да нету, нету Сопронова-то! — орал Митька. В трубке что-то шумело, как в самоваре. Провод на столбе за окном выпевал свою бесконечную ветряную ночную песню, сердце у Митьки ныло еще больше. Степанида тоже кряхтела и охала. Когда Гривенник в очередной раз вышел до ветру, Усов обернулся к уборщице:

— Это... Ты бы сходила... знаешь сама.

— Куды?

— Куды, куды! — рассердился Усов.— К людям! К Данилу да Гаврилу. Не знают ведь ничего... ни сном ни духом...

Степанида смекнула, послушалась и проворно исчезла. Провода загудели еще настойчивее. Мышь за печкой невозмутимо грызла какой-то сухарик. Митька Усов, по прозвищу Паранинец, слушал ночные звуки, ему было обидно, что к Веричеву ушли без него. «Наверняка и пол-литру выставит,— думал Усов.— Веричев без вина не живет». Вернувшийся с воли Гривенник тоже был недоволен. Усов припомнил давешний спор с Гривенником насчет Данила с Гав-

рилом, когда, уже под вечер, описали и заперли на замок подворье Шустова. Веричев занял колебательную позицию, учительница встала было за Гривенника. Но председатель колхоза высказал сомнение: можно ли раскулачивать колхозников? Да еще и семьи-то красноармейские. Он предлагал подождать, что скажут завтра по телефону, и вот тут-то Веричев и поддержал Митьку Усова. Хорошо, что Игнахи не было, уехал шибановских раскулачивать. Но все равно ныла почему-то усовская душа! Это нытье было похоже на гул столба, на стон телефонного провода. Тревожная дрема совсем сморила Дмитрия. «А чего это, председатель-то и в том колхозе тоже Митька? И в Залесной Митька, и в Шибанихе Митька...» Усов, не спавший вторую ночь, начал клониться набок, то влево, то вправо. Голова то и дело тыкалась подбородком в грудь. Вскоре он перестал сопротивляться и захрапел.

Сколько времени он спал? Топот ног и скрип наружного входа вклинились в его невыразимо приятную грезу. Он не желал возвращаться из потустороннего состояния, но здешняя неприятная сторона вновь выволакивала его к зимней растревоженной Ольховице, к Скачкову с наганом и ко многим и прочим неприятностям. «Идет!» — проснулся Усов и тряхнул нестриженой головой. Но был это не Скачков и не Веричев.

В дверях объявилась широкая фигура Данила Пачина. У порога Данило обил рукавицей налипший на валенки снег, только после этого поздоровался с Усовым.

— Ну, Дмитрей, ясли-то мы добры сделали. Да жердья не хватило, вишь, надо бы в трех углах. Кто приехал-то?

— Сам Скачков да еще и с помощниками.

— Может, и нам с Гаврилом как Шустову? Семейство на воз, избушку на клюшку...

Едва помянул Данило Гаврилу, как послышался новый топот и тот сам заглянул во двери:

— Разрешите, пожалуйста!

Большая каштановая борода Гаврила была похожа на бороду отца Николая, только темнее. Не успел Гаврило поздороваться с Усовым, как половицы в сенях опять заскрипели, запрогибались, и Дымов Аким шагнул через порог, а вскоре пришли еще двое, а

когда вернулись Скачков и Веричев, народу стало еще больше.

— Кто разрешил? — Скачков так поглядел на Митьку, что у того съежилось что-то внутри.— Почему не спим, граждане? Время ночное.

— Мы-то, гражданин начальник, товарищ Скачков, уснуть севодни никак не могли! — заговорил Данило Пачин.— Оба с Гаврилом вторую ночь не можем уснуть. Да ведь и ты-то не спишь!

Скачков, раздраженный, ходил по свободному месту, разглядывал всех в лицо. «А ты чего?» — хотелось ему сказать каждому, но он лишь глядел в переносицу и отходил к следующему. Он взглянул наконец и на Гаврила Насонова. Тот встал со скамьи, снял шапку:

— Позвольте, товарищ Скачков, спросить...

— Спрашивай!

— Я, значит, так... Говорят, что я записан в класс. Этот класс велено, говорят, выдрать с корнем, значит, леквидировать. Так я, значит, и хочу спросить, кто велел меня леквидировать? Ведь я вроде не тать, не разбойник...

Не удержался тут и Данило, перебил Гаврилову речь да и начал рассказывать, как воевали они с белыми генералами. Данило сунул в руку Скачкову «копию с копии» — письмо от Калинина. Все заговорили, и Митька Усов понял, что это он, Усов, испортил Скачкову всю обедню, понял, и вроде бы стало Усову легче. Нет, ничего не получится у Скачкова в эту ночь! Время идет, и народ идет... Поневоле придется объявлять митинг либо собрание. А тут объявился и матрос Василий! Он подошел прямо к Скачкову и, здороваясь, подал руку:

— Откуда и кто? — спросил Скачков, нехотя отвечая на рукопожатие.

— Я матрос Пачин. Нахожусь в кратковременном отпуске.

— Прошу помещенье освободить! — Скачков отвернулся.

— А вы кто такой?

— Кто я, не обязательно знать! — Скачков вспыхнул.— Предъявить документ!

Матрос Василий Пачин достал из нагрудного кармана документы. Скачков долго разглядывал удостоверение и отпускное свидетельство, смотрел на печа-

ти. Василий Пачин разглядывал в это время его, Скачкова, а на них двоих напряженно глядели все остальные.

— Я хочу позвонить в военкомат лично районному комиссару,— сказал матрос и шагнул к телефону. И Усов окончательно понял, что раскулачивания не будет.

Данило, гордясь сыном, не утерпел, повернулся к народу, хотел что-то сказать, да одумался, разволновался и вдруг стал приглашать районных гостей на ночлег...

Шел третий час ночи. Гудение столба и железной жилы, протянутой в Ольховице, стало умиротворенней и тише. Может быть, погода менялась к лучшему?

* * *

Погода и впрямь менялась, но только не политическая. Через три дня в крайком Бергавинову начали поступать предостерегающие сигналы из воинских частей. Самоуправство оргргуппы в Вологде возмутило секретаря. Во вторник, четвертого февраля, крайком дал округам телеграфное указание впредь до указания крайкома приостановить раскулачивание. Но на следующий день, после шифровки, подписанной Кагановичем и Молотовым, бергавиновский «либерализм» как ветром сдуло, и бюро Северного крайкома приняло совсем иное постановление:

«Исходя из политики ликвидации кулачества как класса в районах сплошной коллективизации и решительного подавления противодействия кулачества и контрреволюционных элементов деревни происходящим процессам социалистического переустройства сельского хозяйства, бюро крайкома постановляет:

1. Отнести контрреволюционную верхушку кулачества края к I категории и немедленно начать ее ликвидацию[1].

2. В районах сплошной коллективизации кулачество отнести ко второй категории. Конфисковать у кулаков этих районов средства производства, скот, жилье и хозяйственные постройки, предприятия по переработке, корма, семена и сырьевые запасы, а сами кулацкие семьи выселить через аппарат ПП ОГПУ в северные необжитые районы края.

---

[1] Следовала четырехзначная цифра.

3. Количество семей II категории, подлежащих переселению в северные районы края, должно устанавливаться окружкомами, исходя из фактического числа кулацких хозяйств каждого района, но ни в коем случае не должны превышать в среднем 3—5% общего числа хозяйств района. Цифры немедленно сообщить крайкому и окротделу ОГПУ и не проводить выселение без разрешения и плана ПП ОГПУ.

4. Остальные кулацкие хозяйства, не вошедшие во вторую категорию, отнести к третьей категории, которые подлежат расселению в пределах района коллективизации на новых, отводимых им за пределами колхозов землях.

5. Разрешить отдельным кулацким хозяйствам добровольное переселение в северные районы при условии оставления этим семьям указанного в настоящем постановлении количества инвентаря и средств.

Допустить с разрешения РИКов оставление отдельных семей, имеющих в своем составе больных членов семей или грудных детей, на постоянное или временное жительство их в прежних районах.

6. Выселению и конфискации имущества не подлежат семьи красноармейцев и командного состава РККА. В отношении кулаков, члены семей которых длительное время работают на производстве в постоянных кадрах, проявить особо осторожный подход и выяснение их положения в производстве и отношение к своим кулацким хозяйствам.

7. Ликвидацию I категории закончить не позднее 20 февраля. Началом выселения остальных категорий определить 20 марта.

8. Списки кулацких хозяйств, выселяемых в отдаленные районы (II категория), составляются райисполкомами на основании решений собраний и утверждаются окрисполкомами.

9. Высылаемым кулакам при конфискации имущества должны быть оставлены лишь самые необходимые предметы домашнего обихода, некоторые элементарные средства производства (топор, пила, лопата и т. п.) и 2-месячный запас продовольствия, денежные средства также конфискуются с оставлением, однако, на каждую семью не более 500 рублей.

10. Для конфискации имущества райисполкомы назначают своих уполномоченных, которые производят точную опись и оценку имущества с обязатель-

ным участием сельсовета, представителей колхозов, бедняцко-батрацких групп и батрачества. Ответственность за полную сохранность конфискованного имущества возложить на сельсоветы.

11. Райисполкомы передают конфискуемые у кулаков средства производства и имущество в колхозы в качестве взноса бедняков и батраков с зачислением его в неделимый фонд колхозов. До передачи из конфискуемого имущества погашаются долги государству и кооперации (налоги, гарнсбор и т. д.). Конфискуемые жилые постройки используются на общественные нужды сельсовета и колхозов и для общежития батраков.

12. У кулаков всех трех категорий отбирать сберкнижки и облигации госзаймов, заносить в опись и направить на хранение в финорганы с выдачей соответствующей расписки. Немедленно прекратить в районах сплошной коллективизации выдачу кулацким хозяйствам их взносов из сберегательных касс, а также выдачу ссуд под залог облигаций.

13. Паи и вклады кулаков всех трех категорий в кооперативных объединениях передать в фонд коллективизации бедноты и батрачества, а владельцев их исключить из всех видов кооперации.

14. Считать обязательным, чтобы колхозы, принимающие конфискованные у кулачества орудия производства и земли, полностью их использовали в целях увеличения производства и сдачи государству товарной продукции.

15. Часть имущества, конфискуемого у кулаков (рабочий скот и инвентарь), подлежит сдаче в особый краевой фонд для использования в местах постоянного расселения кулачества (подвозка лесных материалов для постройки жилищ, освоение земель и т. д.). Поручить крайзу в 3-дневный срок разработать минимальную потребную для этой цели норму инвентаря и рабочего скота.

16. В отношении кулацких хозяйств, расселяемых на месте вне колхозных полей, окрисполкомам указать места расселения, допуская таковые лишь небольшими поселками, управляемыми специальными тройками или уполномоченными, назначаемыми РИКами и утверждаемыми окрисполкомами. Этой категории хозяйств оставить минимальные размеры средств производства, необходимые для ведения хо-

зяйства на новых участках, возложив на них определенные производственные задания и обязательства по сдаче товарной продукции государству и кооперации. Окрисполкомам срочно проработать вопрос об использовании кулаков как рабочую силу на ряде работ.

17. Выселяемые в отдаленные районы Севера кулацкие семьи расселить отдельными небольшими — до 100 дворов — поселками, управляемыми специальными комендантами, назначаемыми органами ОГПУ. Предложить ПП ОГПУ к моменту расселения кулацких семейств выработать специальное положение о таких поселках.

18. Для предотвращения бегства кулаков со своих хозяйств и разбазаривания ими имущества предложить РИКам немедленно конфисковать имущество и средства производства кулаков, уничтожающих свои хозяйства или бросающих их на произвол судьбы, ПП ОГПУ повести решительную борьбу с кулаками, самовольно уничтожающими свои хозяйства и переселяющимися в города и другие местности.

19. Учитывая особые хозяйственные и бытовые условия и необследованность оленеводческих районов, вопрос о раскулачивании самоедских, зырянских кулацких оленеводческих хозяйств обсудить особо, запросить одновременно Ненецкий окружком и Коми обком их мнения о сроках проведения раскулачивания и методах его ликвидации как класса.

Предложить Коми обкому и Ненецкому окружкому ликвидацию кулачества оленеводов не проводить до получения особых указаний крайкома.

20. Учитывая начавшееся местами стихийное и неорганизованное раскулачивание, которое, не будучи связано с подлинно массовым движением бедняцко-середняцких масс к сплошной коллективизации, превращается в голую административную меру, бюро крайкома предупреждает против таких методов раскулачивания и напоминает, что административные меры по раскулачиванию лишь только в сочетании с широким развертыванием работы по организации бедноты и батрачества, сплочению бедняцко-середняцких масс на основе и вокруг социалистической коллективизации могут привести к успешному решению поставленных партией задач по ликвидации кулачества как класса и социалистического переустройства деревни.

Перед партийной организацией стоят большие трудности. Отдавая себе полный отчет в них, бюро крайкома призывает организацию принять все меры для действительно организованного и серьезного проведения этой важнейшей работы.

21. Обязать окружкомы и Коми обком каждую десятидневку информировать крайком о ходе этой работы, настроении парторганизации, рабочих и деревни.

ОСОБЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ:

1. В целях недопустимости возможного ухода из леса части лесорубов и возчиков в момент проведения этой операции предложить окружкомам и Коми обкому ВКП(б) по получении планов перед операцией повести широкую и серьезную разъяснительную работу среди лесорубческих масс по этому вопросу.

2. Для руководства всем делом ликвидации кулачества как класса в районах сплошной коллективизации и изъятия контрреволюционного элемента (I группа) обязать окружкомы и Коми обком ВКП(б) послать в районы своих уполномоченных.

3. Считать, что тройка из членов бюро крайкома в составе т.т. Аустрина, Иоффе (с заменой т. Конториным) и Лютина должна на весь период работы по раскулачиванию и приему кулаков из других районов Союза систематически осуществлять политическое руководство этой важнейшей работой.

Предложить этой же тройке в 3-дневный срок разработать конкретную инструкцию практического проведения всей этой операции, а также правила расселения высылаемых и порядок их работы».

Ночью текст был передан по телеграфу всем окружкомам.

ЧАСТЬ 2

I

Павел Рогов лежал за шкафом в нижней избе, где была зыбка и печь. Ступня заживала худо. Изпод бурой, давно спекшейся пелены постоянно сочилась бесцветная сукровица. На лапку нельзя было приступить. Великим постом на третьей седмице оба с женой перебрались вниз из верхней зимней избы. И вот целыми днями он лежал за шкафом на деревянной кровати.

Горько лежать весь день! Еще горше бессонной ночью. Он старался не думать о родной Ольховице, о пустом, охладевшем отцовском доме. Рассказывают, что, едва сани с Данилом да Гаврилом перестали скрипеть по снегу, Игнаха, держа руки в карманах галифе, на виду у всего народа направился к пачинскому подворью. Мать, Катерина Андреевна, причитала и хрясталась. Вокруг плакали соседские бабы. Игнаха ступил будто бы на крыльцо, потребовал у нее ключи от дома и сенников. Не дала. Он пробовал силой отнять ключи, но у него ничего не вышло. Тогда Сопронов взял ее за ворот зимнего казачка и деловито стащил с крыльца. Она успела бросить ключи в колодец...

Павел сжал зубы и сдавленно замычал, хотел подняться, но не сумел. Заплакал, кусая подушку.

Где Вера? Лампа горит. Ребенок в зыбке говорит сам с собой. Вечер или раннее утро?

Дом в Ольховице зачислен в колхоз, а брат Алешка и мать Катерина ночуют теперь в бане. Как ши-

бановский Носопырь... Спасибо Ивану Никитичу, ездил к ним, отвез ржаной и овсяной муки.

От отца Данила Семеновича нет никаких вестей. Старший братан Василий служит на новом месте, долго не было адреса. Пришло вот только что короткое письмецо.

Божат Евграф раскулачен по третьему списку. Увезен в одну, в ту же сторону. У божатки с Палашкой все отняли, но оставили жить в зимовке. Ночами многие шибановцы не гасят огня. Мужики насаживают ухваты. Вон и Аксинья — теща — втихомолку режет по вечерам хлеб, сует на противне в печь. Для кого сухари? И как жить нынче, куда ступить? Да еще с больною ногой...

А дедко Никита все так же поет псалмы.

Сколько ни просил дедко Митю Куземкина, чтобы приняли в колхоз, столько же раз Митя отказывал. Прикашливал, отворачивал рыло в сторону да приговаривал: «Нет, нет, Никита Иванович».— «Да что нет?» — «А нет, да и все. У нас, та-скать, и так лишних набрано».

Лишние были Клюшины, Новожиловы и, по слухам, даже счетовод Зырин, оттого что играл на гармони. Ванюху Нечаева тоже стращали, что отчислят при первой возможности. Не принимают в колхоз ни каталей, ни сапожников, что же про мельников говорить? Всех, кто в колхоз не вступил, велено раскулачить. Командует Игнаха из ольховского мезонина. Пес! Многих уже разорил и пустил по миру. Жучок тоже вон в один день с божатом Евграфом арестован и увезен. Старый Жук ходит по волостям с большущей корзиной, за ручки водит двух девочек-малолеток. Агнейка — старшая дочь Жучка — вместе с маткой кое-как живет в избе Самоварихи, потому что в Жучковом дому учинили контору колхоза. А наш дедко — только молится да поет псалмы...

Никита Иванович по-прежнему почевал внизу на полатях, иногда на печи и, вставая на ночную молитву, никогда не забывал качнуть разок-другой зыбку с Ванюшкой. Вера слышала это сквозь сон по легкому скрипу очепа. С вечера перед сном она наматывала на ладонь конец долгой льняной бечевки, привязанной к зыбке. Она дергала за веревочку, когда Ванюшко начинал сказываться. Муж Павел то и дело стонал во сне. В больницу бы надо, да не едет!

Примочка, сваренная из коровьего масла и сосновой смолы, не вытягивает жар из ноги. Другая забота: с часу на час должна телиться Пеструха. Ветка — вторая корова роговского подворья — доилась уже вторую неделю. Теленок у Ветки родился со звездой во лбу, ядрененький, словно гудочек. Нынче ждали второго. В начале каждой ночи Аксинья с Верой по очереди ходили глядеть Пеструху. Дедко Никита проведывал животину под утро...

В ту ночь улегся Никита Иванович второпях, без душевной оглядки. Устыдился творить молитву прилюдно, оттого и не мог уснуть. Ворочался на печи с боку на бок. Все спали, вплоть до самого маленького — Ванюшки. Одна невестка Аксинья, при увернутой лампе, сидя почти в темноте, стучала мутовкой о края рыльника: она сбивала сметану. Не терпелось ей натопить свежего масла к Светлому воскресенью.

Дедко Никита, уязвленный тем, что не удалось по-настоящему, одному постоять перед иконной лампадкой, погасил наконец недовольство. Положил голову на холщовый мешок с отрубями и забылся под спокойное часовое постукивание. Около уха журчала привычная воркотня. Кот Кустик старательно убаюкивал старика. Постукивала невесткина мутовка, еще изредка скрипел березовый очеп. «Ванюшко-то вырос за зиму, а все в зыбке спит,— подумалось дедку сквозь сон.— Экой санапал. Верка-внучка вот-вот принесет второго. А первый еще лягается в люльке».

Дедко Никита улыбнулся в темноту. Он слышал во сне Аксиньины хлопоты с готовым масляным смёсом. Невестка погасила огонь и ушла наверх к Ивану Никитичу.

О чем шуршит за стеной ночной снежок? Какие думы истаивают в долгую великопостную ночь? С вечера, слушая шибановские и ольховские новости, дедко Никита думал так: «Одно осталось, веки у глаз дратвой зашить, уши замазать еловой смолой. И что только не творилось нынче на грешной земле! Или раньше еще извертелся крещеный народ? Так ведь так и есть, намного, пожалуй, раньше. Может, еще при том амператоре...»

Сейчас Никита Иванович спал, зная, когда ему пробудиться. Он дремал все еще с надеждой и верой в душе. Да и сама любовь еще витала под широким роговским кровом. Ясная, неосознанная у младенца —

первенца Павла и Веры. Взаимная и горячая у его отца с матерью. Подростковая любовь к родственникам была не то чтобы неприятна Сережке, но вроде бы мешала ему и показалась бы лишней, если б он осознал ее. (Уже поглядывал парень на девок, и вот-вот должна была обозначиться одна чья-то, совсем одна и особенная.) Спит Сережка как праведник. А что говорить про любовь Веры Ивановны, женскую, дочернюю, материнскую? Три любви у ней и все разные, одна на одну совсем не похожи. Про мужскую любовь и думать не принято. Все само собой.

Петух воспрянул под печкой. Хлопнул крылом и хотел пропеть, а вышел один грех, одно какое-то бульканье. Может, простору мало, может, не время. Дедку Никите и этого жаль — под печкой в потемках много ли развернешься? Спасибо хоть под утро поет взаправду.

Валенки сохнут у печного кожуха, жилетка тоже тут. Все под рукой.

Дедко слезает с печи, зажигает фонарь, тихо, чтобы не разбудить Веру и Павла, выходит в сени. Перед тем, как спуститься по грязной лестнице к хлевам, он снимает валенки и сует свои костлявые лапки в берестяные самим же им сплетенные ступни. Спускается вниз, к скотине. Фонарь освещает большую кучу еловой хвои, чурбан с топором, штыри с вожжами и хомутами. Надо бы сразу тесать хвою, да рановато. Неохота шуметь, будить домашних.

Дедко Никита поднимает фонарь, не торопясь оглядывает хозяйство и отворяет двери к Пеструхе. Хлев разгорожен надвое. В одной половине овцы, в другой — широкая, как баржа, Пеструха. Корова шумно и тяжело дышит. Готовая ко всему, она благодарно глядит на дедка, будто говорит ему спасибо. Дедко осматривает корову со всех сторон, успокаивает, чешет за ухом. Затем приносит в ясли охапку сена, но Пеструхе нынче не до сена. Она тревожно помыркивает, когда дедко хочет уйти.

— Ну, ну, матушка, не реви,— подбадривает дедко Пеструху.— Не реви, тут мы, тут. Подсобим, ежели...

Он поднимается вверх, меняет ступни на валенки. В избе гасит фонарь, опускается на колени и в темноте шепотом читает перед красным углом ночную молитву. Затем он опять хочет залезть на печь,

но что-то мешает ему, какое-то сторожкое чувство не пускает улечься и подремать до утра.

Который час? Бог ведает. Вон вдругорядь поет петух, теперь позвонче. Значит, около трех. Из печи уже тянет пареною галанкой. Спят за шкафом молодые. Спит в зыбке правнук Иванушко. Сын с невесткой наверху, да и внучек Серега там...

Часы вдруг перестали тикать. В теплой темной избе установилась жутковатая тишина. Дедко на ощупь подтянул гирю, болтнул маятник, но часы походили немного и снова остановились. «Сдвинулись, видно, не станут ходить,— подумал Никита Иванович.— А на среду их ставить надо днем, на свету...»

За окном почуялся шорох. Или ветер ночной? Кот Кустик тяжело спрыгнул с печного приступка. В зеленых его глазах мелькнуло что-то нездешнее. Дедко Никита ногой отпихнул Кустика. Лампадка в красном углу еле мерцала. В темном окне старику почудилась тень. Что может быть в такой темноте? Там снегу выше колена, за окном, на той стороне. «Дедушко, а дедушко?» — послышался из-за шкафа шепот Веры. Больной Павел тоже проснулся. Дедко ничего не успел сказать. Вкрадчивый, неторопливый стук у наружных ворот услышали все трое.

Большой роговский дом замер. Напрягся каждой своей стропилиной, каждой решетиной и замер, затих вместе с людьми и скотиной, вместе с каждой подпольной мышкой. Одни тараканы, кои опять начали копиться в теплых местах, водили усами из потолочных щелей.

Только ребенок в зыбке не слышал тот вкрадчивый, негромкий, но настойчивый стук у ворот. А слышен ли был тот стук там, наверху? Ивану да свет Никитичу, Аксинье и малолетку Сережке?

Дедко поднялся по лесенке к лазу, ведущему в верхнюю избу:

— Вставай, Ванька... Стукают. Видать, дошло и до нас. Сподобилися...

Никита Иванович никак не мог засветить покупной железный фонарь. Спички то ломались, то гасли. Стук у ворот становился нетерпеливей и громче. Фонарь наконец засветился. Дедко открыл двери. Ступил в сени.

— Кто? — все еще не теряя надежды, спросил старик.

За воротами было тихо. Но дедко чувствовал, что там стоит человек и не один, а два или три. Они молчали.

— Открой, хозяин, милиция! — хрипло сказал кто-то.

Никита Иванович вынул из скоб еловый засов. С крыльца ногой ударили в воротицу. Передний, освещенный дедковым фонарем, в черном полушубке и весь в ремнях, шагнул на деда и вырвал фонарь из стариковской десницы. Огонь полыхнул и снова выровнялся. Никиту Ивановича властно отодвинули в сторону. Четверо, не обметая с валенок снег, гуртом ввалились в сени, спешно протопали дальше в избу, где уже горела зажженная Иваном Никитичем лампа. Он держал эту лампу, стоя босиком в белых портках и в белой холщовой рубахе. Черная с проседью борода затрещала от жара, когда Иван Никитич случайно закрыл ею воздушный ток из лампового стекла. Запах паленых волос рассмешил Скачкова, который, не снимая шубы, уселся к столу и начал расстегивать сумку:

— Из помещенья не выходить!

Аксинья, стоявшая у дверей в куть, зажала платком рот. Утробный возглас, готовый перейти на истошный крик, был задушен этим платком, а может, не платком, а суровым взглядом Ивана Никитича. Хозяин повесил светильник на пруток и прибавил огня. С белым лицом стояла рядом с матерью успевшая одеться Вера. Из-за сестры испуганно выглядывал Сережка.

Павел едва не оборвал зажатую в кулаке крашеную холщовую занавеску, отделявшую кровать за шкафом. Хотелось немедля подняться и сесть на постели. Дедко остановил его легким шлепком через занавеску: «Лежи, лежи! Ишь...»

Скачков курил, нехотя разбирал бумаги. Никогда от самых начал не пахло в роговском доме таким душистым табачным дымом! Испокон веку пахло горящей лучиной, берёстой, то подгорелой ржаной коркой, то пареной репой либо сухим праздничным солодом.

Ныне запах был новый, неслыханный. Папиросный дым слоистым облачком плыл по избе, проникал в куть и за шкаф, знаменуя новую жизнь.

Фокич, белея лысиной, сидел нога на ногу в середнем простенке, под зеркалом меж передними ок-

нами. Не он первый старался нынче садиться промеж окон! А вот Митя Куземкин беспечно уселся напротив бокового окна. Кеша Фотиев не снял ни шапки, ни рукавиц. Стоял у шкафа, поминутно вертел головой и глядел себе под ноги, чтобы узнать, много ли натаяло снегу от его растоптанных валенок.

— Ну, борода,— глядя на Ивана Никитича, сказал Скачков,— садись ближе к столу.

— Я не в гостях, а дома,— ответил Иван Никитич.— Это уж вы садитесь, коли в гости пришли!

Кеша послушался и прошел вперед.

Теперь все «гости» сидели по лавкам.

— Значит так! — Скачков хлопнул ладонью по столешнице.— Есть предписание к обыску. Гражданин Рогов, глава семьи кто в вашем доме?

— Да ведь, товарищ Скачков,— весело перебил лысый Фокич.— Это дело на данный момент не имеет значенья.

Скачков поднялся, сверкнул глазом в сторону Фокича, но удержался от стычки, перекинул взгляд на Никиту Ивановича.

— Бери, дедко, фонарь! Веди понятых по сенникам и чуланам!

Дедко взял фонарь, но Митя Куземкин вскочил с лавки:

— Товарищ Скачков!

— Я за него,— притворно-добродушно отозвался Скачков.

— Тут нам, значит, это... Ночью не видно. Чево мы ночью увидим? Дом большой... Еще амбар с гумном. Надо днем. Мое, значит, какоеё предложениё? Мое предложениё...

Скачков остановил Митю Куземкина:

— Ясно. Делай чего велят!

Митя поглядел на Фокича, Фокич поглядел на Скачкова.

— Обыск! — крикнул Скачков и обвел всех торжествующим взглядом.

Вера принесла одеться отцу.

— Гражданин Рогов! Ваше хозяйство обязано было сдать гарнцевый сбор в количестве...— Скачков поискал какую-то бумагу.— В количестве девяносто шесть пудов девятнадцать фунтов. Почему не сдали зерно?

Иван Никитич зашел в куть, натянул на себя верхнее, вышел и произнес:

— Я, товарищ Скачков, не мелю. Мелют вон дедко да зять, с их и спрашивай. Дедко, а дедко? С тебя чуть не сто пудов гарнцу...

— Сто пудов? — подскочил к Мите Куземкину Никита Иванович.— А пошто это не двисти, а тольки сто? Ежели Бога не боязно, дак сами-то себя побоялись бы! Научились сперва считать бы! Неужто приятно дураско-то дело?

— Считать мы умеем! — гаркнул милиционер.— И вас научим!

Скачков встал, пошел к дверям, но по пути поднял с пола фонарь и отодвинул занавеску:

— А тут хто?

Он поднял фонарь. Худое лицо Павла Рогова белело в глубине закутка. Блеск провалившихся глаз и чуть заметное движение под обросшими скулами напугали Скачкова. Он отошел от шкафа и осветил фонарем зыбку. Подвешенная к очепу на черемуховых дужках, плетенная из дранок, пахнущая пеленками, эта зыбка вызвала у Скачкова улыбку. Но из нее по-взрослому серьезно, не мигая, глядели глаза младенца. Разбуженный мальчик не плакал, он молча слушал, а теперь по-взрослому, внимательно и даже слегка удивленно глядел прямо в глаза Скачкова.

Скачков не выдержал этого взгляда. Толкнул зыбку. Она закачалась, и Вера бросилась из кути, встала между Скачковым и зыбкой. Он прищурился на Веру и расстегнул наконец верхние пуговицы полушубка:

— Так...

— Уже утро, товарищ Скачков.— Фокич глядел на свои карманные.— А мы еще в двух деревнях не были.

— Да, да... — Скачков, казалось, был сонлив и рассеян.— Который час-то?

— Шестой, товарищ Скачков! Надо ехать...

Фокич надел шапку.

— Гражданин Рогов! — строго произнес милиционер и снова уселся к столу.— Мы вынуждены тебя арестовать и доставить в райён!

Все замерли, в избе стало тихо-тихо.

— Одевайся. Немедленно! — Скачков двумя движениями застегнул командирскую сумку. Гости дружно поднялись на ноги.

Иван Никитич начал искать кушак и шапку, дедко перекрестился и поник головой. Вера взревела вместе с Аксиньей. Заплакал ребенок. Сережка дрожал осиновым листиком.

Павел слышал все это, рванулся, пробуя встать. Он вскочил, в ярости оборвал занавеску. Обжигающая боль в ноге вышибла его из памяти.

Он пришел в себя, когда Ивана Никитича уже не было в доме. Не было и ночных гостей. Только жена и теща Аксинья тихонько голосили в избе. Плакал ребенок в зыбке, и еще слышно было, как, хлюпая носом, хныкал Сережка.

Избу совсем выстудили. Лампа еле мерцала, и все не стихало тоскливое причитание Аксиньи и Веры. Павел хотел утешить хотя бы жену и громко позвал ее. Вера не отозвалась. Где же дедко Никита?

Дедко неожиданно, с фонарем появился в избе:

— Бабы... Пеструха-то телится.

Женский рев сразу же стих, как по команде. Вера, Аксинья, дедко — все трое ушли в хлев, к Пеструхе. Сережка тоже перестал хлюпать носом и начал качать зыбку с племянником...

И теперь уже сам Павел безмолвно заплакал, кусая подушку. Сердце, как пойманный стриж, билось в ребра, боль в ноге отзывалась во всем теле с каждым его ударом. Павел вновь забылся в тяжком беспамятстве. Над ним опять громоздились причудливые виденья. Мельница махала белыми крыльями, то вдруг падала на него и давила, то снова чернела и останавливалась, то оборачивалась зимнею лошадиной мордой, хрипела над самым ухом. А то вдруг ружейное дуло упиралось из тьмы, росло и глядело черным своим оком.

Видения таяли, исчезали, когда он перебарывал лихорадочное забытье. И вспомнил он тот знойный полдень с купаньем на лошади, как, спасаясь от оводов, заехал на Карьке прямо под шибановский мост. Может быть, зря бросил в омут тяжелый масляный сверток?.. Нынче ночью он разрядил бы патрон прямо в черную шубу либо в белую лысину веселого гармониста. Разнес бы обоих в пух и прах... А чем бы кончилось? Нет, все не то. Да не сгинет терпенье... Мог бы ведь и тогда в сеновале убить Игнаху, ли-

шить его белого свету. Мог бы... Да мог ли бы сам-то жить после этого? А пошто оне-то? А оне ведь, наверно, так: убьют, а после всю жизнь маются. Мучает их, корежит совесть, вот они и злятся, и убивают вдругорядь. А грабят попутно. Так и живут, пока самих не прикончат... Увели тестя Ивана Никитича. За что? За мельницу. Он, Павел, сблазнил, построили на свою шею. Неужто все из-за мельницы? Да нет, не все! Отец за так отдал толчею в коммуну Митьке Усову, а ведь один бес, загребли Данила Семеновича. Есть — отымут и самого уведут, а и нет — тож уведут. Как татарское иго. Где слой-то найти?

Он вновь забывался, и вновь наплывали со всех сторон кошмары. Слышал, как Вера прикладывала ко лбу мокрое полотенце: «Паша, Пашенька!» Родной голос, родные жесткие пальцы. Волосы не прибраны в кокову. Что это она? Нет, это не волосы Веры, это сыплется на лицо теплая мельничная мука... Сыплется, не дает дышать. Ночь, мрак. Тяжко, ничего нет. И он, Павел, умрет сейчас, его не станет...

Павел пришел в себя, нащупал на шее крестик и льняную жилку гайтана. Крестик съехал на сторону и лежал на плече, а родная жесткая ладонь жены Веры Ивановны лежала на лбу. Сердце билось ровнее и медленней. Павел заснул.

Он пробудился от ноющей боли. Что и когда случилось? Он не знал. Вспоминал долго и горько. Был день, тихо скрипел очеп. Ни жены, ни дедка, ни тещи Аксиньи, только тихо скрипел очеп. Павел отодвинул занавеску: зыбку качал Серега. А за печью, совсем рядом, корячился, пытался вставать краснопестрый теленок. Задние ноги уже держали его плоское тельце, передние покамест никак не слушались. Большие глаза глядели и мигали: мол, что такое? Почему ничего не выходит? Павел с улыбкой глядел на прибыль. Жар в ступне вроде бы начал спадать, дышалось легче. Вспомнил все, что случилось. Позвал Сережку, спросил, где дедко, где Вера и теща Аксинья. Сережка сказал, что Вера плакала наверху, сейчас перестала, что дедко рубит фою, а мамка ушла гадать на клюшинской Библии.

— Сережа, иди-ко поближе,— позвал Павел.— Есть у тебя тетрадка с ручкой?

— Есть.

— И чернило есть? Садись за стол и пиши, пока Ванюшка спит. Я буду говорить, а ты пиши...

Сережка так и сделал.

Павел Рогов медленно, слово за словом, продиктовал письмо брату Василию.

«Добрый день или вечер,
здравствуй, дорогой брат Василий Данилович. Во первых строках своего письма сообщаю, что наш отец Данило Семенович был увезен из деревни в райён и больше от него нет никаких вестей. Еще увезен кузнец Гаврило Насонов. Дом наш в Ольховице весь раскулачен. Матка с Олешкой живут в чужих людях. Да и тут в Шибанихе все одно, такая-жо свистопляска. Божат Евграф арестован, и севодняшней ночью арестовали отца Веры Ивановны Ивана Никитича. Будто бы не выплачен гарнец 96 пудов 19 фунтов жита. Наверно, будут судить. Так что не знаем, как жить дальше. В остальном все мы здоровы, чего и тебе желаем. Опиши, как идет служба и каково здоровье, а ежели можно, то помоги нам каким советом.

Остаюсь твой родной брат Павел».

Сережка закончил письмо и поставил точку.

— Число обозначь! — подсказал Павел.— И отдай дедку, пусть запечатает и сразу пошлет в Ольховицу. Где дедко-то? Сходи, позови.

Сережка сходил на сарай, покликал дедка. Спустился даже по лесенке.

Но старика у хлевов не было, только топор торчал из чурбана, на котором тесали хвою.

Вера сошла вниз и отпустила Сережку в школу. Заплаканная, с коричневыми пятнами на лице, брюхатая, она даже сейчас стеснялась показываться мужу при дневном свете. Он не понимал этого и сердился.

— Очнулся, слава Богу...— Вера присела на примостье за шкафом, потрогала ему голову.— Паша, как жить-то будем...

— Не плачь...

— Мне тятю жаль... Увезли и без подорожников. Торопятся. Бабы сказывали, что ищут каково-то Ратька, скорей поехали.

— Какого Ратька?

— Украинча.

Павел терял силы. Боль в ноге опять росла, отнимала его от белого света. Он осторожно погладил большой живот Веры Ивановны. Промолвил:

— Ты это... побереглась бы... Много не подымай, по воду не ходи...

И вновь забылся, вновь жаркая лихорадка начала кутать его в тесную смертную пелену...

Вера побежала искать мать Аксинью либо дедка Никиту. «Сама запрягу... — твердила она на ходу.— Сама поеду за фершалом. Господи, подсоби! Не оставь, смилостивись... За што на нас горе с бедой, чем провинились?»

* * *

Не в первый раз собирались везти Павла в Усташиху к фельдшеру, но каждый раз, как только доходило до запрягания, он ехать отказывался.

Не в первый раз и Аксинья просила у дедка Клюшина Библию, чтобы узнать судьбу. Клюшин сердился, называл бабью тягу к гаданью бесовским помыслом. Не давал Клюшин книгу, но Аксинья рассчитывала на клюшинскую невестку Таисью. Когда старик выйдет из дому, они возьмут книгу, хоть ненадолго. Либо Сережку вызовут, чтобы прочитал. Но сегодня Клюшин никуда не спешил, а тут как назло присеменил вслед за Аксиньей и дедко Никита. Куда было податься, как не к соседям, с кем посоветоваться в горькие дни?

За самоваром с постной едой, без самовара и без угощений судили-рядили, разбирали шибановские дела. Между вытями и хождениями в гумно или к скотине говорили и говорили.

Дедко Клюшин тряс седой бороденкой, рубил ладонью по воздуху:

— Аблаката надоть, Никита Иванович, аблаката! Искать! Денег не пожалеть, корову продать, а найти.

— Да где ево найдешь?

— Как это где? В Питере! Ты ведь знаешь зарищан-то! Бывало, ишшо при старом прижиме. Саша-то заришенский приехал домой, вокурат на Петров день. Девки косят в однех рубахах, он при часах и в манишке. Щиблеты как зерькало. Бывало ходил в однех ступнях, попов гонял из дому пердежом. А тут приехал чик-брик! Моему Степке привез ремень, широ-

кой такой, с застежками. Да... Застежки-ти, значит, медные, как у книги.

— Помлю, помлю,— кивал дедко Никита.— Этот Саша еще говорил противу царя. Людям давал брушурки. Бесплатные.

— То и есть! — прискакивал на табуретке дедко Клюшин.— Давал, он давал брушурки нашим робятам, а в пятом году его и самого взели за гребень. Две, говорит, нидили высидел в каталажке-то! А и не один бы год просидел, кабы не аблакат. Дело-то уж каторгой пахло, а выручил, говорит, еврей-аблакат. Евреи питерские, оне все почти аблакаты. Ведь и сам Ленин был аблакат! Бывало, о празднике говаривал Саша-то: того целовека буду споминать по край своей жизни! До смерти буду добром поминать, как он меня выручил! Кабы не он, таскал бы, грит, я счас железные кандалы на руках, не пил бы ржаное пиво!

Дедко Никита с отрадою слушал Клюшина. И мысль о спасительном «аблакате» уже не казалась ему детской забавой. «Што, ежели качнуться к этому? Который приезжал в Ольховицу-то? Говорят, недавно в Залесной видели. Не тот, который плясал по кругу, а другой, рыжие волоса. Найти бы ево, авось подсобит... Эх, забыл, как звали-то...»

И старики начали сообща вспоминать имя и отчество Меерсона.

II

В начале марта судьба загнала Якова Меерсона в деревню Дворище, стоявшую наособицу, на высоком холме, но вдали от большой дороги. Это был угол волости, куда напрямую из Шибанихи не содержалось ни зимней, ни летней дороги. Ездили только кружным путем через деревню Залесную. Возвышенность, на которой стояло Дворище, обширным болотом отделялась от шибановских сенокосов.

Кампанию по сбросу колоколов, притихшую в январе — феврале и отодвинутую раскулачиванием, специальным распоряжением из Вологды было приказано начинать сначала. Райфо выделило для этого изрядные средства. Райком поручил эту кампанию Меерсону.

Яков Наумович ночевал в Дворищах в избе местного активиста, который брался вчера спихнуть ко-

локол. Деньги — семьдесят пять рублей — выданы были вперед. Колокол, по словам обывателей, весил всего пятнадцать пудов, но за целый день его так и не сумели отцепить и спихнуть.

Кровать в избе, застланная неизвестно чем, имелась всего одна. Меерсон предпочел для ночлега жесткую горячую печь. Спал очень немного. Всю ночь поворачивался с боку на бок, боясь обжечься, заснул только утром. Теперь, проснувшись от детского возгласа, он открыл глаза и ужаснулся. Весь потрескавшийся от времени потолок был заселен рыжими тараканьими полчищами. Вчера, в темноте, он не заметил их. Насекомые торчали везде и настороженно шевелили усами. Особенно густо их было около трубы. Скрипела гибкая березовая жердь с младенческой зыбкой — как ее, очеп, что ли? Слышался шепелявый детский лепет второго ребенка. Этот — с утра настойчиво просил сказку.

«Где я? — жалея себя, подумал Яков Наумович.— Как оказался в этом странном мире?» Казалось, еще совсем недавно он жил в Петербурге, ездил в Гельсингфорс и через день менял крахмальные воротнички.

Тараканы, водя усами, стояли рядами вдоль пазов и потолочных щелей. Пахло репчатым луком, валенками, печным дымом. «Для чего было делать революцию в подобной стране? Еще не исчезли феодальные отношения...» Так словесно думал ночлежник, на самом же деле внутренне он думал о своих, все еще не сбывшихся планах переезда в Вологду или в Архангельск.

Скрипел очеп, старуха в избе монотонно рассказывала, почти пела для своего раннего внука:

— Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку...

«Что такое скалочка? Наверное, что-то железное,— подумал Яков Наумович.— Что ж... Пусть будет скалочка».

— Попросилась Лиса ночевать, хозяин ее спрашивает: ты чья будешь? Я лисичка со скалочкой. Ну, места хватит, ночуй. Ночью она скалочку сунула в печь, скалочка утром сгорела. Лиса спрашивает: куды девали мою скалочку? Подайте мне курочку, ежели нет скалочки! Делать нечего, дали курочку. Вечером стукается в другой деревне: пустите, пожалуйста, вся измерзла. Да одна ли ты? — спрашивают. Нет, я с

курочкой. Ну, места хватит, ночуй. Легла Лиса спать. Сама на лавочку, хвостик под лавочку. Ночью она курочку съела, а утром спрашивает: где моя курочка?

«Какая дремучая затрапезная чушь,— подумалось Меерсону.— Где же я? Почему оказался на этой тараканьей печи?»

В избе под скрип очепа, с домашней хрипотцой, с поплевыванием на нить (старуха еще и пряла) речитативом произносились постные усыпляющие слова: «Идет Лиса, идет и поет: шла лисичка по дороге, нашла скалочку, на скалочку дали курочку, на курочку дали чиченьку...» Раздался детский возглас:

— Бавуска, бавуска, ты гуся пропустила!

— О господи, царица небесная, все-то он углядит. Ну, слушай, коли. Опеть она в новой деревне ночует. Легла, ночью гусыню-то съела и говорит: где моя гусочка? Подавайте овечку мне, коли гусочки нет, пустая не пойду. Нечего делать, пошла хозяйка в хлев за чичкой. А хозяин-от, тот поумней был. Взял да и положил в мешок собаку, заместо овцы-то. И подал мешок Лисе. Лиса идет по дорожке и знай поет. Вдруг навстречу идет Волк. Куды, кума, пошла? А вот, куманек, у меня чичка в мешке, пошла домой обряжатця. Волк зубами щелк, тожо поись-то охота. Говорит: возьми меня с собой. Нет, кум, я и одна дойду. Пошел Волк своей дорогой, а Лиса идет да поет. А тут мешок-то взял и развязался, собака из ево выскочила. Лиса подол подобрала да от собаки бежать!

Послышался восторженный детский смех.

— Добежала до лесу да юрк в нору! Пришла маленько в себя и спрашивает: ножки, ножки, вы чего делали? А мы все бежали, Лису от собак спасали. Глазки, глазки, вы чего делали? Мы все глядели, куды бежать сподрушнее. Ушки, ушки, а вы чего делали? А мы слушали, нет ли кого с боку да спереди. А ты, хвост? А я, хвост, меж ног путался, Лисе бежать мешал! Рассердилась лиса на свой хвост и говорит: нате, собаки, дерите его! Она и высунула ево из норы-то. Собаки во хвост вчепилися и всю Лису из норы выволокли.

Меерсон начал слезать с печи.

— Что, батюшко, пробудивсё? — Старуха отложила прялку.— Невестка-то к ковхозной скотине ушла, а сын лошадь запрягать. Вот у нас тут и рукотерник у рукомойника.

— Хорошо, хорошо,— пробормотал Меерсон, надевая бурки. Накинул на плечи меховую бекешу, без шапки вышел в холодные сени. Не найдя уборной, он выбрался через ворота в огород и завернул за угол хлева.

Перед ним открылась удивительная картина. Никогда в жизни не видел он зимнего солнечного восхода. Над лесами, над белыми снегами полей бесшумно вставал зоревой розово-красный разлив. Со всех сторон слышались какие-то странные булькающие звуки.

Деревня была выстроена на заметно высоком уровне. Внизу, за темными болотными перелесками, четко дымили другие деревни. Шибановская колокольня, которая и была сегодня нужна, маячила как бы совсем рядом. Почему же ему сказали вчера, что до Шибанихи больше пятнадцати верст? Да потому, что дорога даже зимою идет в обход болота.

Довольный своей догадливостью, Меерсон поднял воротник бекеши (уши зябли), наскоро сделал несколько приседаний и направился было в избу, но увидел одно непонятное представление.

Прямиком по снежному полю, без всяких дорог, вышагивала фигура какого-то мужика в коричневой шубе. Мужик приближался. Он топал по снегу как по асфальту, шел, как Христос по водам.

Свежо было и голове и ушам, но пришлось еще потерпеть: Яков Наумович ждал мужика. Но чего же ждать? Нельзя ли и самому прямо по снегу пойти навстречу аборигену?

Ногою, обутой в белую бурку, Меерсон топнул по насту. На снегу даже не осталось следа каблука. Ступил и сделал два шага. Бурая, причем рваная шуба бежала уже соседним огородом, держа под мышкой букет зеленых сосновых веток.

— Эй! — позвал Меерсон.— Здравствуйте, милейший. Что это вы несете?

— Да вот, лапок на помело.— Шуба остановилась и подошла поближе.— Доброго здоровья.

«Кажется, этот человек был вчера у часовни»,— подумал Меерсон и сказал:

— Я не имел представления, что можно ходить по снегу. Скажи-ка, милейший, а сможешь ты пройти прямо в ту деревню?

— В Шибаниху-то? — Мужик широкими, тоже рваными валенками сделал от холода перепляс.— Да как сказать. Мне можно, тебе нельзя.

— Почему же нельзя именно мне?

— Ежели бегом, так можно,— в задумчивости сказала шуба.

— Так, так. Значит, бегом? Марш, марш вперед, рабочий народ. Прикажете мелкими перебежками? Что ж, милейший, благодарю за ваши рекомендации.

— Не на чем! — Шуба, не замечая меерсоновского негодования, ускакала за баню.

«Вполне гоголевский типаж! — подумал Яков Наумович.— Но кто из нас бегать будет, это еще посмотрим».

Солнце всходило.

Старуха щепала в избе лучину. Сына ее с лошадью все еще не было. Ребятишки уже заняли печь.

— Видно, супонь убежал искать,— оправдывалась старуха.— Супонь-то у нас худая, веревошная.

«Зачем лошадь?» — подумал Меерсон. Помывшись и обсушив лицо собственным полотенцем, он ощутил прилив альтруизма. Неожиданно для себя решительно заявил:

— Очень был рад у вас ночевать! Скажите сыну, что подвода не требуется. Пойду пешком, прямо по снегу.

— Да что ты, батюшко? Куды? Ведь сцяс самовар скипит! — Старуха даже расстроилась и отложила прялку.

Но Меерсон не стал ждать самовара. Проверил в портфеле оставшиеся деньги, застегнул бекешу, надел пыжиковую шапку, перчатки:

— Скажите сыну, что в подводе нет необходимости.

И (опять же очень довольный собою) покинул избу.

Он вышел за огороды.

Наст, казалось, звенел, и снег под каблуками просто надрывался от скрипа. Вокруг было так много этого снега, так яростно светило восходящее солнце, что глаза начали было слепнуть. Но вскоре привыкли. Морозный воздух саднил в бронхах. «Куда спешить? — подумал Яков Наумович.— Тут не более шести километров».

За изгородями открылся широкий белый простор. Поле шло под уклон, к болоту, поросшему ивняком и редкими сосенками. Меерсон вспомнил о шоколадной плитке, на ходу открыл сумку и отломил две порции. Подумал: «Через час-полтора можно достигнуть Шибанихи. К вечеру буду в Ольховице. Послезавтра есть возможность попасть в райцентр. Пора, давно пора звонить или ехать в Вологду! Редактор «Красного Севера» Турло уже в Архангельске. Обещал же помочь... Сколько можно ждать?» Хотелось в Москву, в крайнем случае в Ленинград или даже в Архангельск, но Меерсон терпеливо ждал перевода. Он был уверен в себе, надо было просто иметь терпение.

Слепящие белые поля плавились серебряным, призрачно дрожащим морозным маревом. Какое-то гортанное булькание слышалось в воздухе. Вдруг раздался еще более странный звук — широкий и мощный. Что это? Словно шелест какой-то грандиозной книги. Яков Наумович в недоумении остановился. Прислушался. Но шелест не повторился. Одни какие-то булькающие звуки доносились с болота. Вот они, ближе и ближе. Лишь подойдя к токовищу метров на пятьдесят, Меерсон понял, что это тетерева. Птицы тяжело, одна за другой, снимались и улетали к лесу. Он насчитал их больше десятка и пошел дальше. Там и тут, на снегу, видны были шарики заячьего помета. Старые следы, тоже, видимо, заячьи, выветренные и выпуклые, виднелись по насту снежными бородавками. Болото и дальний лес заслонили колокольню Шибанихи, но пешеход орентировался теперь по солнцу. Оно вставало еще выше и уже начало пригревать. Странный, широкий и мощный звук, похожий на шелест свежей, раздираемой перед сном простыни, вновь удивил и даже напугал путника. Что это? Яков Наумович остановился, сделал шаг, второй, и вдруг наст под ним раскололся и слегка осел с тем же самым характерным шелестом.

Он не понял вначале, чем грозит ему этот широкий шелест, но зашагал быстрей. Болото едва началось. Наст, правда широкими пластами, начал обрушиваться все чаще. И вдруг нога провалилась в снег по колено: синий, крупичатый, снег этот посыпался за голенище. Меерсон вылез на твердое место. Шагнул, но через два метра провалился в снег по пояс.

Родившийся где-то внутри живота, страх объял его всего. Яков Наумович попробовал успокоиться и осмыслить случившееся. Осмыслил, понял и ужаснулся еще больше. В отчаянии он влез на снежную корку, однако наст снова обрушился. Меерсон влезал и влезал на снежную бровку, наст же, точь-в-точь как лед на воде, обваливался и обваливался. Путник то и дело барахтался в глубоком снегу. Чуть ли не вплавь преодолевал он метр за метром. В рукава бекеши и в голенища бурок набился снег, перчатки были мокры. Руки и ноги начали мерзнуть.

Солнце подымалось выше и выше. Оно быстро и окончательно размягчало снежную корку наста...

Меерсон обессилел, выдохся и, охваченный страхом, замер в снегу. Голова его едва возвышалась над снежной бездной. Но какое-то странное неосознанное упрямство не позволяло ему кричать и звать на помощь... Отдышавшись и снова придя в себя, он увидел синее бездонное небо. Он отвернулся. Разглядел предательский край размягченного, ослабленного утренним солнцем наста. Над белой коркой плавилась дрожащая бесцветная пленка. Под коркой мерцала синеватая крупчатая кристаллическая масса. Совсем близко низкие бледно-зеленые сосенки безмолвно грелись на солнце. Рыжая хвостатая лиса, подняв лапку и сонно щурясь, глядела в сторону Меерсона. Он не заметил ее. Ноги в бурках и руки в перчатках заныли от холода. Яков Наумович собрал все силы и снова, как бы вплавь, начал выбираться из глубины болотного снега, наползать на край наста. Он наползал, а наст под ним рушился. Он руками, ногами и даже портфелем отпихивался от снежной сыпучей массы, пока не понял, что все это совершенно бесполезно. Силы кончились. Лиса, распушив хвост, удалилась от него легким быстрым наметом. Вскоре она остановилась, повернула на человека вострую мордочку и замерла, ждала, что будет дальше.

* * *

В ту ночь Акиндин Судейкин спал тоже что-то уж больно плохо: все кряхтел и ворочался. Думал сперва про Ундера, потом про корову. То, что скотина нынче колхозная, никак в голове не вмещалось, да только не это больше всего мучило Акиндина!

Не мог он никак забыть про тот глупый момент, когда потрошили поповский дом. Сопронов раскулачил сперва Жучка и поповских дочек. Наутро дошла очередь до Евграфа Миронова. Норовил обделать и Роговых, да не успел, приехала из Ольховицы милиция и увезли Игнаху в Залесную. Искали какого-то выселенца. И работки в Залесной было побольше... В тот вечер, когда Сопронов начал кулачить учительниц, Киндя сидел как раз у Евграфа. Одна поповна, вся в слезах, прибежала к Мироновым. Помогите, спасите, мол, а что можно было сделать? Евграф и сам с часу на час ждал незваных гостей, даже огня в лампе не зажигали. Киндя вышел тогда от Мироновых, а Селька-Шило тут и топчется. Увидел Селька Киндю и присел за колодец. «Что, Сильвестр, на посту нонче? — крикнул Судейкин.— Стой, батюшко, стой. Хорошее дело!»

Хорошее или худое, а деревня пережила-таки и ту долгую ночь! Обе поповны ночевали в чужих людях, утром протопили избу просвирни. Жучка и Евграфа отправили сперва в Ольховицу, потом в район, а старый Жук с корзиной пошел по миру. В доме Жучка учинили новую контору колхоза, а Зойка Сопронова на той же неделе перешла жить в поповы хоромы.

Что тут скажешь и станешь делать?

Акиндин видел, как из Поповки, еще до Зойкиного переселения, Митя Куземкин тащил в читальню часы с гирями. После такого дела осмелел и Кеша Фотиев: унес домой чуть не новое стеганое одеяло. Ну а потом и пошло! Многие в тот день приложились к поповскому дому, в том числе и он, Киндя Судейкин. Вертелся тогда в уме один вопрос: а кому-то достанется граммофон с трубой? Думал, думал Судейкин об этом граммофоне и — дернул его нечистый дух! — тоже подался в Поповку, следом за Мишей Лыткиным. Забрал Киндя граммофон и приволок домой. Прямо с пластинкой. И даже завел на радость девчонкам. Хорошо женщина пела, выводила от всего сердца. «Вы-я-ль-це-ва,— прочитал Судейкин фамилию.— Не чета моей балалайке». Он готов был слушать эту пластинку каждый день, но тут пробудилась и начала грызть совесть, а вслед за ней поднялась и жена: «Снеси обратно!»

Акиндин понес граммофон обратно в Поповку, но там уже командовала Зойка Сопронова, и Селька-

Шило стукал топором на сарае. Судейкин вспомнил, что учительницы поселились в пустой клетине бывшей просвирни. Больше негде им жить. В бывшей приходской школе, где обитал когда-то отец Николай с попадьей, давно развалены печи. В просвирниной избе было протоплено, но дымно и неуютно. На лавке в верхней одежде сидела младшая, Марья Александровна, сидела и плакала. Старшая ушла в Ольховицу искать справедливость. Ищи ее свищи, ту справедливость! Зря и ушла. Судейкина то и дело кидало в краску:

— Марья Олександровна, это... значит...— Он поставил граммофон на стол.— Принес. В полной сохранности.

Учительница даже не повернулась в сторону Кинди. Он потоптался немного у дверей и подался домой. И вот все последнее время Судейкина мучила совесть...

Сегодня, уже под утро, Киндю неожиданно осенило: «А снесу-ко я им зайца!» На сердце враз полегчало. Все бы ладно, но зайца-то надо было еще и поймать. Ружья у Кинди не было сроду, зато имелись клепцы, и по зимам он держал небольшой охотничий путик в болоте. Правда, путик Судейкина пересекался с нечаевским. Клепцы — штук шесть — были поставлены сразу после лесозаготовок. Зайца нынче развелось много, Киндя с помощью ржаного кислого теста начал выделывать шкурки. Пушистые, легкие и белоснежные заячьи хвостики рядами висели на ниточках под матицей для детской забавы.

Судейкин, еще до того как жена затопила печь, оделся и встал на лыжи, не спеша выехал на свой путик. За лесом в болоте он сразу увидел, что кто-то чернеет и молча шевелится в снегу. «Медвидь, что ли? — взволновался Судейкин.— Так ведь медвиди зимой спят в берлогах. Нет, не медвидь, а живой человек!»

Судейкин съехал с лыжни, приблизился и увидел уполномоченного, который года полтора тому назад запирал в ольховский амбар шибановских стариков, запирал за то, что они выстегали Сельку Сопронова. Он же самый чистил и местную партийную ячею, а больше Судейкин его не видывал.

— Та... та... таварищ! — заикаясь, пробормотал

Меерсон и снова попытался выбраться из глубокой снежной воронки.— К-к-как ваша фамилия?

«Вишь, язык у него не ворочается, совсем замерз»,— подумал Киндя и спросил:

— Ты тут кого ловишь?

— П-п-прашу, п-п-помогите!

— Эк тебя угораздило! — Судейкин подал Меерсону черень веселки, с помощью которой ставят и припорашивают снегом клепцы.— Держи, ежели дюж!

Уполномоченный ухватился, но Судейкин с одного раза не сумел вытащить его на поверхность наста. Только после многих попыток, по веселке, а потом боком, уполномоченный выкатился из снежного плена.

— Садовая голова! — ворчал Киндя.— По насту ходить надо до солнышка и тоже умеючи. Чево в низину-то сунулся?

— Х-х-хотел прямо! — выдохнул Меерсон.

— Прямо-то одне вороны летают. Ты бы шел, где бугор да голое место, выбирал бы, где крепко. Не вставай, опеть провалишься!

Уполномоченный покорно затих, лежа на левом боку.

— Что нонче мне с тобой делать? — вслух размышля Судейкин.— За другими бы лыжами съездить?

Уполномоченный зашевелился, выражая тревогу. Киндя положил веселку на снег и ступил на нее, снял сперва одну лыжину, после другую.

— Ладно, коли! — решительно сказал Судейкин.— Вставай на мои. А я как-нибудь без лыж выберусь. Не встать? Ну так ложись на их! На обе!

Меерсон закатился на широкие самодельные лыжины. Судейкин, не сходя с веселки, распутал бечеву, на коей таскал свои лыжи, когда ходил по дороге. Продел в дырки веревку, а другой конец привязал к поясному ремню. И опустился руками на снег. Стоял Киндя на карачках, чтоб не провалиться в снегу, держал веселку поперек и опирался ею на слабеющий с каждой минутой наст. Дернул, сдвинул воз на пол-аршина, дернул еще. Бекеша и портфель тащились по снегу, тормозили движение...

Судейкин выволок воз на чистое, без кустиков место. Наст тут был прочнее, отсюда недалеко и до путика. Лыжня на путике еще крепче, она подымала человека без лыж. Киндя вытащил уполномочен-

ного на путик, встал на ноги и шапкой обтер пот с лысого лба:

— Теперь правик! Выбрались.

— С-сп... Очень благодарю,— услышал спаситель.

С помощью Судейкина Меерсон попробовал встать и чуть не слетел с путика. Казалось, что уполномоченный совсем ослаб и замерз. Судейкин велел ему опять закатиться на лыжи и протащил его до самых гумен. Только на широкой, твердо укатанной дороге Меерсон наконец поднялся на четвереньки. Судейкин подсобил ему встать на обе ноги:

— Вот, брат, каково не умеючи-то!

Меерсон не ответил, ему тяжело дышалось.

Вскоре с помощью снежного охотничьего весла и самого охотника уполномоченный района добрался до первого шибановского проулка. Судейкин хотел увести его к себе, предлагал затопить баню, чтобы не заболеть и прогреться. Но Меерсон отказался. Спросил лишь, где живет учительница Ольга Александровна Вознесенская. Киндя обиделся, но виду не подал. Довел подопечного до избы просвирни и показал на ворота с высоким крыльцом.

«Нате вам! Заместо зайца целый уполномоченный!» — сказал про себя Судейкин и был таков.

Меерсон, пытавшийся достать деньги и отблагодарить Судейкина, оглянулся с крыльца. Но спасителя уже не было, его и след простыл...

Вопреки всем неблагоприятным обстоятельствам Яков Наумович не заболел и не простудился. Сестры Вознесенские отогрели его малиновым чаем, снабдили сухими теплыми валенками. Вскоре одни потерянные в снегу очки напоминали ему о морозном плене. Уже к середине дня он, бодрым и помолодевшим от всего случившегося, держа портфель под мышкой, вышел на высокое крыльцо церковной избы.

То, что Яков Наумович увидел с крыльца, было для него совсем уж неожиданным, повергло опять в короткое изумление.

Внизу, перед крыльцом, выстроенные в ряд, стояли пять шибановских стариков. В самой средине, одетый в черную суконную, переходящую от отца к сыну, тройку, в табачного цвета полукафтане, в черных

с галошами валенках стоял Никита Рогов. Он держал в руках выбеленный тонкого холста плат с кружевами и красными строчами на концах. Через этот холщовый плат старик держал круглый подовый каравай. По правую руку от Никиты Ивановича стоял дедко Клюшин — сухой и маленький, как подросток, в дубленой шубе. С краю торчал длинный старик Новожилов, на нем была крытая шуба. Слева от дедка Никиты перетаптывался Савватей Климов в стеганной на куделе солдатской перешитой шинели, рядом с ним, с краю, подобно огородному чучелу, весь в заплатах недвижно стоял кривой Носопырь.

При виде уполномоченного старики дружно обнажили свои сивые и лысые головы. Никита Иванович, уже и до этого стоявший без шапки, вышел вперед. Подавая приезжему каравай с полотенцем, сказал:

— Милости просим.— Никита Иванович слегка поклонился.— Прими, Яков Наумович, хлеб-соль, не побрезгуй!

— Благодарю, я полностью сыт.— Меерсон сошел с крыльца.— Мы пять минут назад пили чай. А вы? Что это вы держите? Жалоба?

Дедко Клюшин занял место Никиты Ивановича. Он подал Меерсону исписанный лист. «Фабрика Сумкина»,— мельком подумал Яков Наумович и взял бумагу. Глаза Клюшина слезились, редкие сивые волосы шевелило холодным мартовским воздухом.

— О чем, граждане, жалоба? И почему не послали по почте?

Старики надели шапки и обступили Меерсона, заговорили все сразу.

— Ну, хорошо, хорошо, выясним.

Меерсон заторопился в сторону лошкаревского дома, где размещалась шибановская читальня. Старики так и стояли с непокрытыми головами.

— Вот и вся недолга! — произнес Савватей Климов.

— Кроши хлеб воробешкам,— сказал Новожилов.— Здря и пекли.

III

«В нашей читальне хоть волков морозь,— мысленно ругал Сельку председатель колхоза Куземкин.— Экая холодрыга!»

Митя все утро ходил наискосок от газетного угла к лошкаревской еле тепленькой печке и обратно. Уполномоченный гостил у наставниц. Об этом доложил председателю Киндя Судейкин. У Мити было время подумать. Забот, правда, в колхозе прорва, инструкций из района никаких. Должности всего три: он, да Зырин, да еще кладовщик Миша Лыткин. Скотина, инвентарь, гумна — все взято на учет. Но что дальше-то? Солому и сено таскали кому не лень. Коров бабы доили по очереди. Молоко колхозники делят медным ковшиком у Тани в избушке. Кони стоят на трех подворьях — их кормят-поят по очереди. Овцы, куры, переписанные, живут в трех местах. К этим ходят постоянные люди. Имущество Жучка записано в неделимый колхозный фонд... Дом поповских сестриц тоже приписан в колхоз, в него-то и вселилось сопроновское семейство. Не пустовать же такому хорошему дому!

На этом месте мысли председателя оборвались, коридорные половицы скрипом возвестили о приходе уполномоченного. Вошел Меерсон в бекеше, с портфелем. Торопливо пожал руку Мити Куземкина. Он сразу уселся к столу. Раскрыл портфель, близоруко глядя в бумаги, произнес:

— Чем вы руководствовались, когда выселяли из дома учительницу Ольгу Александровну Вознесенскую?

Митя растерянно заморгал, заоглядывался, но надеяться было не на кого. Голос начальника был строг и без всякой пощады.

— Повторяю: чем вы руководствовались?

— Сопроновым,— сообразил наконец Куземкин.— Игнатием Павловичем.

— За притеснение шкрабов придется отвечать, товарищ Куземкин! Прочитайте этот документ и подпишите.

Митя начал читать. Бумага запрыгала перед глазами. Называлась она «актом», в ней было подробно описано, что и как делал Куземкин и вся группа в доме сестер Вознесенских в ночь раскулачивания. «Сим доводим до сведения вышестоящих,— стояло в конце.— Работник Наробраза Вознесенская, работник Ликбеза Вознесенская».

Куземкин растерялся, взял карандаш и поставил подпись. Меерсон спрятал бумагу в портфель.

— Теперь, товарищ Куземкин, слушай меня внимательно. Во-первых, нужна подвода до Ольховицы. Во-вторых, ты должен получить деньги для найма по удалению с церкви креста и сбросу колоколов. В-третьих, вашему колхозу выделяется сто пятьдесят рублей на удаление креста и пятьдесят на ликвидацию колокола. Итого двести рублей. Напиши мне расписку в получении денег.

Уполномоченный достал из кармана бумажник, близоруко отсчитал двадцать розовых новых червонцев. Тем временем Куземкин писал расписку: «Получено от товарища Меерсона двести рублей для сброса двух крестов и четырех медных колоколов».

Митя подумал и дописал: «Как в данный момент медные колокола требуются для пролетарского государства на железные трактора. Деньги получил сполна Куземкин».

Меерсон прочитал, затем спрятал в портфель и эту бумагу. Только после этого он взялся за стариковскую жалобу. На старинном большом листе крупным почерком школьника было написано:

«ПРОШЕНИЕ

товарищу полномочному гражданину Меерсонову.

Мы ниже подписавшие жители деревни Шибанихи покорнейше просим разобрать наше усное и бумажное заявление в следушшом. Просим дозволить наем попа либо псоломщика поелику страховка за церкву во всей сумме уплочена гербовым сбором. Как основноё и главноё просим призвать к порядку председателя Куземкина Димитрия. Мы пока не пришли в сознаньё колхоза и не готовы ступать в новое будушшоё. Он же Димитрий Куземкин вкупе с предвиком Сопроновым разорил семейство Евграфа Миронова и наставницу Вознесенскую и середёё хозяйство Северьяна Брускова. И ишшо сулит. Живем мы все земельным трудом без наемной силы. Торговли нету, купец Лошкарев давненько пропал без вести. Потому вникните в нашу беду и в просьбе не откажите».

Митя Куземкин видел, как Меерсон поворачивал лист против часовой стрелки, читал подписи, поставленные по кругу, от центра, для того, чтобы не было ни первого, ни последнего.

— Товарищ Куземкин! — Меерсон и эту бумагу положил в портфель.— Как там в части подводы?

У председателя враз отлегло от сердца.

— Подвода, Яков Наумович, ждет. Да ведь и самовар ждет!

— Нет, нет, в Ольховицу.

Меерсон застегнул портфель.

Через короткое время Куземкин усадил приезжего на охапку зеленого сена в новожиловских розвальнях. Селька Сопронов держал в руках вожжи, он уже собрался тронуться с места, но мироновская кобыла Зацепка вздумала вдруг мочиться. Селька глазел ей под хвост, он забыл в эту минуту про свои ямщицкие обязанности. И тут Якову Наумовичу — в который раз за эти два дня! — открылось еще одно чудо живой природы: под кобыльим хвостом что-то мелькало, будто подмигивало.

— Товарищ Куземкин,— повернулся напоследок уполномоченный.— Не затягивайте, приступайте немедля. Колокола на вашей личной ответственности! Отлагательств дело не терпит!

Селька дернул за обе вожжины сразу.

Подвода с уполномоченным уехала, осталась только глубокая дыра в снегу и большое оранжевое пятно. Митя поскреб в затылке: «С церквой-то. Не было печали, так черти накачали. Кого наряжать? Кеша Фотиев не осмелится, на колокольню лезть дело нешуточное. Да ведь и кресты с кумпола срубить велено. На колокольню-то ход есть, можно забраться, а на кумпол-то как? Ничего себе!»

Куземкин шел обедать домой, шел и прикидывал, кто бы мог быстро справиться с почетной задачей: «Пожалуй, один Ванюха Нечаев. Этот не струсит. Ну, и Володя Зырин. А Селька? Можно и этого подрядить. Да неужели двести рублей Шилу отдать? Лишка ему! Молод еще для таких денег... А ежели самому-то?»

Председатель даже остановился от этой неожиданной мысли. В самом деле, он что, маленький? Сам не хуже других.

Забыл Митя про обед, про постные щи, про толокно с квасом, про гороховый со льняным маслом кисель! Скорым шагом направился он к церкви.

Легко сказать, скинуть колокол! Два-то подголоска, те не грузные. Полетят как миленькие. Чет-

вертый совсем небольшой, фунтов на двадцать. Кресты срубить? С колокольни-то, хоть она и выше, легче легкого. Пробей в крыше дыру и спихивай. А как с летней церкви, с главного кумпола?

Куземкин за три месяца председательской жизни научился пока одному: составлять план. Он обошел вокруг церкви. На обеих входных дверях висели замки. Ключи у дедка Никиты Рогова либо у Клюшиных. Будут ключи, был бы план! Первым делом нужны две лестницы, вторым делом — веревка. Ежели связать концы двух пожарных лестниц да заволочи их на зимнюю церковь, оттуда можно забраться на крышу летней. А там? Там узкий приступок и край кумпола. Тоже нужна будет лестница. Но разве затащишь? Высота будь здоров. Нет, не добраться до главного кумпольного креста, нечего и мечтать. Ну, а в Ольховице-то как лазали? В Ольховице-то пошли в Гаврилову кузню, нагнули железных скоб. Вбивали их в крышу кумпола, забирались по скобам, выше и выше. Под конец обратали железный крест ужищем, накинули петлю. Внизу воротом натягивали веревку. Маковку сковырнули вместе с крестом. А и мы не хуже ольховских!..

Бывало, раньше звонили к заутрене. Митя с дружками-приятелями не однажды лазивал по крутым лестницам колокольни. Четыре пролета — пятый самый маленький. Зато совсем отвесный. За ним площадка с деревянной оградой. Колокола висят на толстой балке, четыре веревки протянуты к языкам. От густого гудения большого колокола щекотало в ушах. Слабыми, как у мышей, казались после того человеческие голоса.

«Думай, думай, Куземкин,— подбадривал Митя сам себя.— А чего тут думать? Веревки в колхозе имеются, пожарная лестница тоже есть. Где взять вторую? Вторая только у Роговых — нарочно делали, когда строили мельницу. Надо созвать народ. Народ будет — будет все: и лестницы, и веревки, и топоры, и горячие головы. Вопрос: как созвать народ? Ясное дело, взять и ударить в главный колокол! Э, нет, не дело... Старики сбегутся, утороку не найдешь...»

Митя подергал за тяжелый амбарный замок, и замок вдруг открылся сам, без ключа. Куземкин вынул его из пробоев, ногой распахнул тяжелую дверь, шагнул в зимнюю, низкую, когда-то отапливаемую

церковь. Ребятишки давно выбили стекла. Тянуло мартовским сквозняком. Иконостас был изломан. На полу и на солее валялись иконы, подсвечники и перевернутая купель для крещения младенцев. «Вот и меня вроде бы в ёй полоскали,— усмехнулся Куземкин, ступая в алтарь.— Главное место, сюда раньше никого не пускали, а ничего и особенного». Под ногами бумаги и какие-то книжечки. «Поминальники, что ли?» — подумал Митя. Ему вспомнилась бумага, подписанная сестрами Вознесенскими. Почему Меерсон оформил акт против Куземкина? Назвал еще и левым загибщиком. Но разве Куземкин был главным, когда кулачили сестер Вознесенских? Сопронов главный, а не Куземкин! «Эх, не надо было бумагу подписывать. Ну, ничего, с Игнахой не пропадем».

Митя пересчитал деньги, выданные уполномоченным, и вышел из алтаря. Двести рублей, из тютельки в тютельку.

«Надо сходить к Роговым, договориться насчет лестницы,— решил председатель.— Нечего и волынку тянуть». На паперти он задумчиво помочился на кирпичную стенку.

* * *

Павел Рогов лежал за шкафом, пересиливая боль в ноге. Иногда боль чуть затихала, начинала таиться, тогда он ясно чувствовал и себя, и все, что в избе. Но иногда боль нарастала, окутывала его с головой. Тогда она словно бы отделялась от Павла и шла одна, вместе со временем, катилась широким безбрежным водным потоком. Затем она снова соединялась с Павлом Роговым... И он снова становился самим собой. Думы, одна другой горше, опять шли и шли одна за другой.

Жизнь в доме, как боль, тоже отделялась от Павла.

Что там было с утра, почему Аксинья замешала квашню пшеничной мукой? Дедко Никита принес из чулана суконную тройку. Весь день в избе нафталиновый дух. Нарядился, ушел куда-то Никита Иванович. Куда? Все правду ищет да молится Богу. Может, и не зря молится...

Почему Игнаха не тронул роговский дом? Испугался брата Василия, потому и не трогает. Нет, когда

отца загребли, матроса не испугались. Всего скорее тянет Игнаха нарочно, чтобы на дольше хватило. Играет, как кот с мышонком... Жди с часу на час, с минуты на минуту. Не зря делал новую добавку к лесной норме, не зря прибавлял и гарнцевый сбор... вот! Может, он и идет. Топают на крыльце. Слышно, как сбивают снег с валенок. Скрипят морозные сени...

Круглый каток и березовый рубец для катки белья лежат почти рядом за шкафом на лавке. Только и стоит протянуть руку... У Павла темно в глазах, сейчас рука его потянется за вальком. А там... будь что будет! Вспомнился лесной сеновал, белые бешеные глаза Игнахи, мелькнуло ружейное дуло, и почудилось, что тот сопроновский крик вот-вот раздерет тишину. И задрожит, обрушится вся изба, где спит в люльке сынок, Павлов первенец. «Нет... Все не то... Не то... Рука не подымется... Да и что ты убьешь? Ничего не убьешь, так все и останется, может, будет... еще хуже... Но куда еще хуже? Нет. Да и пришли не они. Бабы идут. В сенях, на верхнем сарае — женские голоса...»

Сквозь холщовую занавеску, натянутую от шкафа до задней стены, он чувствует, как холод хлынул в избу через открытые двери. Не простудили бы парня. Чего это они затаскивают? Неужели кросна? Командует сама теща Аксинья. Вера, жена, тоже в этой сутолоке. О, Господи... Волокут с верхнего сарая кросна, всерьез собрались сновать. Вся жизнь кувырком, а бабы опять за свое, волокут кросна... Стол отодвигают ближе к зыбке, в красный угол, где посветлее, ставят кросна. Тюрики пойдут в ход, нитченки, притужальники. Скально... На верхнем сарае поставят большие воробы, будут перематывать моты с малых вороб, считать пасма и нити... Кто подсобляет? Голос вроде Таисьи Клюшиной. И Таня кривая тут. С одним-то глазом худо сновать, так дали дело полегче, зыбку качает, поет тонко-тонко, словно прядет:

Утушка ути-ути,
Тебе некуды пройти.

Сорочий стрекот в избе. Все говорят, и каждая свое. Но ведь успевают и друг дружку услышать! Но от этого бестолкового бабьего стрёкоту вдруг станет легче на сердце, отодвинется, заглохнет большая твоя

тоска, останется одна малая. И даже ножная боль вроде бы отступит куда-то под эти бесконечные разговоры и колыбельные песни:

На лужайке, на лугу
Потерял мужик дугу.
Шарил, шарил, не нашел,
Без дуги домой пошел.

— Ну-ко, баушка, дай я его погляжу, сухо ли в зыбке-то? — слышится голос Веры, и Павел знает, видит, как Таня, шмыгая носом, останавливает зыбку, видит, как Вера раскутывает одеяльце, как сын улыбчиво тянется к ней, сучит розовыми толстыми ножонками, и как все бабы, не бросая дела, начинают хвалить младенца:

— Экой он санапал, экой он ерой!

— Ой, в кого и есть, вроде весь в Данила ольховского.

— Нет, вылитый Иван Рогов, а переносьице-то твое, твое, Оксиньюшка.

— Нет, лучше и не говори, весь в пачинскую породу! Вишь, глазенки-ти, глазенки-ти так и мигают, так и просверкивают. Ой, Господи!

«Таисья Клюшина любит поговорить... Еще больше любит чужих деток, потому что нету своих,— думает Павел.— Вот, уже перешли на Сопроновых. Пробирают почем зря Зою — жену Игнахи».

— Не бывала больше за дровами-то? — спрашивают бабы Таисью.

— Может, и берет по ночам-то. Я дедку говорю: возьми вицу да постереги. Зойкя ночью подскочит с чунками, а ты ее вицей по заднице.

— Ой, да чево там есь, по чему и стегать!

— Нонче она в поповском дому живет, а у Ольги Олександровны дров наколото много.

— Да чево Паша-то? Не стал жить в поповом дому?

— Не стал. Говорят, как узнал, дак ухват схватил. Селька-то едва увернулся. Он, Паша-то, все дни от стыда плакает. Да вон, баушка Таня тут и была, с Зойкиным робёнком водилася.

— Тут, матушки, тут. Тут и была. Да не приведи Господь, лучше бы не ходить.

— Чаем-то хоть поили?

— Поили, Оксиньюшка, чаем-то. Да ребеночек-то до того крикун, до того доревел, что весь и охрип.

Видно, пуп худо завязан, все плачет. Бедненькой. А матка-то только ево ругает, только ругает. Да и старика-то кастит. А когда Игнатей из Ольховицы наскочит, так она вроде и попритихнет.

— Говорят, и молоком она будет заведовать, сепаратором-то.

— Она. Слушай-ко баушку-то Таню!

— Вот он, Игнатей-то, приехав, только за стол успили систи, а Паша, отец-то, и говорит: «Игнашка, ты этот дом не рубил, не строил».— «Не рубил и не строил»,— Игнатей-то говорит. «Дак ты пошто в чужой-то дом залез?» — это отец-то опеть. «А не твое, тятька, это дело!» Да матюгом на отца. Паша, отец-то, заплакал и стопку с вином не выпил, и ужнать не стал. За печь уволокся, на карачках да кое-как. Селька подсобил ему на примостье зализть. Не знаю уж, чево у них было после, а я в свою избушку ушла. Господь их ведает...

— Нет, уж ты, баушка, рассказывай, как мне рассказывала!

— Таисьюшка, я и тибе то жо баяла.

— А про виник-то, про березовой?

— Про виник-то грех и молвить. Как Игнатей в Ольховицу уехал, Паша-отец в доме один оставси. Того утра начал Павло задумываться, начал бесу потачку давать. Тут лукавой-то и начал к нему приставать, душу выпрашивать. А Паша не открестился, видить, ни разу. Вот лукавому-то тольки того и надотко! На вожжи старик поглядывает. Вожжи-ти на штыре, у примостья. Кое-как дотянулся до их, сволок со штыря-то да и сделал петлю... Прости его Господи! А когда петлю-то он сделал, другой-то конец через воронец перекинул да привязал к примостью. Хотел было уж сунуть голову-то да и с примостья скатиться. Вдруг у ворот колечко и брякнуло. Невестка шасть на порог. Заругалась, схватила виник березовый, от бани остался, избу подметала. На старика виником-то! Бросила на примостье и сама убежала. Взял старик виник-то да сунул в петлю заместо сибя. Веревка-то, деушки, сама так и дернулась! Все листочки с виника обруснуло, а на верхнем-то сарае забегало, заворочалось, в трубе кот закавучил, а пустая квашня с полицы на пол хлесть.

— Эка, матушки, страсть-то какая!

— И не говори.

— Нет уж, нонче он от ево не отступится. От старика-то.

— Кто?

— Да лукавой-то.

— Таисья, ты чего говоришь? Ну-ко, матушка, перекрестись.

— А чево?

— Ой, деушки, у меня ведь и труба не закрыта.

— Верушка, ну-ко наливай самовар да пойдем ставить воробы. Хоть бы немножко успить, день-то короток...

Ах, не короток день, длинный он, как Великий пост, еще длиннее глухая кошмарная ночь. Или это две, три ночи идут подряд без дневных промежутков?

— Паша, надо бы ехать к фершалу,— слышит Павел голос жены и снова с непонятным упрямством отказывается ехать в больницу...

Однажды под утро он впервые за месяц крепко заснул. Проснулся от запаха горящей лучины. Вера ставила утрешний самовар. Что стало с ногой? Боль исчезла. Подорожная панацея или смоляной сварец вытянул жар из больной ступни? Кустик на одеяле спал, мирно мурлыкал рядом. Пробудился, выгнул спину и спрыгнул на пол. Павел, не веря судьбе, сел на постели. Крутнул давно не стриженной головой. Вера ушла к скотине с ведром пойла. Аксинья унесла второе ведро. Дедка Никиты не было дома. Серега спал в верхней избе. Павел подумал: «Может, встать? Встать, вот что надо! Сейчас, сразу... Встать и ходить. Хватит ему скакать до ветру одной ногой! Обуться: у дедка есть нужные катаники. Большие, разношенные...»

Болела душа: «Что творится там, в Ольховице, жива ли мать, правда ли, что Алешка не ходит в школу?»

Павел поспешно опустил ноги с кровати. Натянул штаны. Держась за шкаф, встал, попробовал опереться на правую пятку. Прежняя боль вернулась в ступню. Он скакнул на одной ноге к печи, схватился за край лежанки. Где, где дедковы катаники?

Павел обул их на босу ногу. Ездока в эту пору бывает много. До Ольховицы любой бы довез, попутным делом... Вот только Ванюшку бы на руки взять.

Глядит! Вишь, глядит ведь, будто большой. И кулачонком в зыбку колотит, отца чувствует. Родная кровь...

В дверях показался дедко Никита. Увидел Павла у зыбки и нисколько не удивился:

— Ладно, ладно. Встал, дак и ладно. Из избы-то не выходи пока, ногу не настужай. В субботу баню истопим.

— Витер-то... откуды, а, дедушко?

— От Залесной. Да вишь, дует худенько, еле толчет.— Дедко разоблачился до шубной жилетки.— А тут залисенские привезли овса на две ступы... Чуть не в ноги ко мне...

— Отправь их к Игнахе в Ольховицу! Пускай вручную толкут!

Дедко Никита в недоумении глянул на Павла:

— Остепенись...

Павел ехидно спросил:

— А когда Сопронов-то встанет на степень, а, дедушко? И Митя Куземкин не торопится что-то. Вон уж и хоромы у людей отымают. Родителей в тюрьму, детишков по миру...

— Прости их Господь! Не ведают, чево творят...— Дедко снял трубу с бурлящего самовара, прикрыл отдушник.

— Не ведают? — Павел даже подскочил на лавке.— Все они ведают! Как же они не ведают, дедушко, ведь оне ж не малые детки!

— Господь-то все видит...— Дедко заваривал чай.— А у этих помрачение душевного ока...

— Да нет у их ни ока, ни помраченья! Что вы их все... это... Почему им потачка-то? И от людей, и от Бога. Дыхнуть не дают... Кошку вон... И то рылом в дерьмо тычут, учат, чтобы в избе не пакостила...

Дедко Никита молчал.

— С лаптями на рожу лезут, в глаза харкают! им все прощай! Палец о палец не колони для себя, все только для их... Дедушко, разве ладно?

Но дедко молчал, он как будто оглох, отчего Павел горячился еще сильнее:

— А что Бог-то мне скажет, ежели я и тебя, старика, и его, ребенка, на мороз по миру пущу? Жену и мать родную оставлю на произвол судьбы? И все их, супостатов, прощаючи? Им, гадинам, того ведь и

надо... Не заметишь, как из избы выкинут. Ведь выкинули Жучка-то с семейством!

Молчал дедко, даже не обернулся. Тогда Павел подскочил к вешалкам и начал надевать свой полушубок. Шапку схватил и на одной ноге к двери...

В сенях прислонился к стене. Голова закружилась, в глазах стало зелено. Где-то тут, в углу, дедковы клюшки и батоги. Нет, ничего не выйдет, не съездить ему в Ольховицу! Не дюж... Хотя бы на Шибаниху поглядеть, дыхнуть свежего ветру.

Кое-как вышел он из южных ворот в загородку. Слепящее солнце, которое затопило своим золотом половину бесконечно глубокого синего неба, сперва удивило Павла, потом всколыхнуло детский восторг. Он успокоился и глубоко вздохнул. Свежий, пахнущий тающим снегом воздух, забытый за этот тяжкий и долгий год, пробудил давнишнюю весеннюю радость. С застреха вниз вилась безудержно золотая капельная, прозрачная, крученая водяная вервь. Она выбивала яму в глубоком подугольном снегу. Мысли о новых скворешнях, а также о гуменных сражениях на козонки Павел тотчас заглушил, отодвинул в сторону. Прошла пора! Скоро и сын возьмет битку. Это для него надо копить козонки. Эх, долго еще до этого! И что будет с ним? Что ждет его, да и того, который под сердцем Веры Ивановны?

Горловой ком напрягался и каменел, зубы сдавливались, в груди вновь холодило от горечи и тревоги.

С помощью дедковой клюшки Павел обошел южную часть дома. Через заулок выбрался на середину Шибанихи. Хромая, поковылял он вдоль деревни. Куда? Не ведал сам. Шел, боялся поднять голову, чтобы не глядеть на дом дяди Евграфа. Там, за высокой тесовой крышей, вот-вот покажется мельница. Стоит или мелет? Толкет! И ветра нет, еле шевелит ветер сенную былинку, оброненную в снег, а она толкет. Вертится... Медленно, одно за другим, подымаются в небо широкие крылья...

Павел Рогов не утерпел, заторопился туда на угор. Из окон домов глядели люди, стучали в рамы, приглашая зайти. Он махал в ответ рукой, торопясь к мельнице.

— Куды, Данилович, без хлеба-то? — кричал Савватей Климов, рубивший хвою у ворот.— Приворачивай!

Павел здоровался с конным и пешим, отшучивался от встречных насчет своей хромоты и знай ковылял, торопился за шибановскую околицу.

Он удивился, когда оказался у мельницы: неужели это он, сам, построил такую? И стало страшно задним числом. Нет, не вспомнил он свои бессонные ночи, свои мозольные тяготы, вспомнил тревоги жены и материнские причитания. Услышал опять, как вздыхают богоданные отец-мать, как молится и кряхтит по ночам дедко Никита. Имел ли он, Павел, такое право — строить мельницу? Всех, вплоть до малолетка Сережки и мерина Карька, всех до единого подгребла она под себя, всех закрестила своими крыльями... Теперь вот машет и машет, будто зовет к себе. Отправила вдаль от себя одного Ивана Никитича, остальных зовет. И назвала отовсюду. Народ едет в Шибаниху со всей округи. Просят дедка Христом-Богом: смели зернята, мука кончилась. Истолки ступу овса на блины, скоро масленица. И дедко Никита безропотно, в любой день идет с помольщиком к ней. Когда нет ветра, ближние уезжают домой, дальние ночуют у знакомых и родственников.

Эх, не одних добрых людей примахивала она своими крылами. Мелькают в небе тесовые махи, созывают к себе, приманивают и мелкого беса, и матерого супостата. Сколько там насчитал гарнцу Игнаха Сопронов? Не выплатить до второго пришествия...

Павел подошел близко к плывущим из синевы крыльям. Подставил клюшку: ветряная небесная сила даже и не почуяла постороннего касания. Крылья шли и шли из солнечной синевы, как бы желая коснуться снежной земли, но не касались ее и уходили обратно в бескрайнее, голубое, холодное небо. Скрипела кой-где тесовая маховая обшивка. Вверху, в амбаре, глухо сказывались три толкующих песта. Хотелось слазать туда, наверх, но Павел отвернулся от мельницы. С такой ногой не забраться... Домой бы без позору попасть, дойти самому до роговского крыльца. Зайти бы надо в зимовку дяди Евграфа, проведать Палашку с божатушкой. Как они-то живут? Может, про матку что-нибудь знают, скажут что-нибудь про младшего брата. Ничего они не знают, кабы знали, пришли бы... Стыдятся ходить к родне... Не ждал и Павел, что сегодня такой длинной окажется улица у Шибанихи, ступал по деревне

с натугой, пытаясь меньше хромать. И вдруг у него потемнело в глазах. Он увидел брата Алешку. Тот выходил из новожиловского дома с корзинкой на локте...

Нищий! Его родной брат ходит по деревням с корзиной. Неужто правда, неужели не снится? Господи, сделай так, чтобы это приснилось! Пусть будет это не он, не брат Олешка...

Но все было взаправду и наяву.

Алешка, заметив Павла, споткнулся, но шагнул еще, и они встретились нос к носу.

Тоска и смятение в синих глазах младшего брата угасли от слезной влаги, но они успели прожечь Павла как бы насквозь. Алешка стоял на дороге, виноватый, жалкий, с опущенной головой, стоял, швыркал носом и вздрагивал. Без рукавиц. Шапка, купленная Данилом на Кумзерской ярмарке, с одной завязкой. Шубенка без двух пуговиц, пола замарана какой-то сажей. И катаник на левой ноге вроде с дырой. Павел зажмурился. Сжал зубы и веки, чтобы не заплакать и самому. Шагнул к брату, взял его за рукав:

— Не плачь! Пойдем...

Алешка рыдал, но без голоса. Мотнул говолой, уперся.

— Не реви, кому говорят! — повторил Павел и вдруг в бешенстве выхватил у брата корзину с кусками и бросил в сторону. Кусочки рассыпались в белом снегу... Павел во второй раз рванул Алешку за руку:

— Пойдем! Ночуешь у нас.

Но Алешка неожиданно вырвал рукав обратно. Заикаясь от рыданий, выдавил:

— Н-е... Не пойду!

— Люди глядят... Вон подвода чья-то,— тихо и быстро заговорил Павел.— Ночуешь у нас. Какова матка-то? Серегу увидишь...

Но Алешка упрямо вырывал руку. Он вздрагивал от рыданий, но на грязном от слез лице явственно обозначилось родовое пачинское упорство. «Не пойдет! — мелькнуло в уме.— Упрется и не пойдет. Да и сам бы я не пошел, чего говорить...»

Павел, не зная, что делать, еще раз взглянул на корзину, главную виновницу его стыда и его теперешней муки.

— Тогда к божатке...— сказал он строго и отпустил брата.— Иди!

Алешка не взглянул на корзину, не собрал рассыпанные в снегу милостыни. Он нехотя ступал к дому Евграфа. Павел глядел ему в затылок...

Лошадь, запряженная в новожиловские розвальни, всхрапнула над самым ухом. Павел еле успел отступить в сторону, чтобы не ударило запрягом. Он узнал в упряжке лошадь дяди Евграфа, еще промелькнула веселая харя Сельки Сопронова. Кто сидел в розвальнях? Какой новый уполномоченный приехал в Шибаниху? Павел Рогов не стал гадать.

Горький комок твердел, камнем стоял в Павловом горле, Павел все глотал этот камень, глотал, но никак не мог проглотить. Когда Алешка вошел наконец в ворота мироновской зимней избы, Павел свернул в проулок Нечаевых...

Через недолгое время сестра Ивана Нечаева Людка, на ходу накидывая кашемировку, побежала в лавку к Володе Зырину.

IV

Зырин, или Володя-приказчик, как называла его вся волость, жил теперь в двух испостасях: счетовод колхоза, он же и продавец потребиловки. Торговал он не ахти как, зато весело, в лавке не сидел, но за бутылками бегал в любое время. Рыковка все больше входила в моду. Володю вызывали прямиком из колхозной конторы. Людка по ошибке забежала сперва домой. Зырина, конечно, дома не было. Сидел в конторе в шубе и в шапке. Он вроде бы даже рад был, что Людка вызвала его из «этой поморозни».

— Ну, дак ты приходи прямо к церкве! — приказал Куземкин.

Володя лишь побрякал связкой ключей. «Митьке еще подчиняться»,— подумал он про себя и пошел в лавку. Людка бежала за ним, след в след.

Председатель опять начал ходить по холодной конторе, вернее по жучковской избе, взад-вперед. Топить ежедневно некогда, да и лень. У Сельки в лошкаревской хоромине было, пожалуй, теплее, но пенять некому. «Сам виноват! — размышлял председатель.— Надо было сделать контору в поповском доме. Игнахе-то хватило бы и Жучкова подворья...»

Митя важно ходил по полу, а Кеша Фотиев с Мишей Лыткиным сидели на лавке и самосильно палили табак. Ждали следующего приказа. У дверей были сложены мотки веревок, колхозные вожжи и целые ужища. Там же валялись два топора. (Багор и одна пожарная лестница лежали на улице у ворот.)

— Дак тибе про Жучка-то кто сказывал? — Председатель остановился напротив Миши Лыткина.

— Я, Митрей, сам его видел,— произнес Лыткин между двумя затяжками и закашлял. А когда откашлялся, то рассказал, как встретил Жучка в заулке у Самоварихи. Жучок, по его словам, насовсем отпущен из района. Евграфа оставили, а его отпустили. Потому будто отпущен, что тронулся на суде умом. Жучок будто бы встал перед судьей на коленки и начал читать молитву, потом вывернул все свои карманы и заприговаривал: «Бог подаст, нечего дать, нечего дать». Увезли его в Вологду, в Кувшиново, а из Кувшинова отпущен домой. У Самоварихи, сказывают, и ночевал.

— Да кто сказывал-то?

— Сказывал-то Новожил, Новожилу девки, а девкам баяла сама Самовариха...

— Ладно, ладно! — остановил председатель Мишу Лыткина.— Хватит, Асикрет Ливодорович, ты тоже видал Жучка?

— Пришел, понимаешь, утром,— начал Кеша.— Пришел он ко мне, в руках бадья с березовым угольем. Вот, грит, не купишь ли кислых яблаков... Я говорю...

— Ладно, ладно! — опять перебил Куземкин.— Поговорили и хватит. Пошли.

Кеша с Лыткиным начали тщательно плевать на окурки. Оба растерли их на полу, встали и взялись за веревки. Все трое вышли на волю.

— Волоки пока багор да листницу! — приказал Куземкин,— я забегу к Ванюхе Нечаеву. Ествой в корень, и счетовода нету. Надо искать...

Митя то и дело забывал про свою новую председательскую походку, особенно когда торопился. Вот и сейчас, свернув к нечаевскому проулку, он почти побежал, по привычке распахнув полы ватного пиджака, благо солнце к обеду начало всерьез припекать. И стал Митя на одну минуту прежним.

Кое-где летела сверху вода, попадала за ворот. У нечаевского крыльца стояла уже и кадушка под застрехом, да мало было в ней доброго, капли еще стыли на холодном ветру. И все же весна сказалась...

В новой нечаевской зимовке среди голых сосновых стен качалась на березовом очепе люлька. Нечаев сам дергал ногой за веревочку. На столе остывал самовар, бутылка наполовину выпита. За столом, кроме Нечаева, сидели счетовод Зырин и Павел Рогов. Увидев в дверях Митю, все трое замолкли. Куземкин тоже подрастерялся и забыл поздороваться, вертел головой направо-налево.

— Митька? — вскочил Нечаев.— Давай проходи!

Веревочка от зыбки, петелькой надетая на ногу, не позволила хозяину избы встретить председателя как следует.

— Счас самовар поставим! У меня ни матки, ни жонки дома нет, вишь, сам зыбку качаю. Петруха? Где у меня Петруха? Людмила, сходи за рыжиками!

— Товарищ Нечаев,— Куземкин отошел обратно к дверям.— Выйдем на пару слов!

— Я, Димитрей, в своем дому, и мне ходить некуды. А ты снимай пинжак да садись за стол!

«Добром не кончится, уходить надо»,— подумал Куземкин, но почему-то снял верхний пиджак и повесил на гвоздь.

Нечаев уже разливал по стопкам. Людка принесла из кути свежей закуски и вторую бутылку. Но когда она унесла со стола самовар, чтобы налить воды, Павел Рогов встал и через стол взял Куземкина за грудки. Одной рукой жгутом скрутил Рогов Митькин костюм, скрутил вместе с бумазейной рубахой и произнес:

— Садись, фартушка, на мое место! Извини, Иван да Людмила...

Иван Нечаев и Володя Зырин ничего не успели сказать. Павел отпустил Митькин костюм, вышел из-за стола и сдернул шубу с гвоздя. Как выходил из нечаевской зимовки, он не запомнил. Не осталось в его памяти и то, о чем говорил он на улице с Киндей Судейкиным, куда и кто бегал для них за вином. Вроде сам Киндя пол-литра выставил, от чего понеслась, завертелась в глазах и быль и небыль. Киндя, сидя на табуретке, шпарил на балалайке:

Кеша с Мишей по Шибанихе
Ташшили лисницу,
Митьке муди роздавили,
Сделали еишницу.

...Кто и куда таскал по деревне лестницы? Про кого поет Киндя Судейкин?

Двоилась рама в окне. Звенела в руках Кинди суматошная балалайка. Не в лад балалайке орал под печкой петух. И плыли, плыли перед глазами коричневые Киндины потолочины. Или проходили перед Павлом широкие мельничные крылья? То мелькала в глазах пустая корзина, летящая в снег, то вдруг мерин Карько махался, бил по щекам черным своим хвостом...

Павел слышал, как жена трясла его за голову, прикладывала ко лбу мокрое полотенце.

— Паша, Паша, пробудись-ко. Пойдем домой, не вались! Очнись, ради Христа...

— Пойдем... Где это я? — Павел открыл глаза. Начал трезветь.

Девчонки в избе играли в прятки. Киндя храпел на лежанке в обнимку со своей балалайкой. Голова у Павла раскалывалась от боли. Неужто от вина она так болит? Нет, не от одного вина, видно, и угорел где-то. У кого угорел? И то сказать, никогда так много не пил вина... Стыд! Хорошо, что на улице ни живой души. Но ведь из окошек-то все равно видно, как тащится по деревне похмельный мужик, волокется под руку с беременной бабой.

Павел на ходу хватает снег, чтобы потереть виски, остатки зобает. Вера еле его удерживает:

— Ой, Господи! Болит нога-то? Вот и ладно, Пашенька, ежели не болит... Ты не ступай на лапку-то, на пятку ступай...

Он долго плелся с ней по деревне, еле поднялся на роговское крыльцо. В избе он сел на скамью у лежанки. Вера снимала с него валенки. Он, обессиленный, заплакал, уткнулся лбом в тугой теплый Верин живот.

За столом брат Алешка играл в лодыжки с Вериным братом Серегой...

Скорехонько Вера уложила мужа на кровать за шкафом. Намочила холодной водой конец полотенца, приложила к горячему лбу. Он бормотал что-то невнятное:

— Скажи дедку... Это... где он? Пусть... А кто сходил за Олешкой?

— Дедушко посылал Сережку. Сережка и сбегал к Мироновым,— смеялась Вера Ивановна.— Лежи, лежи со Христом.

Голова Павла отрешенно и тяжко упала на подушку, обтянутую розовой ситцевой, еще свадебной наволочкой.

Вера велела ребятам сложить лодыжки в пестерочку и отправила наверх. Вернулась с дневного обряда мать, вымыла у шестка руки. Вера выцедила по ставкам молоко из подойника, и обе опять уселись сновать пряжу.

— Таня-то, видно, уж не придет,— сказала Аксинья и хлебным ножом продела в бердо очередную нить.— И Таисья Клюшина на погост убежала. Господи, что делается!

— А где дедушко-то? — Вера качнула зыбку.

— Да на мельнице. Либо у Клюшиных, книгу читают. Кто приходил за листницей-то?

Вера сказала, что приходили за лестницей двое, Иван Нечаев с Володей-приказчиком, что от обоих пахло вином и что лестницу она отдала им без дедка.

— Иди-ко, иди к церкве-то! — предложила Аксинья.— Погляди, чево там делают. Сережку с Олешкой не пущу, пускай дома сидят.

Вера, недолго думая, увязалась платком и накинула козачок.

* * *

Народу около церкви было, однако ж, не так много, больше старухи, да бабы, да ребятишки «разных калиберов», как сказал Савватей Климов. Эти бегали туда и сюда, не щадя отцовской обутки. Снег с южной стороны храма мокрел и таял. Ребята бросались комьями. Один ком вскользь угодил в лицо Новожилихе.

— Да что вы, лешие! — заругалась она.— Что вы, рогатые сотоны, уж по народу палят. А кабы в глаз попало?

— Им чево не палить? — заметил Савватей Климов.— В школу не ходить. Наставницы ихние сидят да только ревят.

— Заревишь, коли из дому выгонили.

— А вот нонче кто у нас наставница! — крикнул Савватей, увидев Зою Сопронову.— Наверно, за вином бегала.

— Да ведь и продавец тут!

Зоя мелькнула в поповском садике и скрылась в воротах.

Володя Зырин с Иваном Нечаевым, оба под хмельком, дурачили девок. Зырин надувал какой-то долгий тонкий пузырь, привезенный из города, приставлял его к середышу. Девки визжали. Бабы колотили приказчика по хребту.

— Оне чево, ироды, сдумали? — кричала Новожилиха.— А на колокольне-то кто?

На колокольне сидел Миша Лыткин. Он шаркал поперечной пилой толстую балку, на которой висел большой колокол. Вчера Миша и Митя подвели под балку два чурбака и, чтобы не зажимало пилу, топорами забили клинья. Сегодня Лыткин один старательно пилил наверху этот толстый брус.

Горбатая ольховская нищенка Ириша поминутно крестилась, тихонько плакала и что-то шептала.

— Господи, прости им, грешным! — услышала Вера ее слабенький голосок и подошла к Таисье Клюшиной, чтобы вместе уйти в деревню.

Но люди шли, наоборот, из деревни, толпа разрасталась.

— Что делается, что делается! — вздыхала Таисья.

— Отсохнут у их руки, отсохнут! — Новожилиха клюшкой тыкала в снег.— Ноги в коленках сведет!

— Да где оне сами-то? Один Миша шаркает.

— Закусывают! В поповом дому чай пьют,— пояснил Савватей Климов.— А вон выходят, гляди да считай!

Из поповских ворот, что-то дожевывая, с мотком веревки вышел Куземкин. За ним выбрались на солнечный свет Кеша и брат Куземкина Санко. Кеша и Санко тащили топоры и багры.

Как только показались безбожники, народ затих, Иван Нечаев с Володей Зыриным перестали паясничать. Одна пила шаркала где-то далеко наверху. Людка, нечаевская сестра, вдруг выбежала из бабьей толпы, схватила Нечаева за рукав:

— Ваня, пойдем-ко домой! Пойдем, пойдем, батюшко, лучше будет-то! Мамка сказала, не приходи без его. Ну-ко, ну-ко, пойдем...

Нечаев обернулся к председателю с дурацкой улыбкой, хотел развести руками, мол, что с нее возьмешь? Но Людка действовала еще проворней, теперь она толкала его сзади, и он вроде бы уже и не противился, а тут все видели, как и на Володю Зырина навалилась родня.

— Что, Володя, и ты трус? — громко кричал Куземкин.

Счетовод не слышал или не захотел услышать председательский окрик. Но и своей родне не поддался, а с дурацким смешком отскочил в девичью гущу. Куземкин отыскал глазами Кешу Фотиева:

— Давай, Асикрет Ливодорович. Бери веревки и вверх! Подсоби Лыткину.

Кеша взял веревочные мотки, направился к колокольне. Старухи хватали его за полы, плевались вслед. Не обращая на них внимания, Митя подтащил лестницу к стене одноэтажного зимнего храма.

— Креста на тебе нет, Митрей Митриевич,— послышалось из толпы.

— И не будет! — весело огрызнулся Куземкин.

Пришлось наставлять лестницу. Он привязал к ней другую, коротенькую. С помощью брата-подростка, а также выпившего Володи Зырина начал Митя поднимать лестницу, чтобы приставить ее к зимней церкви.

Кто-то из женщин всхлипнул, вот-вот мог и запричитать. Зырин отказался забираться на крышу. Митя показал ему кулак и полез один.

Старухи и бабы внизу ругались и охали. Многие крестились. Другие плевались и уходили домой. С колокольни подал голос Михайло Лыткин:

— Митрей, пилу зажало!

— Бейте клин! — Митя завернул матюгом.— Клином подымайте балку-то! Клином!

— Да не идет...

Митя спустился обратно и тоже полез на колокольню.

После недолгой возни все трое с матюгами появились внизу: пилу в балке зажало намертво.

— Чья пила-то? — спросил Савватей не без ехидства.— Не Сопронова?

— Отсохнут, отсохнут руки-ти! — махалась клюшкой Новожилиха.— Ироды вы!

Старухи окружили безбожников, кричали, дергали за карманы.

— Бесы!

— Эко, чево придумали! И не стыдно рожам-то?

— Господи, какой у их стыд...

Новожилиха схватила Митин топор, отступила в сторону, чтобы бросить подальше в снег. Резкий оклик Куземкина остановил старуху.

— Дай сюда! Положь! — Митя отнял у Новожилихи топор.— Не тобой принесено, не ты и возьмешь!

Он сунул топор за ремень, взял в одну руку ножовку и вновь, еще более решительно полез на крышу зимней одноэтажной церкви.

С востока к ней примыкал летний высокий храм. Отлогий купол его выкрашен зеленою краской. На куполе восьмеричок, обшитый железом, на восьмеричке маковка. Железом обито и деревянное основание креста, уходящее в маковину. С запада к зимней церкви пристроена колокольня. Она тоже с крестом, только с маленьким, зато намного выше летнего храма. Вызнялась в самое небо. Куземкин победно встал на крыше зимней церкви. Он приглядывался теперь к летнему храму, прикидывал. Если затащить сюда вторую длинную лестницу, можно забраться на кромку купола...

— Эй, Миша! — крикнул он Лыткину.— Лизь-ко сюды, да с веревкой...

Следом за Лыткиным вскарабкался на крышу брат Санко. Осмелел напоследок и Кеша Фотиев, а может, забрался наверх, чтобы старухи не оторвали рукав...

Бросили с крыши конец добротных Жучковых вожжей. Зырин привязал внизу конец ко второй, к роговской лестнице. Лестницу втащили на крышу...

Митя Куземкин планировал, что делать дальше. «Дальше надо ставить листницу, забираться наверх и прибивать к кумполу деревянные поперечины. Прибивай и подымайся по ним к четверику, прибивай и все вверьх да вверьх...»

Народ по-прежнему толпился внизу. «Может, стало еще больше?.. Пусть! — мелькало в куземкинской голове.— Надо гвозья... Листницу как-нибудь вздымем. А что, ежели без поперечин? Железные зубья от бороны, вот чего требуется! Бей в кумпол и лизь! А где их сейчас возьмешь — зубья от бороны? Хоро-

шо, что хоть гвозди есть. Большие гвозди-то, кованые...»

После краткого совещания председатель отправил Кешу и брата Санка вниз, за матерьялом для поперечин.

— Покурить надо,— сказал Миша не очень решительно.

Председатель не ответил. Внизу кричали старухи и бабы. Они все еще кляли активистов. «Зырин-то...— подумал Куземкин.— Спрятался... Ну, это мы ему припомним...»

Почуялись выкрики стариков, дедко Клюшин уже верещал в толпе. «А, ну их!» — сказал Куземкин и перебрался на южный скат кровли, чтобы меньше слышна была ругань. Сел на крашеную зеленую крышу. Снег на южной стороне давно стаял, железо нагрелось от солнца. Лыткин уселся рядом, достал кисет, сказал виновато:

— Пилу-то, Митрей, надо бы выручить из бревна...

— Ладно, выручим,— бодро сказал председатель.— Достанем! Завтре клинья забьем, чурбак подставим. Перепилим балку-то. После чурбак вышибем, и колокол полетит. А северни на кумпол надо! Северни бы нам, Миша, крест своротить, да не знаю, справимся ли.

Лыткин поглядел вверх. Где-то там, очень высоко, стоял православный крест, который приказано свергнуть. Голубое к полудню небо начинало тускнеть. Солнце спряталось в желтовато-серое зимнее облако. Стало холодно.

— Ну-к, может, поставим листницу-то.— Куземкин поднялся.

— Да ведь што, попытка не пытка,— согласился Лыткин.

Стоя на крыше, они подняли лестницу, попытались приставить ее к стене летнего храма.

— Не выйдет вдвоем, кричи нашего Санка! — приказал Митя Лыткину.— Кешу тоже зови.

— Да нету, Митрей. И Санка нету, и Зырина не видать.

— Ну вот! — сказал Куземкин и поглядел вниз.— А што... Где народ?

Около церкви не было ни души. Ни одной девки, ни одной старушонки. Даже ребятишки пропали.

— Ты чево? — обернулся Куземкин к Лыткину, словно тот и был во всем виноват.

— А я-то што.— Миша пошевелил белыми, как у теленка, ресницами.— Я пожалуста.

— Чево пожалуста?

— Вишь, все убежали. А пошто все, и сам не знаю.

— Да куды убежали-то?

Миша развел руками.

— Слезать бы надо... — сказал он и добавил: — Дело-то к вечеру...

Митя в недоумении отхаркивался. В нем быстро скопилась свежая злость. Он так разозлился, что плюнул еще раз и пнул по роговской лестнице, слегка упертой в стену летнего храма. Лестница оползла и начала сползать по снежной северной стороне кровли. Митя ногой добавил ей ходу. Она упала на землю. Вторая, пожарная лестница, по которой влезали на крышу, стояла тоже с северной стороны. Митя, не глядя на своего напарника, на заднице спустился на край кровли, наладился было уже слезать, но... Куземкин заматерился:

— Где лисница?

Лестницы не было. Вернее, быть-то она была, только не на карнизе, а прислоненная под карнизом. Куземкин никак не ждал такой передряги. Ширина у карниза добрый аршин. Как на нее теперь ступать? Не ступишь. Теперь надо, чтобы кто-нибудь снизу снова приставил ее к карнизу. Куземкин с матюгами бегал по крыше.

— Оползла, вишь,— сокрушенно заметил Миша Лыткин.— Надо кричать да гаркать.

— Оползла? — ярился Куземкин.— Да где это она оползла, ежели и стоит в снегу! Нет, кто-то ей подсобил оползти. Переставили! Мать-перемать, в три попа...

Так председатель и Миша Лыткин оказались в западне, на крыше зимней церкви. Высоко, не спрыгнешь! Сажени, может, три было, а уж две-то точно. «Нет, скакать некуда,— подумал Куземкин.— Ноги переломаешь». Но еще больше было обидно, что вокруг церкви не было ни души.

Председатель не знал, что делать и как быть.

Никого нет внизу, одни кресты на могилах. Кладбище. Никто не учует, кричи хоть до второго пришествия.

— Ну, Мишка, ты и дурак!

— А чево, чево я дурак? — Лыткин попробовал рассердиться.— У меня своя голова, не хуже других.

— На твоей голове только гвозди прямить.

Дальше из Куземкина посыпались отборные матюги.

* * *

Куземкин и сам знал, что зря он костит напарника, но вот беда, остановиться никак не мог, и бедный Лыткин только моргал да покряхтывал, чувствуя себя все виноватей и виноватей. А при чем тут был Миша Лыткин?

Когда начали втаскивать на крышу вторую лестницу, Савватей Климов стоял и глядел, стоял и глядел... Бабы ругали шибановских и ольховских коммунистов, сулили им всем кару Господню. Новожилиха трясла суковатой клюкой перед самым носом Кеши Фотиева:

— И ты, бес! Ты чево думаешь-то? У тебя чево, бес, в голове? Господи милостивой, што дальше-то будет...

Тут Савватей увидел рыжего новожиловского внучонка. Парнишко изо всей мочи бежал от деревни к Поповке. Он подскочил к своей бабке, сказал ей что-то и побежал обратно, а Новожилиха так и обмякла, так вся и притихла. Она сразу забыла про Кешу, шепнула что-то на ухо Таисье Клюшиной, и только батог замелькал. Откуда у старухи и прыть взялась? Как у молодой девки... Таисья Клюшина тотчас ринулась домой в деревню, но ее на ходу подловил сам Савватей Климов:

— Таисьюшка, и ты туды?

— Ой, Савватей! Ведь разбежался колхоз-от! Скотину по домам гонят!

Людей от церкви за две минуты как ветром сдуло, и церковь стояла теперь одинокая и какая-то виноватая. Митя с Мишей сидели на той стороне церковной крыши.

Климов оглянулся на попов дом. Поглядел влево и вправо. Подошел, поднатужился и... сам не зная зачем, опустил верхний конец лестницы под церковный карниз.

— Эй! — крикнул он после этого и задрал голову. Куземкин с Лыткиным не ответили... «Не чуют»,—

подумал Климов, отошел подальше и кликнул еще. Было молчание, и Савватей вальяжно, как из гостей, зашагал в деревню.

Давно не знавала Шибаниха такой занятной поры!

Блеяли овцы, мычали коровы. Бабы и девки кричали во всех домах и зауках... «Вот оно, столпотвореньё-то! — подумалось Савватею.— Началось, а мы не ждали, не ведали...»

А с чего началось?

...Селька Сопронов на кобыле Зацепке ездил в Ольховицу со сливками, обратно привез газеты. Игнатий Сопронов наказывал брату никому не давать газету со статьей Сталина. Но в читальню как назло принесло кривого Носопыря. Старик доложил Сельке, что Куземкин пошел скидывать крест, тут Селька и потерял всякую бдительность. Наверно, прибрал газетку Жучок тронутый, больше некому. Раскулаченный, он лечился в Вологде и приехал на днях домой, ночует у Самоварихи вместе с семейством. Каждый день приходит в красный уголок читальни и спрашивает: «Где есть такое Кувшиново?»

И вот в деревне дым коромыслом. Селька, не зная, что делать, прибежал из читальни в контору, а председателя нет! Счетовод Володя Зырин сам первый увел свою корову из нечаевского хлева. Но в своем хлеву у Зырина стояли колхозные овцы. Много овец, иные с ягнятами. Поэтому Зырин не долго думал, взял да и двор настежь! Овец долой, выгнал на улицу, в хлев собственную корову. Новожиловы, те тоже открыли ворота. Люди прибежали за своими коровами и в Жучков, ныне конторский, дом, а Микуленкова матка увела свою корову из нечаевского хлева, а из своего двора всех колхозных тоже долой! Выпустила. Коровы с мычанием выбирались в проулок. Иные, что поумнее, сразу бежали к своим домам, другие блудились, третьи, стоя посреди улицы, вопили почем зря. Бабы и девки ловили коров и встречали, встречали, кричали, то ревели от радости, то ругались. Все перепуталось!

Но самые главные дела и события вершились у клюшинского подворья. Тут мужики уводили своих коней, искали свою упряжь. Тащили хомуты, седелки и вожжи, разбирали дровни и дуги...

V

Марья Александровна мечтала в тот день о Вологде. Держа в руке романтическое сочинение Александра Волкова, она пригорюнилась на кирпичной лежанке, сидела спиной к большой русской печи, в которой пекли когда-то просфоры. Акулина — просвирня — ушла по миру еще при отце Николае Перовском, когда запретили службу. Изба и при старой хозяйке была не очень уютной. Когда-то тут собирались все кому не лень. Парни играли в очко, курильщики дружно коптили тесаные сосновые стены.

Марья Александровна мечтала о Вологде и о родной тетушке. Не волновала ее сегодня ни история с необитаемым островом, ни то, что Кеша Фотиев принес ее материно стеганое одеяло. Недавний уполномоченный обещал сестрам вернуть все отобранные вещи, не считая серебряных ложек. Он даже составил акт, но Марья Александровна мечтала только о Вологде, где закончила женскую гимназию. Зачем она не уехала туда вместе с сестрой?

Ну, во-первых, ехать было совершенно не на что. Во-вторых, надо ждать письменного приглашения от тети. В-третьих, они обе с сестрой школьные работники, она, Марья Александровна, даже активистка бубновского движения. Без разрешения инспектора нельзя уезжать в Вологду.

Она сидела в верхнем саке, спиной к печи, и плакала, держа в руке бесполезную книгу. Мыши бесшумно передвигались по полу. Но больше всего в жизни боялась Марья Александровна печного угару. Она даже ненавидела из-за него не только Шибаниху, но и всю волость. С угаром были связаны самые неприятные воспоминания. Каждый день по утрам, протопив печь и закрыв печные задвижки и вьюшки, сестры затыкали уши ватой. Считалось, что угар проникает не только с дыханием, но и в уши... Здесь, в избе Акулины-просвирни, печь была не угарная, но все равно Марье Александровне казалось, что она угорела.

Поплакав и уронив книгу, Марья Александровна задремала на той же слегка лишь теплой лежанке. Смеркалось. Окна избы темнели, она тоже смежила веки. Ничто не касалось ее сознания. Кажется, несколько раз за день слышен был звон малых колоко-

лов, зачем-то собиралась толпа у церкви. Но что ей за дело до них? Она так и лежала у печи, грезила. Сквозь стены избы и вату в ушах почти не проникали наружные звуки.

В Вологду, так хочется в Вологду! Говорят, что во время германской войны на шибановском кладбище похоронили женщину в летаргическом сне — родственницу приказчика Зырина. Она будто бы кричала в могиле двое суток, но слышно было лишь по ночам. Марья Александровна училась тогда в Вологде... Что это? Какие-то непонятные долгие звуки послышались ей сквозь дрему. Ей стало жутко, но все равно не хотелось покидать сонного состояния. Нынче во сне было больше приятного, чем в яви. Но в яви или во сне эти страшные крики? Она вздрогнула, встала и освободила уши от ваты. Нет, ей не пригрезился этот крик. Она решила приготовить на вечер лампу. Встала и... чуть не выронила дорогое десятилинейное ламповое стекло. Такой жуткий двойной крик послышался ей со стороны кладбища. Точь-в-точь как плачет теленок, когда его режут... Марья Александровна притаилась. С бьющимся сердцем, с руками, дрожащими от страха, она присела к столу и забыла про лампу. Вот! Опять эти крики...

«Нет, это живые люди»,— решила она, когда чутко прислушалась. Быстро надела кунью шапочку, давний подарок папы, отца Александра. Застегнула сак, надела перчатки и вышла на улицу.

...Митя Куземкин и Миша Лыткин орали по очереди. Иногда получалось у них и вместе. Уже и охрипли оба. Уже и холодно стало, и ночь на носу, а никто в деревне не слышал пленников. Вон Зоя Сопронова, живет нынче в Поповке. Могла бы давно прибежать, кабы дома была. «А что ей,— думал Куземкин.— У нее не скотина, поить-кормить некого... Сидит в сепараторной. Либо и в Ольховицу усвистала к своему благоверному. Сельки тоже не слышно».

Забыл Митя Куземкин, что нынче у Зои Сопроновой младенец. Нет, не могла она «усвистать в Ольховицу», но не могла услышать и Митин голос из-за того, что ребенок беспрерывно орал. Да и окошки в поповом доме утыканы плотно, рамы обмазаны на совесть. Никакие звуки не проникали.

Увидев приближающуюся в сумерках Марью Алек-

сандровну, Митя обрадовался как маленький. От всей души.

— Марья Олександровна! Голубушка! — Он то приседал на самом краю, то отбегал.— Это... Выручи! Пожалуста!

— Что вы там делаете, Дмитрий Дмитриевич? — спросила наставница.

— Да вот это... Ходу нам нет! Замерзли оба.

— Почему? — не понимала Марья Александровна.

— Назло сделано. Пожалуста! — кричал Куземкин.

У Лыткина имелось больше терпения, он доверительно объяснял с крыши:

— У нас на колокольне пилу-то зажало! Мы сюды. Это... Листница-то оползла...

Марья Александровна глядела на церковь, в которой так долго служил ее отец и где крестили обеих сестер. Но какое отношение имеет все это к двум странным фигурам, маячившим на церковной крыше? Молчала учительница, шевелила пальцами в летних бумазейных перчатках. Может быть, она вспомнила сейчас, как совсем недавно ее вместе с сестрой выдворили из отцовского дома, как тот же Куземкин отобрал у нее муфту, висевшую на снурке. Он даже дернул за муфту и, чтобы снурок не был оборван, Марья Александровна сама сняла ее с шеи и подала ему. Где ложки из серебра и мамина фарфоровая посуда, куда унесли самовар и пуховые подушки? Новое атласное одеяло и граммофон вернули, но часы с боем пропали. В тот же проклятый день или вечер сестрам пришлось идти ночевать в чужие люди...

Может, и вспомнила сейчас все это Марья Александровна Вознесенская, но тут же и позабыла, потому что люди на крыше мерзли. Просили о помощи. Она потрогала длинную пожарную лестницу.

— Нет, нет, Марья Олександровна,— подсказывал сверху Митя.— Не под силу тебе. Сходи в деревню, пожалуста! Найди там счетовода Володю Зырина. Скажи, чтобы шел сюда и чтобы не тянул по силе возможности.

— Пожалуста,— вторил председателю Миша Лыткин.

И Марья Александровна пошла в деревню искать приказчика Зырина или кого-нибудь, чтобы пришли и приставили лестницу. Она шла в деревню, шевелила

от холода пальцами в летних перчатках. Непонятно, что происходило в ее душе. Свет не мог отделиться от тьмы. Она не знала, как ей вести себя, как ей думать. Вскоре этот разлад усугубился. На широкой шибановской улице она вскрикнула, остановилась: прямо на нее мчался большой рогатый баран. При виде человека он застопорил бег, остановился, вздрагивая и хрипло блея. И вдруг он двинулся на учительницу. Марья Александровна завизжала от страха, а баран, испуганный больше нее, развернулся и хотел бежать обратно, но навстречу ему, без шапки, бежал приказчик.

— Марья Олександровна, не пускай! — орал Володя Зырин.— Держи дьявола!

Баран опять замер в недоумении. Но когда приказчик метнулся, чтобы схватить за рога или хотя бы прямо за шерсть, баран проворно отбежал в сторону. Животное вздрагивало и с прежним, хриплым густым блеянием бессмысленно глядело вдоль улицы. Овцы блеяли по всей деревне, и баран побежал дальше по улице.

— Ты чего, Володя? — остановился напротив Савватей Климов, который тащил под мышкой свою праздничную расписную дугу.— Не в пастухи ладишь? Не дело ты выдумал, из счетоводов да в пастухи. Марья Олександровна, доброго здоровья.

— Боран...— Зырин перевел дыхание.— Убежал, подлец, за чужими ярушками.

— Это он от головокруженья успехов! — кротко сказал Савватей.— Его ведь теперь домой и не заманить.

— Это почему?

— А потому... Вот тебя взять. На беседу придешь, на своих шибановских девок ты глядишь худо. А у чужих ты весь ходуном ходишь. Так и тут. Будет ли боран дома жить, ежели он колхозной жизни испробовал? Вон у его сколько топерь этих... сударушек-то.

— Будет! — Зырин отряхивал со штанов снег.— Я его, бледину, залобаню на пасху, я его...

Зырин вспомнил про Марью Александровну и проглотил следующие матюги. Учительница уже дважды пыталась что-то сказать, сначала ему, потом Савватею. Она чувствовала, что оба сейчас исчезнут, и обратилась к Савватию, как к старшему:

— Товарищ Климов...

Савватей не ждал, что его назовут товарищем. Заметно было — подрастерялся. Марья Александровна рассказала о Куземкине с Лыткиным:

— Помогите им слезть! Лестница очень большая, мне невозможно поднять.

— Там и сидят? — спросил Савватей.

— Там.

И Марья Александровна пошла прочь. У нее упала гора с плеч.

— Как забрались, так пусть и слезают,— сказал Савватей.

— Нет, надо бы сбегать, подставить лестницу-то,— не согласился Зырин.— Вот только борана зловлю...

— Да куда без шапки-то?

Савватей Климов почесал в затылке и тоже заторопился. Старика обогнала чья-то краснопестрая корова. На шее коровы глухо брякал железный колокол. «Чья это? — подумал Климов.— А вон чья...» Наперерез корове прямо по снегу бежал вспотевший Санко Куземкин. Савватей хотел было остановить Санка да сказать про братана, который сидел на церковной крыше. Но Климов раздумал: «Пускай посидят. Сами хотели как бы повыше». Зато всем другим встречным Савватей рассказывал про Митю и Мишу. Мол, сидят и слезти не могут, кто бы слезть подсобил? А ежели не подсобить, дак хоть бы пирога им кинуть.

Но шибановцам было сейчас не до Лыткина, Куземкина же они держали в уме, как держат число во время устного умножения. Деревня кипела ключом. Так шумно бывало только на масленице. Коровы, бабы, ребятишки, овцы, старики и старухи носились взад и вперед по всем проулкам. «Пте-пте-пте!» — слышалось от новожиловского подворья. «Сыте-сыте, милая, сыте!» — тащила свою корову Людмила Нечаева. «Чака-чака-чака!» — это Таисья Клюшина приманивала своих овец ржаной горбушкой.

— Таисья, а ты хлебец-то посолила ли? — издалека кричал протрезвевший Судейкин, который тащил из лошкаревского дома тяжеленный ундеровский хомут.— Посоли, девушка, посоли урезок-то. А то и сметанкой помажь!

Таисья не слышала советов Судейкина. Она заманивала овец в ворота опустевшего своего двора. Пе-

рекрестилась. Слава те Господи, всех лошадей с подворья вычистили. Теперь овец в один хлев, корову — в другой. Красуля много недель стояла в чужом доме, голодная. Корова жадничала, прямо из рук хватала сено, на брюхе насохли большие навозные бляшки. Вторая корова, Звездка, тоже стельная, была не обобществленная, все эти недели стояла дома, она, казалось, не узнавала свою напарницу, ревниво помыркивала. «Отвыкла! — подумала Таисья Клюшина.— А где у нас лошадь-то?» Лошади не было. Таисья всплеснула руками, кинулась из двора на улицу:

— Степан! Дедко! Где лошадь-то?

Дедко Клюшин не торопясь нюхал в проулке табак с Климовым.

— Теперь, значит, такое дело, куды, Савватей Иванович, Игнаха-то повернет, направо или налево?

— Этот пойдет в одну премы! — сказал Савватей.

Таисья отступилась от них, побежала искать Степана.

Степан Клюшин до чего человек спокоен — в самый главный момент взял да и уехал в лес за хвоей. Таисья и забыла про это. Когда вспомнила, куда ей было деваться? Не могла она остаться одна, минуты были особые. «Дожили до Христова дня!» — сказала баба сама себе и побежала к Роговым.

Куземкин с Лыткиным все сидели на крыше и ждали подмоги. Уже в сумерках Володя Зырин изловил наконец барана и совсем уж в потемках прибежал выручать председателя. Поспешно отставил лестницу, поднял ее на дыбы, приоторвал от земли и рывком прислонил к церковному карнизу.

— Слезай, Митрич! — кричал Зырин.— Пока ты тут с Богом воюешь, от колхоза остались рожки да ножки.

— Какие ножки? — не понял председатель Куземкин, задом спускаясь на землю.

— Одно названье осталось! Разогнали скотину.

— Это как так? — Митя получил наконец свободу, ступил на снег.— А ну, пойдем в контору.

— В конторе засел Жучок. Ворота на крюк и никого не пускает.

Митя Куземкин открыл рот. Тем временем спу-

стился на землю и Миша Лыткин. Председатель снова обрел дар речи:

— Михайло, беги запрягай Зацепку. Нет, погоди, лучше Шибру. Сразу поезжай за Сопроновым!

— Какая тут запряжка? — выручил Зырин сникшего было Мишу Лыткина.— Не то что лошадей, и вожжей не осталось!

— Пешком!

Но тут даже безответный Лыткин не согласился:

— У меня, Митрей Митревич, с утра маковой росинки в роту не было. Завтре уж...

Куземкин стих. Он и сам еле стоял на ногах. Голодный, замерзший. Единственное, что ему хотелось сейчас, это уйти подальше от кладбища. Домой! Поесть бы да и забраться на печь, это бы еще лучше. Он велел Мише Лыткину собрать инструмент и веревки, а сам сунул руки в карманы:

— Пошли!

— Куда? — спросил на ходу Зырин.

— Сперва в контору.

— Жучок в контору не пустит! — убежденно отсоветовал Володя Зырин.

— А кто ему ключ дал? Ты, что ли?

— Ключ? Будет он ключ спрашивать! — разозлился Зырин.— Пешню у Новожилова взял, замок с пробоями выдрал. Ты что, не слыхал, что он тронутый стал?

— А тронутый, дак ему место в Кувшинове, отнюдь не в конторе! — Митя даже остановился.— Ты, товарищ Зырин, куды глядел своими глазами?

— А ты куды? — еще больше обозлился Зырин.— Он вон без порток на улицу выскочил! Всех коров со двора вытурил, кроме своей. И ворота на крюк. Я тебе не милиция...

Председатель не ответил. Он споро шагал к дому Жучка. Рядом, также споро, ступал счетовод, а сзади, пытаясь не отставать, пыхтел коротенький Миша Лыткин. «По дороге зимней скучной тройка борзая бежит!» — припомнил Зырин школьное стихотворение. Ему стало сперва смешно, потом стыдно. Чего он у Жучка забыл? Одна амбарная книга, в которой записаны фамилии. Еще старые лошкаревские счеты, да и те без многих костяшек... Скотину развели по домам, колхоз разбежался в разные стороны. Нет, в этой «конторе» и делать сегодня нечего...

Днем Зырин успел прочитать в газете сталинскую статью, спервоначалу не поверил своим глазам: «Вот те раз! А как ловко повернул дело товарищ Сталин! Сам-то вроде и ни при чем».

Счетовод посулился вечером к Степану Клюшину, чтобы прочитать статью старикам, но газетку кто-то прихитил. Где она теперь, эта газета? Ищи свищи... Были у счетовода и другие заботы: в избе Самоварихи собиралось игрище. Шибановские девки как взбесились, готовы плясать каждый день или через день. Забыли и про Великий пост. Сегодня на игрище сулились ольховские. Зырин с неодобрением покосился на Митю: «Сидел бы на крыше-то! — со зла подумалось счетоводу.— И этот, Миша-то... Перетаптывается, как медвидь перед страньем...»

Около Жучкова крыльца, то бишь у колхозной конторы, перетаптывался нынче не один Миша Лыткин, а все трое, в том числе и сам Зырин, еще оравушка ребятни. Начали появляться кое-кто и большие, вроде того же Климова.

— Чево, Митрей, не пускают? — спросил Савватей и сочувственно почмокал мохнатым ртом.— Коли так, дак и скажи ему: Северьян Кузьмич, становись сам председателем! Вот и будет дело с концом!

— Ежели бы раму выставить? — посоветовал Миша Лыткин.

— Истинно,— сказал Савватей.— Все одно, што в двери ходить, што в окно.

— Ломись, отопрет! — крикнул счетоводу Куземкин.

— Нет, не отопрет! Пошто он отопрет? Он у сибя дома,— опять резонно заметил Климов. Митя поглядел на него, но ничего не сказал. Промолчал.

Народ, особенно подростковый, снова копился вокруг.

— Брысь! Палоголовцы! — Володя шутливо кинулся на ребячью стаю. Малолетки отпрянули, но тут же снова начали окружать конторское крыльцо и начальство.

— Ломись! — опять приказал председатель то ли Лыткину, то ли Зырину.

Зырин постучал кулаком по воротнице. Побрякал железным колечком. Жучок не отозвался. Появился и Киндя Судейкин. «Этого только и не хватало,— в

сердцах подумал Куземкин,— таких стихов навыдумывает, что и до району дойдет».

— Ты, Митрей, не ладно делаешь,— сказал Киндя.— Этак не бывать вам в конторе до морковкина заговенья.

Куземкин огрызнулся:

— Взял бы и сказал, как ладно делать!

— Как? Да больно просто! Ты как на святках! Полезай на крышу да в трубу-то и спой: «Жучок-мужичок, не ложись на бочок, не ложись на бочок, откинь крючок».

— Нет, Киндя, не выгорит это дело,— поправил Савватей Климов.— На крыше-то он уж севодни был, Митрей-то. Второй раз не полизет на крышу. Надо по-другому.

— А как ишшо?

— Володя Зырин прикащик в лавке. Вот и пусть крычит: «Мануфактуру дают! Калоши привезли новые!» Сразу Жучок выскочит.

— Не выскочит.

Подошло еще двое старух: кривая Таня и Новожилиха.

— Так он чево, свою-то корову не выпихал? — звонко спросила подоспевшая Таисья Клюшина.

— Уж доёна ли коровушка-то,— сокрушалась Таня.

— Корова-то ладно,— сказал Киндя.— А вот нас-то с тобой хто на уличу выпихал? А баушка? Пойдем-ко по избам-то, вишь, вся ты замерзла.

Только ни сам Киндя, ни кривая Таня по избам не уходили. А тут еще и гармонья взыграла за Орловым гумном. Орлово гумно от Жучкова подворья подать рукой:

Ой, спасибо Сталину,
Станем жить по-старому.
Ищо бы Рыкова спросить,
Молоко бы не носить.

— Ольховские аль залисенские? — подскочил к Зырину Ванюха Нечаев. Зырину было сейчас не до гармоньи. Он изо всей силы начал ломиться в Жучковы ворота.

— Не отопрет! — уверенно произнес Киндя.

— Не отопрет, — подтвердил Нечаев.— Пошто ему счас отпирать? Скотина во хлеву, кобыла дома. И сам в тепле.

— Да ведь старик с малолетками по миру пошел! — кричали бабы.— Неужто ему не жаль малолетков-то? Другой бы искать побежал, а он поди-ка на печь залез. И баб евонных дома нету, вси три у Самоварихи.

— А ты-то чево бы стала делать? Оне только тово и ждут, чтобы он ворота отпер.

— Хто?

— Да счетоводы-ти.

— Оно правда. Только выскочишь, обратно не заскочишь.

— Все одно выкурят!

Куземкин слушал возгласы, и ему пришла в голову хорошая мысль: «Надо призвать от Самоварихи Жучковых женщин: жену, сестру Луковку и дочку Агнейку. Неужто им-то не отопрет?»

Селька Сопронов тотчас побежал к Самоварихе...

Ждали, чем все кончится. Селька прибежал обратно и заявил, что Жучковы бабы не идут и даже не посулились. Но вопреки Селькиному сообщению у ворот вдруг появилась Агнейка Брускова. Она пришла в старом скотинном казачке, в материных тоже скотинных сапогах, а голова была едва ли не простоволосая, покрытая то ли полотенцем, то ли какой-то застиранной скатертью.

— Вишь, все у сердешной отнели, нечего и на голову надить,— бурчала под нос Новожилиха.— А каково ёй бедной? Ведь вон и робятки гулеть пришли. Гармонья играет. А у ёй и платка нету. Все отнели, нехристи!

— Цыц! — учуял Митя бабкину воркотню.— Ты чего тут опеть пришла? Пропаганду держи при себе, а то... гледи!

— Чево мне гледить! У меня один глаз и видит.

— Вот и гледи однем. А то... — Митя отвернулся.— Агнея, матушка, ну-ко постукай! Скажи отцу, что пирогов принесла. Чтобы ворота-то отпер.

Все затихли.

— Тятя! — Агнейка всхлипнула.— Отопри, тятенька, это я...

Она тихонько побрякала колечком, но в сенях не было никаких звуков. Агнейка всхлипывала все сильнее и чаще. Она по снегу прошла к окошку, начала стучать в раму:

— Тятя, открой... — слезы не давали ей говорить громче.— Отопри, тятенька...

Куземкин и Зырин слышали, как скрипнули двери, ведущие из сеней в избу. Оба подальше отошли от наружных ворот.

«Не зря и отскочили»,— успел подумать Куземкин. Ворота стремительно распахнулись. Босой Жучок в одних портках, с поперечным запиром в руках выскочил на крыльцо и начал крестить запиром направо, налево, вперед и назад...

Народ отпрянул в разные стороны. Митя Куземкин увернулся от удара. Успел-таки присесть и пригнуть голову! В три прыжка, прямо по снегу, отскочил председатель сразу метров на десять. Зырин с хохотом отбежал еще дальше. Одна Новожилиха как стояла, так и осталась стоять в своем продольном до самых пят сарафане.

— Обери, батюшко, уразину-то,— сказала она Жучку.— Обери от греха.

Жучок остановился, увидел старуху и... начал подавать ей свой деревянный засов. Подавал и приговаривал своим сиротским голосом:

— Бери, бери, вот. На!

— Да мне-то, батюшко, нашто запир? У нас есть.

— Бери, он ядрёной. Роспилить пополам... Оно и ладно... Еловой, крепкой...

Голые подошвы его ног, видимо, почувствовали холод твердеющего ночного мартовского снега. Жучок бросил запир под ноги Новожилихе. Агнейка, вздрагивая плечами, тянула отца за рубаху. Она подвела его к воротам, оба скрылись в сенях. Дверное полотно в избе сильно хлопнуло.

Ворота на улицу так и остались настежь.

Народ расходился. Теперь одни ребятишки ждали чего-то нового. Кузёмкин видел издалека: Новожилиха подняла с дороги запир, подошла к крыльцу и приставила к косяку.

Зырин спросил насмешливо:

— Ишшо пойдём?

— А ну его! — Кузёмкин нехорошо выругался, заоглядывался.— Где Лыткин?

Лыткина уже давным-давно не было около Жучкова крыльца.

— Кобыла мерина едренее, утро вечера мудре-

нее! — подытожил Зырин.— Завтре, на свежую голову разберёмсе.

— Игнаха опять жо... должон подъехать,— согласился председатель.— Давай пока по домам...

VI

Ушли все от Жучкова подворья. Осталась одна «мелкая буржуазия», как выразился Кузёмкин, имея в виду кое-каких ребятишек, замёрших и швыркающих носами. Эти ждали чего-нибудь ещё, не дождались и быстро убрались поближе к игрищу.

Только дома в избе Митя почувствовал, как он устал и оголодал. На локтях и ладонях кровяные царапины, штаны на коленках порваны. А тут ещё и матка не разговаривала. В ответ на вопрос, где брат Санко и ушла ли на игрище сестра, только ухват забрякал. Митя перетерпел и эту обиду, благо запахло постными щами. Пока он отмывал царапины, мать сердито раскинула на столе холщёвую застиранную и залатанную на углах скатерть, вынула из стола хлеб. Молча принесла от шестка горячий горшок. «Ну, нашла коса на камень»,— подумал Кузёмкин. Он приставил недавно початый каравай к груди и начал резать хлеб. Урезки были толсты, и Митя разозлился:

— Чево лампа худо горит? Как при покойнике.

— А дано, дак ждри! В ухо не занесёшь.

Ухват или лопата пирожная полетела в кути? Кузёмкин не разобрался.

— Ты в ково экой бес уродилси? — выскочила матка из кути.— Стыдно в глаза людям гледить!

— А стыдно, дак и не гледи.— Кузёмкин попробовал отшутиться.

Но мать налетела на него, как налетает курица на серого ястреба, когда тот камнем падает с неба на цыплячье семейство:

— Анчихрист! Гли-ко, всю черкву аредом взели, бесы рогатые. Ты чево думал пустой головой, ковды на крышу полез?

Митя не спеша хлебал постные щи. Вспомнил отца, умершего на печи от удушья — больно много курил, покойничек! Тот никогда не ругался. Да ведь и матка раньше редко ругалась. «Эк её рознесло

нонче,— думалось Мите,— руками машет. Готова глаза выцапать...»

— Ковды ты, бес, глаза-ти сибе омморозил? Ковды? Стоит на самом князьке, поглядывает! я не я! Тьфу, прости меня, Господи, грешную! Эково я зимогора выростила... Люди все скотину по домам погонили, а он с Лыткиным на черкву полез. Тьфу, прости меня, Господи, грешную... Ладно, хоть Санко корову увёл...

— Постой, постой... Где корова?

— В хливе! Ты бы дольше сидел на крыше-то, бес рогатой! А мы бы и ждали, и ждали бы, ковды тибя, беса, снимут да ты бы...

У Мити Кузёмкина застряла в горле еда. Он обвёл избу с виду весёлым взглядом своих «обмороженных» глаз. Взгляд его медленно обводил избу от дверей вдоль полавошника, на котором стоял туесок с огуречными и капустными семенами. Ближе к божнице лежал поминальник — крохотная книжечка в бархатном переплёте, точь-в-точь такая же, какие валялись сегодня в церковном алтаре. Книжечку эту было не видно, но Митя чуял, что она лежит там же, рядом с божницей. Между туесом и поминальником и лежал «Капитал» Карла Маркса. «Тут! — Митя облегчённо откашлялся.— Не выкинула...» Сейчас он больше всего боялся за эту книгу. Он взял её на правах старшего у Сельки Сопронова, принёс домой в тот же день, когда поставили председателем. Положил на полавошник, всё хотел читать, но так и не выкроил время.

— Корову сведешь обратно! — Митя так треснул кулаком по столешнице, что подскочила посуда.

— Нет, не сведу! — кричала мать из кути.— Сведу... Я бы ему ишшо корову обратно свела, каково лешева захотел...

— Сведешь! — убежденно сказал Митя и вышел из-за стола.— Не завтре, не утром обратно сведешь, а счас...

Тут, совсем неожиданно, раздался звон стекла, рама среднего окна со звоном разбилась, банный дресвяный камень шмякнулся на средину избы. С ревом выбежала из кути мать, начала гасить лампу. Не слушая материнских причитаний, председатель босиком, с хлебным ножом в руке выскочил в сени. Он

прыгнул дальше в холодную уличную темноту. Бросился сперва влево, потом вправо. Замер по-волчьи.

Нигде не было ни души.

Куземкин не шевелился в проулке. Но много ли настоишь босиком на снегу? Сердце сильно толочилось в левом боку. Глухая и, казалось, совсем спокойная ночь давила на председателя густеющей мартовской тишиной. Пахло свежестью талых снегов, сеном и еще чем-то неуловимым, то ли звездами, то ли невидимым месяцем. Куземкин вздрогнул. В проулке почуялось что-то большое и темное. «Блазнит! — спугался Куземкин.— Нет, это кто-то живой».

— Эй! — гаркнул председатель.— А ну, гад, выходи сюда!

И махнул в темноте хлебным ножом. Шагнул Куземкин вперед и опешил: большая голова Ундера сильно всхрапнула из темноты. Левым свободным кулаком Куземкин хотел было врезать Ундеру по морде или косице. Мерин успел высоко вздернуть голову, опутанную ременным недоуздком, и Митькин удар пришелся в пустое место.

— Задрыга, ествою в корень! — ругался Куземкин, словно во всем был виноват мерин Судейкина.— Ну погоди, я тебе ишшо покажу...

Но лошади не кидают каменьями по окнам. Пятки совсем зашлись от холода. Куземкина осенило. Он распустил веревку ундерского недоуздка, привязал мерина к балясине своего крыльца. Заскочил в избу, лихорадочно обулся, накинул пиджак и шапку.

— Ой, убьют! — запричитала мать.— Ой, Митюшка, запри ворота, ой, не ходи некуды!

«Только что ругала на чем свет стоит. Теперь Митюшка»,— подумал со злостью Куземкин. Он велел ей заткнуть окно тряпьем и снова выскочил на крыльцо. Забираться на широкую, плоскую как столешница спину мерина пришлось с изгороди. Митя погнал коня в сторону Ольховицы.

Все было тихо, только бухали о дорогу большие круглые копыта и екала ундеровская селезенка. Еще слышал Митя, что когда двери Самоварихиной избы открывались, то на шибановскую улицу вылетали веселые звуки гулянки. Ольховские плясали под свою гармонь, завлекали шибановских девок. На миг блеснуло Мите Куземкину черными своими глазами лицо Тоньки-пигалицы, сладко кольнуло в груди что-то

ревнивое, но Мите было не до того. Он бил концами поводьев по ундеровским бокам. На околице у самого отвода могучая туша мерина вдруг резко застопорила. Председатель полетел через лошадиную голову. Он не выпустил поводьев из рук и, может, оттого ударился о дорогу не очень сильно, но в тот же миг послышался резкий хлопок. (Куземкин видел огонь от выстрела). Ундер шарахнулся в сторону, увлекая председателя в засыпанную снегом канаву.

— Хто едет? Стоять на месте! — услышал Митя голос Игнахи Сопронова. Снег набился в уши и в рот. На дороге чернела встречная лошадь.

— Я, я! — отозвался Куземкин, отплевавшись от снега.— Это я, Павлович! Подёржи мерина, а то убежит...

Ундер, однако ж, не собирался бежать. Митя вылез из снега. Сопронов убрал наган.

— Я за тобой, Павлович! — Митя только сейчас испугался выстрела.— Значит, так, контра по деревне пошла, я за тобой...

— Какая контра?

Митя сбивчиво рассказал про свою разбитую раму, про запир Жучка.

— Ну, не велика эта контра,— утешил Игнаха.— Этих-то мы успокоим. Садись в сани!

Митя привязал к саням повод от Ундера и сел рядом с Игнахой. Двинулись... снова в сторону церкви, в Поповку.

— Найди мне Сильвестра, ежели он не дома,— сказал Сопронов,— срочная телеграмма, сбежал какой-то высланный, Ратько по фамилии. Выставляй посты по дорогам. Срочно!

Таким долгим оказался у Мити Куземкина этот день, что он уже и забыл, с чего этот день начался. И конца ему, этому дню, не предвиделось. Мите казалось, что топающий сзади Ундер чувствовал то же самое.

* * *

Дело случилось так, что, когда начали разводить лошадей по домам, Судейкин почему-то не стал торопиться за своим Ундером. Может, поленился, может, не захотел бегать, как бегали все подряд. «Все равно ведь рано ли поздно отымут»,— оправдывая себя, ду-

мал Киндя. К паужне он явился домой, и все бы ладно, кабы не домашняя ругань. Жонка очень уж сильно ругалась: «Иди за мерином!» Сама веревку в руки и побежала искать корову. Девчушки запищали все разом, как галчата: «Тятя, сходи! Тятенька, приведи!» Пришлось Киңде подыматься на ноги и выходить из дому.

На улице, как и до этого, творилось не поймешь что. Ворота в домах — настежь, солома везде рассыпана. Деревня шумела пчелиным роем. Крик, смех, будто разговелись в Христов день и не могут остановиться. Из дома в дом бегают. Здороваются по два раза. Мужики снуют из конца в конец, ищут сбрую. Бабы кричат. Но и кричать времени нет, не то что поговорить. Коровы мыркают. Овцы, эти самые бестолковые, разбежались по всем проулкам и блеют самосильно, собаки лают, ребятишки всех возрастов шныряют и тут и там, орут кто во что горазд. Праздник не праздник, а таких дней не было на веку!

Киндя оставил корову на завтра, а приволок-таки домой свою суягную овцу, сунул ее прямо в теплую избу: «Нате, девки, тешьтесь пока!», а сам опять подался на улицу. Тем временем в деревне стало тише. Начало уже и смеркаться, когда нашел он Ундера у нечаевского гумна. Обуздал, как, бывало, когда-то, и сказал вслух: «Ну, брат, чего это тебя все к Нечаеву клонит? Видно, захотел ты в Красную Армию!»

Ундер всхрапнул, передернул большим как рукавицы ушами.

Ундер всхрапнул, передернул большими как рукавицы ушами. «Да не возьмет тебя Ворошилов, бракованного! — продолжал Киндя.— Пойдем, батюшко, домой, будем весной землю пахать...»

Судейкин повел мерина ближе к деревне, а в деревне-то... опять события: Жучок раскулачил Митьку Куземкина! Отнял-таки у колхоза контору, забрался внутрь и никого не пускает. Судейкин опять оставил мерина на второй план, привязал его к своей черемухе, сам скорее к Жучкову подворью, а после в Шибаниху пришли на игрище то ли ольховские, то ли залесенские. Гармонья играла как ошпаренная:

Мы по берегу, по берегу,
Милиция за нам.
Оторвали... яйца,
Положили в карман!

Нет, это пели не ольховские, решил Судейкин. Ольховским эдак не вывести. Эти на усташинских смахивают. «Наверно, залисяна,— утвердился Киндя,— больше некому».

Во Залисенский колхоз
Загонили нас в мороз.
Ой, спасибо Сталину,
Станем жить по-старому...

Очень понравилась вторая песенка, но было обидно, что пришла-то она из другой деревни. Не шибановская! А что, неужто шибановские хуже других и прочих? Судейкин не утерпел и чуть не бегом в избу к Самоварихе. Объявился на игрище, влетел в самую гущу. Не спросясь разрешения, выскочил на середку, где оставалось немного местечка, и спел во всеуслышанье, сквозь шум гулянки, пересилив все говоры:

Ой, калина-малина,
Закружило Сталина,
Закружило-повело
Все шибановско село.

Чья играла гармонь? Вроде бы зыринская. Кинде некогда было разбирать, пляши, пока играют, благо под ногу. И он сплясал. Сплясал ухватисто. Останавливался только для того, чтобы успеть спеть частушку:

Самовариха-вдова
Тожо кругом голова.

— Ну, теперь переберет всех! — вздохнул кто-то из шибановских. Девки заверещали, начали дергать Судейкина за полы, им надо было плясать самим. Но Киндя не останавливался. Слушая хохот и одобрительные возгласы пришлых ребят, он успевал придумать частушку, пока делал круг с переплясом:

Женихи ольховские
Все оне таковские,
Девки в положенье,
Головокруженье...

Гармонь затихла на этих местах, чтобы было лучше слышно частушку. И Киндя Судейкин старался как никогда:

Председатель на трубе,
Счетовод на крыше,
Председатель говорит:
Я тебя повыше!

На этом месте Володя Зырин заглушил игру, да и самого плясуна девки стащили с круга. «Пусть пляшет! — кричали залисяна.— Пускай и нас проберет...» Они припасли для Кинди своего гармониста, но Судейкин уже потерял пых и заотказывался:

— Нет, больше плясать не стану. Вот ежели Тонюшка к горюну позовет, товды только и попляшу.

Тонька-пигалица и впрямь пошла к горюну. Ее позвал туда, за Самоварихину печку, Акимко Дымов. Этот все еще торил шибановскую дорожку. У Кинди скопились слова для новой частушки. Тут он и вспомнил про своего мерина: «Подростки, того и гляди, отвяжут. Тогда вдругорядь ищи его по всем гумнам и закоулкам».

Судейкин выскочил из суматошной Самоварихиной избы, торопливо приковылял к черемухе. Как чуяло сердце, так оно и вышло! Ундера не было. Даже нечислилось... «Отвязали, дьяволята,— решил Киндя.— Отвязали, он и убрел. Ундер-то... А может, катаются?» Судейкин выругался, однако ж расстроился не так уж и сильно и только подумал: «Вот ведь что значит привычка. И я, видно, привык к колхозной-то жизне. Не надо, стало, и мерина. Да и Ундер, наверно, привык, далеко не уйдет. Тут где-нибудь... Найду».

И Киндя поворотил обратно на игрище. На крыльце он широко раздвинул руки, загородил дорогу Тоньке-пигалице, которая на ходу затягивала платок:

— А ты куды? Бегу и думаю, сцяс Тонюшка меня к горюну созовет, я у своёй бабы разрешенье на это взял. Нарошно домой бегал.

— Ой, отстань к водяному! — Тонька увернулась от Кинди и спрыгнула с крылечка. Не оглядываясь, побежала она к своему дому.

* * *

Что ей это веселое игрище, эта пляска и все столбушки? Не нужен ей и Акимко Дымов — самолучший ольховский парень. Тоже вроде нее, все еще сохнет по старой сударушке...

Ей часто снился тот теплый дождь и гроза, полыхающая над ночной Ольховицей. Как хорошо гостилось тогда у крестной... Проливной дождь, теплая ночь. Желтый свет керосиновой лампы, чистые поло-

вики на полу и запах сусла. Запомнились тикающие ходики, запомнилось даже, где стояла минутная стрелка, когда он сказал: «Мне надо поговорить с тобой. Ты знаешь о чем...» Он просил ее поговорить с братьями, посулился прийти в Шибаниху послезавтра. Но он не пришел ни через неделю, ни через месяц. И только горница ольховской крестной осталась такой же, как тогда, и Тоня много раз была там в гостях... И что же ей делать теперь? Ребята, и свои, и чужие, зовут к горюну. Владимир Сергеевич не дал ей никаких вестей. Жив ли он, она тоже точно не знала. А сердце подсказывало все свое, все свое. Живой он! Где ни на есть, а живой... Да ей-то что делать? Никто, кроме двух старинных подружек, не знал, по кому Тонюшка тоскует и сохнет. Ни братья, ни мать родная, ни крестные — шибановская и ольховская — не знают того. Только одна корова Красуля знала про Тонькины слезы. Да и то, может, только догадывалась...

На игрище, в самый разгар пляски, Тоня вспомнила про корову. Отказалась девка идти к горюну к очередному ухажеру. Парень из чужаков обиделся, но ему тут же пригласили другую. Тоня ухмыльнулась и была такова. Что ей этот горюн? Дома Красуля ждет, стоит не доена. Одна и была корова в хозяйстве, но братчики и одну сдавали в колхоз... Отелилась в чужих людях, на холодном подворье. И вот сегодня вдвоем с теленком стояла Красуля дома, во своем теплом хлеву, ждала, наверно...

Брат Евстафий никогда не ходит на игрища. Опять читает какую-то книгу, мать на печке. Тоня схватила давно не троганный подойник. Она ошпарила посудину самоварным кипятком, самовар еще горячий стоял у шестка. После этого сунула в рыльце вересковую, еще днем припасенную веточку.

И побежала доить...

Деревянный фонарь, подвешенный на штыре, еле светил. Даже и при таком свете было видно, что стало с Красулей. Тоня чуть не заплакала: широкое коровье брюхо, передние до колен, а задние ноги целиком все в грязи и в сухом навозе. Теленок тыкался с другого боку. Тоня сразу почувствовала, что доить было нечего, давно все высосано. Кому было отлучить теленка, ежели с новотелу иной раз и недоенной стояла Красуля? Хоть живыми оба остались и то

ладно... Завтра братаны отгородят теленку место, сегодня не успели.

Тоня отнесла почти пустой подойник обратно в избу. Нацедилось всего один ставочек. Хотелось привести в чувство Красулю, помыть вымя теплой водой, отмочить и выскребсти навозные бляшки. Вот только скребницы-то нет! Скребница корове сроду была не нужна, вся скотина всегда стояла на хорошей хвойной подстилке. Только у лошадей выскребали линялую шерсть.

Тоня вспомнила, что самая ближняя скребница — у Роговых. Скинула девка скотинный дворной казачок, набросила на плечи теплый платок и побежала к соседям. Она не стала проходить в красный угол, вызвала Веру к дверям и попросила что надо. Вера зажгла фонарь, сходила за скребницей на верхние сени. Большой живот мешал жене Павла Рогова наклоняться, ходила она совсем тихо. Тоня взяла скребницу и обратно бежать, но Вера шепотом остановила подружку: «Помешкай! Ну-ко, на ушко чево-то скажу. Да и покажу кой-чево...»

Она провела Тоню в куть, где горела лампа, сходила к шкафу и украдкой показала фотографию с Василия Пачина. Они пошептались в кути, пока дедко Никита не позвал к самовару. Тоня стремглав убежала домой...

Господи, что делать ей? Матрос в каждом письме через Веру наказывает ей поклоны, она же только отмалчивается да отшучивается. Теперь знает про то вся деревня. И все ругают ее, все хвалят ей жениха с черными лентами и светлыми пуговицами. И только две живые души, Вера да Палашка Евграфова, знают, что у Тонюшки на уме. Вон Верушка опять свое твердит: не хватит ли бегать по игрищам? Чего говорить, вот-вот родит Вера второго. Палашка тоже вот-вот... Пусть и незаконного, а ведь давно уж не девка. Одну тебя из всех ровесниц все еще зовут ко столбам. Одна ты выплясываешь на игрищах... Или наказать Верушке, чтобы писали Василию и от нее, от Тони, поклон? Только стоит сказать... «Господи, прости меня, грешную...»

Тоня, не заходя в избу, опять бежит в хлев к своей Красуле. Фонарь как висел, так и висит на штыре. Она пробует отдирать скребницей насохший навоз, корова с непривычки взбрыкивает. Сунулась в

другой угол хлева. «Красуля, Красулюшка! — зовет корову хозяйка.— Иди, матушка, сюда!» Корова не хочет ни мыркнуть, ни оглянуться. Теленок бестолково тычется под материнское брюхо. Руки у Тони опущены...

Стук в обшивку выводит девку из слезной задумчивости, она хватает фонарь и бежит из хлева к воротам. Пока бежала да открывала — ушли. Только в снежном смыгу у крыльца торчит осиновая доска со вделанным в нее длинным еловым колом. На доске крупно намалевано зоревым суриком: «Десяцкой».

Тоня поправляет кол, чтобы стоял прямо. Думает: «Чего-то больно скоро дошла очередь. Неужто пошла седьмая неделя?»

В Шибанихе сорок два дома. Пока дойдет очередь быть десятским, минует ровнехонько шесть недель. Не часто приходится быть дому десятским. Раньше дел у десятских было совсем немного. Пустить ночевать проезжих начальников, провести слепого до соседней деревни, загаркать народ, ежели собирался сход,— вот вся забота. Правда, это кроме ночного дежурства, установленного в колхозную пору.

Теперь проезжий начальник не станет ночевать где попало. Зато много собраний. Нищих тоже прибавилось, а нынче и ночевать-то пустят не в каждую избу. Скажут, что тесно, а сами боятся вшей, возьмут да и отправят к десятскому. Как тут и было! Легки нищие на помине...

У крыльца стояла нищенка, но не с корзиной как обычно, а с заплечным мешком. Она молча стояла в мартовской темноте.

— Ты чья? — спросила Тоня.— В дом проходи, чево стоять-то...

Женщина не отозвалась и даже не пошевелилась. Тоня испугалась:

— Ты нищая?

— Ни! Мы украинки...— послышался грудной совсем не старушечий голос.— Я не сама, там ще двое. Засланы...

— Нас к вашей хати послали. Нам тольки до ранку...

Две такие же закутанные женщины и тоже с мешками подошли ближе:

— Добри день...

— Заходите. Здравствуйте.— Тоня открыла сначала ворота в сени, затем дверь в избу, чтобы осветить сени. Она привела выселенок в тепло своей большой пятистенной избы:

— Разболокайтеся!

Женщины сволокли с плеч поклажу и развязали платки. Шерстяные однорядные сачки они не стали снимать.

— Да вы не стесняйтесь! — Тоня уже тащила из кути вчерашние пироги, выставляла из шкафа посуду и сахарницу:

— Ой, чево это вы?

Три миловидные девичьи лица, три пары темных опущенных глаз сверкнули и опять закрылись ресницами.

Неужто плачут? Тоня испугалась и позвала мать, но матери в избе не было, не было ни младшего холостого, ни второго брата с невесткой. Вся родня ушла, наверно, гулять к соседям.

— Садитесь на лавку-то! — Тоня рассердилась и от этого стала смелее.— А я самовар буду ставить...

— Ни! Ничего не треба, нам тильки переночувати. Меня Грунею кличут, а вас не знаемо как кличут.

— Тоней! Откудова сами-то?

— З-пид Киева... Ратько наша фамиль.

Тонька-пигалица бросилась в куть наливать самовар. Та, что постарше, вытерла слезы, сняла свой летний сачок, под которым оказалась шерстяная зимняя кофта. Двое, что помоложе, тоже сняли сачки. Тоня, щепая лучину, успела с изумлением увидеть яркие украинские сарафаны и кофты. Но когда глянула на ноги выселенок, сердце сжалось. Что это у них на ногах? Какая-то смесь обледенелых веревок и тряпок, что-то совсем несуразное вместо валенок. Тоня на время отступилась от самовара и кинулась искать на печи сухие теплые валенки.

Пришел Евстафий, но поздороваться постеснялся. Прибежала мать из хлева и долго охала и всплескивала руками, когда узнала что к чему:

— Матушки! Да как это вы эк? Да откуда за день-то пришли? Ой, Господи... Ну-ко, полезайте на печь-то, погрийтесь пока. Полезайте ради Христа! У нас печь-то большая, уляжетесь вси три. Тонюшка, подай чево в изголовье-то. Есташка, чево сидишь?

Постели-то притащи с повети, пусть отумятся с холоду...

Евстафий натаскал набитых соломой постелей, подушек и одеял. Второй брат с невесткой ушли в ту половину. Ужинали в два присеста. Ночлежниц не стали особо расспрашивать, они боялись рассказывать. Мать улеглась на печи, брат Евстафий на свою кровать за шкапом. Выселенки тихо уклались на набитых соломой постелях. Тоня принесла из сенника еще две подушки и новое, только что выстеганное одеяло. Не пожалела и своего приданого, только выселенки наотрез отказались окутываться новым. Ей пришлось укутывать их шубами...

Тоня не сразу уснула на своей железной кровати.

Свет погасили за полночь. Не успела доглядеть какой-то уж очень хороший сон, как под шестком встрепенулся и заполошно пропел петух. Вскоре после того в ворота начали стучаться. Тоня, раздетая, выглянула в холодные сени:

— Кто?

— Десятского требуют! Сопронов требует! К Лошкареву...

Тоня по голосу узнала Мишу Лыткина.

В избе тревожно зашевелились девушки-ночлежницы. Тоня успокоила их, шепотком рассказала об очереди. Все опять улеглись. На вызов ушел брат Евстафий. Тоня забралась под одеяло. Какой уж тут сон? Через час-полтора маменька встанет, зажгет лампу, покрестится на икону и снимет с печи квашню. Руки умоет и станет замешивать. А тут и лучину надо щепать, открывать трубу, брякать печными вьюшками. Красулю идти доить, теленка отгораживать... Уже хотела Тоня вставать, да не заметила, как снова уснула.

* * *

Выбитая ступенька на лошкаревской лестнице приводила в чувство всех сонных, задумчивых и нерасторопных. Тут можно было и зубы себе выбить, если не знаешь. Все равно, красный угол Сельки Сопронова завлекал к себе, особенно мужиков и парней. Правда, завлекал днем, а не ночью.

Евстафий надел валенки на босу ногу, думал, что идет в избу-читальню ненадолго. Оказалось, надол-

го, чуть ли не до утра... Свет полыхал во все окна. Внутри Митя Куземкин пытался растопить печку, но ничего не мог сотворить кроме дыму.

Сопронов ходил от угла до угла бывшей лошкаревской горницы. Десятилинейная лампа, вывернутая во весь фитиль, горела под матицей. Банный с крошками дресвы камень лежал на газетной подшивке. Миша Лыткин сидел на скамье, около второго стола. Ерзал Миша, много раз пробовал уйти, но каждый раз Сопронов приказывал:

— Сиди! Еще потребуешься.

И Миша трусливо сидел. С приходом десятского он заикнулся было насчет «ночной поры». Сопронов не пристал к разговору. Десятский Евстафий успел лишь поздороваться, сесть не успел. Сопронов остановился, начал загибать пальцы на левой руке:

— Нечаев Иван — раз! Брусков Северьян — два! Судейкин Акиндин — три, Клюшин Степан — четыре. Пятый счетовод Зырин! Всех суда. Повестки писать не буду, под твою личную ответственность как десятского! Одна нога тут, вторая там!

Посредине ночи десятский ушел загаркивать... Сопронов уселся за стол, вынул из сумки бумаги. На нем были белые валенки с длинными голенищами и в новых калошах. От калош тянуло свежей резиной. Голенища доходили почти до пахов, подпирали и топорщили широкие карманы синих, сшитых из чертовой кожи галифе. Топорщился и внутренний правый карман черного суконного пиджака. «Наган! — догадался Куземкин.— Хоть бы разок дал по вороне пальнуть... Не даст, и просить не стоит».

Куземкин опять начал до головокружения дуть в печку. Сырые березовые дрова не желали гореть, растопка кончилась.

— Эх ты! — неожиданно засмеялся Сопронов и выскочил из-за стола.— Садовая твоя голова! Трубу не открыл, а дуешь.

Митя поднялся с колен. Труба и впрямь оказалась закрытой!

— Ну, ествой корень! Кх... — бормотал Митя.— Откуда я знал? Это ведь ты, Миша, растоплял!

— Все на Мишу! — Лыткин перестал клевать носом.— Опеть виноват Лыткин.

— А што, я, што ли? — сказал Куземкин.

— Ладно, ладно! Тише,— приказал активистам Сопронов.

Пришлось выпускать дым через двери. Печка погасла. Воздух ворвался свежий, но с холодом. Сопронов накинул на плечи полушубок и снова сел к столу.

— Так... Значит, говоришь, так и спел: «Калина-ма́лина, закружило Сталина»?

— Так и спел.— Куземкин подвывернул в лампе фитиль.— Спел принародно. Мне Санко-брат рассказал, он врать не станет.

— А Савватей Климов? Унес упряжь?

— Дугу нес, видели все. Про хомут не знаю. Мишка, это почему у нас лампа гаснет?

— Опеть на Мишку,— шевельнулся Лыткин,— ты с Сельки спрашивай, а не с Мишки.

— Где карасин?

Лыткин начал искать за печью четвертную бутыль с керосином. Она стояла в углу в берестовой оплетке, но оказалась пустой. Ругань из-за лампы и керосина остановил десятский, возвратившись с загаркивания.

— Ну? Всем сказал? — спросил Сопронов и притушил зевок.

— Не идут.

— Это как так?

— А так. Еще и обругали чуть не в каждом дому...

Сопронов ногой, с грохотом, отпихнул скамью, схватил сумку;

— Хто обругал и как? Записать дословно!.. Куземкин, лично пойдешь по домам. А ты, товарищ Лыткин, чего храпишь?

Неизвестно, что бы выкинул дальше председатель Ольховского сельсовета, если б лампа в лошкаревском дому совсем не завяла. Огонь замирал, по ламповому стеклу косынёю пошла копоть. «Вишь, ленточка коротка. Воды бы долить, оно бы еще погорело»,— обследовал освещение Миша Лыткин, но и воды в Селькином графине тоже не было. Поэтому Сопронов замолчал, ничего не стал говорить в ответ на Митино предложение. Куземкин сказал, что надо сегодня идти по домам, что завтрашний белый день выявит в Шибанихе всю черноту, всю главную контру...

Когда начальники ушли, Миша Лыткин долго не мог снять с гвоздика коптящую лампу. Подставил скамью, снял и старательно дунул сверху в стекло.

Лыткин дул, пока не догадался совсем увернуть фитиль. Большой красный огарок Миша не стал гасить, в темноте на ощупь повесил лампу обратно. Головокружение от усиленного дутья прошло у Лыткина только на улице, на свежем весеннем воздухе.

Тихо стало в деревне Шибанихе. Все спали. Один Ундер стоял посреди шибановской улицы. Стоял как неприкаянный, ждал хоть кого-нибудь.

«Вишь... Чево это Киндя забыл про своего мерина? — подумалось Лыткину.— Экой большой мерин-то, наверно с овин...»

Миша Лыткин шел по Шибанихе еле живой. Шел ночевать, хотя спать было уже некогда, начинался рассвет.

VII

Печь затопили первыми Новожиловы, за ними Клюшины. Задымила вскоре и вся Шибаниха. Труба бывшего поповского дома, где жили теперь братаны Сопроновы, тоже кужлявилась. Игнаха первый раз ночевал на новом месте. Пробудился он в пустой кровати, жены рядом не было. В качалке кричал ребенок. «Не дал, пащенок, поспать! — с улыбкой подумал Сопронов.— Как назло всю ночь и горланит».

Лежа на широкой поповской кровати, Сопронов нащупал под подушкой согревшийся за ночь наган. Каждый раз по утрам, нащупывая эту штуковину, ощущал Сопронов ее верную тяжесть. Он молодел в эту минуту, твердел зубами и наливался решимостью. Вспоминал, как после вручения партбилета Яков Наумович вызвал к себе и... совсем неожиданно послал в милицию. Там Сопронову велели писать расписку в получении оружия.

Ребенок орал в поповской деревянной кроватке. Ножки кроватки вделаны в закругленные поперечины, чтобы можно было качать. «Ишь ведь чего придумали,— хмыкнул Сопронов.— Крашеная...»

Печь дымила, голова с похмелья и недосыпу болела. (Зоя вчера ночью выставила бутылку.) Сопронов отбросил атласное стеганое поповское одеяло. Ноги в давно не свежих кальсонах перекинул на край кровати. Поспешно натянул галифе, сунул наган в карман пиджака, висевшего на вешалке, и бо-

сиком подошел к деревянной кроватке-качалке. Качнул. Ребенок завопил еще громче. Трещала топившаяся печь, младенец кричал. Селька спал или притворялся, что спит в прихожей, куда перетащили бывшую кровать Марьи Александровны. Вчера Селька до первых петухов просидел в гумне, караулил дорогу в Залесную. Никого не видел. «Где жонка? — разозлился Сопронов.— Затопила и сама убежала...» На самом деле злился Игнатий Павлович не на жену Зою, а на брата, который не вставал. Зоя работала на молочном пункте, затопила и, может, убежала туда, а этот чего дрыхнет?

Сопронов сильно качнул кроватку, и ребенок затих. Глазенки блеснули. Роговушка валялась сбоку, одеяльце сбилось. Что-то похожее на жалостливую нежность шевельнулось в душе Игнахи и тотчас исчезло, потому что ребенок вновь заорал. Сопронов начал совать в рот младенцу холодную раскисшую коровью титьку, натянутую на бараний рожок, куда наливалось коровье же молоко. Но молока в рожке не было, и ребенок выплевывал титьку. Сопронов терял терпение. В прихожей встал Селька, оделся и босиком сходил в нужник.

— Сильверст! Качни парня, я хоть пока умоюсь,— позвал брата Сопронов.

— Сами родили, сами и качейте. Я не обязан,— явственно буркнул Селька.

Сопронов скырнул зубом, но промолчал. Селька полез на печь за валенками. Ему надо было идти в старый дом, топить печь и чем-то кормить отца. Еще на нем была изба-читальня, вернее красный угол в лошкаревском доме, там тоже надо топить, а дров не было. Все это Сопронов знал и потому промолчал, но раздражение против братана имело еще одну причину. Уж больно быстро газета со статьей Сталина выскользнула вчера из Селькиных рук. Не надо было отдавать почту этому дураку! Ведь как наказывал: никому не давать. Мало ли что пишут в Москве! Да и Яков Наумович велел держаться прежнего курса.

Велел-то он велел, а сам был да нет. Уехал в район того же часу, а тут делай, что знаешь...

Почему это на них, на местных коммунистов, кивает товарищ Сталин? Разве не от него с Кагановичем шли директивы и указания? Статьями-то сверху проще отделываться. А тут по низам все распол-

злось в разные стороны. Шей да пори, не будет пустой поры. В Ольховице за какие-то полчаса скотину колхозную развели по домам, того скорее растащили сено и упряжь. Все поголовно, кроме Митьки Усова и Гривенника, подали заявления на выход. Даже член партии объездчик Веричев написал заявление, правда, потом, после разговора, порвал на глазах. От Гривенника с Усовым да от наставницы Дугиной много ли пользы? Тут, в Шибанихе, колхоз развален до основания, в Залесной та же история. Кто бросил камень в окошко Куземкина? Найдем кто! Не отвертятся...

Так думал Сопронов, пока не пришла жена. Она угомонила ребенка, поставила разогретые перед огнем вчерашние щи:

— Ешь, Игнаша, да хлеба нарежь! А ты, Селиверст, куда? Похлебай, потом и беги! Сейчас Таня кривая придет. На ночь-то не остается, а днем, сказала будет ходить.

Обжигались, хлебали вчерашние щи, потом Зоя принесла ладку с жареной на бараньем сале картошкой. Ребенок орал.

— Может, девчонку какую подрядить? — заметил Сопронов.— Эта Таня больно говорить любит. Молится того больше.

— Да я уж думала... Вон Жук ходит по миру, с ним двое... Одна-то ростом порядошная.

Сопронов не дослушал. Положил ложку, встал и глянул на Сельку:

— Ключ у тебя? Иди затопи! Да не у отца сперва, а у Лошкарева!

Не глядя на жену, Сопронов зажег фонарь. Семья живет в новом доме, а он не видел этого дома со дня раскулачивания.

* * *

Дом в Поповке был не один, а два, с просвирниным даже три. Поповны Вознесенские жили в двухэтажном, в нижних комнатах. (В одноэтажном доме размещалась когда-то приходская школа, в боковушке до самого ареста обитал отец Николай со своей попадьей).

Сопронов обошел обширную пустую поветь сестер Вознесенских, где не имелось ни соломы, ни сена.

Хлевы внизу пустовали, поповны еще до раскулачивания продали корову. «Успели, спровадили...» — подумал председатель и открыл двери в омшаник. Шесть домиков с ульями стояли на подставках. Сопронов по очереди подставлял ухо к каждому домику. Глухой, еле различимый шум внутри каждого улья был похожим на шум закипающего самовара. Сопронов поднялся наверх, толкнул в двери главного сенника. Три сундука были не заперты. Сопронов откидывал крышки одну за другой. Холсты, платы, полотенца... Одежда почти вся деревенская, только одна модная душегрея — городская. Он посветил фонарем над большой четырехугольной корзиной, плетенной из дранок. Книги!

Сопронов вывернул фонарный фитиль, чтобы прочесть названия. «Вологодские епархиальные ведомости», «Троицкие листки»... Он читал и откидывал, читал и откидывал. Религиозная дрянь... Днем надо открыть на повети большие ворота, вилами выкидать на улицу, отвезти на дровнях в поле и сжечь...

Сопронов не успел открыть вторую кладовку, внизу послышался голос Куземкина. С кем он там разговаривает? Вроде бы со старухой Таней. Раздражение нарастало вместе с рассветом. Отчего оно нарастало? Сопронов вышел на крыльцо. У ворот топтался Куземкин. Стоит ли приглашать его в дом? Старуха поздоровалась и тоже остановилась.

— Ну? Чего встала? — спросил Игнаха.

— Я, батюшко, водиться с ребеночком.

— Ну так и иди.

Сопронов отвернулся к Мите Куземкину и поздоровался с ним за руку:

— Пошли сразу в читальню!

Митя в недоумении крякнул:

— Пошли. Я что... Каково ночевалось-то?

Холостяк Митя, конечно же, намекал на ночь, проведенную Сопроновым с женой в поповской кровати. Сопронов сдержался. Отмолчался.

Деревня сегодня безлюдна, спокойна. Дымились последние запоздалые печи. Небо начинало светлеть, вставала розовая заря. Словно и не было вчерашней суматохи. Сопронов на ходу резко спросил:

— Где корова?

— Какая корова? — Митя сначала как бы не понял.

— Твоя!

— Дома...— признался Митя.— Забыл сказать, вчера-то...

— Девичья у тебя стала память, Куземкин. А лошадь?

— Лошади, Павлович, у меня не было.

Труба над лошкаревскою крышей дымила в синее шибановское небо. В избе-читальне опять было дымно, но не от печи, а от трубокуров. Миша Лыткин и Кеша Фотиев сидели на корточках и палили махорку. Селька топил печку точеными балясинами, выломанными из перил лошкаревской лестницы. Сопронов за руку поздоровался с Кешей и с Мишей Лыткиным. Сел за стол, на котором лежал вчерашний дресвяный камень.

— Так...

Все стихли. Игнаха обвел активистов почти добродушным взглядом.

— Так... Где десятской?

— Дак тут вроде, прибегала уж... Тонька-то пигалица,— осторожно сказал Миша Лыткин, и снова стало тихо. Только трещали и плавились в печке крашеные точеные балясины.

— Ну, вот что! — сказал Игнаха.— Ты, Миша, беги за десятским... И ты, Сильверст, иди по своим делам! Скажи жонке, чтобы к вечеру баню... А ты, Асикрет Ливодорович, пока останься.

Когда Лыткин и Селька исчезли, Сопронов поглядел на Кешу:

— Какова жизь, Асикрет Ливодорович?

— Да ведь что, Игнатей да Павлович,— поежился Кеша.— Жизь она все такая, все вверьх головой.

— Не напостыла тебе твоя изба? Ежели не напостыла, дак и живи.

— Да ведь я што, я бы, конешно дело, пожил бы и в опушоном дому. Да, вишь, средствов-то нет, ежли купить.

Сопронов отодвинул на столе камень и подвинул чернильницу.

— Вот! Пиши заявленьё. Дадим тебе в счет колхозной ссуды дом Евграфа Миронова!

Кеша не поверил своим ушам:

— Евграфов?

— Евграфов.

Кеша опять как-то остолбенел. Но постепенно стал оживать, задвигался на скамье, начал глядеть то на Сопронова, то на Куземкина.

— Пиши, пиши! — поддержал Куземкин.— Вот тебе чистая грамота.

— Дак это... А самово-то ево куды?

— Ево в твою. Ежели не отправим еще дальше,— сказал Сопронов.

— Да я, вишь, это... Грамота-то моя не больно. Ежели бы кто написал, а я расписаться-то дюж.

— Ну, с тебя пол-литра,— сказал Митя.— Я тебе напишу заявленьё...

Митя взял клок бумаги и сел за стол. Сопронов разглядывал камень.

— Дресва... Из банной шайки. Вот только из чьей шайки? Как думаешь, Асикрет Ливодорович?

Ошеломленный Кеша не сразу и понял, о чем его спрашивают.

— Шаек-то, Игнатей, оно много... В кажной бане есть. Шаецьки-ти. Думаю, надо робетешек спросить, дело такое. Игрище было у Самоварихи... Жучково семейство ночует там жо...

Кеша не договорил, заскрипела лестница. Дверь открылась, запыхавшаяся Тоня поздоровалась и остановилась у порога. Куземкин откинулся от стола:

— Ты вот чево скажи, Антонида! Десятские нонче кто?

— Мы.— Тоня перевела дух.

— А кто это у вас ночевал-то? Не выселенцы?

Тоня молчала. «Откуда узнали? Да ведь узнать не диво, деревня большая»,— подумала девка. Сопронов кивком приказал Куземкину продолжать писать и сам обернулся к Тоньке:

— Беги и скажи им, чтобы шли суда! После этого сбегаешь за Иваном Нечаевым.

Тоня, не говоря ни слова, повернулась и в коридор. На улице она и впрямь побежала. «Углядел кто-то. Либо Евстафей сказал...» На бегу — какие же мысли, какие думы? Только и вертелось одно в голове: дома ли братья с невесткой. Собирались ехать за сеном. Дровней у двора нету, видать, уехали. Маменька баню налаживает, сегодня суббота. Тоня не вбежала, а влетела в избу... Господи, что это? Посередине избы лохань с теплой водой, все три украинки босиком. Подолы подоткнуты. Ноги голые выше

колен, ладно, что мужиков нету. У одной в руке тряпка затирать пол, у второй голик. Третья в ведре щелок разводит. Ой, девушки, матушки! Тоня к той, что постарше, ко Груне:

— Кидайте все! Вас ведь зовут!

— Куды зовут? — Все трое стали белее известки.

— Уходите! Идите потихоньку деревней-то, у гумна дорога направо в Залесную! Десятского по деревням больше не спрашивайте. В Залесной спросите баушку Миропию. В других домах ночевать тоже пускают...

Тоня из избы вон, да только вспомнила, какая обутка у той, что постарше, у Груни. Вернулась Тонька-пигалица, быстро слазала на полати, подала старые подшитые валенки:

— На-ко вот! На воду-то не ступай...

— Ой, милая! Да что ты.— Выселенка заплакала, обняла и сует Тоне какую-то денежку.

Тоня отскочила, замахала руками:

— Обувай, обувай с Богом. Да скорее. Как бы сюда не пришли...

Сама во двери и за Иваном Нечаевым. Может, забудут про выселенок-то? Нечаев придет в читальню, пойдет у них разговор. Той минутой и успеют девки уйти. А куда бедным идти? Везде свои митьки с игнашками...

И Тоня бежит к Нечаевым еще проворнее. Если бы она знала, сколько раз до вечера придется ей сновать вдоль по деревне, может, не стала бы торопиться.

В читальне стало теплее. Не столько от лошкаревских балясин, сколько от мартовского первого солнца, бьющего в окна. Сопронов листал бумаги. Кеша Фотиев давно убежал. Готовится к переселению в Евграфов дом. Обиженный Лыткин сидит за печкой, не разговаривает. Куземкин то и дело глядит в окно. Нечаев не шел. Тонька сказала, что у Нечаевых пекли картофельные рогульки и что Нечаев прийти сразу не посулился. Тогда послали за счетоводом Володей Зыриным, потом за Акиндином Судейкиным, потом за Жучком. Но никто не шел на вызов Сопронова! Тонька бегала по деревне зря. Далеко ли ушли выселенки? Каждый раз, вставая перед начальниками, Тоня чуяла, как обмирало сердце: вот сей-

час возьмут и спросят, где выселенки. Но, видно, и правда подзабыли, раз не спрашивают...

Оставшись вдвоем с Куземкиным, Игнаха вдруг сильно ударил камнем по столу. Камень рассыпался.

— Нечаев подкулачник еще с прошлого года! Помнишь, катались на масленице? Про мезонин частушку спел.

— Здря, Игнатей Павлович,— возразил Куземкин и сгреб со стола дресву.— Нечаев записался чуть ли не первой. Какой он подкулачник?

Сопронов с презрением поглядел на собеседника. Ничего-то не понимает! Особо в классовой линии...

— Ну, а Новожиловы? Тоже, по-твоему, сознательный алемент?

— Ежели так, дак вся Шибаниха в подкулачниках,— сказал Митя и поджал губы.

— Вся и есть,— произнес Игнаха.— Ты вот и сам... Корову свел. Читал статью?

— Читать не читал, а разговоры слыхал.

— Вот-вот! Разговоры! А ты знаешь, какие про тебя идут разговоры?

Куземкин насторожился:

— Я не красная девка, пусть треплются.

— Ты расписку уполномоченному давал на деньги?

— Давал!

— Где оне, эти двести рублей?

Митя Куземкин покраснел как вареный рак. Он не знал, что ответить на этот вопрос председателя сельсовета. А новый вопрос как тут и был:

— Миша Лыткин колокол спихивал? Так! Спихивал. А ты ему копейки не заплатил!

Куземкин наконец приобрел дар словесной речи:

— Спихивал, да не одного не спихнул! А я вон до крови изодрал коленки и локти.

Миша Лыткин выскочил из-за печки.

— У миня, Павлович, и на коленках дирки, и на заднице дирки. Пилу балкой зажало...

Сопронов успокоил Мишу:

— Ладно, мы потом разберемся, кто больше штанов изодрал.

— Нет, не потом, а давай сейчас! — не уступал Куземкин.— Каменье летит не в Мишкины окна, а в мои! И росписку тоже не Лыткин Меерсону давал. Ты с Яковом-то Наумовичем заодно, это я знаю. А знаешь, что и на тебя акт составлен?

— Какой еще на меня акт составлен? — белея глазами, обозлился Игнаха. Но тотчас пересилил себя, замолк. В дверях показался счетовод Зырин, он же приказчик шибановской потребиловки.

Сопронов не подал ему руки, с ходу пошел в наступление:

— Товарищ Зырин, ты на какой основе корову из колхоза увел?

Зырин не испугался:

— Первым делом, не на основе, а на веревке. На основе-то вон бабы холсты ткут. Вторым делом, не я и увел...

— А кто?

— Матка.

— Ну, а колхозные доку́менты где, тоже у матки? — спросил Сопронов, и Зырин заметно смутился. Поскреб в затылке и крякнул. Вспомнил Микуленка и его поговорку:

— Та-скать доку́менты, Игнатей Павлович, не у матки. У Жучка доку́менты. Куземкин вон знает где. Да много ли доку́ментов-то?

— Вас с Куземкиным Жучок из конторы выгонил, скоро из Шибанихи вышибет. Так вот, чтобы такого дела не вышло, гони корову обратно.

— А ежели не сгоню?

— Пиши заявленье о выходе!

Зырин словно того и ждал. Вскочил со скамьи, попросил бумаги, но лестница опять заскрипела. В читальне появилась Людка Нечаева. Она тоже держала в руках бумагу:

— Игнатей Павлович, меня брат Ваня к тебе послал! С заявленьем!

— А почему сам не идет? — взбеленился Сопронов.

Она положила бумагу на стол и тотчас выскочила в коридор.

Вслед за Людкой Нечаевой пришла старая Новожилиха, подала бумагу прямо в руки Сопронова. После Новожилихи прибежала девчонка, посланная Савватеем Климовым, потом еще какой-то мальчик, и повалил дальше народ гужом. Придут, положат бумагу на стол и, ничего не говоря, обратно. Заявления, написанные на разных бумажках, копились как блины у хорошей большухи, кто-то принес даже дощечку с каракулями...

Сопронов сидел в углу, на скамье, мрачный и молчаливый. Что творилось у него внутри? Никто этого не знал. Одни глаза его то белели, то снова темнели. Все остальное замерло без движения. Молчал и Куземкин, притворился, что тщательно разбирает, что написано на дощечке. Зырин поглядел на одного, потом на другого и усмехнулся:

— Может, за гармоньей сходить? Больно невесело, как при покойнике...

Игнаха не отозвался. Митя глянул в окно:

— Вон Судейкин идет! Этот нас и без гармоньи развеселит!

Сопронов опять промолчал.

Зашел Киндя, долго разглядывал всех троих.

— Честной компании! — громко произнес он.— Ничево не вижу, кто сидит, кто лежит.

И вправду, после ярости мартовского солнышка, играющего в белых шибановских снегах, глаза Судейкина едва различили фигуры начальства.

— А это вот ты тоже не видишь? — Сопронов встал и пальцем показал на банный дресвяной камень.— Ежели не видишь, дак пощупай! Говорят, из твоей бани.

— Кто говорит? — подпрыгнул Киндя.

— Люди говорят,— поддержал Куземкин Сопронова, но Зырину подмигнул.

— Говорят, што кур доят! — обозлился Судейкин.— А оне вон в колхозе-то и яица класть разучилися!

Судейкин повертел камень в руках и положил обратно:

— Ты, Игнатей, на том свите будёшь грызти эту дресву! Помяни мое слово, будёшь! За то, што возводишь напраслину...

— Я, Акиндин Ливодорович, на том свите согласен на все! — весело сказал Сопронов.— А вот ты чево будешь на здешнем грызть? Суши сухари, оне все ж таки лучше дресвы...

— За што?

— За шти! — опять подсобил Митя Сопронову.— Кто вчерась на игрище выплясывал?

— Добро поёшь, да где сядешь! — добавил Игнаха и положил камень в ящик стола.

Судейкин с открытым ртом глядел на Сопронова.

Вошел Селька с целой охапкой балясин, бросил у печки. Судейкин сказал:

— Ну, ежели совецкая власть печи топит крашеными дровами, ей износу не будет.

— Учти, Акиндин Ливодорович, запишем и эту фразу!

Игнатий Сопронов первый вышел на солнечную шибановскую улицу.

— К Жучку, Игнатей Павлович? — забегая вровень, уже на снегу спросил Митя Куземкин.

— К Жучку пускай Зырин идет! А мы к Мироновым. Подсобим переселиться товарищу Фотиеву. Ну, а ты што? — Сопронов остановился у крыльца при виде бегущей Тоньки-пигалицы.— Где выселенцы? Почему не явились?

— Ой, и не знаю я...— растерялась Тоня.— Вроде сюда пошли, а где не знаю...

— По какой дороге пошли? — вскипел Сопронов и приказал Куземкину.— Запреги лошадь! Догнать!

От Евграфова дома донеслось приглушенное вытье, это в голос ревела беременная Палашка.

Попритих Киндя Судейкин! Задумался. Стряхнул задумчивость и увидел, что остался в лошкаревской хоромине вдвоем с Селькой, который пришел дотапливать печь. Где он, Володя-то Зырин, приказчик и счетовод? Ушел как налим. По пятам за Игнахой и Митькой. Эти два шпарят к светлому будущему. А что он-то, Киндя, сидит тут, будто мучным мешком стукнутый? А то, что ему Кинде, велено сушить сухари:

Повезли на Соловки,
Море засинелося.
Холостому-молодому
Ехать не хотелося...

«Ох, кабы холостому-то быть! Я бы товды хоть на Соловки, хоть на Мурман. Полдела бы! Кабы не семеро-то по лавкам,— думал Судейкин.— Поехал бы куда глаза глядят, не пикнул бы. Везите, мать вашу, так-растак!»

Селька шуровал кочергой в лошкаревской печке. Прилаживался скутать, то есть закрыть вьюшки и задвинуть заслонку.

— Селька,— прервал Киндя собственную задумчивость.— А ты у отца-то как топишь? Через день или через два?

— Твое-то какое дело! — огрызнулся Сопронов-младший.

— Топи, батюшко, раз в нидилю. Дровам економия. И воздух легче,— кротко посоветовал Киндя и вышел в сени.

На улице его опять ослепил нестерпимый мартовский свет. И сразу забылись угрозы Игнахи Сопронова. Яркое солнце растапливало снег, не скиданный с лошкаревской крыши. С застреха падала крученая серебряная струя. Пригоршню обжигающе-холодной воды ветер плеснул за шиворот, вернул Кинде прежнюю бодрость.

— Запрягай, Судейкин, поехали по сено, пока дорога не пала! — кричал из своего проулка Нечаев.— А то уж и сундуки вон из снегу вытаивают.

— Какие такие сундуки? — спросил Киндя.

— Да вон сундук у гумна вытаял. И хозяина нет.

Красный сундук, вывезенный Нечаевым от своего гумна и поставленный на дорогу, был закрыт на висячий замок. Бабы толпились около.

— Дак чей экой баской?

— Вроде бы я у Новожиловых видывала.

Подошла и сама Новожилиха, поглядела:

— Нет, девушки, это не наш сундук. Наш-то с розводьями.

— Дак ваш-то где, баушка? — спросил Киндя.— Не вытаял?

Старуха спохватилась и замолчала.

— Вот Селька Сопронов придет, сразу установит!

— А в Залесной-то, говорят, машина швейная вытаяла.

— Дак куды ее нонче? В сельсовет?

— В ковхоз.

Толпа девок и баб вместе с подводами и разномастною ребятней росла около красного сундука. Другая толпа — поменьше — скопилась у мироновского колодца. Ребятишки перебегали то туда, то сюда. В хоромах Евграфа Миронова только что скрылось начальство вместе с Кешей Фотиевым.

— Господи, до чего дожили! — всплеснула руками Таисья Клюшина.— Сундуки посередь улицы.

— Чево про сундуки говорить? Живых людей из домов выганивают.

— Михайло, а ты-то чево ворон ловишь? Чем ты хуже Кеши-то?

— Он ишшо хоромы не приглядел.

Миша Лыткин смущенно перетаптывался на снегу:

— Мне што, я што, я пожалуста.

— Чево пожалуста?

— Дадут и ему другую хоромину.

— У ево с Игнахой да с Митькой лен не делен.

— Да лен-то у Игнахиной Зойки не трепан, делить-то нечево. Другой год. Измять измяла, а отрепать недосуг. Набито втугую.

— Где?

— Да в предбаннике!

— А ежели искра залетит?

— Товды вся баня под небо. А что Зойке искра? Она вон и головёшки с огнем выкидывает. Около бани от головёшек черно. Носопырь еённые головёшки собирает и топит.

— Горечими?

— Чево?

— Да головёшки-ти собираёт.

Люди не приняли шутку Судейкина. Не тот был момент для Киндиных пригоножек! К тому же на виду оказалась Хареза — жонка Кеши Фотиева. В одной руке она несла сосновое помело, в другой корзину с двумя курицами и с петухом, завязанную холщовой тряпкой. Петуху в корзине было тесно, голова его торчала на воздухе. Краснела петушиная борода, и краснел гребень — куда денешься от весны?

Люди затихли и дали Харезе дорогу. Никто не сказал ни слова. Озираясь, торопливо проскочила баба в мироновские ворота. Следом за матерью показался Венко — Кешин старший, он волок по земле два ухвата и нес плоский германский котелок со складной ручкой. И этого пропустили, ничего не сказав! Люди молчали. Завздыхали, заговорили и зашептались все сразу только после того, когда из Евграфовых ворот за-под руки вывели плачущую растрепанную Марью — жену Евграфа Анфимовича и Палашкину мать. Увидев толпу, Марья взвыла, Игнаха и Митька свели ее с крыльца, оставили на снегу, а сами снова ушли в дом. Марья не успела упасть, кто-то подхватил ее, увел в ближнюю избу: к Самоварихе. Через минуту Шибаниха огласилась еще одним ревом: Палашку Миронову, тоже под руки, вывели из дому.

— Ну вот, Палагия, и на тибя нонь худая надия! — сказал про себя Судейкин. Отплевываясь на обе стороны, ушел Киндя домой.

Была суббота.

Вера услышала дальний рев, когда ходила вниз к реке, чтобы снести в баню лучину и ополоснуть банные шайки. Надо было и воды наносить, пока не затоплена каменка. Только взяла водонос, только подошла к проруби, из деревни вместе с весенним ветром долетели причитальные крики. Вера Ивановна скорее сердцем, чем по голосу, почувствовала, что рев этот Палашкин. Вера водонос в сторону и ринулась вверх. У самой брюхо горой, а все бросила и побежала...

В Самоварихиной избе набралось много народу. Охающую Марью затащили на печь, внизу, на лавке, старухи и бабы приводили в чувство Палашку. Кто прикладывал к голове мокрое полотенце, кто натирал косицы. От Зыриных принесли скляночку с нашатырным спиртом. Палашка очнулась. Тонька-пигалица с помощью Самоварихи подвела ее к рукомойнику, умыла лицо и обтерла чистым рукотерником.

— Вот и ладно, вот и добро,— приговаривала Тоня.— Вишь, как ладно-то?

Но при виде только что прибежавшей Веры Палашка снова взревела, пала на лавку. Вера начала обнимать подружку и тоже заголосила. Палашку уложили на примостье, где спали Жучковы бабы: Агнейка и Луковка, которые ночевали не дома. Велика изба у Самоварихи, хоть раскулачивай...

Марья затихла на печи, люди начали расходиться. Но когда Палашка и Вера остались вдвоем, обе опять заплакали. Самовариха начала их увещевать, заругалась:

— Матушки, это што вы делаете-то! Разве дело эк-то ревить? Ясные дни, ведь вам обем родить. Вот-вот придет времё раздваиваться. Ведь каково вашим деткам-то там, ежели вы эк убиваетесь? Одумайтеся!

Но не было у них никакого желания одумываться и затихнуть! Они сидели на примостье в обнимку и плакали... Тогда Самовариха сильно, но как бы шуткой, хлестнула их полотенцем по спинам. Палашка взяла себя в руки и сквозь затухающие слезные вздрагивания выговаривала:

— П-п-поеду тятю искать.

— И добро! И ладно! — нарочно согласилась Самовариха, как соглашаются с плачущими детьми. Вера плотней обняла Палашку.

Роговскую баню топил в эту субботу дедко Никита.

Павлу пришлось идти в баню одному, без жены. Сходила Аксинья — теща — за дочерью к Самоварихе, но вернулась одна. Вера Ивановна оказалась нужнее в избе Самоварихи, чем у себя дома. Придет ночевать, может, вместе с Палашкой и с Марьей — божаткой. У Самоварихи и так ступить некуда. Но ведь и брат Олешка тут, как дальше-то жить? И там, в Ольховице, родная мать ночует в чужих людях, как нищая бродит по деревням...

Дедко сходил на сарай, снял с вешалов и подал Павлу ладный зеленый веник:

— На-ко вот! Так духом и кормит. Иди в первый жар.

И сел качать зыбку. Павел горел от стыда за свою вчерашнюю пьянку. Дедко почуял это и усмехнулся:

— Не было молодця побороть винця! Иди в баню-то. Олексий да Сергий пойдут со мной. Да не береги доброё-то, жару и бабам хватит.

У Павла отлегло от сердца. Аксинья подала нательную смену. Свежие, хорошо прокатанные холщовые портки и рубаха, да березовый веник, да брусок мыла и... чего не хватает? Зажгли фонарь. Под горой в предбаннике, когда повесил на деревянный гвоздь шубу, понял вновь, что чего-то недостает, все что-то не то. Но что не то? Родня простила ему вчерашнюю пьянку. Баня протоплена на ять. Даже стены потрескивают от жару. Воздух вольный, с легкой горчинкой, но никакого угару.

Когда сунулся в настоящий жар, уселся на верхнем полке, только тогда и дошло: не хватает Веры Ивановны! Не та без нее баня, и вода не та, и щелок не тот...

Фонарь полыхнул от жары и погас, когда Павел деревянным ковшом плеснул на камни. Но большую роговскую баню с высоты второго полка Павел и в темноте видел и всю насквозь. Знал каждый сучок, каждую щелку. На двух лавочках стоят восемь шаек с горячей, нагретой камнями водой. Девятая шайка

со щелоком. Там, ближе к дверце, поставлен ушат с холодной.

Павел слез вниз, макнул веник в шайку и — снова наверх. Мокрым веником коснулся каменки. Каменка зашумела. Камни, будто бы чем-то недовольные, пошипели и стихли. В жаре, в тишине, в темноте отогрелась и пробудилась душа. Ступня беспалая, и та перестала ныть. Все тело чесалось. Сколько же дней не был он в бане?

Ах, любил Павел ходить в баню, любил еще в Ольховице, когда жил у отца с матерью. В любую погоду — в жаркий сенокос и морозной зимой, слякотной осенью и в предвесеннюю холодину — ничего не было надежней и лучше бани. Тут, среди прикопченных до последней своей черноты бревенчатых стен, у горячих камней, на желтовато-белом нижнем и на румяно-коричневом верхнем полке, каждый раз успокаиваешься и приходишь в себя. Едва разуешься в холодном предбаннике да скинешь одежду, едва проскочишь внутрь, как охватит тебя ласковая сухая жара. И вздрогнешь, и пробежит по спине легкий озноб, и начнет выходить из тебя вместе с потом вся недельная усталость, и выскочит вся простуда либо хворь, коли завелась невзначай... Березовый ошпаренный веник довершит благородное дело: забываются все обиды, на сердце легко, и рождаются в голове нежданные добротные мысли. Причастишься на всю неделю. Хоть не ходи и к попу на исповедь: все люди опять желанны. И сам себя ничем не казнишь. А как хорош короткий отдых в предбаннике перед тем, как уйти домой, к родным, к горячему самовару, в преддверии воскресного дня!

Так и шла опять мужицкая трудовая неделя. У каждого дня был когда-то свой цвет и свое имя. От поста до поста, от праздника к празднику...

И казалось, что так будет всегда, но вот все сразу переменилось...

Павел слез вниз, нашел спички и зажег воняющий керосином фонарь. Еще раз плеснул на камни из деревянного ковшика. Долбленый березовый кап, искусно обделанный дедком Никитой, вызвал странный, совсем неожиданный позыв: вот таким бы стукнуть по Игнахину лбу, как старики стукают за столом непослушливых ребятишек. Снова вспомнилось все, что случилось.

Вяло и нехотя Павел похвостался веником. Сидел на верхнем полке, задумался. Как жить?

Скрипнула дверинка. В предбаннике, в темноте, Вера сняла платок и шубу (остальное надо снимать в самой бане). Фонарь полыхнул и чуть вновь не погас, когда она хлопнула внутренней дверцей:

— Ой, што тво́рится, што тво́рится!

Она раздевалась при желтом фонарном свете. Павел смотрел на нее с тоской и любовью. Вот обнажились плечи жены и высвободились большие, уже набухшие груди. Обширный белый живот заслонил окно, на котором стоял фонарь. Вот Вера вынула из коковы железные шпильки, и густые ее волосы упали на плечи — упали широко́ и темно́:

— Поди-ко уж и жару-то нет.

Она взяла ковш и хотела зачерпнуть щелоку, чтобы мыть голову, но Павел спустился вниз и отнял у нее ковш:

— Ванюшку-то чего мы дома оставили? Вымыли бы.

— Мамка сходит выпарит,— отозвалась Вера, подставляя голову.

Павел полил разведенным не очень горячим щелоком. Он боялся спрашивать про тетку и двоюродную Палашку. Вера чуяла это сердцем и ничего не рассказывала. Мылись какое-то время молча, молча осторожно он тер ей плечи и спину распаренным веником. Тоска и нежность то и дело вскипали у него в горле.

— Ты бы, Паша, не расстраивал сам-то себя...— Она, конечно, знала о нем все.— Пусть уж будет, что будет. Может, Господь не оставит...

Голос ее слегка дрогнул. И чтобы не заплакать, не разрыдаться, она плеснула себе в лицо из ушата холодной речной водой.

— Так и сидеть? — вскинулся Павел.— Ждать, когда тебя совсем упекут?

Она как бы не услышала и взяла фонарь:

— Ну-ко, покажи ногу-то... Давай развяжем! Вишь, как присохло, надо отпаривать.

Она заранее припасла чистую перевязку. Ногу с полчаса отпаривали в шайке с теплой водой. Вера начала осторожно отслаивать размокшую, пропитанную сукровицей холщовую ленту из залесенской ска-

терти. Павел вспомнил брата Василия. Вера всегда думала о том, что и он, когда была рядом:

— Чево-то от Василья нету письма.

— От Василья-то ладно. А вот где...

Павел не договорил про отца и про тестя. Послышался голос. Оба с женой замерли, насторожились. Поблазнило, что ли? Нет, не могло почудиться сразу двоим. Кто-то и впрямь кричал. Вот! Опять крик...

Павел голым выскочил в предбанник, открыл наружную дверцу. Его осветило желтым, то замирающим, то опять нарастающим светом пожара. Горело совсем рядом. Он вскочил обратно. Чтобы не напугать Веру, нарочно неторопливо, без белья натянул штаны и рубаху:

— Вроде Носопырева баня горит... Ты тут, это... Не торопись. Никуда не бегай...

Крик повторился. Павел быстро, на босу ногу обулся, накинул полушубок и выбежал. Темноту раздвигало красновато-желтыми сполохами. Ни одного человека вокруг! Только пламя красным полотнищем хлопало на ночном мартовском ветру.

Крик послышался совсем явственный, совсем близкий. Павел, хромая, бегом бросился на этот крик. Горела не носопыревская баня, а сопроновская. Срубленные посомом передняя и задние стены еще стояли в целости, а крыша почти сгорела. Плавились золотом, догорали обнаженные решетины и курицы. Огонь подбирался к боковым стенам, уже горели череповые бревна.

— Караул! — снова раздался крик из крохотного волокового окошка. Стеклышко было выбито изнутри. Чья-то рука, высунутая оттуда, судорожно шарила по наружному краю окна. Предбанник был весь в огне. Горел нетрепаный лен Зойки Сопроновой. Сверху из деревни никто не бежал на помощь, один Носопырь с большим батагом в руках бестолково топтался около. Вот-вот должна была вспыхнуть и баня Носопыря, ветер, однако ж, дул на реку, искры и пламя вскидывались в иную сторону. Что делать? Почему человек не выскакивал из горящей бани? Думать некогда было, Павел снял полушубок, закутал им голову и сунулся в огненный предбанник. Чурка толщиною с оглоблю подпирала банную дверцу... Павел узнал это на ощупь. Дернул, но чурка не поддалась, и ды-

шать стало совсем нечем. Задыхаясь и кашляя, он выскочил на свежую ветряную струю.

— Караул! — снова закричало окошко.

Павел с головой закутался в полушубок, набрал в грудь побольше воздуха и снова нырнул в огонь. Долго дергал он за чурку, наконец отбросил ее и успел еще открыть банную дверцу. Игнаха Сопронов прямо через него кувырком вылетел из предбанника. Павел упал и, задыхаясь от дыма, выкатился на свежий воздух. Полушубок горел, шерсть трещала, рукава прогорели во многих местах. Павел снегом гасил тлеющие места. Обернулся к Сопронову. Тот был в одном белье. Качаясь, встали они оба на ноги, друг перед другом. При свете горящей сопроновской бани на кого они были похожи сейчас? Павлу на секунду стало смешно.

— Кто-то тебя подпер,— простодушно заговорил Павел.— Нынче что святки, что масленица. А от чего загорелось-то?

— От тебя загорелось! — твердо сказал Игнаха. Белые сопроновские глаза блеснули в отсвете пламени.

— Чево?

— Ты, говорю, и подпер, и поджег!

От обиды и гнева у Павла потемнело в глазах. Кулаки сжались. Он взял Сопронова за ворот хорошей, уже и не из холста, а из полотна сшитой Игнахиной рубахи. Скрипнул зубами и сильно оттолкнул прочь. Игнатий Сопронов упал, вскочил, начал искать вокруг, шарить по снегу. Искал, видимо, кол либо камень, но ничего не мог нашарить, и, пока Павел ждал, чтобы Игнаха что-то нашарил, гнев и страшное желание ударить начали исчезать. А то, что они оба оказались черны от грязи и копоти, а Сопронов еще и босой, совсем утихомирило Павла:

— Дурак! Ну ты и дурак...

С горы, от деревни бежал народ с баграми. Остатки горящей бани с веселыми криками по бревнышку раскатили мужики и ребята. Но где же сам спасенный Сопронов? Игнахи не было. Затирая ожоги, Павел вместе с Верой заскочил было к Носопырю, потом потащился обратно к своей бане. Хорошо, что вода еще оставалась и можно было смыть копоть и грязь...

От сопроновской бани остались одни головешки, но люди не расходились.

— Ты чево, Олексий, стоишь? — весело кричал Носопырю Володя Зырин.— Ставь бутылку, дак мы счас и твою раскатаем!

— Да, вить, у ево не горит, чтоб тебя водяной! — возразила чья-то бабенка.

— Ну и что, что не горит!

— Вот, братчики, нонче Зойке и лен не надо трепать,— заметил Савватей Климой.— Милое дело.

— А от чего загорелось-то?

— Кто ево знаёт.

— Загорелось-то ладно, это бывает,— сказал в задумчивости Акиндин Судейкин.— А вот кто дверинку-то в бане подпер? Ведь испекли бы Игнаху-то, кабы не Пашка.

— А здря и вытаскивал...— сказал кто-то в куче и тут же заглох, словно бы поперхнулся, потому что Митя Куземкин ходил с карандашом и с фанеркой в руках. Председатель записывал на фанере фамилии свидетелей.

— У тя, Митрей, нонче вся деревня сгорит и не пикнет,— сказал Судейкин.

— Это почему? — послышался из темноты голос Куземкина.

— А потому! Ну, хто на пожар прибежит, ежели тебя переписывают? Сам-то ты рассуди.

— Прибегут, коли припекет! — не согласился Куземкин.

Народ по одному поднимался на гору, пропадал в темноте. Была теплая мартовская ночь. Перед дождем, что ли? Ветер так и налетал в ночи то слева, то справа, словно толкался. Ветер стойкий был, свежий. Он разносил по округе немирный запах пожара, пробовал раздувать огонь в потушенных, закиданных, снегом, все еще потрескивающих головнях. Вот, опять разгорелось! Золото вновь проступило сквозь парящую черноту. Киндя поскреб в затылке, подумал: «Эк его, какой авошной. Огонь-то... Неохота никак умирать, того и гляди вспыхнет».

Судейкин закидал горящее место снегом и двинулся прочь, подальше от сгоревшей сопроновской бани. Сколько раз сегодня то одно, то другое событие вышибало Киндю из избы да на улицу? Такие долгие

выпали эти сутки. Иной год покажется короче этих последних суток...

Он поднимался в гору к деревне и скреб в затылке.

Нет, Судейкин, не зря скреб в затылке. Ничего не делал Судейкин зря, особенно в последнее время. А раньше как? Было всего: и зря и не зря. «Нынче-то и не разберешь, чево здря, а чево не здря,— размышлял Киндя.— Все перепуталось...»

Так думал Судейкин, возвращаясь домой с пожара. «А чего здря сделал?» — опять спрашивал он сам себя и отвечал мысленно: «Граммофон домой здря волочил! Ишь обзарился. Нонче любой в глаза и скажет: Судейкин не лучше Сопронова либо того же Кеши. Еще чего здря? Печать Микуленкову осенесь нашел в соломе. Нашел и отдал. Это не здря. Это ладно. А что тетрадку всю упечатал — тоже, пожалуй, ладно. Пригодится. Недавно уполномоченного из снегу выволок, нонче копыта корове обрубил да еще ухват насадил. Зайца поповнам изловил. Матерущего, не хуже барана...» Так за что же совесть грызет?

Пришлось Кинде самому себе признаться: за дело она грызет! Великий пост — не святки. А он, Судейкин Акиндин Ливодорович, ходил сегодня по воду, ходил в темноте. Не зря жонка ругала: не принес воды засветло, пришлось идти на реку в темную пору. А в темную пору за водой ходят одни дураки. Киндя шел с полными ведрами, оступился с тропки и провалился одной ногой в глубокий снег. Ведра пролил. Тут вот и дернул его черт остановиться у сопроновской бани. Внутри брякал Игнаха ковшиком. Зоя, наверное, уже вымылась и ушла.

Киндя Судейкин знал, что в районе нету своей тюрьмы. Народ до суда садят в поселковую баню, после суда отправляют в Вологду. Вот и пришла ему в голову мысль подержать Сопронова под арестом... Приглядел какую-то чурку, тихонько зашел в предбанник и так же тихо припер дверинку. Один конец в дверинку, другой в порог предбанника. Сиди, Сопронов, покуда Селька мыться не явится! Киндя вернулся к проруби и набрал воды. Поднялся в гору. Дома он поставил ведра с водой на кадушку и сел на лавку. Вывернул в лампе фитиль, чтобы в избе стало светлее. Валенки снял, которые промочил у

реки. Девчонки пекли лук у топящейся маленькой печки. Он съел сладкую луковку. Очистил стол, уселся под лампу. Взял с полавошника газету, которую выпросил у Нечаева, и начал читать сталинскую статью. Газета еле во ставу стояла — обошла за день всю деревню. Одни лепетки. Когда Судейкин дочитал до середины, на деревне вдруг ударили в било. Пожар! И горела баня внизу, да не чья-нибудь, а сопроновская. У Судейкина обмерло сердце... Хорошо, что Пашка Рогов подвернулся да откинул чурку. Игнаха выскочил в одних портках.

А вот от чего она загорелась? Говорят, что лен зашаялся да и вспыхнул. С предбанника началось. Значит, не зря зашаялось. Зойка Сопронова лен вовремя не истрепала, а Носопырь боится угару. Всю жизнь выкидывает горячие головешки. Долго ли подправить ногой, пнуть головешку с огнем к Игнахиной бане? Вот, видать, и подправили! Один воротца подпер, не знал, что головешку подкинут. Другой головешку подкинул, не знал, что воротца подперты. Так и случился грех. Игнаха-то хоть и пес, да ведь живой человек! Испекли бы его как эту луковицу, кабы не изладился Пашка Рогов... А может, и знал кто-нибудь, может, увидел, что баня подперта? Увидел и подкинул в предбанник горячую головню... «Кто бы мог? Наверно, Жучок, больше некому... А не грех ли тебе про Брускова нехорошее думать, ежели у самого рыло в пуху?»

IX

Так и маялся в думах Киндя Судейкин, маялся всю неделю, до Благовещенья. Собрался уж было всем рассказать, как ходил за водой да и «заточил Игнаху в евонной собственной бане». Хорошо, что не успел рассказать! Дело о шибановской контрреволюции пошло вглубь. Допихнули до самой Вологды. Из района приехал доскональный следователь. Двое суток он мурыжил допросами ольховских жителей, на третьи начал вызывать в Ольховицу шибановских. Подошла очередь и Акиндину Судейкину встать пред его светлые очи...

Вздумалось Киnде запрячь Ундера и прокатиться. Может, в последний раз! Возок оказался без

оглобли... Долго в колхоз корячились, но до чего же разбежались проворно! После такого дела не сразу и в колею войдешь. То одного нет, то другого. Вот и у возка кто-то оглоблю выворнул. «Шут с ней, с оглоблей, поеду на дровнях»,— подумал Киндя. Долго по всему дому искал седелку, в спешке сунул ее неизвестно куда. Нашел, а она без чересседельника. Чересседельник пришлось делать веревочный. Супонь из хомута тоже кто-то выдернул! Где супонь новую взять? Судейкин опять начал ходить по дому. Нашел старую, ссохшуюся супонь. Наконец обротал Ундера и вывел на снег.

Мерин всхрапнул и поднял голову. Заржал Ундер, как бывало на масленице. По всему его обширному, но сонному телу вдруг прошлась какая-то быстрая судорога, будто устремился по всем жилам прежний ундеровский огонь. На мощное ржание мерина отозвалась климовская кобыла. Ундер остановился, навострил уши.

— Иди, иди, килун! — проворчал Судейкин.— Ишь чего вспомнил.

Было чего вспомнить и Ундеру, и самому Кинде, когда выехали из деревни в поле. Судейкин развел вожжины. Мерин пошел размашистой рысью. Старые дровни кидало из стороны в сторону. На завороте у гумен Судейкин чуть-чуть не вылетел в снег.

— Эх, куды куски, куды милостынки! — крякнул Киндя и надбавил еще, пуская Ундера вскачь. Мощный круп бывшего жеребца заметно удлинился, от ушей до хвоста пошли плавные волнообразные движения. Ничего этого совсем не видел бесшабашный ездок. Киндя видел и чувствовал лишь сам себя, причем видел со стороны, а не изнутри. Ин, пусть поглядят на Судейкина! Может, в остатний раз. Посторонись, встречный и поперечный, скачи с дороги в снег! Нет, был Ундер еще изряден и кое на что гож, не гляди, что пустая мотня...

На волоку смотреть на Судейкина было некому, кроме двух ворон. Он перевел мерина на спокойную рысь, а тот, без разрешения хозяина, нахально перешел на обычный шаг. Тоскливая скука тотчас завладела Судейкиным. Раскочегаривать Ундера второй раз не хотелось. Киндя затянул длинную:

Далеко в стране иркутской,
Между двух огромных скал

Обнесен большим забором
Александровский централ.

Но и голос у Судейкина был нынче сиплый, как у обмороженного петуха. До середины в песне еле Киндя добрался и заглох. Чего надо от него районному следователю? А то же, что и всем начальникам: чтобы он, Киндя, пел не то, что придет в голову, а то, что велят, чтобы дрожал коленками да чтобы поддакивал через каждое слово, как у попа на исповеди. «А вот шиш вам всем!» — вслух произнес Киндя и дернул левой вожжиной, поскольку по дороге шел какой-то мужичок с корзиной. Со спины Киндя не сразу узнал Жучка.

— Тп-рры!

Ундер послушно остановился.

— Северьян Кузьмич, здорово живешь! Садись, подвезу.

Жучок не откликнулся.

Ундер стоял и прядал ушами, а Жучок даже не оглянулся. Топал и топал своими валенками в галошах. «Вишь, калоши надел. Новые калоши-то. Митька с Игнахой не успели отнять. Наверно, спрятаны были»,— подумал Киндя и тронул вожжину. Опять поровнялся с Жучком:

— Ты, Кузьмич, далеко ли правишься? — Киндя во второй раз остановил мерина.— Садись, а то мозоли набьешь.

Но Жучок опять не остановился.

Ошарашенный Киндя долго не пускал мерина, думал, что делать. Его заело. Решил загадать: ежели Жучок и вправду рехнулся, так с третьего разу должен остановиться. Ежели притворился, то не сядет и с третьего разу.

Пока Судейкин так думал, Жучок ушел вперед саженей на двадцать. Киндя в третий раз догнал его и остановился.

— Сивирька, это ты или Гуря залесенской? Чево-то не разберу, весной у миня куричья слепота. У Гури корзина вроде твоёй.

Упоминание о залесенском дурачке, видимо, прошибло Жучка. Не глядя на Киндю, он сел сзади на дровни. Киндя пустил мерина и подумал: «Авось он меня не тюкнет, сзади-то. Ежели тюкнет, так он и вправду от горя тронулся». Прикрытая дерюжкой

корзина торчала на левой Жучковой руке. Киндя обернулся назад:

— Северьян Кузьмич, у тя чево в корзине-то, не угольё? Ежели угольё, дак Гаврилова кузница на замке. И сам Гаврило в тюрьме,— сказал Киндя, помолчал и добавил: — И тюрьма на замке.

Жучок на этих словах ерзнул сзади, перекинул корзину на другую руку. Заговорил наконец своим слабым сиротским голосом.

— Канфет! Говорят, чаю в сельсовет привезли, китайсково. А пить не с чем. Дак я им канфет несу.

— Ну, ну, хорошее дело! — Судейкин вступил в игру. Он откинул дерюжку, поглядел.— Добры конфеты-и.

В корзине действительно были угли! Нет, не верил, Киндя Жучку, не верил, что Жучок тронулся в самом деле. Не верил, а все же сомнения были. А вдруг и взаправду сошел с ума? Ведь в Кувшинове справки зря не выписывают. Вдруг справка-то у его не поддельная, и нонче Северьян Брусков, Жучок по прозвищу, невменяем посередь всех людей? Что ни сделает, все ему с рук сойдет... Уж не он ли и подпалил Игнашкину баню?

Такая мысль пришла в Киндину голову не в третий ли раз... Судейкин затих и молчал до первой ольховской пустоши.

— Кузьмич, а Кузьмич, а у тебя и бумажка есть? Меня вот по бумажке вызвали в Ольховицу, чай-то пить. Дак ты покажи, может, у меня тоже такая, может, вместях и попьем чаю-то?

Жучок долго возился с карманами и достал повестку. Киндя даже не стал и читать, бумажка была точь-в-точь такая же, как у него. Та же стояла красная закорючина вместо подписи.

— Эта, эта,— сказал Киндя.— Дёржисся?

Он развел вожжины, но мерин опять не послушался.

«Устал,— подумал Судейкин.— Либо устарел. Вот так и мы с Жучком совсем стали хитрые».

Жучок молчал, а хозяин подводы сердился. Сперва на Ундера, потом и на Жучка начал сердиться, и вдруг словно бес подтолкнул Киндю Судейкина:

— А што это у тебя, Северьян Кузьмич, канфеты-ти больно мелкие, мог бы и покрупней прихватить! Вон у Игнашкиной бани такие лежат канфетины.

Да и Носопырь накидал порядошно. У этого с огнем летят, самые баские...

Жучок ничего не сказал.

— Я вот пораз иду, гляжу, головешка летит. В снегу зашипела.

Жучок опять ничего, и тут Киндя забыл всякую осторожность, понес напрямую.

— Тибя Игнаха по миру пустил? Пустил! Он иш-шо половину Шибанихи по миру пустит! А ты канфеты ему носишь. Нет, я бы ему такую канфету подал, чтобы у ево глаз вывернуло.

Жучок шевельнул лопатками. Киндя почуял это спиной, через шубную толщу. Но ничего опять не сказал Жучок, и Киндю Судейкина заело еще больше:

— Я ведь ево, заразу, чуркой товды припер!

Жучок напрягся. Через две шубы, свою и Жучкову, Киндя почуял, как напрягся Жучок. И уже не смог Судейкин остановить сам себя, начал рассказывать все, как было.

— Ходил я, братец ты мой, по воду! Чую, Игнаха в бане кряхтит, веником хвощется. Я его чуркой и припер. Думаю, ты людей в холодной держишь по двое суток, а в теплой-то полдела сидеть. Да ведь и недолго. Зойка хватится тебя, дурака, прибежит да и выпустит...

Молчал Жучок! Молчал, но слушал. Это Киндя Судейкин очень хорошо чувствовал, что Жучок слушает.

— Я Игнаху в бане припер! А ты, Северьян Кузьмич, видно, не знал про то, что Игнаха-то в бане приперт! Ты и подкинул канфетину-то... У тебя головёшка была с огнем, а у Зойки в предбаннике лен навален.

Жучок замер, напряглась, остамела у Жучка вся спина. Это Киндя почуял опять через обе шубы, сквозь свою и чужую. Судейкин разозлился, остановил Ундера у ольховского отвода:

— Слезай! Тут близко...

Жучок с дровней не слез. Киндя увидел, что он не доволен, и подумал: «Никакой он не тронутый! И голова у хитруна варит лучше, чем в Москве у Калинина».

— Вот мы с тобой еле-еле ево не сожгли! Игнаху-то! — еще раз попробовал подступиться Киндя.— А он вон на Пашку Рогова думает...

Жучок отводил взгляд в сторону, перебирал угли в корзине. Руки без рукавиц, как у арапа. Киндя, держа вожжи, спрыгнул с дровней и пошел на Жучка натупом:

— Ежели мы с тобой Игнаху чуть не сожгли, а Пашку возьмут за гребень?.. Нам с тобой товды как жить да быть? А, Северян да Кузьмич? Лучше уж заодно будем, давай уговариваться! Пока в деревню-то не заехали...

Но молчал Жучок! Молчал, с дровней не слезал и только моргал да отводил глаза и потом вдруг тихо сказал:

— Поезжай, Акиндин, к моему-то зетю.

— Это кто у тебя зеть, а Северьян?

— Гривенник,— по-сиротски отвечал Жучок.

— Это давно ли он тебе зеть?

— А на масленой! Я ему свою жонку отдал. Он мне ишшо канфет посулил.

«Нет, видно, и правда сошел с ума!» — в ужасе подумал Киндя Судейкин, шмякнулся на воз и ударил по лошади концами вожжей. У сельсовета он остановил мерина:

— Этот дом-от у зетя?

— Этот! — по-сиротски ответил Жучок.

— Ну, коли у тибя тут зеть, дак и дуй к ему! Да канфеты-ти не забудь...

И Судейкин жестоко, не по-людски выругался. Обозвал Жучка Жучком и в отчаянии, пока привязывал мерина, клял сам себя: «Дурак! Простофиля! Ишь! Ну што вот нонче будет с тобой, с дураком? Отправят на Соловки, как пить дать отправят, не дадут пикнуть. А, будь что будет! Ежели Жучок расскажет, что я баню припер, значит, не тронутый он! А ежели не расскажет, то получается... То же и получится, что в своем уме. Или как?» Киндя запутался с этим Жучком. Будь что будет.

У исполкомовской коновязи стоял запряженный в санки роговский Карько. Жучка с «конфетами» уже не было. Киндя с дрогнувшим сердцем ступил на высокое крыльцо бывшей земской управы.

* * *

От Скачкова на сажень пахло ремнями, одеколоном и городским табаком. Одеколоном и папиросным дымом пахло во всей бывшей канцелярии маслоартели. Сидел здесь когда-то бухгалтер Шустов, нынче сидит следователь. Усы у Скачкова под Ворошилова, торчат как болотные кочки, хотя и ровно подстрижены. Свежий порез на виске заклеен бумажкой. «Выбрит, чик-брик,— подумал Павел.— А я вот не успел и побриться, птицей летел по евонной повестке. У кого он ночует? Наверно, у объездчика Веричева...»

Следователь сидел за двухтумбовым еще земским столом, нога в хромовом сапоге притоптывала после каждой фразы, словно бы припечатывала:

— Ты, гражданин Рогов, меня не учи. Я вашим братом давно ученый. Значит, так. Ты идешь в баню один. Видел тебя кто-нибудь в тот момент?

— Вся семья видела.

— Не в счет. В каком часу?

— Не помню в каком. Вечером.

— Значит, не помнишь. Зато другие кое-что помнят...

Скачков переложил копирку под новый чистый тетрадный лист.

— Записываю: никто не видел, как в баню пошел. Один.

— Да ты што, товарищ Скачков? Неужто всурьез? — вскочил Павел с некрашеной сосновой скамьи.— Неужто я мог подпалить чужую баню? Да ишшо с живым человеком?

— Мог! — убежденно сказал следователь и даже как-то преобразился.— Не только мог, а и должен был подпалить, по всему твоему классовому нутру обязан был подпалить! И не усмехайся, гражданин Рогов, не усмехайся! Как бы не пришлось плакать в скором времени... Итак, ты идешь в свою баню... Ночь и никого нет.

— Иду...

— В другой бане человек в голом виде, а у тебя в кармане... Ты куришь?

— Товарищ Скачков, поимей совесть! — не выдержал Павел и замотал головой как с похмелья.

— Во-первых, я тебе не товарищ, во-вторых, совесть моя тут ни при чем. Были у тебя спички в кармане?

— Были. Фонарь погаснет... как без огня? Только...

— Записываю: спички в кармане были.

— Так чего дальше-то? — горько усмехнулся Павел Рогов и начал глядеть на Скачкова.— Лучше меня знаешь, куда я ступил, что подумал...

— А дальше, гражданин Рогов, вот ты что сделал! Дальше ты подошел к чужой бане, спичку чиркнул да и кинул ее в лен...

Павел невесело хмыкнул и перебил:

— А сам преспокойно пошел в свою. Разболокся да и начал хвостаться веником. Так, што ли?

— Именно так, гражданин Рогов!

— А пошто бы я стал Сопронова поджигать, ежели я его сам и из огня вытащил? — с горьким смехом закричал Павел и вскочил. И распрямился.— Ведь я сам чуть не сгорел, вон и волосья опалены! А? Пошто бы мне в огонь-то кидаться да дверинку ему открывать, ежели я лен подпалил? Пошто бы мне все это, товарищ Скачков?

— А чтобы попугать! Проучить его, чтобы знал, что с вашим братом шутки худые.

Лицо Павла Рогова побелело. Он сжал кулаки, зажмурился. Стоял в темноте, и радужные круги поплыли перед глазами, голова пошла ходуном. Следователь двоился в глазах, когда Павел разомкнул веки.

— Подпишись вот тут,— издевательски спокойно произнес Скачков.

— Нет, подписывать я не стану.

— Ничего, подпишешь в другом месте.

— Где это, товарищ Скачков?

— Я вынужден тебя задержать! Поедешь со мной в район...

Скрип дверей и стон коридорных половиц прервали слова следователя, дверь отворилась. Голова Кинди Судейкина показалась в притворе:

— Разрешите, пожалуйста? — Киндя переступил порожек.— Я, значит, по этой повестке...

— Закрой двери с той стороны! — грозно воскликнул Скачков.— Вызовут, когда придет время.

— Да кто вызовёт? — не уступил Киндя.— Сижу второй час. Мерин сено сожрал, надо бы домой ехать. Я, товарищ Скачков, по банному делу вот чево

тебе доложу: сам видел, как ребятня горечими головнями кидалась...

— Чья ребятня?

— Да шибановская. У нас этой вольницы много. Носопырь головешку с огнем на снег выкинул, чтобы жар-то она не вытянула. А тут робетёшки... У робят головёшки...

Судейкин сам не заметил, как начал говорить в рифму.

— Выйди из помещенья! — приказал Скачков Павлу Рогову.— Вызовем, когда потребуется. А ты садись ближе! Как фамиль?

Судейкин сел на скамью, как раз на то место, что было нагрето Павлом.

* * *

Скрипела чердачная исполкомовская лестница, ведущая наверх, в мезонин, куда заходил какой-то народ, скрипели перила и двери, стонали под ногами коридорные половицы. Все скрипело, вплоть до следовательских револьверных ремней. Или это зубы скрипели? Обида и гнев подступили к самому горлу, душили. И застилала глаза слезная пелена... Когда Павел вышел от следователя, хотелось ему подняться вверх, распахнуть сопроновскую комнату и плюнуть Игнахе в глаза либо взять за шиворот и ткнуть носом в какое-нибудь поганое место. Но уж больно противно скрипело, еще противней пахло в коридоре мышами и нужником.

Павел вышел на волю. Кругом плавился и проникал в каждый закоулок яростный солнечный свет. Воробьиная стая с веселым чириканьем приплясывала у коновязи. У стены на припеке уже вытаивала дернина, весна начиналась взаправдашняя. В исполкоме и около, как и всегда, мельтешил всякий народ. Ни с кем не здороваясь, чтобы никто не увидел его слез, его беспомощного положения, Павел Рогов сбежал с крыльца. «Судейкин... Севодни вовремя Киндя выручил. А завтре кто выручит?» — думал Павел, отвязывая коня.

Впервые в жизни не радовало ярое апрельское солнце. И родная деревня Ольховица впервые в жизни показалась чужой, какой-то ненастоящей. Родную мать впервые в жизни не хочется видеть... Виделись

утром, перед тем как идти к следователю. Одни слезы да причитанья. На что было глядеть? Ночует то в бане, то в доме соседа Славушка, который считался какой-то дальней родней. Живет кое-как. Лепешки напечены из гороховой желтой муки. Скачкова бы покормить теми гороховиками! Самовар в зеленых подтеках... Заплакала, увидев сына. Павел наспех прочитал ей письмо от Васьки, сказал про Олёшку и, чтобы не травить душу, выбежал из Славушкова подворья. Об отце даже и не заговаривал. В чужом доме много не наговоришь... От Гаврила Насонова, говорят, приходило письмо, надо бы забежать к Насоновым, узнать, куда отправлен и не видал ли отца Данила Семеновича. За что старикам дали по два года тюрьмы? Кабы знать за что, было бы не обидно. Отняли все: и дома, и тулупы... Топоры и стамески, ложки и поварешки. То одного раскулачат, то другого. После статьи Сталина колхоз разбежался, только неймется Игнахе Сопронову. Ни жить, ни быть, надо со света сжить! И сживет ведь... Вон и дядя Евграф отправлен неизвестно куда. Дом с гумном и амбаром взяли в неделимый колхозный фонд. Палашка — двоюродная — с брюхом, иди куда хочешь. Обе с божаткой ночуют у Самоварихи.

В таких невеселых думах Павел проехал волок. Медленно отходило сердце, но стоило вспомнить допрос, бешенство вновь охватывало, снова вставал в глотке горький свинцовый ком. Не жаль себя. Но что ждет от горя иссохшую мать, как жить малолетку Олёшке? А Вера Ивановна... Лучше бы совсем про нее не думать, да бередит день и ночь, не дает дышать эта дума. И белый свет от той думы сразу чернеет. А как бы в глаза тестю глядеть, Ивану Никитичу, если бы дома был? Ведь это он, Павел, втянул его в строительство мельницы. Божат Евграф раскулачен. Поповны в город уедут. Жучок рехнулся, а дальше кого кулачить? На очереди — Роговы! Дело ясней ясного. И спрятаться некуда, и некому слова сказать... Господи, подсоби! Что делать и как жить?

Карько сам, без подхлеста бежит домой. В поле Павел натянул вожжи, приструнил мерина и спрыгнул с возка. Не хотелось показываться дома в таком растерянном и растрепанном образе. К мельнице... Валенки быстро промокли на дорожных лужах. Не

забежать ли в гумно, не сделать ли свежие соломенные стельки? Воротца с юга открыты, слышны ребячьи возгласы. Вроде брат Олёшка с Серегой. Что они там делают? Так и есть, в бабки играют. Дождались весны. Пришли из школы, сумки с книжками долой, сами на гумно, бить козонки...

Павел вспомнил про свое совсем недавнее детство. Давно ли сам вот так же с первым весенним солнышком бегал на гумно играть в козонки? На чистой гумённой долони ставили в ряд крашеные и некрашеные, мелкие и большие. Закидывали битку. Кто дальше забросит, тот первым и бьет. Играли испокон веку...

Чтобы не мешать ребятам, он тихо отошел от гумна. Мельница тяжко и утробно бухала шестью своими пестами. Он слышал эти глухие удары через ноги, через холодную, еще снежную землю. Они были тем отчетливей, эти удары, чем ближе подходишь, тем явственней. Ветер дул южный, теплый, крылья шли как бы нехотя. Песты бухали один за другим. Кому дедко толчет овес? Год назад на масленой полволости сидело без овсяных блинов. Рендовая простаивала уже и тогда, а теперь и вода давным-давно спущена. Мельник Жильцов арестован и осужден, говорят, за несдачу налога и гарнца. Мужики с трех волостей возят молоть в Шибаниху. Ночуют, когда худо дует, ждут ветра. Ветрянка! Сравнишь ли ее с водяной жильцовской?

Павел боялся вспоминать про тот камень, привезенный издалека, лежавший под снегом на речном берегу. Из-за него чуть совсем не замерз, охромел, остался без пальца. Да зато жернов — жернов воистину... Что будет?

А будет дальше вот что: Игнаха Сопронов истолчет во прах! Измелет и выбросит на произвол судьбы. За что дана ему такая подлая власть?

Павел сам не заметил, как оставил Карька и очутился вверху, около ступ. Сел на амбарном пороге, взглянул на Шибаниху с мельничной высоты.

Надо было что-то делать, делать срочно и споро. Он чувствовал это, как зверь чувствует затаившегося охотника. А что делать? Бежать надо... Куда? Везде нынче свои Игнахи. «А может, и не везде»,— подсказывал чей-то голос. Вспомнились слова Степана Ивановича Лузина. Не зря ли отказался, когда Лузин

предлагал остаться десятником в лесопункте? Может, и зря...

Сидел Павел на приступке, в мельничном шуме и скрипе, завороженный мерными чередующимися ударами, шорохом бесконечного кругового движения, стучали лопатки, подымавшие один за другим шесть мощных пестов, скрипели махи. Только не постукивали цевки черемуховой шестерни. Дедко давно собирался ковать жернова, со вчерашнего дня отключил главный постав.

Павел Рогов думал, как быть...

Неясная, неопределенная дума точила душу, но какая-то странная решимость, подобно дальнему ветру, уже нарождалась и крепла. Он не знал еще, что он сделает, но он знал, что нынче же обязательно сделает что-то...

Шум и шорох, скрип и стук заворожили и убаюкали Павла. Вот так же в детстве его завораживала сказка либо длинная песня бабушки, так же незаметно слетал на детскую душу золотой и сладостный сон. Он забылся, но в этом забытьи зрела и крепла его мужская решимость. И в том же забытьи и в мельничном шуме, в том полусне послышался ненужный, такой лишний человеческий голос:

— Эй!

Павел вскочил на ноги и выглянул из мельничного амбара. Кричали с другой стороны. Он спустился по первой лесенке на круговой настил. Внизу стояла чья-то подвода.

— Здорово, Данилович! — прояснился голос ольховского Усова.— А я уж думаю, никово нету, поеду, думаю, к дому...

Павел опустился еще по одной лесенке, уже на землю, поздоровался с приезжим. Усов рассказывал:

— Я, понимаешь ли, хотел увидеть тебя в Ольховице-то! Знаю, что тебя вызвали. Думаю, договорюсь насчет молотья, да оба и уйдем. Гляжу, а ты уж и усвистал.

— Усвистишь от вас... — усмехнулся Павел, но Усов на подковырку не обратил внимания.

— Дак смелёшь? Послиднюю квашню баба вчера испекла, муки нету. Смели, пожалуста, Павло Данилович!

— Смелю, если ветру намолишь...

— Садись на мешки, покурим.

Павел сел на воз к Митьке Усову:

— У тебя, Дмитрей, колхоз... как назван?

— Резбежались, Данилович. Все! Остались только мы с Гривенником. Одно названьё... У вас в Шибанихе вроде тоже. Скотину-то по домам развели?

— Развели. А ты как? Ведь ты вроде бы коммунист.

— А что коммунист? — разозлился Усов и выматерился.— Коммунистам без муки тож не прожить, Павло Данилович...

У Павла Рогова все кипело внутри:

— Шустовские-то лари разве пустые были? А? У Гаврила Насонова тоже порядочно было намолото!

Не утерпел Павел Рогов, попрекнул Усова Гаврилом, а Данилом — отцом — не попрекнул, да в том не видел большой разницы.

Усов стремительно заплевал цигарку:

— Я тибе, Данилович, вот што на это скажу. Против ветра ссеть не каждый осмелится. Против ветра вставает вон одна твоя мельница! С Игнахой я тягаться не дюж.

— Почему?

— А потому что больно много у ево верхних заступников! И в райёне, и в Вологде! А особо много в первопрестольной Москве. Вот так, Данилович! И пускай моя баба мелет на ручных жерновах!

Усов схватился за вожжи.

— Да ты погоди, погоди! — засмеялся Павел и отнял вожжи.— Не петушись. Смелет тебе дедко Никита. Как надо, так и смелет.

Усов не мог успокоиться, опять начал закуривать.

— Мельница-то, Дмитрей, мелет добро,— продолжал Павел.— Боюсь только, что и шею мне перемелет.

— Ты, Данилович, вот што... — Митька оглянулся во все стороны, нет ли кого вокруг.— Ты послушай нонче меня. Уезжай, парень! Уезжай поваровей куды глаза глядят... Я насчет тебя разговор слыхал. Говорят про тебя, что ты и ногу... это... нарошно, чтобы в армию не ходить.

— Чево? — У Павла потемнело в глазах.— Ногу? Нарошно?

— Это, Данилович, полбеды, беда другая похлеще. Гарнцу на тебя Сопронов начислил ишшо семь-

десят пять пудов! Знает ведь, что не выплатить, ну и... Бумага на тебя отправлена в район. Судить будут. Так што послушай меня, уезжай поскорей кудынито, времё твое дорого.

Павел спрыгнул с груженых дровней Усова. Хромая, начал метаться, ходить около. Прислонился головой к витому косослойному столбу-подпоре. Отшатнулся. Не глядя на Усова, глухо сказал:

— Спасибо... Разгружай! Таскай к вороту... Пойду...

Он захромал, по-пьяному зашагал к своей упряжке. Оглянулся:

— Дедко придет... Тебе смелет. Остальным... пусть мелет Игнаха Сопронов!

Когда подвода с Павлом Роговым скрылась сперва за гумном, потом за амбарами, мельница пошла почему-то тише. Или ветер стихал? Все медленнее проходили широкие махи, осеняя собой груженые дровни и самого Усова. Помольщик видел, что крылья вот-вот остановятся. Митьке Усову показалось, что как только они остановятся, так что-то и случится не здешнее. Может, и сердце остановится вместе с ними? Либо вся земля перестанет вертеться. А может, она, земля-то, и не вертится вовсе, поди проверь, ежели кто чего скажет...

X

Куда уехал Александр Леонтьевич Шустов, бывший бухгалтер Ольховской маслоартели? Куда в ту ночь ступала его лошадь, волоча полные розвальни ребятишек и стариков, по-цыгански укрытых шубами и одеялами? Никто не знал. Это в ту ночь, упреждая Архангельск, помимо Крайкома посланная в Вологду, оргруппа ЦК дала указание на немедленное раскулачивание. Шустов задолго до этого чувствовал приближение грозы. Вологодский Губком давным-давно был разгромлен. Еще 3-го февраля в газете «Правда» появилась статья под названием «Разоблачить оппортунистов». В этой статье Москва объявила Вологду рассадником правой опасности. Шустов не сомневался, что его заберут, но когда заберут — не знал. А в тот вечер по тревожному стону телефонного провода или по какому-то тайному сердечному знаку Алек-

сандр Леонтьевич вдруг озарился, почувствовал близость беды, раскусил зловещую тишину той решающей ночи. Да, он был просто убежден, что пришла как раз та самая ночь!

И враз принял решение. Короткий разговор с женой и отцом, решительное, резкое спокойствие, твердый голос. И вот уже мерин запряжен в розвальни. Быстро одели пятерых ребятишек. Пересчитывал Александр Леонтьевич всех уже на возу. Дедко Осий долго не мог ничего понять. Так, наверное, ничего и не понял старик, может, подумал, что поехали на Кумзерскую ярмарку. За одну ночь разрушилась многовековая судьба...

Все оставил, все бросил Александр Леонтьевич Шустов: обширный дом, гумно и амбар, скотину, лари с мукой, обутку, холсты, одежду, посуду и утварь. Взял одно живое свое богатство — деток с женой да отца с дедком Осием. Слезы родных то и дело останавливал короткими окликами. А как сам не заплакал? Не ясно... Стиснув зубы, шел он в ту пору за возом, шел в тихой снежной ночи. Куда? На долго ли? За какую вожжину дергать у следующей развилки? Вначале правил Шустов наудалую, лишь бы подальше от дома... Правда, чуть ли не в каждой деревне жила родня, двоюродные, троюродные братья и сестры. Немного в сторону от большака живут родные братаны. Три младших брата и три (тоже младших) сестры. Приворачивай в любом месте. Но во всех домах по два самовара... Никогда, от веку, не сидела шустовская порода сложа руки! Рубили хоромы, пахали, жгли подсеки, косили сено, ловили рыбу и зверя, ткали и пряли, ездили под извоз. И роднились больше с такими же трудолюбивыми семьями. Поэтому знал Александр Леонтьевич, что не надо никуда приворачивать — над каждым домом давно висела черная туча.

Он проехал несколько волоков, передумал про всю свою жизнь, пришел по ней взад и вперед. Но ведь не поедешь же без ночлега! Надо и лошадь кормить, и обогревать ребятишек, и стариков чаем отпаивать. Он выбрал в ту ночь мужа троюродной сестры в маленькой лесной деревеньке. Он оставил там дедка Осия, с тем чтобы переправили старика в другое место к другому дедкову сыну и брату отца Леонтия Осиевича. Самого Леонтия Осиевича Шустов оставил

в другой деревне у двоюродных братьев. Там заодно навестил Александр Леонтьевич и родную мать, которая ушла погостить да и нянчила внуков с самого Ильина дня. Увидев сивую бороду Леонтия Осиевича, она ничуть вроде бы не обрадовалась:

— Чево, опеть сватать приехав? Поезжай, поезжай в другую деревню.

— Бери, тятя, развод! — поддержал Шустов материнскую шутку, но Леонтию Осиевичу было не до шуток. Он заплакал, когда прощались...

Знал ли Александр Леонтьевич Шустов, что от Вологды до Архангельска, вдоль всей Северной железной дороги уже витала детская и стариковская смерть? Людей выгружали в снега и селили прямо в лесные болота. Вагоны спешно гнали обратно, за новым грузом. Степные пахари торопливо учились владеть топорами. Только что срубленные елки прислонялись друг к другу вершина к вершине. Те шалаши покрывались еловой хвоей, стелилась хвоя на снег, и зажигались костры. Мужчин под конвоем гнали дальше в леса, а около тех шалашей одного за другим хоронили стариков и непорочных младенцев. Женский крик, так похожий ночами на волчий вой, слышался сперва в зимних лесных болотах, на разъездах и близ полустанков. Но вскоре завыли, запричитали по-северному и местные жительницы. Южные, краткие в своем отчаянии слезные клики были иными, непохожими на рассудительные вологодские причитания. Только иногда, когда страх и отчаяние захлестывали женское сердце, вологодский вой становился точь-в-точь таким же, как мелитопольский или ростовский...

Шустов не знал еще обо всем этом.

Рассовав стариков по разным местам, Александр Леонтьевич с женой и пятью детьми выехал на Сухую курью. До Северной железной дороги оставалось пятнадцать верст...

В Сухой курье Шустов решил обогреть ребятишек и напоить лошадь. Но в избе нигде было ступить, не то чтобы посидеть и погреться. Звучала украинская речь. Три красноармейца с винтовками глядели на Шустова как на врага, колодчик на водопое был занесен снегом. Шустов разгреб снег, напоил коня и уже в потемках направился дальше. Куда? Кто ждал его с кучей детей, без денег и хлеба? Никто не ждал...

Александр Леонтьевич знал, что никто не ждет, и все же ехал куда-то. После Сухой курьи картина для него стала совершенно ясна. Выхода не было... И все же он ехал куда-то. На восьмой версте решили как-нибудь переночевать и утром двинуться в сторону железной дороги. Была затаенная дума найти шибановского Орлова. Ходил слух, что Орлов работал на одном из разъездов. Может, примет временно или подсобит устроиться? Хоть обходчиком, хоть пильщиком дров...

В бараке на восьмой версте усташенские ребята сдвинули на нарах соломенные тюфяки, освободили место для шустовского семейства. Утром, когда поили коней, Шустова неожиданно окликнул Степан Иванович Лузин. Узнав про бедственное состояние шустовского семейства, он предложил задержаться, привел Шустова в натопленную конторку. Начальник не хотел слушать подробностей шустовской переменившейся жизни. Он с ходу предложил угол в бараке:

— Александр Леонтьевич, у меня нет десятника. Оставайся! Когда срубим новый ларек, дадим тебе старое помещенье.

— Я, Степан Иванович, вышел из партии...— произнес Шустов.— Считаю своим долгом сказать...

Лузин поморщился:

— Александр Леонтьевич! Ты мне об этом не говорил, а я от тебя ничего не слышал!

— Нет, Степан Иванович! Ты пусть и не слышал, спасибо. Да Ерохин-то с Меерсоном отнюдь не глухие.

— Волков бояться, в лес не ходить! — возразил энергично Лузин.— А лес, Александр Леонтьевич, советской власти, сам видишь, нужен как воздух.

— А скажи мне, Степан Иванович, почему крестьянство-то мы зорим? — тихо спросил Шустов.— Своих же кормильцев рубим под корень... А самое главное, нет числа таким дровосекам, и все оне копятся, все копятся...

Молчал начальник лесопункта Степан Лузин. Прищурил глаза, глядел в одну точку и слушал Шустова:

— Был, значит, у крестьянства царь Николай Второй, и была у него единая власть. Где единая власть, там и порядок. Нынче власть сразу у многих, у всяких и разных. И всяк свои мысли кладет во главу угла, кому что придет в голову. Не стало у нас в России порядка...

— Не крепка, значит, наша власть, Александр Леонтьевич? — засмеялся Лузин.

— Не то чтобы не крепка, а рассыпчата! От огня и воды камень трескает, одна дресва остается. Потому я и вышел из партии. Прошли вы огни и воды, а перед медными трубами вам не выстоять... Мало кто удержался в рамках перед медными трубами.

— А царь? — Лузинские глаза смеялись.

— Царю, Степан Иванович, медные трубы были положены по штату! Для одного народ ничего не жалел, готов был на любую музыку... Мужик потому за царя и держался.

Лузин посерьезнел и возразил:

— Ну, положим, Гаврило с Данилом не больно-то и держались. Наоборот!

— А ныне оба на Соловках либо в Печоре локти грызут.

Но Лузину было не до политических споров. Вологда требовала от него лес, десятник нужен, и он повторил предложение:

— Принимай, Александр Леонтьевич, должность! Остальное и прочее я беру на себя.

В горле у Шустова застрял горячий комок. Не зная, чем выразить облегчающую благодарность, он покашлял тогда, приготовился сказать Лузину что-то хорошее, но в контору зашли двое высланных украинцев.

Считая дело окончательно решенным, начальник подал Шустову бланки учетных документов:

— Принимай, Александр Леонтьевич, покамест по кубатуре, в сортиментах разберемся позднее.

Кладовщик в тот же день выдал Шустову под расписку стальное клеймо на березовой ручке и складной в медной оправе аршин. Надо было срочно клеймить торцы дерев, обмеривать и сортировать свежую древесину, вывезенную усташенскими мужиками.

Ночевали в ту ночь вместе со всеми, но жилье выделили тоже вскоре и почти по-царски: Лузин приказал отгородить в бараке угол в одно окно. Половину места занимали широкие нары, на коих цыганским способом сложили подушки и одеяла. Вторую половину занимал стол, тесанный топором, да такая ж скамья. Еще оставалось место под умывальник, и шевельнуться, повернуться, ничего не задев, было совсем невозможно.

Александр Леонтьевич был рад и такому жилью. Со всем стараньем старорежимного подрядчика он приступил к новой работе. И та дорожная ночь была давно позади... Шла последняя, Страстная неделя поста, когда на восьмой версте объявился шибановский Павел Рогов. Мужик стоял перед Шустовым с просительным видом, с топором за поясным ремнем, с котомкой на широких плечах.

Шустов не скрыл радости:

— Ты, Павел Данилович, с подводою или так?

— Один.

— Значит, без лошади. Бери моего коня и дровни! Подсанки тоже подыщем. Надолго ли, если не трудно ответить?

— Трудно, Александр Леонтьевич! — признался Павел.— Трудно ответить... Хотел на вовсе... Пойду на любую делянку... Не дают дома-то жить!

Десятник, подобно начальнику лесопункта, не стал вникать в подробности, а взял да и показал новичку место в бараке.

Павел не разучился валить и возить лес... Но когда начала таять лежневка, Шустов неожиданно переменил собственное решение, послал его в пилоставку, чтобы тесать топорища, насаживать топоры и точить поперечные пилы для украинских лесорубов. Павел вначале заерепенился, считая все это стариковской работой. Вмешался сам Лузин, начальник, убедил, что дело это сейчас важнее всего.

— Платить будем на совесть, как рубщику! — закрепил Шустов весь разговор.— Да и спать тут будет тебе спокойнее.

Пилоставка была срублена в охряпку на скорую руку. (Рубили сначала баню, но понадобилась пилоставка.) Печка сложена по-культурному, даже с плитой. Двери открывались прямо на улицу, в сторону болотного леса.

Павел тесал топорища с утра до вечера, часами шаркал напильником. На ночь он запирался на крюк и спал прямо на голом топчане. Питался кое-чем из ларька. Хлеб и табак привозили для лесорубов на лошади с железнодорожного разъезда, еще торговали треской. Иногда приходил ночевать Апалоныч, рассказывал новости. Тоска подступала к Павлову серд-

цу. Дошел слух, что Сопронов через милицию ищет его, что в Шибанихе сломалась дедкова мельница. Не мельница маяла, маяла неизвестность. Как-то там Вера Ивановна, когда будет родить? Мать жива ли?

Каждое утро начиналось с прихода украинских выселенцев. Они разбирали пилы, иные просили насадить топор на новое топорище. Павел не успевал как следует наточить пилу, сделать по-доброму топорище.

— Тебе, Данилович, все одно на всех не успить,— поучал Апалоныч, сидя на чурбане и растапливая печку.— Ты возьми да одного научи, топоры-то насаживать! Вон хоть бы Малодуба Григория. Парень проворной, сам научится и других выучит. Вишь, легок на помине...

Дверь хлопнула. Павел поднял голову. Рыжие усы Грицька весело шевельнулись:

— Здоровеньки булы!

В серых глазах парня чуялась застойная хохляцкая грусть. Давняя тоска стояла в глазах, но все равно они улыбчиво щурились. На голове у Грицька топорщился какой-то вязаный шерстяной колпак, на плечах — латанный во многих местах ватный пиджак. Штаны на коленях тоже были закропаны, уже и на заплатах имелись дыры. Особенный страх вызывала у Павла обутка Грицька, напоминавшая шоптаники, то есть тряпичные лапти, в каких бродят многие нищие. Грицько сильно напоминал в этой обуви шибановского Носопыря.

— Чего на ноги дивишься? — улыбнулся Грицько.— Коли моим щиблетам заздришь, то я готовий поменятися... А ти, диду, пиди тим часом за мени на дилянку. За це виддам тоби всю премию...

— Много ли вы с Антоном кубатуры-то нагонили? — спросил Апалоныч.

— Многа! Багацько... А було б ще бильше, як би до Ярохина не тягали.

— К Ерохину? — притворно удивился Апалоныч.— А чево ему от вас?

— Як чого? Вин тут замисть попа, вимятае сповидь, инколи де-кого причащае.

Грицько поднес кулак к своему носу, показывая, как причащает Ерохин.

...Сегодня Грицько отказался учиться насаживать топор по-вологодски. Он попросил у Павла бритву и помазок, чтобы сбрить бороду:

— Витру не буде, ходимо до шинкарок.

Апалоныч сварил чугунок картошки, достал из мешка хлеба:

— Садитесь-ко вот лучше.

— Цибуля? Та вона ж ныне Милиша за будь-яку дивчину... Давай швидше, поки нема брата Антона, той прийде, все умне... А ось вин тут як тут. Все чуе, як кит з вусами.

Павел успел уже полюбить этих веселых братьев. Они захаживали в пилоставку и по вечерам, после делянки. Пили настоящий, выданный Лузиным чай, слушали Апалоныча, который изредка исчезал куда-то и приносил свежие новости.

Антон Малодуб, старший брат Грицька, был сегодня совсем хмурый, на братнины шутки не обращал внимания. Апалоныч начал спорить с Грицьком: как это так, «як кит с усами». Кит, мол, плавает в окиян-море, кит — рыба, какие же у рыбы усы?

— Немае в риби вусив,— согласился Грицько, очищая картофелину.— Зате в кита е и в мене е, тому що я не одружений. А в брата Антона вуса були, та жинка Параске все висмикала. А помиг жинке мий племинник, ось и немае в Антона вусив.

Апалоныч так и не разобрал, отчего это кот по-украински кит. Павел взглянул на Антона с тревогой. Что-то кольнуло его изнутри. Пока братья брили друг друга роговской бритвой, он вспомнил зимнюю лесную дорогу и ту встречу с женщиной, которая стремилась в Сухую курью.

— А как племяша-то у тебя звать? — как бы невзначай спросил Павел у Грицька.

— Та я вже пидзабув, а ось брат не забув. У нього и питайте.

— Федько,— тихо произнес Антон. Глаза у него зажглись и блеснули.

Федько! Все сходится... Женщина назвалась Парасковьей, когда Павел оставлял ее ночевать у старухи. Это она и шла тогда, она искала мужа и брата. Она несла как живую свою мертвую ношу! Где она ныне и жива ли сама? И что делать? Рассказывать ли Антону про ту жуткую встречу?

Павел швырнул напильник в сторону, бросил на пол пилу. Пила жалобно взвыла. Апалоныч недоуменно поглядел на Павла Рогова. Антон и Грицько приняли выходку пилостава на свой счет. Антон взял пилу, оба брата молча вышли из пилоставки. Павел очухался, выскочил следом:

— Да нет, вы што? Идите обратно!.. Я... так, сам на себя... Чуете? Остынет картошка-то...

Братья остановились, переглянулись.

— Обиделись, что ли? — в упор спросил Павел.

— Та ни... Йти треба, Даниловичу,— заговорили они оба сразу.— Ярохин, того гляди, из гнезда вылетит.

— Хотел я сказать вам кое о чем...

— Мабуть до иньшого разу.

Они ушли, а Павел стоял у порога и терзался в раздумьях. Может, лучше не говорить? Может, знают? Нет, ничего не знают! Надо сказать...

Но они уходили от него, не оглядываясь. Морозный светлый ледок хрустел под их страшными чеботами. Вчерашние лужи и ручейки уже струились под этим хрупким прозрачным ночным ледком.

Дрожь прошлась от ключиц и до поясницы. Нет, не от холода вздрогнул Павел Рогов! Вздрогнул от непереносимо-явственного виденья: лесною дорогой шла, нет, не украинка-выселенка, шла его жена Вера Ивановна. Он помотал головой, как пьяный.

Снег таял взаправду. Заметно удлинились светлые предпасхальные дни. Усташенские лесорубы и возчики разъезжались по деревням, там их гнали обратно. Для нерадивых учреждено рогожное знамя. Павел знал, что Лузин получил указ: кидать снег лопатами с бровок на те места, где вытаивала земля.

Возить по этому снегу, только возить! Выполнять план!

Апалоныч сочинил даже частушку: «Не нагоним нападным, так нагоним накидным».

Что правда, то правда, нападного снегу ждать было уже нечего. Дело быстрехонько шло к весне, к половодью и севу.

Утро сияло. Глубокое, бирюзово-синее небо разверзалось над Павлом. Из леса, с востока и севера, долетало тетеревиное бульканье. Сердце чуть успокоилось при этих знакомых, почти родимых звуках новой весны. Токуют тетерева на полянах, горят по-

левые снега. Природа живет, как и раньше, ничего не меняя.

От морозного воздуха, от переклички полевиков вернулся в тесную подслеповатую пилоставку.

— Чего, Паша, ушли? — спросил Апалоныч.

— Ушли!

И Павел начал точить напильником очередную пилу. Он рассказал старику про лесную зимнюю встречу:

— Тут все, Апалоныч, сходится! И сынок Федько, безгрешная душа, жонкино имя...

— Ествою корень! — Апалоныч заохал после такого рассказа.— Она! Прасковья, ихняя баба. Много разов говорил Гришка-то! Садись, самовар вскипел...

Апалоныч называл самоваром чугунок, в котором варили сперва картошку, затем кипятили воду на чай.

XI

Все светлее и дольше становились предвесенние дни. Иногда закатное солнышко прямиком упиралось в небольшое окно пилоставки. Оно светило тогда вроде бы снизу. Словно невидимая солнечная ладонь припечатывала на сосновой стене избушки квадратный розовый пласт, золотились как слезы капли сосновой смолы, и дерево излучало янтарный внутренний свет. Тем чернее приходила лесная беспросветная ночь. Одиночество давило на Павла безжалостно и настойчиво. Особенно тосковал он в тишине по ночам. Впервые узнал, что такое бессонница, хорошо еще, что иногда приходил ночевать Апалоныч.

Правда, старик очень уж сильно храпит. «Ты, Данилович, толочи меня в бок, чтобы я потише храпел,— наказывает старик с вечера.— Ты не ленись меня останавливать». Надо ли толочить в бок Апалоныча? Тоска, а может, и сама боль в ступне заслоняются по ночам этим неугомонным разливистым храпом. Оба спали одетыми, на топчане. Ни у того, ни у другого не было ни подушки, ни одеяла. С вечера в пилоставке жарко. К утру, когда подкрадется сон, избушка выстывала насквозь. И Павел всю ночь крутился на топчане. В такие часы подстерегла однажды покаянная мысль: «С какой стати уехал от жены

и от дома? Оставил сына, а может, и двух... Родную мать и малолетнего брата бросил в чужих людях. Что-то сделал не так, что-то вышло не ладно. А как ладно?»

Павел опять проворачивал в памяти несчастный тот день с утра и до ночи.

После разговора с Дмитрием Усовым он распряг мерина. В отчаянии хотел было залететь в лавку Володи Зырина, да что-то остановило. Может, вспомнил, как маялся от стыда после нечаевской пьянки. Вышла статья Сталина... А что толку? Игнаха все равно доконает. Уехать, устроиться в лесопункт... Обжиться, потом увезти семейство. Собрал в кулак всю пачинскую натуру, ступил в дом. Вера Ивановна трясла в сенях детское одеяло. «Приехал? — спросила с надеждой.— Иди, кряду будем обедать». В избе в красном углу стучало ткацкое бёрдо. Скрипели подножки. Аксинья каждую свободную упряжку ткала, Сережка с Алешкой по очереди крутили скально, также по очереди качали они зыбку. «Белый ты весь,— сказала теща.— Не угорел?» — «Угорел,— соврал Павел.— В Ольховице у Славушка». Она слазала на полати, разрезала ему свежую луковицу: «Нако вот, нюхай!» Резкий луковый дух и в самом деле привел тогда в чувство. Аксинья накинула скатерть. Вера пошла звать обедать дедушку, а тот ушел принимать усовское зерно. Тревожно поглядывала на мужа Вера Ивановна. «Да угорел он!» — успокаивала ее Аксинья, только ведь жена всегда видела больше матери. Пришел от мельницы дедко, тоже перемену почуял, одни ребята ничего не чувствовали, хлебали постную губницу, толкали друг друга локтями.

«Ну, так чево в Ольховице-то? — Аксинья выставила противень с холодным гороховым киселем.— Матку-то видел?» — «Видел... — глухо ответил Павел.— Сидели у Славушка». Никто в семье, кроме Ивана Никитича, не любил гороховый кисель с льняным маслом. Вспомнили об этом, наверное, все шестеро, вспомнили и затихли. «Пора сказать»,— подумалось тогда Павлу, и он взял за руку Веру Ивановну. Сердце забилось... Он рассказал про допрос, но не все рассказал, утаил от родных то, что Скачков едва его не арестовал. Утаил и разговор с Митькой Усовым, зато набрался смелости, выдохнул: «Ехать надо! Пеките-ко подорожники!» Он так явственно помнит

ту злую минуту. За большим роговским столом стихло. Ребенок в зыбке проснулся, встал на карачки, весело поглядел на семейство. Павел обвел всех несветлым своим взглядом, на ходу начал придумывать: «Деньги нужны, налог заплатить...» Он видел, что Вера так и замерла вся, так и пошла зачем-то к шкафу. «Не бойся! — Он выбрался из-за стола, настиг и обнял ее за плечи.— За море не убегу...» — «Куда средился-то?» — «На восьмую версту. Дорога зимняя падает... Володя Зырин обещал подвезти до Ольховицы! От Ольховицы в Сухую курью ездока много. Кто-нибудь подвезет. А то и пешком...» Горло его сдавилось, он не мог больше говорить. Вера заплакала. Аксинья молчала, готовая тоже к слезам, и неизвестно чем бы все кончилось, если бы дедко не одобрил решение Павла: «Поезжай, Пашка, поезжай, пока до вёшного! — Старик повысил голос.— А будем и вёшное-то поне пахать? Пусть! Оксютка, иди за мукой, твори подорожники. И ты, Верка, не реви здря».

Вздыхал дедко Никита, охал, кряхтел и кашлял. Ему надо было идти молоть Митьке Усову. Павел слышит его голос, видит сивую бороду, и васильковый свет светит ему из глаз старика: «Поезжай, поезжай, Пашка, пока до вёшного. К весне-то авось образумится который-нибудь: либо Сталин, либо Игнаха...» Жена всю ночь плакала на плече. Утром, едва испеклись подорожники, едва попили чаю, скорей котомку на плечи! Долгие проводы, лишние слезы... Еще с вечера Павел видел, что река обозначилась под горой. Уже стояли на дорогах изрядные лужи. Пришлось ехать в шапке, но в сапогах. Глядела ли Вера вослед ему? Он ступал за подводой, старался не оглянуться назад. Скорее бы волок... В лесу зыринская кобыла вдруг обернулась назад. Она оскалила на Павла большие желтые зубы. Ее круглый кровавый глаз наливался голубизной, вырастал, словно радужный шар... Высокие черные ели стояли в снегу, до узкой тропы сжимая лесную дорогу, а впереди, перед возом, стояла женщина с ношей. Лошадь вот-вот ударит ее запрягом. Но ведь это она, Вера Ивановна, стоит со своей ношей на лесной снежной тропе! Господи, надо бы дернуть за вожжи. Надо остановить проклятую лошадь, а рука Павла двигается так медленно, что ничего не успеть, и вот сейчас Веру, жену его, изо всей силы ударит запрягом...

Павел Рогов пробудился на топчане в холодном поту. В окне брезжило, синело утро. Апалоныча рядом не было. Сердце билось после страшного сна.

Павел откинул крюк, сходил за угол, вернулся в пилоставку и затопил плиту. «Какая же это жизнь? Умываться снегом, в чугунке чай кипятить...» Так думал Павел Рогов, стараясь поскорее забыть кошмарный ночной сон. Оскаленная лошадиная морда еще долго явственно стояла в глазах.

Треска с полузасохшей хлебной горбушкой, кружка кипятку, три поперечные пилы, которые надо точить...

Он выточил их за час-полтора, но никто почему-то не шел за ними. Павел выглянул наружу: солнце сегодня поднималось совсем весеннее. И что-то копилось в душе... Жаль, нет старика. Сходить поискать его в бараках? Может, голодный. Никто теперь не слушает его говорю по вечерам. Выселенцам не до него, а усташата на Пасху разъехались по домам. «Тоже вот,— думал Павел про Апалоныча,— ходит туда-сюда, то домой в деревню, то на станцию. Кормится прибаутками. А сам-то ты? Тоже вроде бы зимогор. Нет, надо уехать. Не горячись, думай... Домой? Нельзя домой. Там Игнаха Сопронов с наганом, милиция. Загребут в первый же день. Так ведь и тут загребут! Вон, Ерохин уже вызывал в кабинет. Доберутся, не сегодня так завтра. Уезжать надо. Шустов советует: «Просись в Красную Армию. Два года прослужишь добром, время минует». Возьмут ли без пальца-то? Антон Малодуб ничего не знает про жену и про сына... И кто это целое утро бродит за воротом?» Нащупал, прижал пальцем...

Крупная, с прозеленью, вошь поставила на раздумьях Павла последнюю точку. Он бросил ее в огонь, схватился за шапку, быстро накинул полушубок, вышел на волю. Куда? Он решительно ступил в сторону шустовского жилья.

Барак пуст. Лишь двое больных, с порубленными ногами выселенцев, молча шуруют в печи. Павел открыл двери в шустовскую комнатенку, встал около умывальника. На него с интересом глядело с полдюжины ребячьих глазенок. Взрослых нет. Дети с любопытством глядели на пришельца. Павел спросил, где у них тятя и мама. В ответ самый младший заревел почему-то что было мочи. Его дружно и быстро успокоили старшие.

Ребятня только что пускала мыльные пузыри. Нарочно для этого на топчане, вверх шерстью, был разостлан целый тулуп, штук пять радужных пузырей еще светилось на нем. Они долго не лопались на овечьей шерсти. Павел не забыл детских забав.

— А ну давай, дуй еще! — сказал он и подумал: «Откуда у них солома взялась?»

В два фарфоровых блюдца с мыльной водой начали тыкаться соломинки. На расщеплённых концах соломинок рождались и росли радужные красивые пузыри. Росли и слетали, парили над своими хозяевами, иные вытягивались от слишком сильного дутья и лопались к обиде нетерпеливого надувальщика. Большие, иногда с детскую голову, они срывались с концов соломинок и плыли по комнате. Ребятишки дули на них снизу. Иной пузырь подымался вверх к почернелому потолку. На круглых золотисто-радужных боках, в крошечном перевернутом виде, отражались все эти белоголовые восторженные шустовские наследники. Павел и сам позабыл про свой возраст. Хотел уже попросить у которого-либо из ребят соломинку и выдуть свой добротный пузырь, но в дверях появился Шустов. Павел покраснел, словно его застали за недостойным занятием:

— Вот, зашел... Думал, хозяин дома. Александр Леонтьевич... Я, значит, это... Уезжать лажу.

— Вот тебе раз! Куда?

— Не могу я тут больше...

Шустов сел на край топчана, вздохнул:

— Гляди сам, Павел Данилович!.. Вольному воля. Но думаю, что делаешь ты это напрасно. Гляди сам... Да.

Павел разволновался и заговорил не то, что хотел сказать:

— Сейчас слышу, за воротом кто-то ходит. Хватил, гляжу, вошь! как дробина... Да чтобы я... У нас сроду этого не было!

— Ну, одна, это еще полбеды,— невесело засмеялся Шустов.— Вот когда поползут рассыпным строем, тогда хуже ничего нет. Я в гражданскую помню...

Шустов не стал вспоминать, махнул рукой. Павел попросил принять инструмент. Шустов еще раз пробовал уговаривать, но Павел стоял на своем:

— Нет, не могу, Леонтьевич. У нас вшей сроду не было... Отпусти. Уйду счас, сразу...

— Ну, коли так, держать не буду! Куда ж ты теперь? — Шустов достал из бумажника тридцатку.— Вот, возьми красненькую и напиши расписку. Думаю, у тебя заработано больше, я распишусь за тебя в ведомости. Сколько останется, перешлю. Но куда?

— Поеду пока в район. Ежели не возьмут в Красную Армию, попрошу справку. Завербуюсь плотничать. Подальше куда, может, в Онегу.

Павел присел к столу и под диктовку начал писать расписку:

«Взято у десятника А. Л. Шустова тридцать рублей в счет зарплаты. Деньги получены сполна. К сему Пачин».

— Рогов нынче,— смутился Павел, не осмеливаясь уйти.

...Александр Леонтьевич всерьез расстроился решением Павла. Не станет в лесопункте еще одного надежного человека. На кого положиться? Бывший бухгалтер Ольховской маслоартели бегал целыми днями по делянкам, ездил в Вологду за новыми лучковыми пилами, хлопотал о печных вьюшках, успевая клеймить баланы. На ходу осваивал Шустов и украинскую мову. Сверху требовали одно: лес, лес и лес! Уполномоченные сновали по всем направлениям. Той же порой, по всем дорогам, ехали первые перебежчики. Местные лесорубы и возчики бревен бросали делянки. Телеграммы из Архангельска одна за другой летели в Устюг и Вологду. Москва требовала от Севкрая усилить приток валютных рублей и ликвидировать кулака. Но в этом настойчивом двойном требовании Центр почему-то не замечал жестокого противоречия: одно исключало другое... Усташенские ребята работали сперва лучше всех, а нынче на Пасху почти все укатили домой. Украинские выселенцы разуты-раздеты. У них нет даже рукавиц. Неумело насаженные топоры слетают с березовых топорищ, люди не знают, с какой стороны рубить, чтобы дерево падало куда надо. Мог ли выполнить норму вчерашний степной хлебороб, никогда не ступавший по пояс в таежный снег? Так думал Александр Леонтьевич Шустов, а Павел Рогов чувствовал вину и неловкость, но стоял на своем...

— Что ж... — Правая рука Шустова гладила по очереди головы ребятишек.— Что ж... Поезжай, коли с вербовщиком будешь в ладах. Только послушайся

моего совета, найди слой в районе! Напиши заявление предрику, объясни ему свое социальное положение... К военкому сходи. Объясни, что брат в Красной Армии, что наемного труда не было... Военкома я знаю, скажи, что от Шустова...

Ребятишки притихли. Они внимательно и серьезно слушали разговор взрослых. Шустову показалось, что Рогов заколебался.

— Не раздумаешь?

Павел глядел в землю, держался за скобу. Не хотелось ему обижать Шустова! Не хотелось и рассказывать про вчерашний день, когда Ерохин вызвал его в лузинскую конторку и долго, один на один, выспрашивал про всю ольховскую и шибановскую родню. Чего было надо Ерохину? Ясно стало только под конец долгой беседы, когда Ерохин заговорил о «классово-чуждом элементе в условиях лесопункта». Он потребовал слушать, что говорят в пилоставке украинские выселенцы... Слушать и сообщать ему, то есть Ерохину. Павел сказал, что не знает украинской речи... Тогда Ерохин встал, подошел вплотную, взял в кулак край роговского полушубка, притянул к себе и произнес: «Не умеешь — научим, не хочешь — заставим! Иди, гражданин Рогов, и крепко подумай!»

Причащает и исповедует... Эти слова Григория Малодуба вертелись на языке. Хотелось рассказать Шустову обо всем, но Павел удержался, не стал говорить. «Советует Александр Леонтьевич сходить к предрику. Найдешь ли и в районе защиту и правду? Нет, надо скорее уехать... Куда? В Шибанихе Игнаха жизни не даст, на чужой стороне вши заедят. Вот в красноармейцы бы на год-полтора! Отслужить бы действительную, а той бы порой и ветер утих... Вон Васька-братан, служит матросом, учат на почетного командира».

Думал Павел и о том, как перевез бы Веру Ивановну сюда в барак...

Сроду во всей деревне, ни в одном, даже самом бедном семействе не бывало одежных вшей. Только иногда оставались после ночлежников-нищих, но тогда весь дом мыли и перетряхивали. Всю одежду, одеяла и наволочки прокаливали в банной жаре. Бывали, правда, головные, мелкие, так этих вычесывали гребнем. Бабы при любой свободной упряжке устраивались где посветлее искать в голове. Каждую

субботу баня со щелоком... А тут одежная вошь! С прозеленью, такие и бывают тифозные.

— Нет, Александр Леонтьевич, не приживусь я тут! Не привыкнуть мне, потому што...

Павел решил, наконец, рассказать Шустову о требовании Ерохина, но тут заскрипела рассохшаяся, сколоченная из сырья барачная дверь. Вошел, вернее влез в комнату начальник Лузин, в пальто с бобриковым воротником, в пыжиковой ненецкой шапке. Уши у шапки — до пояса. Помятые брюки, заправленные в грязные бурки, тоже были не очень чисты. «Не лучше, чем у меня»,— подумал Павел и хотел уйти, но Шустов движением руки остановил и обернулся к начальнику:

— Степан Иванович, присесть у меня негде. Извините.

— Я на один момент, Александр Леонтьевич.— Лузин с обоими поздоровался об руку, оглядел снова притихших ребятишек. Павел опять взялся было за скобу, но Шустов снова остановил:

— Вот, Степан Иванович, был у нас один пилостав, и тот вздумал уехать.

— Куда? Почему?

— Такой дородной мужчина, а испугался малого насекомого! — засмеялся Шустов.— Впрочем, спросите у него сами...

Лузин сделался хмурым:

— Баню, товарищ Рогов, к осени сделаем, даю слово. Работай! Семью со временем перевез бы. Или недоволен жалованьем? Тоже в наших руках! Так что давай, меняй решенье, Павел Данилович! Лесное дело нынче у государства на первом счету. Подумай!

Павел стоял как школьник.

— Крепко подумай, Павел Данилович! — повторил начальник. В голосе Лузина звенела хоть и еле заметно, но приказная струна. И слова были такие же, как у Ерохина! Павел упрямо тряхнул головой:

— Не привык я, Степан Иванович, в лесу жить! Ежели не возьмут в Красную Армию, завербуюсь в Онегу. Лихом не поминайте...

Павел Рогов за руку попрощался с начальством. Двери заскрипели, захлопнулись, места сразу стало намного побольше.

Шустов предложил Лузину сесть на край топчана.

— Садитесь, Степан Иванович, насекомых у нас пока нет.

— Троцкий говаривал когда-то о политической вшивости.— Лузин пробовал пошутить.— А чем обернулась на восьмой версте ерохинская дезинфекция? Знаешь сам, Александр Леонтьевич, план не выполнен не только по вывозке, но и по рубке...

— Да, товарищу Ерохину в активности не откажешь,— задумчиво согласился Шустов.— Газету со статьей товарища Сталина порвал на глазах усташенских возчиков! Прошу покорно, Степан Иванович, извинить. Угостить мне тебя нечем. Самовар ставить тоже покамест некуда.

— Все будет, Александр Леонтьевич! Как говорится, дайте только срок, будет вам и белочка, будет и свисток.

Начальник пощекотал среднего шустовского наследника, пощекотал второго. Но даже ребятишкам была заметна его напускная веселость.

— Тут у меня, Александр Леонтьевич, цидуля насчет вас.— Лузин перешел почему-то на «вы».— Пришла по почте.

— Сопронов поди-ка? — спросил Шустов.

— Нет, берите выше. Скачковым подписана.

Шустов переменился в лице.

Лузин пожалел, что сказал, и хотел перевести разговор вновь на шутливый тон: «Бумаг, Александр Леонтьевич, на наш век будет достаточно, фабрика Печаткина трудится без остановок. Не обращай внимания». Не таков был человек Шустов, чтобы не понимать, что стоит за такими бумагами!

— Разыскивают кулака и правого оппортуниста? Не так ли, Степан Иванович?

— Так.— Лузину ничего не оставалось делать, как согласиться.— Но вы не беспокойтесь. Я эту бумагу не читал, ты про нее не слышал... Говорю определенно. Ерохин, по всей вероятности, не знает о ней.

— Если Ерохин не знает, то это и есть политическая вшивость...— произнес Шустов.— Придется, Степан Иванович, и мне... покидать вас...

— Александр Леонтьевич, да вы что? Я ручаюсь за вас своей головой. Я сейчас же напишу в район.

Они не заметили, как теперь уже оба перешли на «вы».

— Нет, нет, Степан Иванович.— Шустов решительно встал.— Я вас подводить отнюдь не желаю и уеду не медля! Мишка, ну-ка, братец, обувай сапоги! Беги за мамкой, она в третьем бараке пол моет...

Напрасно Лузин убеждал Шустова в том, что поставит Скачкова на место и что все со временем утрясет. Шустов не верил, не мог верить этим словам! Мысленно он уже прикидывал, где лежит упряжь...

Мишка долго искал под топчаном свои сапожонки. Ему то и дело попадались чужие: то маленькие, то большие. Наконец он обулся в какие попало и убежал за матерью.

Пять пар детских пронзительных глаз с недетской тревогой следили за каждым движением взрослых.

* * *

Павел тем временем сдал инструмент кладовщику, без сожаления окинул взглядом еще теплую пилоставку и... покинул восьмую версту.

Он шел с котомкой в сторону железной дороги, к разъезду, куда мужики возили клейменые Шустовым хлысты. Чтобы выехать местным поездом в районный поселок, надо было за два часа пройти восемь верст.

Он шел по лежневке, почти оголенной. Снегу на ней не было, лед во многих местах растаял. Еще ползли по лежневке редкие подводы с хлыстами. Когда полозья съезжали с ледяных мест на вытаявшую землю, лошади останавливались. Тащить груженые дровни с подсанками по голой земле не под силу было самым здоровым коням. Возчики ругались почем зря. Усташенский парень, которого догнал Павел Рогов, остановил подводу. Попросил закурить и сел на большое толстое дерево, которое вез к разъезду.

— Не куришь? — удивился он.

Павел сел с ним рядом, на бревно. Парень вдруг обругал матом своего же мерина:

— Стой, задрыга такая, бл... долгоногая!

— Ты за што лошадь-то так честишь? — удивился Павел.

— А не за што! Не твое дело...

Парень спрыгнул с бревна на землю и вдруг начал развязывать узел веревки:

— Эй, подсоби скатить!

Павел был слегка ошарашен. Не задумываясь, помог парню скатить бревно с колодок дровней и подсанок. Сам возчик тоже недолго думал. Развернул подводу, закинул подсанки, сел на дровни и гикнул коню. Через минуту оба пропали за лесным поворотом. Толстое долгое ровное бревно осталось лежать на дороге...

Павел Рогов заспешил. Он шел дальше и дальше, словно бы от места своего преступления. Чем дальше уходил он от большого, брошенного на дороге хлыста, тем больше что-то щемило в груди. Дерево, брошенное на лежневке, не отпускало его от себя, взывало к его чести и совести...

А он шел от него дальше и дальше.

Не доходя до разъезда примерно с версту, он увидел новые чудеса. «Цыганы что ли? — мелькнуло в уме.— Нет, не цыганы. И на украинцев не похожи, разговаривают по-русски...»

В болотном снегу, перемешанном со мхом и болотной черной землей, среди свежих пней и еловой щепы разместился какой-то табор. Табор не табор, но что-то похожее на него. Или военный лагерь? Дым от костров стелился по лесу. Бабьи крики и детский плач становились слышнее: нет, не похоже было на военный бивак!

Еще издалека Павел увидел непонятные шалаши: ряды елок, едва освобожденных от сучьев, были поставлены шатром, вершина к вершине. Промежутки и щели между деревьями были затыканы и покрыты хвоей. На пнях и подкладках торчали узлы и даже разноцветные сундуки. Люди бродили меж кочек и пней по выступившей весенней воде, кричали что-то, но всего слышнее были женские причитания и детский плач. Павел Рогов подошел ближе. Высокий белый старик долбил лопатой промерзшую землю между березой и небольшою осиной. Павел поздоровался с ним. Старик оперся на черень лопаты, ответил коротким кивком. Отдышался и вновь начал долбить

— Ты чего тут ищешь, а дедушко? — стараясь быть пободрей, спросил Павел.— Колодчик, что ли? А ну-к дай мне...

— Не ищу, а ховаю,— сипло ответил старик и подал лопату.

Павел Рогов несколькими ударами пробил несильную болотную мерзлоту, обрубил заступом древесные корни.

— Вот! Теперь дело-то скорее пойдет...

— Пойдеть, пойдеть...— бормотал старик неразборчиво.— Дело идеть да идеть...

Только сейчас Павел заметил, что болотина в некоторых местах была уже изрыта. И только сейчас ему стало ясно, что копает белый старик...

Смятение и горький страх подступили к сердцу. Старик оставил заступ и, ничего не сказав, направился к шалашам. Павел стоял, не в силах сдвинуться с места. Через какое-то время старик появился опять, он держал под мышкой ящик из-под гвоздей. Следом за стариком молча шла женщина в праздничном казачке. Девочка лет пяти держалась за подол тоже праздничного материнского сарафана. Красными, как у голубки, лапками цеплялась она за одежду матери. Ее ноги в маленьких сапожках запинались за корневища, она упала, заплакала. Мать схватила ее, рывком подняла на руки. Павел уже отошел от ямы и видел, как старик бережно положил ящик на край болотной ямы. В могилке быстро копилась вода. Женщина с жутким прерывистым воем бросилась на ящик. Старик дал ей повыть, затем отнял у нее ящик и опустил в воду... Женщина, так и не поднявшись с колен, сунулась под березу, девочка тоже с ревом дергала ее за полу праздничного казачка. Старик ногой утопил младенческий гробик в холодную весеннюю воду и начал поспешно спихивать туда же черную болотную землю.

Павел быстро пошел дальше, обходя кочки и пни. У костра, сидя на свежем березовом пне, грелся красноармеец в долгополой шинели. Винтовка с примкнутым штыком висела на ближней елке. «Хоть бы дулом-то вниз повесил»,— подумалось Павлу. Женщины варили что-то в котлах у другого костра. У подростка, который строгал ножиком палку, Павел спросил, откуда они. Мальчишка сказал, что ростовские.

— Эй! — окрикнул Павла красноармеец.— Ты кто такой? А ну, покажь документы.

— Да нет у меня никаких бумаг,— сам того не ожидая, соврал Павел.

— А нет, тогда иди откуда пришел. Тут тебе нечего делать...

Павел поспешно зашагал прочь к разъезду.

Горький дым ростовского лагеря, женский плач, покрытые хвоей нелепые шалаши, детские могилки в болоте — все это осталось где-то в лесу. Словно приснилось в кошмарном сне.

XII

Ерохин был недоволен судьбой...

Что ему два этих кубика на вороту гимнастерки после уездного секретарства? В свое время Нил Афанасьевич запанибрата встречал самого Павлина Виноградова. Вместе гнали с Двины англичанских вояк. С Иваном Шумиловым — секретарем Губкома — тоже на равных был, а нынче вот Ерохин ловит беглых украинцев. Касперс — новый начальник в Вологодском ОГПУ — загнал в лес. Уж лучше бы служить в десятой дивизии у товарища Гринблата!

Губернию ликвидировали и сделали округа. С новым секретарем Окружкома Стацевичем и председателем Окрисполкома Эглитом Ерохин не был раньше знаком и вот ловит теперь бродячих попов, пасет как пастух спецпереселенцев да строит куркульские шалаши...

Голова клонилась от вина и бессонницы. Ерохин сидел на квартире заврайколхозсоюзом Микулина в ожидании пригородного поезда. Зеленая бутылка, выпитая на две трети, стояла за самоваром. Ерохин встряхнулся, ткнул вилкой в миску с бараньим студнем. Микулин привстал на лавке:

— Еще, Нил Афанасьевич, по мерзавчику?

— Давай!

Ерохин выпил стопку. Есть не стал, только понюхал сырую луковицу.

— Я, Николай Николаевич, на том бюро сам был. Шестого февраля, как сейчас помню. Утвердили особую тройку по местному раскулачиванию. Я Райберга спрашиваю, кто отвечает за охрану спецпереселенцев? Отвечает: «Только за счет местных резервов!» А где размещать? Вот и сиди, ломай голову. Я тебя очень прошу: немедленно займись фондами для лузинского участка! Вскрывай, находи резервы. Не найдешь — пеняй на себя.

— Фонды, Нил Афанасьевич, все выбраны. Надо просить в Вологде...

— Это я и без тебя знаю. Сколько сейчас?

Ерохин сверил свои часы с хозяйскими ходиками и грузно, медленно поднялся из-за стола. Он передвинул кобуру на самую задницу. Микулин подал ему тяжелый полушубок, проводил до наружных дверей:

— Успеешь, Нил Афанасьевич! Спешить не стоит.

Ерохин не попрощавшись ушел на вокзал. Хозяева в другой половине еще не спали, и Микуленок не стал закрывать наружную дверь. В тепле своей комнаты он зябко поежился. «А вить отесали бутылку-то. Вдвоем за один вечер всю пол-литру...» В зеленой посудине оставалось сколько-то водки, и Микулин поставил бутылку в шкаф. Самовар не стал убирать и улегся спать. «Найдем фонды! — бодро подумалось Микуленку.— И резервы вскроем».

Что снилось Микулину в ту ночь, после отъезда Ерохина? Ничего ровным счетом. Он спал крепко, как в детстве, и если чего-то снилось, то сразу и забывалось.

Много воды утекло в реке Вологде, в реке Сухоне, Леже да Кубене с того дня, когда Микуленок стал районным начальником. И все шло хорошо, пока не началось раскулачивание. Микулин усидел-таки на своем месте, хотя многие, и не такие как он, а поумней и пограмотней, полетели с постов. А недавно опять все перепуталось... Статья Сталина вывернула наизнанку всю политическую хламиду. Начался временный откат от генеральной линии.

«Откат временный, накат постоянный. Устав колхозный опять временный,— размышлял Микуленок. — Правду мужики говорят, что все теперь стало временное».

Утром, между бритьем и чаем, он с тщанием обувался, с удовольствием одеколонился и напевал про московский пожар. А что тужить? Три к носу, все пройдет. Резервы пусть ищет предрик. Одна беда, Микуленок всякое утро вспоминал про Палашку, про ту грешную темную ночь и ржаную солому. Особенно впечаталась в память широкая, на полсвета, но совершенно беззвучная зарница, осветившая спящую Шибаниху, и гумно, и заголенную девку, и самого по-воровски торопливого Микуленка.

Николай Николаевич старался забыть все это, да

не забывалось, и он нарочно приговаривал такую пословицу: «Дело забывчиво, тело заплывчиво». Его перевели в район и поставили на высокую должность. И нынче ему вовсе не до Палашки. Хотя каждый раз, как вспомнится та ночная зарница, сердце Микулина сладко лягалось в груди.

Жениться, конечно, надо, да стоит ли торопиться? Зарплата хорошая, жилье на частной квартире, обзаводиться хозяйством не хочется. Палашка тоже никак не подходила к его новой жизни и должности. «Куда ее? Сюда, что ли, везти? Чего стоит одна пестрядинная юбка...» — думал Микулин.

«А ведь и тут, в райцентре, девиц всяких полно. Вон выселенки, украинские хохлушки. Брови у каждой черные и меж бровями тоже черный пушок. Глаза волоокие, такая глянет и завлекет, не успеешь очухаться. Правда, опасное это дело. По должности. Свяжешься с раскулаченной, а тебе припишут близорукую классовую линию. Нет, лучше уж приударить за своими конторскими. Тут дело надежнее».

Вчера бывшая ерохинская секретарша, которая служит в прокуратуре, пригласила Микулина в клуб, на предмайскую репетицию. В синеблузной бригаде не хватало мужчин для физкульт-пирамиды. До Первого мая осталось мало времени. Микулин пришел на репетицию. В смятении и ужасе увидел он, как раздеваются синеблузницы. Снимать сапоги и галифе заврайколхозсоюзом наотрез отказался, трусы, майку и парусиновые тапочки, выдаваемые из клубной кладовки, не принял.

— Я, та-скать, это... В другой раз.

Синеблузницы наперебой пустились его агитировать. Они бегали по дощатой сцене в одних трусах и майках. Затем начали устраивать пирамиду. Пирамида получалась не полная, так как не хватало главного коренника. Микулина не сумели раздеть, но утвердили посреди сцены. Он широко расставил ноги, как было велено. По обе руки, с боков, оказались полуголые синеблузницы, каждая должна была опуститься на одно колено. Вторая пара должна была встать на первую, на самом верху предполагалось поставить юную пионерку. Все это сооружение и должен был держать коренник, но галифе и сапоги Микуленка не годились для этого. После пирамиды бывшая секретарша Ерохина начала читать стихи Безыменского. Микулин по-

чувствовал себя лишним и в смущении покинул репетицию.

Сегодня он вспомнил все это и покраснел задним числом. «А что, девка как девка»,— осознал он событие с пирамидой и секретаршей. Он пробовал старательно думать о служебных делах. Получалось плохо... Карие глаза секретарши шаяли помимо Микулиновой воли. Помимо его сознания белело и девичье колено, и еще... все там прочее... Вот чем обернулась для него клубная физкульт-пирамида!

Николай Николаевич Микулин твердо решил как можно быстрей, пусть и холодно, заменить кальсоны трусами. Хозяев не было дома. Он допил чай в хозяйской кухне и крякнул: пора и на службу, времени полдевятого.

Лукошко с крашеными яйцами стояло на конце стола. Что это, уж не Пасха ли? Ну да, Пасха и есть.

Микулин вернулся в свою половину к зеркалу. Пиджак с партийным билетом сидит на плечах как надо. Гимнастерка-рубаха чистая. (Ворот, правда, не как у Ерохина, без белой полоски). Сапоги начищены с вечера, пальто, шапка, перчатки — все как требуется. Вот только к портфелю никак нету привычки: каждый раз какое-то от него неудобство, как от чего-то не то лишнего, не то постороннего.

Да, к портфелю Микулин еще не мог себя приучить, хотя к бумагам относился с большим почтением. Правда, бумага бумаге тоже ведь рознь. Одни понятны с первого разу. Другие излишне ученые, с ходу не разберешь. А вон секретарь райкома, новый, послеерохинский, этот говорит понятно, а поет не по-русски. Предрик, тот посылает бумажки коротенькие и всех лучше выступает на митингах.

А тут что, вместе с газетой?

Вместе с газетой была повестка со штампом прокуратуры: «т. Микулину Н. Н. Вам надлежит явиться в качестве свидетеля к помпрокурора т. Скачкову». Указывалось число — сегодняшнее и время — три часа дня.

Микулин испугался. Какие еще свидетели? Сперва свидетель, а рядом и подсудимый. Не далеко ходить... С какой стати? Только нет худа без добра: повестку печатала веселая синеблузница. Был выходной, но Микулин пошел на службу и весь день до обеда провел в непонятном волнении. Он не мог разобрать, от чего

случилось такое волнение. С одной стороны, неприятность, вызывают в органы, причем сам Скачков. С другой стороны, повестку-то печатала вчерашняя физкультурница. Микулин еле дождался обеда.

* * *

Прокуратура размещалась в полуверсте от РИКа в новом доме, срубленном в лапу. На втором этаже еще не успели настлать полы и пахло свежей смолой. Внизу, несмотря на воскресный день, трещала машинка синеблузницы. Секретарша грозного помпрокурора взглянула так, что у Микуленка перехватило дыхание. Словно охватило его теплым весенним ветром. И в словах ее чуялась такая же теплота. В чем-чем, а в этом-то Микуленок уже разбирался. Она спросила:

— Николай Николаевич, что же вы убежали вчера с репетиции?

— Да я, та-скать... имелось срочное дело...— Микулин растерялся.— Ну, теперь я... то есть в любое времё.

— Не в любое, а вечером! Сегодня в семь тридцать. Договорились?

Микуленок был на седьмом небе. Он не успел ничего сказать. Некрашеная филенчатая дверинка распахнулась. Скачков вышагнул из кабинета.

— Христос воскрес! — зычно гаркнул помпрокурора и хохотнул, довольный.— Прошу к моему шалашу... Ты, Микулин, знаешь, для чего я тебя вызвал? Нет, не знаешь! Садись, где тебе любо. Кури, ежели здоровья не жаль. Вот я, к твоему сведенью, курю только по большим праздникам. Учти, что нынче у нас Пасха, и кури! Будем оба кадить.

«Что-то больно ты разговорчивой,— про себя отметил Микулин.— Неизвестно, к добру или к худу».

— Значит, Николай Николаевич, так. У меня к тебе три вопроса. Во-первых, когда жениться будешь? Во-вторых, бросай-ко ты свой колхозсоюз да переходи к нам. У нас народу в обрез! Что? Не вижу согласия...

— Пока, та-скать, справляюсь на прежней работе...

— С вином да с криком станешь предриком. — Скачков смеялся своим же шуткам.— Ты Головина знаешь? Не знаешь. Это новый областной прокурор. Приехал в Вологду из Рязани. Голова бритая...

Скачков, наверное, почувствовал, что говорит лишнее, и встал, заходил около своего стола. Микулин разглядывал слоистые линии и сучки сосновых тесаных стен. В простенке висел телефон. Кроме сейфа, стола, старинного кресла и двух некрашеных табуреток, не было в кабинете следователя ничего. Сам Скачков был сегодня в хромовых сапогах и в гражданских суконных брюках. Поверх гимнастерки на правой ягодице, как у Ерохина, топорщилась кобура. Серая пепельная голова следователя подстрижена ежиком, под носом, такие же серые, торчали два круглых клочка. «Усы-то под Ворошилова»,— подумал Микулин и нетерпеливо покашлял. Скачков заметил это нетерпение. Сел за стол.

— Вот ты говоришь, что работа у меня легкая, сиди да плюй в потолок... (Ничего этого Микулин не говорил и даже не думал). А у меня с Октябрьской выходного дня не было. Ночью Ерохин шлет нарочного: срочно принимай меры! Утром сам заявился. В чем дело? Сбежал из лесу административно-высланный. Как фамилия? Малодуб Антон. Я говорю: Малодуба достану из-под земли. Найду, говорю, тебе этого Малодуба, а ты мне взамен что? Ничего.

— Нашли? — спросил Микулин.

— Вечером отправляю в Вологду. Лет пять отхватит, в окружном суде немного и чикаются. Так вот, Николай Николаевич...

Микулин насторожился. Скачков глядел на него с прищуром. Постукивая по столу карандашом, спросил:

— Ты Шустова хорошо знаешь?

— Александр Леонтьевича?

— Точно так.

— А что?

— Тоже сбежал. Из Ольховицы вначале, теперь с лузинского лесоучастка. Ну, мы и его так или иначе найдем. А ты мне вот что скажи...

Установилось молчание. Скачков глядел на Микулина, Микулин глядел на Скачкова. «Видно, у его мода такая,— подумал Микуленок.— Измором берет».

Скачков действительно брал измором. Но сегодня у него не было на измор времени.

— Ты мне вот что скажи... Какое у тебя мнение о Сопронове? Вы вроде бы из одной деревни.

— Как какое? — удивился Микулин.— Сопронов и есть Сопронов. Он, та-скать, за советскую власть в огонь и в воду. В партии раньше меня.

— Так.

— Ручаюсь за него в большом и малом.

— Так.

— Ежели, та-скать, в части правого уклона... надежнее всех прочих.

— Так, так.— Скачков откашлялся.— Ну, а правда, что за грудки любит брать?

— Бывает такое дело. Горяч, иной раз и кулакам волю дает,— сказал Микулин и подумал, что за грудки брать мастер и сам Скачков, у Ерохина хорошо выучился. «Это почему он записывает?» — удивился Микулин, обозлился и повторил настойчиво: — Дело такоё, товарищ Скачков! За Игнатья Павловича перед кем хошь головой, та-скать, поручусь.

Следователь вдруг переменил голос:

— Давай, давай, поручись! У меня, товарищ Микулин, есть другие сведенья! Вот! Почитай...

Скачков бросил на стол бумагу, написанную под копирку. Микулин прочитал с пятого на десятое, но понял, что акт написан о рукоприкладстве Игнахи Сопронова. «Он взял за шкирку мою жену, потом сдернул платок с дочки Пелагии, после чево и я из себя вышел...»

Микулин все еще не мог ничего понять. Пока он читал акт, подписанный каракулями Евграфа Миронова, Скачков с любопытством щурился и шевелил ворошиловскими усами. Дважды нетерпеливо вынимал карманные часы.

— Дай суда! — приказал следователь.— А эту возьми.

В руках Микулина оказалась другая бумага, тонкая, отпечатанная на машинке под фиолетовую копирку. Снова, хоть и ненадолго, встало в глазах белое круглое колено следовательской секретарши. Оно, это колено, ободряюще подействовало на Микулина, было оно посильнее любой, самой грозной бумаги, посильнее, может, и следовательской кобуры с наганом. Иначе отчего же Микулину стало весело? Отчего и сам Скачков показался ненадолго смешным? Разбираться в своих переживаниях Микулину было сейчас недосуг. Он читал вторую скачковую бумагу: «Сопронов И. П., урожденец д. Шибанихи, пред. Ольховского ВИКа. Долгое время проживал неизвестно где. Из партии был механически выбывшим. Во время раскулачивания гр. Шустова, д. Ольховица, присвоил ружье, угрожал гражда-

нам. В д. Шибанихе вместе с женой арестовал гр. Миронова, незаконно держал взаперти и занимался рукоприкладством относительно жителей д. Залесной. Позорным финалом в д. Шибанихе явилось раскулачивание середняка Брускова Северьяна и школьных работников с присвоением женой Сопронова двух решот и шестнадцати кило ржаной муки. Как самый активный левый оппортунист и загибщик гр. Сопронов содействовал провалу коллективизации в Ольховском с/с и допустил срыв налоговой политики. Направляется в окружной суд с привлечением по соответствующим статьям Уголовного Кодекса РСФСР.

Пом. прокурора *Скачков*».

— Подпиши вот тут,— спокойно предложил Скачков.

— Д... д... да ты что, товарищ Скачков? — Микулин даже начал заикаться.— Я, та-скать, это... такие бумаги не стану подписывать!

— Почему?

— Тут все, та-скать, наврано.

— Наврано? — Скачков грохнул по столу кулаком. Чернильница подскочила и пролилась, карандаш скатился на пол.— Я тебе покажу, как тут наврано! Люба! Арестованного привели? Гражданин Миронов, суда!

С этой минуты Микуленку перестало мерещиться девичье колено.

В сопровождении милиционера в дверях стояла сама синеблузница, а позади нее — из-под земли, что ли? — перетаптывался своими мокрыми валенками не кто иной, как Евграф Миронов. Его дубленая шуба еще в прихожей воняла овчиной. Под широко растоптанными валенками стояли целые лужи.

У Микуленка что-то опустилось внутри. Скачков подал знак, и Евграф ступил в кабинет. Увидев изумленного Микуленка, Евграф поглядел на него дважды: сперва с одного боку, потом зашел с другого. И ничего не сказал:

— Та-скать... Евграф Анфимович, доброго здоровья,— проговорил смущенный Микулин. Евграф отвернулся. Он обратился к Скачкову:

— Товарищ Скачков, ты мне скажи в определенности, долго ли ишшо будешь в бане меня держать?

— Сколько надо.

— Либо отправлели бы, либо домой отпустили. До суда-то...

— Ты, гражданин Миронов, нас не учи! Что делать, мы сами знаем. Я вот тебя хочу с ним познакомить,— Скачков кивнул в сторону Микуленка,— ежели вы еще не знакомые. Люба! Запиши разговор...

Синеблузница присела на стул с карандашом и блокнотом.

Евграф потупился. Заправил бороду под шубу. Не знал он, куда деть большие свои ручищи, стоял, глядел на мокрый от валенок пол.

— Ну? — торопил Евграфа Скачков.— Знакомы?

— Этот-то? Этот сатюк мне знакомой. Знакомой и я ему. Только я с этим прохвостом и рядом не встану, я его, дьявола... Давно надо бы ему ноги-то выдернуть!

— Тихо, тихо! — Милиционер схватил Евграфа за рукав, да так, что рукав треснул. А может, и сам Евграф так отдернул руку, что рукав треснул. Микулин не знал, куда деваться от стыда, краснел и ерзал:

— Та-скать, не имеет значения... товарищ Скачков.

Евграф взъярился еще больше:

— Опеть ты миня таскать? Я вот тебе, прохвосту, потаскаю, я...

Евграф шагнул, намереваясь схватить Микуленка за ворот, и был остановлен.

— Тихо, тихо! — Милиционер держал Евграфа за второй рукав.

— Чево тихо? Я и так тихо! Он, прохвост, мою девку в гумне уделал и сам в район! Он и у вас тут наделает выблядков, да и в Вологду убежит, я этого кобеля знаю! Он у меня не то запоет, ежели я-то за ево возьмусь! Товарищ Скачков? Скажи-ко, хто евонных выблядков будет кормить? Моя девка была девка как девка, нонче родила! Парня вон принесла. А вить этот прохвост жениться сулил!

— Родила, говоришь? — Скачков хохотнул.

— Да! — сразу переменился Евграф. Подбоченился.— Витальем зовут.

...От стыда Микуленок готов был провалиться сквозь землю. Он, торопясь, расписался в бумаге и красный как рак выскочил из кабинета. Глаза бегали, руки суетливо возились с портфелем. В таком виде Микулин и выскочил от Скачкова. «Как это

так? — в смятении роились его мысли.— Неужто Палашка Виталья родила? Вот тебе и физкультурная пирамида... Евграф давно должен быть отправлен, а он тут. Опозорил, черт бородатый, на весь район. А Сопронов-то? Ничего себе!..» Микуленок не чуял под собой ног, перешагивал вешние лужи, стремился подальше от прокурорского дома.

Тем временем Скачков, довольный, убрал подписанную Микуленком бумагу и отпустил секретаршу. Евграф по-прежнему стоял, то глядел на затоптанный пол, то снова клеймил теперь уже не Микуленка, а Сопронова. От волнения он забыл сам про себя, о своей же пользе:

— Я ему, дьяволу, вихлет[1] сломлю, когда приеду в Шибаниху!

— Не приедешь,— возразил Скачков.

— Это как так?

— А так. Моржам будешь спины ломать, гражданин Миронов! Отправим тебя ближе к Белому морю. А всего скорее заставят тебя елки спиливать.

— Не я первый, не я последний,— перекрестился Евграф.— Господь не оставит...

— Слушай внимательно твои вчерашние показанья.

Следователь начал скороговоркой бубнить текст допроса: «...взял за шкирку жену Марью, сдернул платок с дочери Палагии, ударил меня по руке, после чего я из себя вышел и схватил от шестка кочергу».

— Так.— Скачков зачеркнул слова насчет кочерги.— Слушай дальше. «Часов было часа два ночи, он распахнул ворота и пнул мою бабу ногой. Она ревела и дочь Палагия ревела...»

Скачков велел Евграфу подписать. Евграф взял карандаш и печатными буквами на бумаге вывел свою фамилию.

— Увести! — коротко бросил Скачков.

Милиционер вышел первый, указуя дорогу арестованному, чтобы тот не открыл по ошибке другие двери.

Скачков отодвинул бумаги и зевнул, потянулся как сонный кот.

Дело сделано.

---

[1] Вихлет — хребет.

Не больно-то приятное дело оформлять такие бумаги, но ничего не попишешь, поскольку пришло указание свыше. Дня два назад ему передали телеграмму нового областного прокурора Головина с требованием выявить и привлечь к уголовной ответственности левых загибщиков. На верхнем левом углу чернилами косо была поставлена резолюция предрика: «Выявить. Оформить». Прокурор в районе тоже был новый, приезжий, тот красным карандашом добавил: «т. Скачкову, для исполнения». Скачков думал над телеграммой ночь, ни до кого, кроме Сопронова, не додумался и решил допросить кого-либо из шибановских арестованных. Рогов Иван был давно отправлен. Под рукой оказался всего один, Евграф Миронов.

Такова была история сегодняшнего допроса предрайколхозсоюза Микулина. «Хорошо, что не успели отправить Миронова в Кадников»,— подумал Скачков и позвал секретаршу:

— В двух экземплярах! Срочно...

* * *

Милиционер был обут в сапоги и шел прямо по лужам, Евграф же шагал в валенках и старался ступать где посуше, поэтому стражник иногда останавливался и ждал своего арестованного.

С утра было солнечно и тепло. Скворцы пели по всему поселку. Сейчас вдруг стало темно, наплыло небесной хмари и повалил густой нехолодный снег. Широкие, по пятачку, хлопья залепили Евграфу бороду. Шуба раскисла, зимняя шапка промокла, лепешкой сидела на давно не стриженной голове. Но особенно мучился Евграф с обуткой. Ноги были давно сырые, хоть и обут с портянками. Да где это видано, чтобы по лужам да в катаниках? Хоть бы какие неражие сапоги...

Арестованных кулаков, подкулачников и овверхушенных держали в поселковой бане, на допросы водили через весь районный поселок. Евграфу было стыдно до слез: «Эк, до чего дожил! О Паске по лужам в катаниках. Будто варнак аль душегубец...»

Снег падал так густо, что народу на улице не стало, но какая-то старушка все же попробовала всучить Евграфу два яйца и горбушку ржаного хлеба. Милиционер отпугнул старушонку, да и сам Евграф

не считал себя нищим. Обижен — это верно. Обижен, да не нищий, хоть и говорится в пословице: от сумы да от тюрьмы не зарекайся. Он и не зарекался. Только на милостынку век не надеялся и нынче не будет. Эх, кабы сапоги вместо катаников! Прохвост Микуленок, небось, видел, во что обут Миронов Евграф. У самого-то сапоги хромовые, со скрипом. Те самые, которые подвели блядуна Микуленка за Евграфовой печью. Дело было в летней избе. «Палашка, дочка... Марья жонка... Где они, бедные, чем живут-кормятся?» Евграф на ходу, кулаком промокнул глаза. Про Палашку-то... Сказал наугад, а ей вроде еще и родить пора не пришла. В мае должна и родить.

Но в голове у Евграфа так уж сложилось, что Палашка родила парня Виталья. Почему Виталей? А кто знает, Виталей и Виталей...

Проходили мимо потребиловской лавки, дальше начинались склады и «галдареи». На одной галдарее под навесом сидел человек с котомкой. Он оглянулся, увидел Евграфа и сразу вскочил:

— Божатко!

Евграф встал как вкопанный в землю. Не верил глазам, разглядывал:

— Пашка? Неужто ты? Здорово, парень! Христос воскресе!

— Воистину...

Милиционер не слышал и топал дальше, а когда почувствовал за собой пустоту, обернулся назад:

— Живо, живо! Шагом марш.

— Да мы и так живы,— сказал Евграф.— Вишь, родня вить, дай хоть поговорить...

— Ежели не очень долго.— Милиционер оглянулся во все стороны.— А то мне за вас попадет.

— Не попадет! — Евграф обнял Павла.— Ты давно ли с дому-то?

Оба сели под навес галдареи, около коновязи. Павел сбивчиво рассказал про Шибаниху и про свою работу на лесоучастке. Спросил про Ивана Никитича.

— Отправлен! Давно отправили, а куды не знаю. И Саша залисенский отправлен, и Гришка из Заозерья, а меня вот дёржат. Пошто дёржат, не знаю. Сидим в бане, кормят дородно. Да кажин день новых приводят, однех в Кадников отправят, новых приводят. Места-то мало.

Милиционер забеспокоился:

— Хватит! Встали, пошли.

— Да мы счас! — обратился к нему Павел.— Еще немного...

Евграф заторопился:

— Паша, скажи моим... Вот кабы сапоги мне. Послали бы с кем... Я бы не тужил. Вишь, обутка-то? Не по климату катаники-то!

Павел не долго думая начал разуваться.

— Да ты сам-то...— Евграф растерялся.

— Бери, бери! Обувай. Я-то тут разживусь. Возьмут в Красную Армию, там обуют. А то знакомых увижу...

Евграф вопросительно поглядел на конвойного. Тот легонько покашлял и опять оглянулся во все стороны. Негромко сказал:

— Живо, живо. Обувай, да надо идти.

Евграф быстро обулся в Павловы сапоги.

— Паша... Век буду помнить... Ну, не поминай лихом. Скажи там поклон... Подсоби моим бабам... чем можно...

— Прощай, божатко! Не увижу я их. Уеду. Хочу в Красную Армию...

— Поезжай... Ладно и сделаешь...

Павел стоял босиком на «галдарейном» настиле кооперативного склада. Ныла больная ступня. Евграф с милиционером быстро двигались к бане, оба вскоре исчезли за углом галдареи.

Павел кусал губы. Глаза тяжелели от влаги. Ступня и здоровой ноги начинала мерзнуть, он поглядел на Евграфовы валенки. Как в них добраться хотя бы до военкомата? Деньги, выданные Шустовым, не троганы. Надо купить какую-нибудь обутку. Сапоги... хоть какие-нибудь. Вот и лавка рядом. До лавки-то уж как-нибудь...

Он расправил вонючие сырые портянки Евграфа, сунул руку в один валенок, чтобы выбросить промокшую соломенную стельку. Рука нащупала что-то лишнее. Павел вынул из валенка много раз сложенную бумажку. Развернул. Написанная химическим карандашом, подмоченная на углах и сгибах, была она сухая по середине. Павел прочитал и все понял. Украинские слова почти все оказались понятными:

«Кому в руки попадет это письмо. Низкий тому поклон. Отправьте по почте по этому адресу...» Бумажка с адресом была написана по отдельности. Па-

вел спрятал письмо и адрес в бумажник, обул мокрые Евграфовы валенки и запрыгал через лужи, в сторону кооперативного магазина. Но магазин был закрыт. Воекомат размещался в том же доме, только с другого крыльца. Павел запомнил это еще тогда, когда вызывали на приписку. На дверях с небольшой красной вывеской — висячий замок. Выходной! Все выходные, кроме милиции... Надо было ждать до завтра, а где ночевать? Павел, растерянный, присел на рундук.

Милиционер, сопровождавший Евграфа с допроса в районную баню, хоть и с оглядкой, но дал переобуться. А как встретит райвоенком? Действительно ли приписное свидетельство, не потребуют ли других справок? А тут еще такая обутка и вид... Нет, вид у Павла Рогова был совсем не военный!

XIII

«Христов день... Пасха. Самый большой праздник в году...» — Павел боролся с дремотной усталостью, сидя на военкоматском рундучке. Ему вспомнилось детство. Ночь перед этим праздником всегда была какая-то непонятно-торжественная. Большие почти не спали, ходили в церковь, маленькие чуяли все это во сне. Утром бабушка поцелует и даст крашеное яйцо: «Христос воскресе, Пашенька!» Надо было говорить «Воистину воскресе», а он долго не мог научиться. Стеснялся, что ли? Пироги утром были всегда пшеничными, иногда полубелые. На улице вешняя свежесть. От всех домов слышны веселые петушиные клики. Говорили, что солнце в тот день ближе к земле и что оно играет на небе. Ребятишки и некоторые взрослые выходили утром смотреть, как солнце играет и радуется. Играет ли солнце сегодня? Или и над Шибанихой такая же снежная серая мгла? Если и так — все равно в доме напечены пироги. Дедко Никита в новой ситцевой рубахе поет под нос себе: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». И Вера, жена, и сын Ванюшка, и теща Аксинья — все праздничные. Встали в глазах мать с братом Алешкой: у них ни дому, ни лому. Где они-то сейчас?

Павлу стало еще горше. Он сидел у запертых военкоматских дверей. Поздний весенний снег падал на

его понурые плечи. Была Пасха. Христов день, двадцатое апреля одна тысяча девятьсот тридцатого года. Был праздник, скоро бы сеять, а он, Павел Рогов, тут, в чужом месте, с мокрыми ногами, с одной тридцаткой в кармане. В бумажнике было еще приписное свидетельство и арестантское чье-то письмо. «Как чье? — мелькнула вдруг мысль.— Да ведь это, наверно, письмо Антона, Грицькова братана. Убежал мужик от Ерохина искать жонку с младенцем, наверно, вчера убежал! Его сразу же и словили да в районную баню. Теперь пойдет под суд, посадят в исправдом уже за побег. А виной-то всему он, Павел Рогов. Эх, дурак! Не надо было рассказывать Апалонычу про жонку с мертвым младенцем. Тот бы не сказал Антону с Грицьком, Антон бы не побежал искать семейство... И не сидел бы сейчас, не ждал суда...»

Куда идти? Где искать заступников? Земляка бы найти, Кольку Микулина, тот, говорят, стал большим начальником. Да где искать? И ночевать тоже не знамо где. Говорят, есть Дом крестьянина. А сапоги купишь, платить за ночлег будет нечем. И голодный, как волк...

За воротом еще в поезде ночью опять что-то чесалось. Сейчас нащупал, прижал, вынул на свет и, так же как вчера, обомлел. Большая белая вошь, шевеля лапками, ползла по черной от железа ладони... Вторая за жизнь! Никогда не привыкнешь... Он оглянулся, положил ее на порог, со злобой прижал ногтем. Под ногтем хрустнуло... Стыд и отчаяние опять охватили Павла. Он покраснел, оглянулся еще раз. Плюнул...

«Домой надо! — подумалось вдруг.— В армию все равно не возьмут. Будь что будет. Бог не выдаст, свинья не съест».

Павел решительно поднялся с военкоматского рундука. Шагнул за угол. Домой! Пешком, на карачках или кувырком, а домой... Больше и думать нечего...

Сразу встрепенулось что-то внутри, глубже стало дыхание. Появилась сила в ногах... Домой, домой... День-два, и Вера истопит баню. Он скинет с себя все, отпарит, смоет барачную грязь, оденется в чистое только с катка белье...

Павел даже запел, правда, только себе под нос:

В Красной Армии штыки,
Чай, найдутся,
Без тебя большевики
Обойдутся!

Запел, и стало почему-то смешно, песня оказалась как раз про него. Домой, домой... Он распрямился, надел котомку.

— Хасиям! — послышалось вдруг чуть не над самым ухом.— Авэла...

Две звонких цыганки обходили подугольную лужу. Они увидели Павла.

— Христос воскрес, касатик! — проговорила одна и остановилась.— Позолоти ручку, скажу тебе всю правду, что было и что с тобой будет скажу...

— Неужто знаешь, что было? — сказал Павел. Приступ мальчишеского озорства накатился неизвестно откуда.

— Дай, дай руку-то, бриллиантовый! — говорила цыганка гортанным нездешним голосом.— Дай! А положи на ручку один двугривенной.

Павел Рогов поискал мелочь в кармане.

— Не жалей, касатик, все положь! Эх, вижу, что не скупой. Ну, послушай-ко, что скажу! Не возносись, золотой. Хоть и вырос ты в высоком дому, а горя много изведал! Отца-мать ты привык почитать, к женскому полу баловства в тебе нет! Жене ты верным будешь два года, на третий год изменишь...

— А про ее что скажешь? — засмеялся Павел.

— А про ее, касатик, ничего не скажу, в глаза мне черный туман стелется, знаю только, что деток у тебя один сынок, скоро будет второй, а будет ли третий, известно одному Господу Богу. И ждет тебя семеренье и дорога в казенный дом. Отринь ты, касатик, пустые все хлопоты, а остерегайся соседского злого глаза. Тот глаз глядит на тебя и ночью и днем, ящо бойся напрасной брани и черной пятницы...

Поверх широкой, до пят, цветной юбки на ней ловко сидел коричневый казачок. На поясе, вокруг казачка, опоясан был ситцевый черный кошель, наполненный неизвестно чем. Алюминиевый бидончик был привязан сбоку. Шаль во время гадания сползла на затылок. Черные, с вороньим отливом волосы. На пальцах смуглой руки сразу три разномастных кольца.

— Откуда будешь? — крикнул подошедший бородатый цыган.— Не с Вожеги? У нас на Вожеге много знакомых.

— Кыш! — обернулась цыганка. Но цыган не обращал на жену никакого внимания.

— Поедем на Вожегу, пока снег на дороге. Вай-вай-вай, какая твоя обутка. А вот купи у меня сапоги. Новые! Почти как джимы...

— А сколько возьмешь? — Павел обрадовался и убрал руку.

— Тридцать! — цыган словно бы знал, сколько у Павла всех денег.— Тридцать карбованцев клади и сапоги твои! Совсем добрые сапоги. Джимы — знаешь такой фасон? Воду не пропускают. А вот иди глядеть! Сам увидишь, сам скажешь: добрые сапоги!

Цыган потащил Павла за рукав к «галдареям». У коновязи стояла упряжка. В широкие розвальни, набитые цыганским скарбом, была запряжена чалая лошадь. Она старательно и звучно хрупала зеленое, с лесного покоса, сено. Цыган присвистнул, ногтем почесал у себя в затылке, а кнутовищем почесал брюхо у лошади:

— Может, лошадку мне променяешь? У меня лошадь лучше всех! Баба у меня яще лучше, вона, гляди, сколько их накопила!

Только сейчас Павел заметил четыре черные головенки, торчавшие из-под перин. Глаза цыганят посверкивали из глубины воза. Павел подмигнул одному. Тем временем цыганка уже гадала какому-то новому прохожему.

Цыган, подпоясанный красным кушаком, носил шапку с зеленым бархатным верхом и широкие, драные, табачного цвета вельветовые штаны. Сапоги на ногах были не лучше Павловых валенок. Он порылся в возу, извлек продажные сапоги — не новые, обсоюженные сапоги, но с новыми подметками и выправленными каблуками. Павел взял правый сапог, прикинул подошву. Получалось даже с запасом на портянку. Была не была!

— Сбавишь десятку, возьму!

— Эх, не могу, друг, никак не могу,— жалобно заныл цыган и замахал бородой.— Тридцать!

Что было делать? Стукнули по рукам... Павел достал бумажник, подал цыгану единственную трид-

цатку. Взял сапоги, но переобуваться при цыганах не стал, попрощался и пошел вдоль улицы. Кое-где на дороге оставались сухие места. Домой! Домой... Летел бы домой на крыльях, да крылья не выросли... Скворцы вон уже прибыли. Вьют гнезда, поют... Грачи на проталинах переваливаются с боку на бок, тюкают желтыми клювами.

Он отмахал за один прием версты полторы. Дорога шла вначале вдоль железнодорожной насыпи, дальше свернула налево. Неужели не будет ни одной попутной подводы?

Около первой деревни, у дорожного отвода, Павел сел на жердину, чтобы переобуться. Сперва он досуха выжал Евграфовы мокрые портянки. Нога, которая осталась без пальца, ныла, ныла нутряным постоянным нытьем, зато хромота была не очень заметной. (По крайней мере, так казалось ему самому.) Он тщательно намотал влажную портянку и начал обувать сапог, но... что это? Сапог не влезал. Опойковое голенище оказалось настолько узким, что обмотанную портянкой ступню пустило в себя только до пятки. Павел попробовал силой натянуть сапог. Все было напрасно и зря. В сердцах он бросил сапог под ноги... Одумался. Обул растоптанные бахилы Евграфа и хотел бежать обратно, искать цыгана. Но дорога домой манила его и звала, небо прояснилось и засинело. Просиял дальний лесок, стал вдруг зеленым и солнечным. Домой! Будь что будет... Черт с ним, с цыганом. «Два года верным будешь, на третий жене изменишь,— всплывало в памяти гадание цыганки.— И к чему она так сказала?»

Домой! Павел затолкал цыганские «джимы» в мешок и ринулся по дороге. Голодный, с мокрыми пятками, он шагал широко и споро. Дорога сильно отмякла, нога порою проваливалась. Он шел часа два и хоть бы одна подвода! Да и кто же ездит под извоз в самую Пасху? Разве только милиция либо цыганы. Дорога падала на глазах, а идти надо ровно полсотни верст...

Стало тепло. Небо, золоченное нестерпимым солнечным светом, раскрылось ясно и всеохватно. Туча ушла за лесные зубцы в сторону Белого моря.

Туда, к Соловкам, тянуло непрерывно-широким вешним теплом. Горели снега. Вешние воды точили, подпирали снизу и взламывали речные сине-зеленые

панцири. Лишь ледяные озерные монолиты не поддавались пока теплу. Озера постоят до весеннего сева. Когда береза обымется зеленым дымком и отшумят ручьи, метровые ледяные пласты на озерах ослабнут и источатся. Ледяная твердыня, иссеченная теплой водой, пойдет пучками стоячих серебряных пик — ступи, и погиб... Уже не далеко до такой поры. Птица летела с юга... Кричали грачи. По деревням у каждой скворешни сидели скворцы, то стрекотали — дразнили местных сорок, то мяукали — дразнили котов. А то вдруг встрепенется такой скворчиный хлюст, распушится, обнажит худую, отощалую во время полета шею, затем уложит черно-голубое перо и станет опять красавцем. И так споет, от себя лично, что баба, идущая с полными ведрами, остановится на тропе, не зная тому причины.

Павел Рогов весело одолел первый волок, почти с песнями, а на втором выдохся. Про ноги в размякших мокрых да еще и рваных валенках лучше было не вспоминать. Болела спина с поясницей, есть хотелось еще со вчерашнего. А больше всего хотелось сойти с дороги, перебраться через канаву и присесть на какой-нибудь лесной придорожный пень либо валежину. Павел знал, что лучше не останавливаться: отдохнешь, рассидишься и после будет еще хуже, может, и не встанешь с пенька.

Домой! Там за деревнею будет еще один волок, правда, самый долгий. Одолеть бы его. Только хватит ли сил голодному? Павел снял шапку, зажмурился. Солнце пекло чуть не по летнему. Голова закружилась. Он шагнул не туда, еле устоял на ногах. Хоть какой-нибудь бы ржаной сухарь завалялся в котомке! Ненужные цыганские сапоги в мешке и ни куска хлеба, не говоря о гостинцах.

Открылось за лесом поле и большая деревня вдали. И не одна еще, а две или три. Павел узнал деревню. Это здесь он покупал зимой верхний жернов. Ноги раньше головы решили, что делать, сами свернули с большой дороги на отворотку... У деревенского отвода он прислонился к столбу. Дальний девичий голос долетел к отводу вместе с теплым ветряным вздохом, но Павел не поверил своим ушам. Не спит ли он? Девичий голос был явственным. Где-то в том конце пиликала даже гармошка. И вот совсем четко пропела чья-то девка:

У милово поговорка
«Ничего подобново»,
Где же мне ево любить
Таково благороднcово.

Павел улыбнулся. «Пасха. Добрые люди празднуют. Творится неизвестно что, а все равно празднуют. Надо зайти к мельнику, там сразу же самовар... Принесут пирогов, тут нечего и сумлеваться». Павел встряхнулся, как тот усталый тощий скворец, отшатнулся от отвода, шагнул в деревню. Где же тот дом, откуда зимней ночью увез он мельничный жернов? Вроде бы в самой средине... Высокий дом, окна с наличниками. Да вот же он! Вот и тот самый колодец, из которого поили коня. Крыльцо с такой же резьбой, как на окнах.

Он подошел ближе. Взобрался по неметеным ступеням на крылечко, и сердце упало. В пробоях торчал замок. Стеклышко в рамке над воротами выбито, тропы в огород нет. Не пахло от подворья ни скотиной, ни дымом, не слышно было никаких звуков.

Павел Рогов все понял. Он окликнул женщину, вроде старушку, выглянувшую из коровьих ворот соседского дома. Спросил, где хозяева, у которых была мельница.

— И-и-и, батюшко.— Старушка оглянулась по сторонам.— Подойди-ко поближе-то, так и скажу. Раскулачили их, разорили, ишшо до Рожесва. Мужиков-то увезли неизвестно куды, а бабы да малолетки у родни в других деревнях. А ты, батюшко, чей Не Ольховской ли волости?

— Ольховской,— улыбнулся Павел,— что, разве заметно?

— В Ольховицу-то выхаживала моя двоюродная, не знаю теперь, жива али нет. Да ты заходи в избу-то!

...В избе никого не было, но стоял на столе самовар. И пироги, хоть и не пшеничные, а двоежитные, были нарезаны на хлебной доске!

— Садись-ко, садись да выпей цашецку,— сказала старушка, и Павел не стал отказываться... Она пододвинула ему хлебную доску, нацедила в чашку кипятку и добавила туда что-то из чайника. По вкусу похоже было на брусничный лист... Павел выпил две чашки, съел один косой восьмеричок от воложного пирога. С трудом подавил в себе голодный позыв,

сказал спасибо и вышел из-за стола. Ему было стыдно сказать, что он голодный...

— Минька-то при мне миличию спустил с листницы,— докладывала старушка уже на крыльце,— довго-довго его взаперти-то дёржали...

Ноги после отдыха не слушались. Есть хотелось еще сильнее, но до солнечного заката Павел прошел еще один волок. И опять ни одной подводы! Звенело в ушах, колени от слабости подгибались. Домой! Глаза иногда закрывались без его ведома, ему снилось что-то, он спал на ходу. Что-то явственно виднелось, и он слышал родимые голоса.

Ночью, шатаясь как пьяный, он вышел из леса в поле Ольховской волости. В деревнях еще светились кое в каких домах кутные окна. Павел в полусознательном состоянии, падая и вновь подымаясь, то и дело проваливаясь на разбухшей дороге, достиг к полуночи родимой деревни Ольховицы.

...Митька Усов тоже поминутно падал и тоже вновь вставал, сперва на карачки, потом на ноги.

> Под частым разрывом гремучих гранат
> Отряд коммунаров сражался...

Усов пел, падал и снова вставал. Он возвращался из гостей к семейству. Маячило в темноте пустое, холодное подворье бывшей коммуны имени Клары Цеткин. Слабый свет мерцал в окне прозоровского флигеля. Тут на дороге и наткнулся Павел Рогов на лежащего бревном человека. Павел поднял его на ноги, поднял и тут же упал вместе с Усовым.

— Панко, ты? Данилович? — кричал Усов.— Мы это, счас... Ты дёржись за миня-то, за миня-то дёржись! Тошнит?

Углядел Митька Усов, что Рогов тоже не стоит на ногах. Кто напоил — не спрашивал. Валились с ног оба: и Павел и Митька, один от голода, другой от вина... Поднимая друг дружку, постепенно дошли до флигеля.

— Иди! Тут доберешься,— сказал Павел.

— Рогоф! Я это... счас... Данилович?! Да неуж... я! — Митька ударил себя в грудь.— Счас самовар! Я это, как из пушки...

— Иди, иду в избу... я к матке. Жива ли она?

— Жива, жива, в бане... это... с Олёшкой...

Усов кашлянул и корячился на крыльце флигеля. Павел Рогов собрал последние силы. Медленно, в темноте, побрел в сторону своего дома...

Он не хотел глядеть на родной дом, в котором жил теперь Гривенник. В зимовке горел свет, пиликала чья-то гармонь. Не тут ли пировал Митька Усов? Павел как вор прошел мимо крыльца, проковылял в огород, к бане. Дверца в предбанник была не закрыта.

— Хто, крещеной? Хто шевелится-то? — услышал Павел из темноты. Материнский голос был слабым и жалобным, как в больнице.

— Мама, это я... Не бойся, это я...

Павел открыл дверцу, согнулся чуть ли не вдвое и ступил в отцовскую баню.

— Паша, неужто ты? — заплакала Катерина.— Олёша, батюшко, вставай — пробудись. Зажги коптилку, где у нас спички-ти?

Алешка, одетый, крепко спал на скамье. «Молодец парень, не стал жить в Шибанихе». Павел нащупал коробок на банном окне, чиркнул спичкой. Коптилка зажглась. Он прижал к плечу сивую материнскую голову:

— Не плачь...

— Да как, милой, не плакать-то... Гли-ко, до чево мы дожили-то...

Она лежала на соломенной постели на верхнем полке под стеганым одеялом. Павел отвернулся, сел на первый полок. Он видел, вернее чуял, как мать пытается сесть и не может.

— Лежи! Не плачь...

— Откуда ты, Пашенька?

— Вот... Иду из бурлаков... Еле выбрел. В Шибанихе все ли ладно?

С каждым дыханием трепетно шевелился маленький, готовый погаснуть коптилочный огонек. Свет не достигал прокопченных стен. Коптилка освещала один подоконник и давно не стриженную Алешкину голову.

— Лежу. Паша. На боках-то, наверно, пролежни...— Мать снова заплакала.— Угораю, сынок, кажинное утро. Да, видно, совсем скоро умру. Нет от Василья-то грамотки? От батьки-то уж и не ждем, видать, сгинул.

— Не плачь... К кому ходите, когда скутано?

— К Славушку. Олеша меня на чунках возил, ходить-то я не могу.

Керосин выгорел, коптилка погасла. Мрак. И холодно, как в погребе...

Павел хотел спросить, где берут дров, что едят, но ничего не сумел спросить. Привалясь к стене, забылся в неспокойной мучительной дреме. Забрезжил в окошке синеватый рассвет. Павел вздрогнул от какого-то внутреннего толчка. Силы вернулись к нему, хотя ноги едва-едва слушались. Сердце щемило. Алешка спал под шубой на каком-то тряпье, вроде на половиках. Под головой не подушка, а старый материн казачок. Сдерживая стоны и оханье, зашевелилась на верхнем полке мать, спросила:

— Куда ты, Пашенька?

— Лежи, скоро приду...

Павел сам не свой вышел из бани. Давило в надбровьях. Кусал губы, сжимал кулаки. Настоящие слезы вскипели, когда увидел на крыльце родную подкову. На ступенях намерзла чья-то ночная моча, ворота не заперты. В сенях, давно не метенных, валялись деревянная расколотая лопата, брюквенный лычей[1], сенные волоти. «Гривенник скотину завел...» — мелькнуло помимо сознания. Павел схватился за скобу, распахнул двери в избу...

Он встал у родного порога. В подсвятошном углу, за грязным столом белела чья-то круглая лысина. Фокич! Тот самый уполномоченный, который играл и плясал в избе у Кеши, когда записывались в колхоз. Красные после пьянки глаза без страха и даже весело, в упор уставились на пришельца. Он поставил только что початую бутылку на лавку в угол и хрипло проговорил:

— Ну? Чево не здороваешься?

Павел отвернулся. Оглядел избу. Все было раскидано, пол заплеван, окурки торчали в колодках зимних оконных рам. На лавке с открытым ртом храпел Гривенник. Шуба Данила Пачина сползла с него на пол. Павел еще раз повел глазами... На гвозде, около вешалки, как прежде, висел железный безмен, на одном конце свинцовый, с куриное яйцо, набалдашник, на другом — крюк.

---

[1] Лычей — ботва.

Фокич заметил, что Павел глядит на безмен, и заерзал на лавке. Взял бутылку, налил в чашки себе и Павлу:

— Иди суда! Выпей!

Павел подскочил к стене и сдернул безмен с гвоздя...

— Ты што, на Соловки захотел? — заорал Фокич и весь побелел. Павел Рогов придушил свое бешенство. Гривенник проснулся от крика. Остановил Гривенник храп и проснулся, вскочил с лавки и вытаращил глаза.

С безменом в руке Павел Рогов прошелся по отцовской избе. Вернулся к порогу. Ударил ногой в сосновые двери. На крыльце он сел рядом с подковой, заплакал утробным беззвучным плачем, как плачут коровы и лошади...

Славушко, родня и порядовой сосед, увел его в тепло своего дома, усадил за стол. Оба с женой начали сердечно потчевать Павла. Но самовар, стопка рыковки и вчерашние пироги не могли успокоить гостя. Павел то вскакивал, то задумывался.

— Вячеслав Иванович, у тебя есть ли ржаная мука?

— Так ведь, Данилович, ты сам и молол.— Хозяйка Матрена, жена Славушка, вышла из кути.— Как нет, есть мука.

— Навешайте фунтов двадцать взаймы! Счас надо... А еще после навешаете столько же...

Хозяйка поглядела на мужа.

— Иди к ларю,— сказал ей Славушко.— Да чего ее весить, муку-то? Я, Данилович, и без весу. Бери полмешка, и весь разговор. Хоть счас, хоть после.

— Пусть останется у тебя... Матрена иной раз испекет... Для матки с Олешкой.

— Да она уж пекла. Вроде бы пекла...

Славушко застеснялся, что сказал про то, что Матрена пекла для матери Павла. Полез в шкаф за новой бутылкой рыковки...

После двух стопок Павел почуял в себе недоброе. Он решил заглушить это недоброе третьей стопкой, но все вышло наоборот.

— Дров-то было до Нового года, и дрова ваши,— тараторила Матрена,— вот Олешка по ночам к дому-то ходил да и брал, а Гривенник заприметил. Одинова замахнулся поленом. На Олешку-то.

От этих слов у Павла закаменели скулы. Забилось, затрепетало пойманной птицей в левом боку... Матрена ушла с пойлом к скотине. Славушко, наливая, рассказывал:

— Игнашка пришел одинова, в лавке народу не было. А што я, што мне Пачины! Одного отправили и второго куда надо отправим...

— Где Игнаха сейчас?

— Да в мезонине! Сидит как сыч, там и по праздникам.

Славушко взял миску в кути, открыл люк и улез под пол за рыжиками.

Павел рванул на груди рубаху, оборвал крестный гайтан. Пуговицы посыпались на пол. Он вскочил с лавки, схватил безмен...

Топилась у Матрены печь, жарко топилась. Огни ощупывали высокий печной свод, облизывали чугуны с коровьим пойлом. Зачем поглядел на огонь Павел Рогов? «Убью...— бормотал он, выбегая на улицу.— Оглушу, как глушат баранов. Все одно пропадать...»

Он шел по Ольховице с безменом в руке, без шапки, с распахнутым воротом. Страшный и невменяемый, он ступал то в бок, то прямо. Он шел к бывшей сельской управе, к тому мезонину, где даже по праздникам сидел Игнатий Сопронов. Безмен, зажатый в правой руке, казался Рогову слишком легким, слишком игрушечным. Встречные девки шарахнулись в снег...

Сельсоветовская коновязь, у которой стояла чья-то повозка, клонилась вбок. Дыбом вставало бревно коновязи вместе с лошадью и людьми. Человек с десяток подростков, каких-то баб и девок расступились, дали дорогу.

И вдруг в трех саженях от крыльца Павел остановился. Он не верил своим глазам. Из настежь раскрытых дверей, с высокого сельсоветовского крыльца сошел белый как снег Игнатий Сопронов. Руки его были связаны спереди, скручены ремнем от шлеи или чересседельником. На полшага за ним и чуть сбоку вышагивал дородного вида милиционер. С другой стороны и тоже чуть подальше торопливо двигался Фокич. Уполномоченный начал отвязывать лошадь. Милиционер подсобил Игнахе устроиться в розвальнях и сам взял вожжи из рук Фокича.

Павел тряс хмельной головой. Мелькнула жуткая мысль: «Теперь и я... как Жучок... Отправят в Кувшиново».

Нет, все было наяву! Игнаха сидел на возу со связанными руками. Белый, ни кровинки в лице, надменно глядел он поверх голов.

— Сена не мог побольше достать? — спросил милиционер уполномоченного.

— Найдем сена! — ответил Фокич.— Спросим в любой деревне...

Уполномоченный Фокич снял шапку, ладонью вытер белую круглую лысину и сел сзади рядом с Сопроновым. Лошадь отфыркнулась, розвальни сдвинулись, безмен выпал из рук Павла Рогова.

Хмель из головы вылетел тоже... Лицо остудило порывом весеннего ветра. Народ копился около сельсовета. Кричали подростки, бросаясь катышками мокрого, уже последнего в этом году снега. Всплеснула руками уборщица Степанида:

— Ой, нет, не доехать им, дорога-то, деушки, пакнула[1].

— Доедут! Эти хоть куды доедут.

Кто-то поздоровался с Павлом, кто-то позвал его к горячему самовару, откуда-то издалека слышал Павел ольховские голоса:

— Неужто самого Игнаху прищучили?

— Не видишь, повезли! Руки ремнями связаны...

Но Павлу все еще думалось, что он спит и что все это снится во сне.

Топились печи. Дым, как вчера, шарахался сверху вниз, предвещая весенний дождь. К запаху дыма и талой воды примешивался еле слышимый, мало кому заметный запах вытаявшей земли.

— Ето хто безмен потерял?

— Бери да неси. Видать, вытаял.

— Дорога пала, а с ней и власть Игнашкина,— услышал Павел.

— Надолго ли? Одно в этом деле голове круженье, небось ворон ворону глаз не выклюнет.

Голос показался Павлу знакомым...

---

[1] Пакнула — пропала, испортилась.

ЧАСТЬ 3

I

Умирали снега в лесу, исходили на нет, и вокруг Шибанихи шумели вешние бессонные воды. Пробудились и чуть ли не за одну ночь обессилели, сбросили в реку шальную воду большие ручьи. Сбавляя неукротимый напор, вода облегченно и весело падала с глинистых полевых ступенек, крутилась и пенилась между камней. Шумела вода, разговаривала сама с собою. Крутилась и булькала заодно с хороводом больших и малых тетеревиных токов. Тот шум даже ночью сквозь сон тормошит сердца нетерпеливых и самых заядлых охотников, будоражит неокрепшие души холостяков и подростков.

Глубок и крепок сон Сельки Сопронова на весенней заре. Но похотливые образы так и лепятся один к другому. Сельке снится, что он сидит на игрище у столба, то ли с Тонькой-пигалицей, то ли с Жучковой Агнейкой, хочет обнять, пощупать ее за мягкое место, а она не дается, отодвигается от него дальше и дальше.

...Зоя, жена Игнатья Сопронова, пробудилась на самой заре. Полежала, понежилась. Ничего не думая, она неожиданно для самой себя скользнула с поповской кровати. Качнула зыбку. В одной рубахе, на цыпочках, прошла Зоя за шкап, к Селькиному спанью. Осторожно и словно бы не нарочно она приподняла стеганое одеяло и тихо, вся дрожа и сжимаясь, улеглась, но не рядом, а чуть подальше. Ей показалось, что Селька дышал так же ровно. Она тихо к нему подвинулась, взяла его руку и положила себе на жи-

вот. Селька замер, напрягся и, еще не успев пробудиться, начал закатываться на нее. Тяжело пышкая и не зная что делать, он оперся на руки, но Зоя-то знала, что ей делать! И он понял, что все это никакой не сон, он совсем проснулся, но обезумел. «Селя, потише! Селя, не торопись! — шептала она.— Ох, ладно, добро...» Она стонала и охала. Когда Селька весь в поту скатился на прежнее место, в окнах было синё. Зоя уже стояла у зыбки, через голову надевала юбку. Селька взвыл... Она обернулась, громким шепотом начала утешать:

— Дурак, пошто ревишь-то? Чево испугался-то, ведь мы свои. Вот, мужиком стал, а то што... Не сказывай никому! Сейчас Таня кривая придет...

Селька перестал реветь, может быть, потому, что в зыбке надрывно орало и корчилось новое беспокойное существо. И Таня — старуха с бельмом, босиком по холодным лужам, торопилась, наверное, в поповский дом, тыкала клюшкой то влево, то вправо. Вон, уже в дверях! Шмыгает носом. «Глаз-то у старухи один,— думает Зоя,— ничего она не увидит...»

Токуют вокруг Шибанихи полевики, шумит вода в поповской яруге. Зоя ухмыльнулась и заторопилась к старому дому, чтобы истопить печь старику. Как будто ничего не случилось, как будто бы так и надо.

«Затопить да бежать молоко принимать! — мелькает в бабьем уме.— Ужотко Игнатья, может, домой отпустят. А ежели не отпустят? Селька-то... заревел, как робенок...»

Токовали вокруг Шибанихи у самых гумен хулиганистые развеселые тетерева.

Киндя Судейкин с ружьем тащился с поля, на плече сразу два тетерева.

— Экие птички баские.— Зоя поздоровалась.— Продай одну-то!

— Пощупать даси? — Остановился Судейкин.— Сразу обеих и отдам!

Зоя не остановилась, хохотнула на ходу и дальше, к приемному пункту. Кинде подумалось: «Чего это она веселая без Игнахи-то? И бегает споро, будто наскипидарили».

Сережка Рогов в сапожонках, с вечера промазанных дегтем, торопился в школу, в Ольховицу. Когда увидел охотника, остановился. Глядит и рот не закрыт.

— Эй, Серега, много ли дней у Бога?

Кривясь от тяжелой набитой книжками холщевой сумы, школьник с места, по-медвежьи затрусил к отводу. Киндя вздохнул. Припомнилось, что сам-то он ходил в школу всего полторы зимы. Не лежала душа к арифметике, взял да в святки однажды и не пошел. Отцу с маткой это было и надо. В тот же день поехали по дрова. «А, может, на Сталина бы выучился,— подумал Судейкин.— Ну, не на Сталина, дак на Игнаху-то всяко бы вытянул». Киндя Судейкин завидовал Сережке Рогову, Сережка завидовал Кинде. Так получалось. «Одна Зойка Игнахина никому не завидует,— подумалось опять Кинде, и он свернул к своему дому.— Вишь, как она бежит по улице-то, ровно коза...»

Зоя откинула от скобы батог, вскочила в сени, под лестницу, чтобы сразу набрать дров. «Селивёрст! — послышался из избы голос больного и старого Павла Сопронова.— Селивёрст! Кто пришел-то?» Она не ответила. Не знал бедный Павло Сопронов, что когда он звал младшего, то получалось «семь вёрст» и что Судейкин давно придумал стишок, поскольку от их старого дома до Поповки, куда перешли жить сыновья, не наберется и сорока сажен, не то что семь вёрст. Этот стишок Киндя терпеливо приберегал к очередному игрищу. Но и без того вся деревня смеялась над невесткой Павла Сопронова, потому как она и у себя топила печь не утром, а посередь бела дня. А ту, что у свекра, иной день не топила и вовсе.

— Селивёрст!

— Ну, чево, чево кричишь-то?

Зоя бросила дрова у шестка. Она открыла вьюшки и печную задвижку, нащепала лучины. Вскоре приятно и как раньше когда-то запахло дымом.

— Не приехал Игнашка-то? — спросил старик.

Ей не хотелось ничего отвечать, но Павло Сопронов не отступал:

— Ево куды вызвали-то?

— А не куды! Лежи да лежи.

Павло Сопронов замолк. Лежал он на лежанке около печи, под старым тулупом. Постеля под ним давно протухла. От него на всю избу пахло мочой, но он даже не смел попросить, чтобы свозили в баню на чунках. «До пожара еще возили, а теперь вот и снег растаял, и баня сгорела,— думает Павло.— Попро-

сить бы Никиту Ивановича, разве не дали бы Роговы истопить? Дак нет, и думать нечего. Вот ежели бы Игнашка приехал... Не дюж стал и до ветру сходить, чего дальше-то? Нет для меня жизни, нет и смерти...»

Печь сильно трещала, и ему казалось, что невестка еще не ушла. Но Зои уже не было. Он снова забылся. Опять хлопнули двери. Невестка принесла урезок хлеба и ставок простокваши. Сунула прямо под рыло; «Хлебай, руки есть!» А и руки трясутся, ложку не держат, и сел на лежанке еле-еле. Поговорить бы, спросить, куда Игнатей уехал, нет, усвистала вдругорядь. И Сельки не видно.

Старик не стал хлебать простоквашу, поставил ставок на скамью. Пожевал хлебного мякиша, лег и отвернулся к печной стене. Задремал. Он не слышал, как невестка тихо остановилась около лежбища. «Спит или нет? — мелькнуло в ее уме.— Спит вроде». Она отошла в куть, заглянула в печное устье. Угли рдели с краёв, белая бахрома золы шевелилась, а посреди пода они плавились золотом. Синие огоньки струились вверх.

Зоя Сопронова ничего не думала и ничего не чувствовала, когда закрывала первую вьюшку и вторую. Чтобы задвинуть задвижку, надо было лезть на печь, перешагивать через старика на лежанке. Она решила оставить задвижку как есть, вроде бы для того, чтобы выходил угар. Она даже поверила в то, что угару не будет, потому что задвижка вверху не задвинута. А то, что дымоход уже перекрыт вьюшками, об этом она нарочно не думала. И спокойно ушла...

Павло Сопронов лежал в горькой забывчивости с одной мыслью: о сыновьях. «В кого экие псы уродились? Матка боялась тележного скрипу. Разве в ту породу пошли, в дедкову». Вспомянул старик двух своих дедов, оба крестьяна были! Дошёл до трёх своих прадедов, четвёртого усечь не сумел. Кто он, четвёртый-то? Может, он и был басурман либо картёжный пьяница, а нонче в Сельке с Игнашкой и откликнулся... С прадедов память как огонь по сухой траве перебежала на бабок с прабабками да тут и погасла. Павло Сопронов опять забылся, и слёзы его обсохли. Только звон в ушах нарастал и глубинно тревожил его. Но вот и эта тревога отодвинулась вдаль вместе с памятью. Он ещё дышал сладким угар-

ным воздухом, и борода шевелилась, но запредельные и широкие, невыразимо отрадные видения влекли к себе всё сильнее, они не давали места здешней пустой тревоге. В последний раз с неохотой он попробовал пробудиться и вернуть себя в тутошний мир. Но ему так не хотелось этого делать! И он не стал пробуждаться.

* * *

Днями, дома и в школе, не оставалось никакого терпенья. Как усидеть за партой, ежели прилетели скворцы и пигалицы? Запруду бы на ручью сделать, поставить колесо с лопатками. И вышла бы своя невзаправдашняя мельница. Лодка у бани уже просмоленная дедушком лежит и ждёт. Носопырь не однажды ходил в лес гонить берёзовый сок. А ты сиди и учи! Решай эти нудные столбики на деление и умножение, тверди новое стихотворение.

— Рогов Сергей, у тебя что, шило в заднице? — громко сказала учительница Дугина. Весь класс оглянулся на заднюю парту, где сидели Серёжка с Алёшкой Пачиным. Девчонки прыснули. Серёжка покраснел, уши от стыда горели как ошпаренные. Его вызвали к доске читать наизусть. Стихотворение ещё вчера было выучено на зубок, но из-за этого шила опять кто-то хихикнул. Серёжка вспомнил, что Шилом зовут Сельку Сопронова, и уверенность потерял. Набрал в себя побольше воздуха, начал читать:

Раз попалась птичка — стой!
Не уйдешь из сети.
Не расстанемся с тобой
Ни за что иа свете.

Дальше, как назло, все слова из головы вылетели! Алёшка на задней парте подсказывал, делал движения ртом. Разве поймёшь?

Ах, зачем меня держать,
Миленькие дети,
Отпустите погулять,
Развяжите сети.

Не отпустим, птичка, нет,
Оставайся с нами.
Мы дадим тебе конфет,
Чаю с сухарями.

Сухарей я не хочу,
Не люблю я чаю,
В поле мошек я ловлю,
Зернышки сбираю...

Напутал бы Серёжка ещё больше, если б не выручил переменный звонок...

Ничего в мире не было приятнее этого заливистого медного звона, обрывающего последний урок! Орава выпросталась из класса с гвалтом, будто галчиная стая. Хорошо, что успели записать задание на дом.

Серёжка по ошибке сграбастал Алёшкину сумку: «Ладно, хватай мою, потом переменимся!» Выскочили.

На улице чей-то ольховский опять было затянул своё: «Пачин-кулачин!» Дружки не стали связываться, даже не оглянулись, и дразнить сразу же перестали. Быстро очутились у Алёшкиной бани.

Алёшка не захотел больше ходить по миру. Пожил недолго в Шибанихе и опять к матери в Ольховицу. Тут хоть школа близко, а Серёга отмеривал по двенадцать вёрст каждый день.

Катерина лежала в темноте на верхнем банном полке. Она зашевелилась, когда ребятишки залезли в баню:

— Серёжа, и ты тут? Олёша, батюшки, пожуйте вон хоть сухариков. Водичкой размочите...

Голос её был печальным и слабым. У Серёги сдавило горло.

— Серёжа, скажи Павлу-то, когда домой-то придёшь. Чтобы пришёл либо приехал. Не наживу ведь я долго-то...

Серёжка посулил сказать и заторопился домой. Алёшка запросился с ним в Шибаниху. Мать сначала не отпускала, но, когда начали просить оба, махнула рукой:

— Иди, только на одну ночь! Долго там не гости...

— Не! — обрадовался Алёшка.— Нам на уроки завтре!

Не долго думая, по сухарю в зубы, сумку Алёшкину на гвоздик и сами на улицу. Что им эти шесть вёрст? Устали, правда, потому что шли без всякого продыху, а у шибановского моста и усталость пропала. Побежали сперва не домой в деревню, а ударились сразу под гору, к реке и к лодкам

Серёжка видел, что за день расцвёл первый цветок зелёной калужницы: сама в воде, а цветок горит на поверхности жёлтым огнём. Другой огонёк тоже вот-вот проклюнется.

Вода летела, стремилась дальше. Прозрачные струи свивались в тугие водяные жгуты, эти жгуты вились, омывали огородные колья и большие камни, лежавшие летом далеко от главного речного берега. Вода расчёсывала траву невидимым гребнем. Вот в такой-то траве и прячутся зелёные щуки! У ребят захватило дух, когда увидели настоящую большую рыбину. Она шевелила хвостом и шла по траве против течения... Алёшка заверещал от восторга:

— Лови, Серёга, лови! Ух, гляди какая...

Синее небо с белыми облаками отражалось дальше в ровной воде, и щука пропала в тех облаках.

Около бань вода подступила к самым порожкам. Носопырь вылез на свет и грелся на солнышке. Белую редкую бороду шевелило холодным весенним воздухом. Кривой глаз краснел и зиял ужасным своим провалом. Здоровый глаз старика хоть и слезился от ветра, глядел приветливо:

— Чьи вы, робятушки? Один-то роговский, вижу. Идите сюды, чего-то дам.

Мальчики осторожно приблизились. Носопырь встал с чурбака и сходил в предбанник:

— Вот, на-ко вот. Тибе, Сергий, и тибе... Не знаю, как кличут-то...

— Олёшкой! — почти заорал Серёга и взял из руки старика ивовую свистульку.

— Ну, ну, ладно, коли. Меня тоже раньше Олёшкой звали...

Ребятам не терпелось бежать к лодке. Но свистульки Носопыря удерживали их на месте. Свистульки они умели делать и сами, только ножик у дедка надо просить. Ещё вчера собирались, да не успели. И вот кривой Носопырь опередил, сделал быстрее. Поёт свистулька не хуже скворца. Да что из того? Не самим сделано... Всё равно, убегать было нехорошо, неудобно, надо было сделать что-то для старика.

— Ну, бегите, бегите, коли... — Носопырь отпустил ребят.— Мне нечево не надо... я вам ишшо сделаю...

У другой бани на тёплом пригорке гонил смолу Савва Климов. Большая глиняная корчага, набитая смоляными кореньями, в перевёрнутом виде лежала на железном противне. Противень был сделан с лотком, лежал на кирпичах. Внизу и вокруг корчаги горели дрова. Под лотком уже стояла глиняная кубышка.

Серёжка, как большой, важно спросил:

— Когда, дедушко, потечёт?

— Потечёт-то? — откашлялся Климов.— А вот как накопится, так сразу и потечёт.

Хотелось поглядеть, как потечёт из корчаги смола. Но когда ещё она потечёт? Неизвестно. А рядом, у своей бани, лодка, а там вверху, в огороде, нора, откуда брали глину для обмазки печной трубы. Если срезать длинный гибкий ивовый прут, насадить на самый кончик глиняную маленькую тютьку, то можно фуркнуть её далеко-далеко, даже на тот берег. Алёшке надо ещё и в поле сбегать, к брату Павлу, на мельницу. Она и толкёт, и мелет, второй день махает крыльями. Что делать? Куда сперва, куда после?

Но у обоих сразу ёкнуло сердце.

Строгий голос Аксиньи, Серёгиной матери, долетевший сверху от дома, отнесло в сторону весенним ветром, заглушило голосами птиц и шумом вешней воды. У обоих словно бы что-то оборвалось внутри. Может, поблазнило? Нет, кричат взаправду. Зовут домой. Эх, видели щуку, а даже у лодки не были. А в поле сходить к берёзам, чтобы нагнать в котелок свежего соку, теперь об этом и думать нечего...

У Серёги ныло в груди от материнского крика. Он оглянулся на ольховского гостя, ища спасения. Но тот и сам не знал, чего делать, куда ступить. Оба потерянно поплелись от реки в гору.

Аксинья с растрёпанной головой вылетела из летних ворот в ступнях на босу ногу:

— Ты где шляешься, сотонёнок? — закричала она ещё издали.— Тибя где бесы-ти носят, нечистой дух? Чево встал как пень? Тибя где это леший носит?

Ругань сыпалась вроде бы на одного, но Алёшка-то знал, что ругают двоих. Серёга в ужасе, уже хлюпая носом, приблизился к матери. Никогда он не видел её в таком злом, неприятном виде, никогда в жизни... Она схватила одной рукой еловый пруток, оставленный дедком от подстилочной хвойной лапы,

другой рукой загребла голову сына подмышку и начала бить по спине и по ягодицам... Она остервенело хлестала Сережку, сама вся в злобных слезах, кричала на всю Шибаниху...

— Бесы, лешие рогатые, сотоны! Бесы, лешие...

Алешка всем телом чуял каждый удар по Сереге, он знал, что божатка Аксинья хлестала Серегу вместо него...

«Мама, ты што это делаешь, разве с ума-то сошла!..» — услышал Алешка голос Веры. Серега вырвался из материнских рук. В страшном отчаянии, не помня себя, побежал он прочь от родного дома. Слезы его душили, он бежал прочь, не зная куда. Никогда, никто из родных не трогал его даже пальцем! Все любили его, а тут мать, да еще на виду у Алешки. Еловым прутом!

Сережка убежал на гумно и зарылся в солому. Вера видела, как брат оставил на грядках даже холщевую сумку с книжками. Аксинья накинулась теперь на зятева брата Алешку, стоявшего в каком-то оцепенении:

— А ты чево стоишь? Чево рыло выставил?

— Мама, опомнись! — Вера Ивановна бросилась к матери, пытаясь ладонью зажать искаженный злобой материнский рот.— Маменька, не говори ничево...

Алешка тоже поплелся, не зная куда, наверное, обратно в Ольховицу. Ведь он был гость в этой деревне...

Большой живот мешал Вере Ивановне, слезы давили горло.

— Олеша, остановись! — кричала она.— Олеша, не бегай, погоди чего-то скажу...

Но Алешка, не останавливаясь, уходил прочь.

Аксинья хряснулась лицом вниз по прогретую солнцем прошлогоднюю картофельную ботву и начала причитать. Руки ее верстали влажную черную землю. Кокова развязалась, и волосы раскидались:

Ой, да несчастная ты моя головушка,
Ой, да разнесчастная пошто уродилась-то я.
Ой, не троньте меня, нехто не трогайте.
Ой, куды мне топере деваться-спрятаться?

Вера Ивановна подскакивала к матери то с одного, то с другого боку, большой живот не давал наклоняться:

— Маменька, очнись! Ну, кто причитает на грядках-то? Вставай, ведь мне тебя не поднять! Ой, тошнит, ой и в глазах потемки...

Вера на коленях стояла на грядке. Аксинья сразу оборвала причитанья, вскочила на ноги и уже сама начала поднимать с колен огрузневшую Веру:

— Верушка, Верушка... Вставай, андели! Ой, чево будет-то... Господи, спаси-сохрани...

— Мама, беги за баушкой Таней,— проговорила Вера, хватаясь за сердце.— Вроде бы время пришло. Беги, да Павла-то не зови и не сказывай. Не веди меня домой, веди в баню-то... Еще не выстыла! В баню меня, тут ближе. Под гору-то я и сама... А ты за Таней беги... Да Олёшку-то вороти... Ради Христа, вороти назадь...

В бане было еще тепло с позавчерашнего. Вера опустилась на первый широкий полок, сердце начало биться ровнее. Два-три судорожных рывка вышибли память. На лбу выступил пот. Посиневшие губы чуть шевелились. Вера Ивановна шептала молитву в затемненном сознании.

— Ой, маменька, куда ты девалась-то? — закричала она в страхе и вдруг... Вдруг все кончилось. Вернулась и память, и сердце забилось ровно, как бы ничего не случилось. Она послушала сама себя и со стыдом поднялась на полке: «Господи, зря всех всполошила. Рано видать. Таню-то баушку зря приведут... Стыд. Маменька из-за курицы на Сережку взъелась. Сроду парнишка не колотила. Нонче еловым прутом... Господи, и чего спрашивать? Ревит маменька кажинную ночь. От тяти нет ни письма, ни грамотки, увезли неизвестно куда. Дома все из рук валится, того и гляди и за Павлом придут. А вчера запела еще и курица. Рехнулась рябутка-то, второй день поет и поет. А вить говорят, что когда курица в доме поет — к покойнику... Худо, когда курица петухом поет, хуже нельзя... Сережку кричали, чтобы курицу изловил. Ой, Господи, а Олешка-то? Что нонче будет с ним, убежал неизвестно куда».

Ее охватил страх, она снова почуяла приближение родовых схваток. «Стыд,— шептала она сама себе.— Куда девался Олешка-то, куда побежал? Не дай Бог ночевать не придет. Как товды Павлу в глаза-ти глядеть? Свекровушка лежит в Ольховице, едва бродит. Свезли немного харчей, а Олешка с Сережкой

иной раз оба ночуют в Шибанихе. Из школы бегают за шесть верст. Народ говорит, что Олешка по миру было пошел, а брат — Павло корзину с кусками ногой пнул... Привел парнишонка домой. Никто слова не молвил. А севодни маменька обругала: «Чево рыло выставил?» Кабы свой был... И своендравен тоже, уйдет ведь куда глаза глядят. Господи, вот горе-то! Бежать надо, пока Павла-то нету».

...Павел, пришедший домой на третий день Пасхи, с неделю ходил по деревням, искал деньги в долг, чтобы заплатить две сотни налогу, да ничего почти не нашел. Мельница, правда, толкла и молола. Только лучше бы она ни толкла, ни молола...

Вера Ивановна вспорхнула с места и схватила было вересковую гнутую скобу, чтобы бежать искать Павлова брата Алешку. Да и своего брата Сережку надо было найти и приютить.

Все тело ее вдруг замерло и затем сотряслось от непререкаемо-властного внутреннего толчка. «Мама!» — крикнула она в страхе и по-звериному. И сразу забыла про все на свете. Очнулась, когда повитуха, кривая баушка Таня, уже шептала в бане молитву и шмыгала носом. Вместе с Аксиньей она хлопотала около Веры Ивановны:

— Дверинку-то, дверинку-то притвори, Оксиньюшка! Не приведи Господи, мужики-ти учуют да подсоблеть прибегут... Господи, спаси и помилуй! Кричи, матушка, кричи, не томись!

Роженица не хотела кричать. Она душила свой крик, и женщины до пота трудились все трое. Напряженно и хлопотно трудились, пока не стало их четверо. Другой прерывисто-тоненький крик как бы сразу раздвинул каленые стены роговской бани.

В деревне Шибанихе стало больше на одного человека: Вера Ивановна Рогова родила второго сына.

Того же дня, вернее глубокой ночью, баушке Тане пришлось бежать в избу к Самоварихе. Дочь Евграфа Палашка Миронова, двоюродная сестра Павла, прямо на широкой самоварихиной печи принесла выблядка. И к полудню из многих домов обеим роженицам люди носили по пирогу. Все поздравляли и глядели младенцев. У Роговых Таисья Клюшина разводила руками. Она только что положила на залавок свежий рыбник:

— У Палашки-то тоже доб ребеночек, тольки девушку принесла. Добра девушка, носик-то пуговкой, тольки сразу видать, что вся в Микулёнка!

— Пуговкой, говоришь? — обернулся к Таисье дедко Никита.— У Микулина-то нос не пуговкой, а как весло, все время по ветру.

Таисья не стала спорить.

Зимние рамы были выставлены. Скрипучий дьявольский голос опять прозвучал под левым окном. Рябая курица все так же, через каждые час-полтора, почуяв себя петухом, вытягивала облезлую шею. Скрипуче, надтреснуто изрыгала она нелепый, какой-то совсем дурной звук, лишь отдаленно похожий на петушиное пение.

Вера вся замерла и перестала кормить. Улыбка сошла с лица. Аксинья закидалась ухватами. Сидевшие за столом Серега с Алешкой испуганно закрыли задачник. Одна Таисья Клюшина ничего не уразумела и знай себе судачила про Палашкину девушку. Курица снова запела.

— Ну, вот што, робятушки! — Дедко Никита поднялся с лавки.— Встаньте-ко оба да и пойдем... с Богом! Шапки надиньте, сапожонки обуйте...

Ребятишки сделали все, как было сказано.

— Ступай, Сергий, ты первой! — сказал дедко в сенях.— Бери тятькин топор, он вострой... А ты, Олексий, божий человек, лови ее стерву. Стой, погоди! Одному не зловить... Надо заганивать.

— Дедушко, а пошто поет-то она? — в страхе спросил Серега.

— Да, вишь, петуху позавидовала. Вон, Зойка Сопронова, тоже вроде нашей рябутки. Остриглась как савдат, шапку носит мужичью. Заганивай в угол! Ловите, пока молчит...

Роговский черно-красный петух дрогнул полукружьем своей черной с зеленым отливом косы, потряс розовой бородой и приготовился спеть. Но раздумал вовремя. Алешка начал заганивать курицу в угол между избой и хлевом. Поднялся оглушительный гвалт. Рябутку загнали-таки в угол, и дедко набросил на нее холщевый мешок. Затем он взял ее за лапу и подал Сереге:

— Не хороша длинная речь, хороша длинная паволока... Вот вам курица, а вот и топор! Идите под взъезд, там чурка широкая.

— Потом-то ее куда, дедушко?

— В крапиву долой! Собаки уволокут...

И дедко Никита только дверями хлопнул. Ушел в избу. Серега крепко держал рябутку за лапу, двумя руками. Алешка тоже, растерянно, двумя руками держал топор. Осторожно стали продвигаться под взъезд. Там Серега стал класть курицу на широкую чурку, на которой тесали хвою.

— Ты тюкай ее по шее, а я подержу!

— Давай, Серега, ты лучше, а я буду держать,— заупрямился Алешка. Курица подала голос.

— Руби скорей, а то опять запоет,— торопил Серега.— Эх, ты! Давай топор мне!... На, подержи ее...

Серега одной рукой потянулся за топором. Алешка хотел взять обреченную на смерть курицу из второй руки приятеля, когда курица встрепенулась и выскочила из плена. Бросив топор, Серега ринулся за нею, Алешка тоже, но рябутка с нормальным куриным гвалтом взлетела на изгородь. Только подкрались к ней поближе и хотели схватить — она слетела. Ребята в отчаянии через всю улицу погнались за нею. Рябутка с громким кокотом то бежала, то летела от них. Только бы схватить, а она взлетела на изгородь у старого дома Сопроновых. На изгороди она долго кокотала, как бы ругаясь и негодуя. А когда Алешка совсем близко подкрался к ней, курица с криком перелетела через грядку. Серега перелез в сопроновский огород...

Алешка стоял на другой стороне. Оба переводили дух, тяжело отпышкивались, а рябутка, будто ничего и не произошло, уже порхалась на сопроновской грядке. От злости Серега бросился на нее всем телом, но она с прежним криком опять выскользнула. И юркнула в сопроновскую подворотню. Сережка не мог удержать злых и гневливых слез, он вместе с Алешкой ринулся в сопроновские, то есть чужие ворота.

Летала около сенника, шарахалась и квохтала на широкой пустой повети свихнувшаяся рябутка. За ней бросался туда и сюда разъяренный Сережка Рогов. Алешка Пачин всеми силами подсоблял приятелю и родне. Серегу вдруг кто-то сильно схватил за шиворот.

— Ты чего тут забыл? — грозно спросил Селька, неизвестно когда объявившийся на повети. Он держал Серегу за ворот.— А ну-ко, пойдем в избу...

В избе Селька выпустил ворот арестованного соседа. Все трое, округлив глаза, замерли у порога. Мертвый старик с оскаленным ртом недвижно глядел в потолок. Глядел и словно все еще думал о чем-то, словно читал по этим закоптелым щелям и сучкам какую-то надпись, раскрывающую глубокую и ужасную тайну.

II

Не полночный петух и не лошадиное рассветное ржанье пробудили старую бабу Самовариху. Ее подняла с бобыльского ложа раным-ранешенько зеленая вешняя сила... Бывало еще и на печи Самовариха полежит, прежде чем лучину на ростопку щепать. Сегодня с постели как ветром сдуло. В темноте, белея холщевой рубахой, шептала молитву. За веревочку качнула зыбку с Палашкиной дочкой, сама рухнула на коленки. Передний угол с божницей заставлен кроснами. Самовариха своими словами молила Богородицу подсобить. Тут и запел под печкой петух.

Палашка, спавшая на полу, проснулась и затаилась. Подумала: «Экая рань. Куда она поднялась ни свет ни заря?» Палашкина мать Марья с Николина дня ходила где-то по миру. Палашка и Самовариха жили вдвоем. Каждый день по-очереди садились они за кросна, ткали холсты. Обряжались у печи тоже которая вздумает. Невелик обряд: нагреть воды в чугуне и заварить для коровы брюквенный лычей. Теплым пойлом напоить корову и суягную овцу, лошадь сгонять к речной проруби. Сами в постные дни питались картошкой да репой, по воскресеньям затевали то полужитные пироги, то блины из овсяной муки. И толокна сколько-то было, и льняного постного масла. К Пасхе и сметанки скопили, а маменька все ходит и ходит. «Где она, бедная? — думает готовая плакать Палашка.— Где тятя страдает, живой или давно уж мертвый?»

Плачь не плачь, а жить надо.

Самовариха поднялась на ноги, большая, как медведица, косматая. Почуяла, что Палашка зашевелилась, прошептала:

— Спи, спи, Палагиюшка! Не гляди на меня-то, лежи...

Натянула Самовариха через голову продольный свой сарафан, помыла лицо за печью из рукомойника, расчесала и завязала на затылке сивую кокову. Обулась в сапоги, надела старый козачок и перекрестилась еще раз, берясь за дверную скобу: «Господи, помилуй миня, грешную!»

Вешняя сила летает над крышей, вешняя сила шумит на реке ровным широким шумом. Будто бы самовар закипает... Полевики уркают со всех сторон белого света. За воротами открылась ей золотая и розовая, нет, не заря! Подымалось с востока бесшумное золотое зарево, широко и властно! Бесконечная голубизна небесная открывалась еще страшней и непостижимей. Ничто не пугало шибановскую бобылиху, ничто не остановило.

Она глубоко вдохнула этот свежий и синий воздух, пахнущий водой, землей и травяными корнями, вдохнула и всплеснула руками:

— Господи, благодать-то какая!

...Соха с неделю ждала под взъездом. Не тятя покойничек учил дочерь соху настраивать, не муж, не брателко. Сама училась. Дедко Никита Рогов подсказывал. «Вот шорничать-то Самовариха не навыкла! — подшутила она сама над собой.— Вишь, узда сыромятна, поводки-то веревочны...»

А землю орать выучил муж Трофимушко... Успел перед самой войной. Как увезли на битву с Вильгельмом, так и с концом, ни слуху ни духу.

Самоварихе было некогда утереть слезу на реснице: мерин Сивко заржал в стойле. Открыла ворота, выпустила старика на свет, одного отпустила на водопой. Тут показался слепящий солнечный край, и скворцы самосильно запели, а сердце забилось еще шибче. Она двумя рывками выворотила из-под взъезда тяжелую соху. Мерин пришел с реки и сам сунул в хомут большую свою голову, будто и ждал всю зимушку одного этого.

Самовариха запрягла, привязала к удилам концы вожжей. Взнуздывать не стала, приподняла за кичиги соху, вставила ее в деревянный полоз и вслух молвила:

— Ну, батюшко! Ступай с Богом!

И мерин Сивко забыл про свою старость. Он сам знал, куда ступать, где поворачивать, в какие лазеи и в какие прогоны. В коня тоже вселилась веселая

вешняя сила. Птичьи клики вели его к родному повытку, к земле, которая приготовилась к пашне сегодняшней ночью.

Деревня еще спала, не спали одни петухи и скворцы. И никто не увидел, как чья-то баба с сохой объявилась за околицей в шибановском поле. «Господи, спаси и помилуй!» — произнесла Самовариха, а Сивко не стал ждать понукания. На первую черную борозду опустился старый и опытный смоляной грач. Он деловито, без всякой спешки тюкнул желтым своим носом.

* * *

Тем же часом от деревни Залесной в шибановскую сторону неспешно шла горбатая ольховская нищенка Маряша.

От погоста к погосту, от гумна до гумна, полями и пожнями, по сосновым горушкам, иногда и поскотинной, по коровьей либо конской тропе. Не в первый раз. Тихонько ступает Маряша на двойные еловые лавины, поперечные болотным низинкам и маленьким речкам. На левой руке плетеная боковушка, в правой легкая клюшечка. Новые берестяные ступеньки на ногах, а не какие-нибудь холщевые, стеганые на куделе шоптаники. Они отпечатывают на бестравных местах клетчатый след, любому рассказывают, куда и откуда бредет ольховская богомолка Маряша. Остановится нищенка, раздвинет клюшкой старую кулу: не вырос ли молодой сморчок? А то посидит на теплых сосновых иголках, послушает рябчика-свистуна, да и сама невзначай запоет:

Ехали казаки, ехали казаки,
Ехали казаки со службы домой.
На плечах погоны, на плечах погоны,
На плечах погоны, на грудях ремни.

Увидит Маряша очередную колокольню и перекрестится: «Слава Богу, Никола-батюшко на виду. Все ближе да ближе к дому...» А где у Маряши дом, у Ильи или у Николы, у Михаила-архангела или у Василья-великого? И сама не знает... Пока был жив отец Ириней, постоянно обреталась в Ольховице, перемогала около храма большие морозы. «Нонче-то где уж придется,— вслух говорит Маряша.— Ночевала в Залесной вот, а ввечеру, Бог даст, доплетусь и

до Ольховицы. Да нигде крещеные люди не оставят, возьми хоть Залесную, хоть Шибаниху...»

В шибановском поле Маряша отдохнула, погрелась на солнышке у мироновского гумна. Жаворонки в разных местах поднимались высоко в небо. И ведь каждый поет, старается как на клиросе! Пигалицы пищат, кулики заливаются. Да вроде и пахать крещеные выехали. Маряша издали углядела сивую чью-то лошадь. «Господи, царица небесная матушка, люди пашут, а я сижу!». И горбатая Маряша заторопилась от мироновского гумна.

...Она заходит в крайний дом, не отходя от порога, крестится на икону. Кусок воложного пирога, поданный хозяйкой, она бережно укладывает в боковушку, укрывает чистой холщевой тряпицей. В другом доме ворота еще заперты, в третьем подали два овсяных блина. В четвертом кужлявится дым из трубы. Большухи в избе нету, ушла к скотине. Володя Зырин — здешний прикащик — сонный вышел из другой половины:

— Ну вот, пришла и сарафанная почта! Где, бaушка, была-ночевала?

— В Залесной, милой, в Залесной.

— Чево народ говорит?

— Не знаю я, батюшко, ничево не знаю!

— Все знаешь, не ври!

Пошел Володя-прикащик в куть, отрезал от каравая большую горбушку, посолил добела и подал нищенке.

— Дай тибе Бог здоровья да невесту хорошую,— сказала Маряша и перекрестилась еще раз. Она вышла на теплую солнечную улицу. На очереди была избушка старухи Тани. Но кривая Таня и сама собирала милостинки, у нее избушка на клюшке.

У Нечаевых подали старого пирога, зато с рыбиной, у Роговых напечены картофельные рогульки. Самовар шумит у шестка.

Вера подала Маряше большую, еще теплую рогулю. Аксинья оговорила дочерь:

— Зови ее от дверей-то! Садись, Маряша, поставь на лавку боковушку-то да и садись. Вон самовар кипит.

Вера про себя ухмыльнулась: «Ой, маменька-то... Нищенок начала привечать, грех замаливает. Все мается, что Олешку из дому гонила да Сережку зря выстегала».

Павла в избе не было. Дедко Никита колыхал скрипучую зыбку, где валетом лежали два его правнука. Маряша попросила веревочку:

— Давай-ко, Микита Иванович, я покачею деток-то.

— Покачей, покачей пока. Да оне, вишь, санапалы, пробудились оба. Ванькя, и ты гледишь?

Дедко погрозил зыбке корявым пальцем. Он спросил то же, что и Володя Зырин:

— Чево, Маряша, в народе-то говорят?

— Не знаю, батюшко, Микита Ивановиць, не знаю. Знаю, што в Залесной тожо пахать выехали.

Маряша перепугалась из-за того, что сказала не правду. Мысленно, ругая себя, она начала молиться. Бес, видно, дернул ее за долгий язык, ведь не видела, что в Залесной пахать-то выехали.

Дедко аж крякнул. Сердито и недоуменно уставился на Маряшу. Серега с Олешкой замерли, отложив школьные сумки.

— Тожо... — Дедко Никита привскочил с лавки.— А в Шибанихе хто выехал?

— Не знаю, Микита Ивановиць, про Залесную-то, а в шибановском поле лошадь вроде бы сивая.

— Верка, беги за Пашкой! Нет, погоди, я сам...

И Никита Иванович не стал даже заваривать чай, что любил больше всего на свете. «Вот, при себе-то и пожить» — говаривал он, когда держал на корявых пальцах горячее блюдце с янтарным напитком. А тут... Про все позабыл! Торопливо обулся и был таков.

Самовар шумел на столе, рогули горячие во весь залавок в кути, а за столом ни дедка, ни Павла. Вера усадила за стол Серегу с Олешкой.

— Неужто пашут в Залесной-то? — Она взяла младшего на руки, выпростала из-под рубахи большую белую грудь. Молоко текло по холстине. Младенец начал жадно ухлебывать, не успевая глотать.

— Пашут, матушка, пашут! — сама себе противореча опять сказала Маряша и качнула зыбку.— Про Залесную-то не знаю, а в шибановском поле лошадь сивая. Не реви, Иванушко, андели, не реви.

— Маменька, чуешь, чево говорят-то?

Вышла из кути Аксинья, взяла из зыбки старшего внука. Надела на него штаны с разрезом, крохотные валеночки и красную с белым горохом рубашку:

— Вот, вот! Экой славутник у нас Иванушко, экой модник! Ну, беги, ежели не терпится.

Мальчик действительно бегал уже и кое-что говорил. Пробежал до порога. Упал, но не заплакал и добежал обратно к бабушке. Аксинья успела тем временем выставить чайные чашки. Не утерпела, поставила внука на лавку, взялась за его ручонки и, хлопая ими, запела считалку:

Раз-два, три-четыре,
Три-четыре причестили.
Пять-шесть, бьем шерсть.
Семь-восемь, сено возим.
Девять-десять, деньги весят.
Одиннадцать-двенадцать,
На улице бранятся...

— Садись, матушка, садись за стол-от! — Аксинья отпустила ребенка. Маряша помолилась шепотком и подсела на угол. Вера переменила младенцу грудь и тоже подвинулась к самовару. Аксинья достала из шкапа сахарницу.

— Как младеньчика-то назвали? — спросила Маряша.

— Да не назвали ишшо! Все думаем.

— А вот, матушка, я вам чево скажу-то...

Нищенка поглядела на Сережку с Алешкой, усердно дующих в чайные блюдца. Аксинья все поняла и подставила ухо. Она долго слушала шепоток нищенки, затем начала выпроваживать из дому Серегу с Алешкой:

— Идите в школу-то, идите ради Христа! Да пирога-то с собой возьмите...

Вера не успела допить свою чашку: тайная новость, сказанная Маряшей, и ее застала врасплох, как застала врасплох явная новость дедка Никиту...

Аксинья совсем растерялась. Она метнулась зачем-то в чулан, потом в сенник. Хотела одеть праздничное, но одумалась и побежала советоваться к Таисье Клюшиной. Вера велела Маряше качать младенца и тоже пропала. Олешка ушел в школу, а Серега остался дома. Бродил по сараю, не знал, что ему делать. Болела у него душа, просто раздваивалась! Олешка-то убежал в Ольховицу, там сегодня праздничный первомайский утренник. Сегодня надо читать стихотворение, а Серега дома, потому что дедко еще зимой посулил, что научит пахать... Сережка

нарочно пошел на обман, сказал, что в школу ему не надо, а Олешке надо в Ольховицу, чтобы матку проведать. Лежит, мол... Но в школу-то надо было обоим, там и подарки будут, и стихотворение давно выучено: «Мы с тобой родные братья, ты рабочий, я мужик, наши крепкие объятья — смерть и гибель для владык». Эх, не знаешь, что делать! Может, за Олешкой вдогон? Нет, будь что будет. Дедко послал за Павлом, чтобы останавливал мельницу и шел домой. Пахать поедут!

В то утро Павел впервые после приезда и после новой болезни уковылял на мельницу. Еще до того, как бабы затопили печь и обрядили скотину... Молоть рожь и толчи овес было нынче некому, кроме Роговых. Ольховская отцовская толчея сломалась, а починить не могут. Рендовая водяная тоже стоит, вода спущена. Даже усташенцы возили молоть в Шибаниху, и Никите Ивановичу отбоя не было от помольщиков.

На ночь мельница была остановлена дедком. Крылья были приперты кольями. Павел взобрался по лестнице на круговой настил, с которого подымаются по лесенке на амбарную площадку самой мельницы. Лесенка оказалась над северной стороной настила, поскольку дедко Никита толк овес за счет южного ветра. Павел оглядел узкий рубленый ряж, на коем вращался мельничный остов. Не пора ли мазать колесной мазью? Нет, дедко уже залил смазку куда надо. Все углядит Никита Иванович, все сделает вовремя.

Наверху, там, где ворот для подъема мешков, тоже все чин-чином. Веревка с железным крюком не болтается как попало. Дверка внутрь мельницы плотно закрыта. Здоровой ногой Павел толкнул дверцу, она оказалась не заперта. Шибановцы и в колхозе не боятся воров. Павел взял из ступы щепоть овса — чей такой крупный, такой сухой? Дедко собирался толчи до позднего вечера. А вот и мучной ларь. Ручеек, от коего держится вся человечья жизнь, не течет сегодня, молчат остановленные жернова. Ветер и вчера был слаб, чтобы работать на оба постава. Вспомнилось, как равными, сливающимися в один поток горстями жернова выбрасывали муку в дере-

вянный лоток. Вспомнилось, как сыплется, течет в деревянный ларь мучная струя перемолотой ржи. Иной раз мелют и с ячменем, двоежиток, но все равно струя-то кормилица... Подставишь руку, а по теплу она примерно такая же, как живая человеческая рука. Особенно чувствовалось это в зимнюю стужу.

Он поднялся на самый верх, под крышу, где был ковш, в который засыпалось зерно и под которым покоился посреди мучной обсыпи, в деревянном ящике, обычно шипящий неугомонный жернов. При полном ветре помольщики слушали мельницу, и жернова словно бы выговарили:

В Киеве лучше,
В Киеве лучше!

А песты упрямо толочили свое:

Што тут, што там,
Што тут, што там!

Тихо. Молчит сегодня жернов. И песты не бухают в наполненные овсом ступы. Снаружи через волоковое окно виновато и ласково веет весенний ветерок. Будто расстроился, что дует напрасно. Подвижный совок под ковшом, через который зерно течет в жернова, висит одним концом на новой сыромятной бечевке. Бечевку можно скручивать или раскручивать специальным устройством. Подымать совок с зерном или чуть отпускать. Чем тоньше струйка зерна из совка, тем мельче мука и дольше надо молоть...

Эх, если бы тот жернов, что лежит на речном берегу! Тот молол бы в два раза могутней. Ведь даже при тихом ветре мельница легко вертела этот, нынешний. Конечно, при добром ветре у нее хватило бы силы и на большой жернов, и на оба постава.

Вспомнились Павлу суровая зимняя стужа, ледяная купель и брат Васька в матросском бушлате. Вспомнились сутулые плечи бухгалтера Шустова. (Хотел назвать второго сына именем Шустова, да не поддержала что-то Вера Ивановна.) Вспомнил про жизнь в лесу. Схватил мешок, высыпал чью-то рожь в ковш. Проверил ступы. Спустился вниз и выдернул колья, подпиравшие крылья. Они дрогнули и вдруг тихо сдвинулись.

Все забылось... От горя и всех невзгодий как бы отмахнулась, крылатая: тяжелые широкие махи

скрипнули, сдвинулись и один за другим поплыли по небу. Да не забыла ли и она самого-то хозяина, пока шастал он по чужим людям, пока болел и собирался с новыми силами? Ан, нет, вроде бы помнит.

Крута лесенка, надо бы поотложее. И настил вокруг постамента не мешало бы сделать пошире. С хромой-то ногой лазить даже опасно.

Павел во второй раз взбирается по висячей лесенке на площадку к амбарным дверям. Так занятно, так высоко... Только глядеть на Шибаниху с высоты нет времени, разбирать где чьи гумна, бани и огороды некогда. Успел углядеть зеленеющий ельник, близкие сиреневые ольховые заросли и уже напрягшиеся от зеленого сока дальние березняки и осинники. Скорее наверх, где шаркают жернова, где глухо бухают березовые песты.

В Киеве лучше,
В Киеве лучше.
Што тут, што там,
Што тут, што там...

Перед строительством не знал Павел, что дедко тоже полюбит мельницу. Старик чувствует каждый клинышек, каждый стукоток чует и каждый скрип. Выучился даже ковать жернова... При воспоминании о раздавленных дровнях и о камне, оставленном в снегу, у Павла краснеют щеки. (Эх, давно вытаял на берегу брошенный камень! Пахать поедут, увидят... Увезти бы надо, пока не расколотили, пока и самого не отправили в Соловки...)

Толкут тяжелые окованные песты. Или это толочится под пиджаком Павлово сердце? Вторая ступа тоже засыпана, но песты над нею висят безмолвно, лишь слегка вздрагивают словно от нетерпения. Павел по внутренней лесенке опять подымается наверх и вытаскивает из гнезд штыри, освобождает остальные песты. Подымаемые березовыми лопатками, они начинают по очереди вздыматься и падать в наполненную овсом вторую ступу. Павел заглядывает в кош, который засыпан зерном. Еще два мешка, готовые, стоят на приступке. Рожь. Чья? Кто привез?

Ему хочется и эти мешки высыпать в кош. «Нет, пусть будет как есть,— думает он.— Ишь, разбежался, с больной-то ногой... Может, тут ячмень или пшеница...»

Скрепившись, он оставляет все как было, закрывает дверку, бросает на землю дедкову клюшку. Она долго летит до земли. Перед тем как начать спуск, Павел Рогов глядит окрест. Что там за лошадь у края поля? Пашут? Кто? Сивый мерин у одной Самоварихи...

Скорее, скорее вниз. На теплую весеннюю землю.

«Где же дедкова клюшка?»

Он лихорадочно хватает клюшку, ковыляет в сторону дома и вдруг падает от сильного, с потягом удара в плечо. Павел Рогов хохочет, как в юную пору, глядя на своего обидчика. Мельничное крыло торжественно и самонадеянно уходит в небесную глубину. Он встает и торопливо идет в деревню, а навстречу уже бежит Серега в новой рубахе. Уже выносили упряжь, выкатывали из подвала железный плуг. Сережка шмелем крутился около дедка, а тот — нарочно что ли? — как бы и не видел его. Привязанный Карько скреб землю копытом. Солнце слепило и плавилось. Бездонное небо синело над кровлями. Скворец трепыхал крылышками, сидя на крыше скворешника, пел и захлебывался от восторга и теплого воздуха. Пахло в деревне поджаренным на огне сосновым помелом и печеным тестом, сапоги у Сереги пахли дегтем. Овцы выпущены в огород, петух орет как пьяный. Дедко, наконец, увидел Сережку:

— Ну, Серега, где твоя подмога? Счас в поле выедем! Ты только надинь другие штаны. И рубаха у тебя празднишная, беги да надинь другую...

Мальчишка исчез в доме.

И побежали по Шибанихе сразу две новости, одна явная, другая тайная. От подворья к подворью, от избы к избе стремглав пролетела бескрылая птица-весть: «Роговы пахать выезжают!»

В то же время, из уха в ухо, шепотком, старухи и бабы сообщали друг дружке, что в Залесной уже с неделю тайно живет бродячий священник. Исповедует будто бы и младенцев крестит, ежели хорошо попросить.

* * *

Митьку Куземкина каждый день тянуло к погосту, хоть ты лопни! Так тянуло, как тянет к жаркой дородной девке, от которой дурманно пахнет моло-

дым огурцом, когда пляшешь метелицу. Всякий раз, лишь кинется глаз на церковь с крестом, какая-то сила сжимала у председателя зубы. Пальцы в карманах штанов-галифе сразу же собирались в кулак. Церковная главка, плывущая в шибановских небесах, и в обычные дни была для Митьки бельмом на глазу, а ведь сегодня-то Первомай. Забудешь ли, как сидели с Мишкой Лыткиным, дули в кулаки на крыше зимней пристройки? Особо дразнила Митьку, не забывалась частушка, придуманная Киняхой Судейкиным:

Председатель на трубе,
Счетовод на крыше.
Председатель говорит:
Я тебя повыше!

«Подожди, я тебе устрою трубу! — сплюнул Куземкин.— Черт, кривые ноги!»

И хотя у Кинди ноги были совсем не кривые, а прямые, Куземкин довольный сам собою отвернулся от церкви.

Было утро, Первое мая 1930 года. Председатель шибановского колхоза при распахнутых задних воротах искал на верхнем сарае черень для нового флага. Ничего подходящего не попалось, то слишком толсто, то коротко. Зато церковь, раздражая Митьку, то и дело мелькала в проеме сарайных ворот. «Граблевище отпилить, што ли?» — подумал Митька. Но граблевище было тонковато для красного флага. Да и грабли Куземкину стало жалко. Прямо по стенке вылез Куземкин через ворота в загороду. Старый, еще дедков хмельник выручил председателя. Длинные тонкие еловые колья так и прозимовали вместе с неощипанным хмелем. Обычно их складывают на зиму под навес, но осенью было Митьке не до того. Он выдернул один кол, ровный, тонкий и кособлойный.

Живет у черта старова,
Как в клетке золотой,
Как куколка наряжена,
С распущенной косой.

Вполголоса пел Митька Куземкин, счищая с кола хмелевую засохшую плеть. Настроение у председателя подымалось вверх вместе с солнышком. Свист и пенье скворцов, голоса петухов и пирожные запахи, а также первые пятачки желтой куричьей слепоты

не трогали Митьку, но его волновал и тревожил международный день Первого мая. Из Ольховицы вот-вот приедет уполномоченный, а у него, у Куземкина, не у шубы рукав.

Красный-то флаг в Шибанихе, конечно, был. Он приколочен еще вчера на конторский князёк. Контора нынче в избе у Кеши Фотиева, в доме бывшего кулака Евграфа Миронова. Отступился председатель от зимовки Северьяна Брускова, потому как Северьян свихнулся и мало ли чего можно от Северьяна ждать. Так вот, флаг-то один был уже. Но председатель хотел удивить уполномоченного, а заодно и всех шибановцев, особенно девок, а среди девок Тонька-пигалица стояла у Митьки на первом месте.

...Он забрался с колом обратно на верхний сарай, обрубил концы, гнилой с комля и тонкий с вершины. Вышел черень длиной в два примерно аршина. А где матерьялу красного взять? Об этом Куземкин не подумал заранее. Держа руки в широких карманах галифе, Митька стоял на повети перед распахнутыми воротами. Нижняя половина проема заполнена постройками, грядками, изгородями. Верхняя половина синеет глубоко и солнечно, а посреди синевы церковный крест. Колет он, тот крест, прямиком Митьку, гнетет, как думает председатель, всю шибановскую округу! Да неужто так и оставить? «Нет, не оставим! — мысленно орет Куземкин.— Мозги есть, пусть действуют».

«Мозги» ничего не придумали. Только вспомнили о красном с белым горошком ситце, купленном в лавке еще на Митькину злополучную свадьбу. Женился-то Митька с бухты-барахты, еще до колхоза. Привел самоходку, а она пожила с неделю да и была такова. Людям сказали, что неполадила с маткой. На самом деле... Ох, лучше не вспоминать! Убежала молодуха не от свекрови, а от самого Митьки из-за того, что целую неделю (отворотили, наверно) ничего не мог с ней сделать. Убежала в свою деревню и ситец оставила. Сестра Фаинка сшила себе из этого ситца три наволочки: тоже замуж-то норовит, хоть и молоденькая. Нынче вот и ее пришлось отправить на сплав. Пришла из района разнарядка на шесть человек. Где было набрать шесть человек? Никто не хотел ехать. Один Ванюха Нечаев согласился добром, остальных, в том числе и родную сестру, пришлось

обязать. Теперь вот матка и клянет Митьку, и ругается ежедень.

С такими раздумьями Куземкин вяло бродил на верхнем сарае. Но чем больше Митька раздумывал, тем скорее бежало время. Вон уже и брат Санко идет с реки, ходил проверять верши.

— Попало чего? — крикнул Митька.

Санко издалека показал небольшую рыбину. Матка в избе уже закрыла печные вьюшки. Запахло зноем, а он, председатель, не знает, куда податься, то на крест глядит, то на еловый черень.

— Ты чево ворота-ти растворил?

Митька видит, как мать старым серпом через отверстие в стене запирает сенник на внутреннюю задвижку. Она прячет серп в другое место.

«Воров боится» — думает Митька совсем отстраненно. «А где наволочки? — мелькает в Митькиной голове.— В сундуке наволочки, сундук в сеннике».

Открыть серпом дверку минутное дело. Митька подождал, пока мать не ушла в избу. Шмыгнул в дверцу, выругался про себя. Забыл, что сундук у Фаинки на замке. Где ключ? Ключ на божнице в избе.

Куземкин как вор, кусая губу, вкрадчиво ступает в угарную избу. «Не хватало угореть к празднику,— думает он.— Вон Павла, сопроновского отца, схоронили на днях. Слух прошел, что Зойка нарошно рано вьюшки закрыла. А где сам-то Игнаха? Говорят, засадили за левый уклон».

Сейчас Митьке не до Игнахи Сопронова, умыкнуть бы от сундука ключ. Матка гремит заслонкой. Митька изловчился и к божнице. Нащупал ключ и к сеннику. Санку, братану младшему, что лазал на вышку за новой вершой, Митька показал кулак: молчи, мол, матке не говори.

— Дай закурить! — попросил брат и спрыгнул с лесенки.

— Иди в избу, там в хорошем пинжаке папиросы. Пинжак на гвоздике,— говорит Митька и шныряет в сенник. Красная наволочка как раз поверх всего. Митька хватает ее, запирает по очереди сундук и чулан, нащупывает в тех же штанах-галифе гвоздики. Прежде чем приколачивать, любуется наволочкой. Красная, как петушинная борода! Правда, не совсем красная, белый горох бисером рассыпан по красному, да шут с ним, с горохом! Издалека-то будет не

видно. Митька наладил молоток и гвозди, чтобы прибивать. Только он взял наволочку в обе руки, чтобы разодрать по шву, как сильный удар по спине поднял председателя на ноги.

— Нечистый дух, ты это чево делаешь-то? — Мать, с коромыслом в руках, норовила стукнуть во второй раз.— Лешой болотной, это ты чево выдумал-то?

— Мамка, ты это... войди в чувсво! На флаг надо, севодни празник.

— Я те покажу празник, я те, сотоне, покажу флаг, лешой болотной!

Она бросалась на него опять и опять с коромыслом, но Митька проворно отскочил в сторону. Она подняла с настила красную наволочку, бросила коромысло и схватила еловый черень, припасенный на флаг.

Митька побежал с повети, прыгнул в чистые сени.

С лесенки, дымя зажатой в зубах папиросиной, улыбалась веселая Санкова харя. Митьку взбесило такое предательство, он хотел тут же как следует проучить родного братана, но матка, как парунья-курица, с новой руганью выскочила в чистые сени.

«Одному супротив двух...— мелькнуло в сознании,— нет, лучше не ввязываться». Митя Куземкин как ошпаренный выбежал на весеннюю улицу. Обернулся, погрозил в Санкову сторону кулаком:

— Ну, ты у меня покуришь нонче дорогих папирос!

Петухи пели по всей деревне, свистали скворцы.

Левой лопатке досталось больнее всего. Митя подрыгал плечом, вспомнил сам про себя, кто он есть и чего хотел. Что делать и как быть? Не такой он человек, чтобы отступать от главного плана. С перворазки не вышло, выйдет во второй раз. Какой он будет, второй-то раз?

Куземкин переключился на председательскую походку и пошел от крыльца. Где еще видел он красный ситец с мелким горохом? У кого? Надо спросить Володю Зырина, он торговал этим ситцем. Да! А у Палашки, Евграфовой дочки, вот где! Видел сам, когда описывали имущество.

Палашка от Микуленка девку родила. Живет с маткой на подворье у Самоварихи. Вишь он как! Микулёнок-то... Наблудил да и сам в сторону. «Перевели сперва в Ольховицу, потом в район,— думает Ми-

тя с завистью.— Галифе, правда, у Микулина выморщил, считай, ни за что. А времечко-то идет! Эдак и не успею с красным-то флагом. Схожу-ко я к Палашке. Только это... К Палашке за матерьялом? Нет, рано ему к Палашке!»

Тайные мысли насчет Палашки Куземкин прятал от всяких прочих, эти мысли особенно часто приходили к нему по ночам. На людных игрищах он пел такую частушку:

Скоро буду я жениться,
Скоро буду я женат.
Надоело полосатую
Подушку обнимать.

На самом-то деле не о женитьбе он думал, не о женитьбе... «А чево мне жениться? Не буду пока. Вот пойду в избу к Самоварихе, у Палашки подушка не полосатая. Красная, с белым горошком. Неужто прогонит? Прижму как следует... Деваться-то ей некуда будет. Колькой Микулиным дорожка проторена...»

Забота о флаге грызла Митю Куземкина. Ему пришло в голову сходить к приказчику, но с Зыриным были у председателя нелады из-за того, что Володя совсем бросил колхозную документацию. «У тебя, говорит, колхоз бумажный, и мне с такой бумажной тяжестью не выстоять». Нет, пустое дело ходить к Зырину. Надо агитировать матку, выхода нет.

Куземкин повернул домой. В избе пахло пирогами, пареницей и паленым помелом. Мать из кути не вышла. Братец Санко сидел за картофельным чугунком, ухмылялся ехидно. Митя скрипнул зубом, но переломил себя:

— Мамка, ты войди в мое положеньё.

— Молчи, бес! — послышалось за деревянной заборкой.

— Да ведь севодни праздник, день солидарности, уполномоченный из Ольховицы вот-вот явится...

Она вышла из кути, сунула на стол пол-каравая ржаного еще горячего хлеба:

— Садись да ждри!

— Отдай хоть временно, я мануфактуры тебе новой куплю. Вот тебе крест!

Но она опять ушла за деревянную переборку. Загремела печная заслонка, упал ухват. Надеяться бы-

ло не на что. Санко, сидя за чугунком, делал какие-то тайные знаки. Жевал брат хлеб с картошкой, а сам показывал на шкап, ты, мол, постой на страже, чтобы она не увидела, а я шкап открою и потихоньку выволоку что надо. Митя понял, вскочил с лавки и в куть к матери:

— Мамка, мамка, у тебя с чем пироги-то?

— А с чем будут, с тем и будут! — Она все еще не могла успокоиться.

— Ты не подведи ради праздника.— Митя похлопал ее по плечу.— Да. Уполномоченный вот-вот...

И Митя торжественно, по-начальнически вышел из кути. Санко уже в сенях сунул ему наволочку. Митя затолочил ее за пазуху под пиджак, сбегал на поветь за еловым чернем и опрометью на улицу: там уже стояли с пилой и веревкой Кеша Фотиев с Лыткиным и еще кто-то.

Санко тоже присоединился к честной компании. Все дружно пошли к погосту.

III

Опять как тогда, зимой, пришлось у роговских баб просить долгую лестницу! Хорошо, что ни дедка Никиты, ни Павла дома не было...

Куземкин-старший первым забрался на зимнюю церковь, кинул конец веревки. Кеша внизу привязал веревочный конец ко второй тоже долгой пожарной лестнице. Начали поднимать. Все с топорами прилезли на крышу зимнего храма. Заволокли туда и еще одну, легкую, но длинную лесенку Евграфа Миронова. Митя не позволил даже закурить, торопил ставить пожарную лестницу к летнему храму.

— Тупицу бы надо,— сказал Куземкин, когда Кеша вострием топора пробил железную крышу. (Требовались гнезда, чтобы лестница не оползла и стояла твердо.)

— Так это и есть тупица,— объяснил Кеша.— Я ево все одно не точу.

Долго и осторожно ставили они на крыше эту вторую лестницу. Наконец, Митя Куземкин в оба кармана наклал больших гвоздей, привязал к ремню конец еще одного ужища и сказал сам себе:

— Ну, Кузёмкин, не пуха, не пера! Семь смертей не будет, а одной не миновать. Полезу...

Наволочка в кармане штанов, легкий топорик Евграфа Миронова на спине за ремнем, ножовку можно зажать в зубах. Председатель начал подыматься туда, к зеленому куполу... Он гасил свой страх то навязчивой песенкой, то воспоминанием о теплой Палашкиной пазухе. Он старался не глядеть вниз и по сторонам. Уже вся волость шибановская была под ним, как на ладони. Он чувствовал это косвенно, хотя боялся глядеть. Перекладина за перекладиной, выше и выше... Вот он, край, не широкий, но отлогий карниз высокого летнего храма. Дальше приступок у купола, край с водостоком... Лестницы еле хватило до водостока.

Куземкин перевалился через водосток на отлогий приступок, прислонился к отвесному подножию купола.

— Привязывай маленькую! — крикнул он нижним работникам и невольно взглянул вниз. Митя зажмурился. Страх подступил откуда-то из живота, но Куземкин пересилил себя. Внизу, на крыше зимней церкви, Кеша и Лыткин перестали держать большую лестницу. Они привязали веревку к другой лестнице.

Что думал Куземкин, когда подымал и прислонял к куполу эту легкую Евграфову лестницу? Ничего он не думал. Вертелась в его голове какая-то пустая частушка. Митя поднял-таки на выступ эту легкую лесенку и приставил ее к куполу. Упершись в железный желоб водостока, она стояла довольно круто, была ничем не закреплена, но Куземкин отчаянно полез по ней. Когда лесенка кончилась, крыша купола стала отложе. До перехвата и небольшой луковицы с крестом было еще далеко. Митя отдышался, не глядя окрест. Достал со спины Евграфов топорик, забил в железо первый гвоздь, второй... Вбивая в крышу купола толстые гвозди, он подымался по ним выше и выше. Ножовку пришлось бросить, веревка тянулась следом. Страх иногда зарождался в животе и в груди, отдавался чуть ли не в пятках, но председатель упрямо забивал гвозди и медленно, осторожно подымался к небольшому восьмеричку, на котором держалась луковка. Лежа на купольной крыше, он доставал очередной гвоздь и вбивал. Хватался за него, подымал ногу, по-пластунски подымался к восьмерику. Вдруг, когда лезть было уже некуда, вся сила в руках пропала. Его охватил ужас... Председа-

тель долго лежал так, пластом, на зеленой купольной кровле. Вот сила опять вернулась в руки и ноги, он вытянул веревку и начал бросать конец, чтобы обвить ею восьмерик. Конец не долетал. Куземкину пришлось бить новые гвозди. Но вот ему удалось обвить восьмеричок веревкой и закрепить петлю глухим узлом. Он отрубил остаток вожжей, сунул один конец за пояс.

Теперь, держась за глухую петлю, можно было встать на ноги и даже обойти вокруг самой маковки. До креста можно было достать рукой...

Куземкин победно взглянул вниз, где, стоя на крыше зимней церкви, махали руками брат Санко, Миша Лыткин и Кеша. Пусть машут и пусть кричат... «Девок-то никого не пришло?..» — подумал Митя, но думать ему не было времени. Он проверил глухую петлю, державшую его около маковки. Отвяжется или лопнет — крышка... Полетишь вниз... Веревка держалась за восьмерик прочно. Для страховки Куземкин пристегнулся к ней кожаным солдатским ремнем, обнял маковицу, достал из кармана красную наволочку и начал махать. Сам собой получился у Мити крик:

— А-а-а, едрёна мать! Во! Во!

Он держался левой рукой за крест, а правой махал распоротой красной наволочкой... Внизу лежали серые полевые клона, огороды, прошитые строчками изгородей, грудились вокруг погоста постройки, гумна и сеновалы. Деревня Залесная и все остальные оказались совсем близко. Дороги бежали туда и сюда. Озеро синело в лесу. Вороны и галки летали не вверху, а внизу... Председатель кое-как двумя узлами привязал наволочку к железному кованому кресту. Ее подхватило порывом южного ветра.

Хотелось Куземкину гаркнуть еще раз, победно и торжественно заорать на весь белый свет и он уже набрал было побольше воздуха. Но крик не вылетел из председательской глотки. Застрял крик, когда Митя снова взглянул окрест...

У прогона, в четвертом поле, ближе к поскотине, там, где был земельный повыток вдовы Самоварихи, чернела вспаханная полоса, и вдоль нее ходила сивая лошадь с сохой. Пахала какакя-то баба, и свежая полоса земли ясно и четко выделялась на поле.

Как так? Во-первых, праздник 1-е Мая, во-вторых,

колхоз хоть и разбежался, но председатель остался. Кто разрешил? Ну, я ей задам! Обнимая церковную луковицу руками и ногами, Митя очумело глядел вдаль. Он боялся пошевелиться, но его всего трясло. Матерясь и отплевываясь, Митя рвал свои рукава, спускался по гвоздям. Он торопился, неосторожно коснулся сапогом лесенки, а она свихнулась, поползла и упала.

Митя захолодел, его опять охватил ужас. «Господи, спаси!» Хорошо, что не выпустил конец веревки. Он привязал вожжину к одному гвоздю и по ней спустился к подножию купола. Ненавистная Евграфова лестница лежала у купольного подножья.

— Держу, держу! — послышалось снизу. Митю трясло, но он перевалился через водосток, нащупал ногой большую лестницу и начал спускаться. Он все еще мысленно твердил: «Господи, спаси. Господи, спаси и помилуй...»

На крыше зимней церкви его ждал один верный Миша Лыткин. Братана Санка и Кеши не было. Куземкина возмутило такое предательство, он заматерился и снова стал прежним.

— Стой, Мишка! Не трогай, оставь лисницу тут! — сказал Куземкин, когда окончательно отдышался.— Мы потом ишшо слазаем... Крест после спихнем... Дай закурить!

Митька затянулся раз или два и бросил цыгарку. Оба с Лыткиным по очереди спустились вниз по роговской лестнице. На земле он сокрушенно пересчитал дыры на пиджаке: «Галифе-то... Устояли и на гвоздях. Не зря сшиты из чертовой кожи.»

Он велел Лыткину собрать «струмент», сам же чуть не бегом заторопился в деревню. У лошкаревского дома неожиданно встретились трое нарядных женщин. Они так и охнули! Все трое хотели повернуть обратно, словно бы испугались. Одна была с ребенком на перевязи, другая держала за руку роговского Ванюшку. Он уже начинал ходить. В сапожонках и опять же в красной рубахе белым горохом. Из того же ситцу, что и флаг на кресте. Председатель оглянулся на церковь, но тут же насторожился. Что такое, куда направляются?

Бабы остановились, растерянные. Куземкин строго оглядел каждую:

— Так. Далеко ли?

— Митрей да Митревич,— очнулась и заговорила мать Ивана Нечаева. Она в пояс поклонилась Куземкину.— С праздником тебя, батюшко, с праздником!

Широкий, едва не до земли дольник-сарафан радугой поплыл перед Митькиным взором. Губы его тоже поплыли в довольной улыбке:

— Так же и вас! Взаимно!

Председательский возглас совсем ободрил старуху:

— Погода-то, погода-то, Митрей, будто Христов день! Солнышко теплое, надо бы уж и пастуха подряжать.

— Да, да, погода самая празднишная, первомайская. А вы это куды эк в парадной форме? — опять насторожился Куземкин.

— Дак ведь на митингу! — сообразила Людка Нечаева, и Аксинья Рогова ее тоже подвыручила:

— Ишшо вчерась Селька загаркивал... Стой, не верти головой, кому говорят! — Для надежности она шлепнула по спине Ванюшку. Мальчонка заревел.

— Робенков, особо грудных, не стоит ташшыть,— заметил Куземкин.— Оставить дома!

Довольный, он пошел дальше, но оглянулся еще раз:

— А хто пахать выехал?

— Самовариха, батюшко, Самовариха! — закричали бабы чуть ли не хором.— Пронеси, Господи...

Аксинья подхватила на руки обиженного ни за что ни про что Ванюшку, утерла ему нос:

— Не реви, батюшко, не реви. Вон, вишь, Петька-то не ревит, а ты ревишь. Не стыдно ли?

Петька Нечаев, по-цыгански устроенный на перевязи на спине у Людмилы Нечаевой, действительно и не думал реветь. Все кругом было так занятно...

Женщины подождали, когда председатель скроется за углом, воровски огляделись и торопливо, чуть ли не бегом, к гумнам, на залесенскую дорогу.

* * *

В избе Самоварихи Вера с Палашкой спешно кормили и пеленали младенцев, торопливо укладывали узлы, рассчитывая догнать Аксинью с Людмилой.

— Верушка, Верушка, крестик-то не забудь!

— Поди-ко с ночлегом надо, домой севодни не выправить.

— Знамо, за один день не выбраться, ночуем у баушки Миропии.

— Дак где там попа-то искать? — спросила Вера и поглядела в окошко.— Ой, Куземкина лешой несет! Ой, к нам вроде бы, ой, и ворота не заперты...

Вера с Палашкой заметались, забегали по обширной Самоварихиной избе. Палашка убрала оба узла в куть, под лавку:

— Верушка, ты садись-ко за кросна! Тки шибче, а я буду вроде бы лучину щепать...

Какая уж тут лучина! Один младенец запищал, укутанный. Видимо, стало жарко. Вера едва успела сесть за кросна, в дверях Митя Куземкин:

— Здравствуйте пожалуйста! Чево обе воды в рот набрали? С праздничком!

Митя хохотнул и уже запустил правую руку к Палашке за пазуху, та, в сердцах, обеими руками оттолкнула его:

— Уйди к водяному!

— Экая строгая стала...

— Какая была такая и есть.

— Как девку-то назвала? — спросил Куземкин, и Палашка сразу стала другая. Заулыбалась:

— А не скажу.

— Воспу надо привить! — строго промолвил Митя.— А где Самовариха? Правда, што пахать выехала?

Вера незаметно вошла в азарт, сильно хлопала бердом. Челнок у нее так и летал туда и сюда. Скрипели подножки, нитченки мелькали то вверх, то вниз. Она остановила тканье:

— Правда, правда, Митрей Митревич! Пашет на Сивке Самовариха. Все утро. Ты-то пахать не думаешь?

— Ну, я ей устрою посевную кампанию! — сказал Митя и выскочил из избы. Вера с Палашкой переглянулись и не смогли удержаться от смеха.

«Господи! — хохотали они обе.— Уж и пахать-то стало нельзя! Побежал! В поле ринулся, как настеганный. Ой... А мы-то, дуры, чево сидим?»

Обе враз перестали смеяться.

— Верушка, Верушка...— Палашка снова принесла из кути узлы.— Ведь не догонить нам будет Людмилу-то и Оксинью, не догонить. А ежели нам к озеру да на лодке? Напрямую бы, прямо в Залесную. Царица небесная матушка, спаси, подсоби...

Недолго думали. Укутали деток тепло и плотно. У каждой широкие полотенца через плечо, на перевязи легче нести. У той и у другой по узлу на левой руке, в узлах пироги да по холсту в оплату священнику. Денег нету ни у той, ни у этой...

Уходили задами, около изгородей, прятались за амбары и гумна, полем да скорее к болотному лесу. Вроде никто не видел. А и видел, так теперь-то никто уж не остановит! «Какова-то там маменька со старшим сынком? Далеко, ой далеко идти! — думала Вера Ивановна.— Ну, да Бог милостив, Людмила Нечаева нести подсобит. Нечаевы-то пошли двое с одним... Тетка с баушкой. А мужики и знать ничего не знают. Пахать выехали...»

Палашка ходко ступает по тропе еще не везде просохшим болотцем, отводит ветки берез уже с набухшими почками. Крушина и болотная ива стегают ее по белым ногам. Палашка подняла сарафан выше коленок. Лягушки урчат в прогретых лужицах. В болоте веселые переливчатые голоса куликов сменили писклявых полевых чибисов. Закраснела клюква на мшистых кочах.

«Сапожонки у девки старые, наверно, текут,— жалеет подругу Вера Ивановна.— Все у нее отнято, вплоть до сапогов. Ни отца, ни матери... А мой-то тятенька где?»

У Веры щиплет от горя в носу, вскипает обида в горле, а Палашка возьми и запой, как бывало пела на игрище:

Запевай, подруга Вера,
Нам никто не запоет.
Невеселое-то времечко,
Не скоро да пройдет.

Сглотнула Вера Ивановна горловой ком да и спела в ответ:

Задушевная подруга,
Как мы раньше жили-то.
Ты вздохни, а я подумаю,
Ково любили-то.

Палашка идет да идет. Не осталась в долгу, на ходу выдумала частушку:

Шла я лесом-интересом,
А по лесу ягоды.
Дорогово за изменушку
Любить не надо бы.

Что скажешь на это, чем утешишь Палашку? Бросил ее Микуленок, начальником стал. Вера Ивановна подобрала наугад, что пришло в голову:

Заростай дорога лесом,
Заростай поляночка.
Не воротится по-старому
Моя гуляночка.

Не успели пропеть все, что скопилось на сердце,— засинело впереди озеро. Осторожно прошли по узким мосткам, к лодкам. Палашка положила закутанного в одеяло ребеночка на сухой деревянный настил под отцовым навесом. Мироновской лодки у причала не было, лишь обрывок мерёжи качался на жердочке.

— Лешие, лешие,— заругалась Палашка,— опеть, наверно, залисенские угонили! Ивановна, я тебе чего расскажу-то...

Палашка начала спихивать в воду клюшинскую долбленку:

— Ты не видела Акимка-то? Вроде бы к Тоньке ходит, а все только про тебя и спрашивает...

Вера вспыхнула. Свежий ветерок с озера погасил жар на щеках, согнал с них краску стыда. Нет, не видела она Акима Дымова и видать его ей ни к чему! Но знала Вера Ивановна, что парень все еще сохнет по ней. Давно бы должен жениться, и было ей иногда приятно подумать, что такой парень все еще жалеет ее.

«Господи, прости меня грешную,— мысленно произносит Вера Ивановна.— Разве дело, ежели ходит к Тоне, а сохнет по ней, по давно замужней? Ну-ко, ежели Павел про то узнает, что тогда будет. А может, и знает уж, ежели народ говорит».

Палашка ищет весло, кидает оба узла в нос и в корму, а сама молотит свое:

— Я Тонюшке говорю: чево это он ходит к тебе, а поклоны в другой дом заказывает? А Тонюшка сама вроде ево. Ольховскую-то гостьбу никак не может забыть... Этта меня увидел, Акимко-то, скажи, грит, Вере Ивановне...

Вера всерьез рассердилась и перебила подружку:

— Отстань к водяному! Чево здря языком-то молоть? Ведь я тебе не красная девка! Вон двое уж в люльке-то...

Палашка притворилась, что ничего не случилось, затараторила:

— Ой, ой, Верушка, а у миня молоко потекло. Чево делать-то? Надо бы покормить, а и ехать надо. Время-то к обеду поворотило... Давай-ко, может, вытерпят до Залесной, на том берегу и покормим! Красное солнышко, свичушка моя светлая, глазки-ти синие...

Оба младенца проснулись, закряхтели.

— Вся в отца,— сказала Вера, все еще злая от ненужного разговора. Палашка ткнулась на чью-то перевернутую лодку.

— Да не реви ты, не реви ради Христа! — Вере снова стало жалко Палашку.— Где мое-то весло?

Как ни искали, второго весла не нашли. Рыбаки прятали свои весла в лесу по укромным местам.

— Придется, видно, на одном плыть! — вздохнула Палашка.— Господи подсоби, царица небесная... Ивановна, бери деток да садись после меня...

Узлы лежали в корме и в носу. Палашка с веслом уже сидела на одном рундучке, Вера с детками на каждой руке — на другом. Корма вся сидела в воде, нос еще держался за берег. Палашка долго отпихивалась веслом. Лодка, наконец, оторвалась от суши, качнулась. У Веры екнуло сердце: вода плескала прямо в бортовые набойки. Вылезти бы пока не отъехали? Не приведи Господи, волной захлестнет. Вон ветер подул да и детки зашевелились. Мокрые, наверно, и кормить бы надо. А молоко тоже течет, как у Палашки.

...Весло брызжет на Веру, когда Палашка перекидывает его со стороны на сторону. Высокие прошлогодние хвощи касаются бортовых набоек, крупная зыбь идет слева и поперек. Две гагары качаются на воде, отплывают подальше и ныряют по очереди. «Господи милостивой,— слышит Вера Ивановна громкий Палашкин шепот.— Господи, не оставь, царица небесная, матушка и заступница...»

Вера Ивановна тоже читает молитву. И всего-то знает она две: «Верую» да «Отче наш». Научил дедко Никита. Третью в школе учила да так и не выучила... Она читает молитву, а волны брякают в борт. Качнись немного, и лодка зачерпнет холодной воды, что тогда? «Ой, Палагия! Ой, что будет, оба плачут!» Вера качает укутанных в одеяла деток, а они оба ревут, пищат, как птенчики. Уже и забыла, который свой, который Палашкин, качает, и обе руки уже затекли, а озеру конца нет!

— Палаша, чево делать-то? — плачет Вера.— И держать не могу, а оба ревят... надрываются.

Палашка веслится изо всех сил: два гребка слева, весло на другую сторону. Два гребка справа и опять слева, а лодка будто на месте стоит.

— Титьку-то дай своему, моя-то сидит и так. Титьку ему сунь! — кричит Палашка.

— Да как я суну-то? Руки-то заняты! — в отчаянии тоже кричит Вера Ивановна. Палашка положила весло и на коленях, осторожно, чтобы лодка не перевернулась, подползла к Вере, расстегнула ей казачок и новую кофту. Высвободила Верину грудь. Вера притянула ребенка поближе, приноровилась, и он жадно поймал сосок.

— Вываливай и эту титьку,— говорит Вера Ивановна, а Палашку не надо долго просить. Подсобила сунуть в розовый ротик второй сосок, и оба младенца сразу стихли. Ухлёбывают обильное молоко, жадничают, а вода так и шлепает в борт. Лодку несет по ветру, качает ее на волнах. Палашка задом, задом да на корточках подвинулась на свой рундучок и схватила весло. Скорее, скорее! Оказались на самой середке, до берега еще плыть да плыть. Что это? Воды-то много на дне лодки, сейчас подмочит узлы...

Палашка побелела от страха. Вода била фонтанчиком в круглую дырку. Как тогда, у Игнахи Сопронова, выпал рассохшийся сторожок. Господи! И берег еще далеко! Руки у нее ослабли от волнения и страха. Глянула перед собой: Вера сидит с голыми титьками, по ребенку на каждой руке. Платок съехал, волосы рассыпались, сосит, кормит деток, а вода прибывает. Волны опять развернули лодку. Палашка перекинула узел из кормы на середину лодки, прямо в воду. Начала веслом выбрасывать копившуюся воду. Дыру-то заткнуть бы чем. Вот опять прибыло! Скорее, скорее...

Она веслится что есть мочи. То опять воду выкидывает, то веслится, а вода в лодке все прибывает, вон вся лодка огрузла, сейчас волной через борт захлестнет...

Палашка взвыла от страха, сила в руках пропала. Но взглянула на белую как холст Веру Ивановну и снова: два гребка слева, два справа, два слева, два справа. Повернется назад, откачает немного воды за корму и опять гребет. Уже волны захлесты-

вают воду поверх бортовых набоек, уже и узлы в воде, а залесенский берег только-только поехал навстречу. «Нет уж, Коленька, нет! — мелькает в уме (даже тут Микулёнок).— Нет уж, нет уж!» Что, нет уж? Она и сама не знает. Тонуть начали, погружаться в воду, когда лодочный нос ткнулся в твердое место на залесенском берегу. Лодка, наполненная водой, окунулась и захлебнулась, но дно было твердое и место у берега не глубокое, всего на аршин. Вера Ивановна первая выскочила на берег. Палашка, стоя по пояс в холодной воде, выкидала узлы. У нее не хватило сил вытащить на сухое место затопленную лодку. Села на берегу на какую-то доску и заревела навзрыд...

Вера положила спящих деток на сухой деревянный настил под чьими-то рыбацкими вешалами, начала торопливо застегивать кофту... Ноги и весь подол праздничной юбки были мокрые. Она опустилась рядом с Палашкой и тоже взревела.

Только сейчас, рыдая, обе начали приходить в себя, а младенцы пробудились и спокойно покряхтывали, укутанные и запечатанные в сухие стеганые одеяльца. Как Вера Ивановна ухитрилась не замочить дорогие те упаковки? Она и сама не знала. Гладила понемногу успокаивающуюся подружку по мокрой спине, глядела на темносинюю озерную ширь. Подсобляла снимать мокрые полусапожки.

— Сними и сарафан-от, ведь простудишься,— выговорила наконец Вера Ивановна.

Переливчатые голоса куликов, обогретых теплым, уже почти летним солнышком, запах весенней воды и первой лесной прели веяли над двумя еще не крещенными младенцами.

* * *

Серега потерял ременный кнут и удрученно бродил по полю. Павел велел ему наломать в прогонных кустах ольхового сушняку. Подал ему спички, чтобы развести теплинку. Еще раз поглядел у Карька под хомутом. Не жмет ли где, не давит ли... Потрогал оглобли: чересседельник свободно перемещался по седёлке. Железный прицеп ловко сцепился с плужным ушком. (Перед тем как начать пахать, Павел распрягал Карька и дал ему покататься на весеннем уже теплом лугу.)

Дым от Сережкиной теплинки волновал и лошадь, и пахарей, еще волновали переливчатые голоса куликов. Жаворонок тоже был не дурак: так он заливался, так старался, подымаясь все выше и выше. В синеве небесной редкие облака шли с юга вместе с теплым непорывистым ветром. Пахло просыпающимся кореньем. Павел сказал Сережке стишок:

На широком на лугу
Потерял мужик дугу,
Шарил-шарил, не нашел,
Без дуги домой ушел.

Сережка потерял не дугу, а погонялку. Искали вместе, искали да так и не нашли, а она и лежала чуть не под носом...

«Черт, черт, поиграй да обратно отдай,— добродушно проговорил Павел.— Не тужи, Сергий, нашему Карьку без погонялки-то лучше».

Поле, названное четвертым, хотя и с уклоном в холодную сторону, и каменья на нем уродилось не меньше, чем на прочих полях Шибанихи, было любимым Павловым полем. Почему четвертое, ежели и всего три поля: паренина, озимь и яровое? Еще до столыпинских отрубов кое-кто пробовал перейти с трехполки на четыре и даже на пять полей, для чего начали сеять горох и клевер. Горох сеяли, конечно, и раньше, но как придется, а клевер был внове. Клюшин Степан привозил агронома откуда-то с Вожеги. А может, и с самой Вологды? С того и пошло название: четвертое поле. Долгие полосы и клона большие, но никакое оно не четвертое, это поле, а по-прежнему третье. Когда при Столыпине выходили на отруба, все перепуталось. Кое-кто и хуторов нарубил, а война с немцем как тут и была. Фронтовики пришли, начали наводить новый порядок. Разделили землю по едокам. Опять не до четырех полей, управиться бы с тремя. При переделе Роговым достались в четвертом поле две полосы, в соседях оказались Клюшины да Володя Зырин. Одну полосу Иван Никитич вспахал с осени под зябь, вторую Павел попросил оставить для сравнения: узнать, много ли зябь дает прибавки.

Вспахать надо было всего один загон, как называли в Шибанихе полосы. (В Ольховице говорили почему-то не загон, а повыток.)

— Бог помочь тибе, Павло Данилович!

Самовариха, вспахавшая свой повыток, держась за кичигу, правилась к дому. Соха ее ехала на деревянном полозе.

— Спасибо, спасибо,— пристыженно отвечал Павел Рогов. «Надо ж, как получилось. Баба, бобылка, вспахала раньше всех...»

— А чево не боронишь сразу? — спросил Павел.

— Да у меня бороны-то нет, у Жучка надо просить...

— Ну, мы вон с Серегой забороним и тебе к вечеру. Припасай, чево рассевать.

— Ой, кабы эк-то! Я бы не стала и у Брусковых просить. Да он, может, и борону спрятал.

Павел твердо посулил Самоварихе заборонить и ее повыток, когда будет боронить свои полосы. Она обрадовалась и отправилась к дому.

Сережка совсем смутился. Он потерял не дугу, а погонялку, то есть сыромятный кнут на рябиновом черенке. Искал, искал да так и не нашел.

— Не тужи,— опять успокоил его Павел.— Карько у нас и без кнута добро ходит. Он не обидится...

— Да воно она, воно! — неожиданно заорал парнишка. И даже заплясал, заприскакивал. Погонялка висела на ветке, брошенная на ивовый куст. Нет, что ни говори, а надо иногда что-нибудь потерять: так приятно потом невзначай обнаружить пропажу...

Павел улыбнулся Серегиной радости и взялся за ручки плуга. Сказал:

— Ну, с Богом!

Карько оглянулся назад. Левое ухо мерина повернулось, наставилось в сторону пахаря, конь переступил с ноги на ногу, как бы желая удостовериться в правильности хозяйской команды.

— Пошел, пошел, Кареван...

И Карько напряг гужи. Плуг мягко вошел в землю. Зачирикали под лемехом некрупные камешки, свежая борозда запахла влажной землей. Шла черная лента, переваливалась на правую сторону. Опытный мерин не рвал плуг, не останавливался и не спешил. «Не нужна нам, Серега, твоя погонялка, нет, не нужна!» — подумал Павел. И хотелось запеть, так приятно было ступать за плугом. В самом конце полосы Павел принагнул вправо плужную ручку, и плуг вышел из земли. Павел закинул его опять же вправо и шевельнул левой вожжиной. Мерина можно было и

не учить. Он сам знал, и куда заворачивать. Встал Карько в крайнюю прошлогоднюю борозду и подождал, когда хозяин выпрямит плуг.

— Эх! Давай, брат...

И пошла, пошла черной бичевой еще более радостная обратная борозда! Завораживала, словно закручивалась. Павел слышал чириканье мелких камней, слышал ровное мощное дыхание лошади. Вдыхал сырой земляной дух и глядел, глядел, как плужный отрез отделяет от полосы новую ленту и как щетина стерни уходит под перевернутый пласт. Но в чем дело? Карько остановился, не дойдя до конца. Павел поднял глаза.

Дмитрий Куземкин левой рукой держал мерина под уздцы. Павел, с удивлением оставив плуг в земле, подошел к Митьке. Тот отпустил Карькину оброть, как-то не по-своему сказал, крикнул почти, а не выговорил:

— Доброго здоровья, Павел Данилович! Труд на пользу. Только ты здря тут пахать начал.

— Как так здря?

— А так. Четвертое поле нонче будет колхозное.

— Что значит колхозное?

— То и значит.

Куземкин стоял в своих растопыренных галифе, улыбался и вроде бы что-то насвистывал. Павел почувствовал слабость в ногах. Куземкин снова заговорил по обыденному:

— Ты в колхоз вступал? Вступал. Вот и делай вывод.

— Я свой **вывод** сделал,— сдерживая ярость, проговорил Павел.— Я мерина **вывел** пахать... Понимаешь?

— Понимаю, только тут мы тебе пахать не дадим.

— А ну, отойди в сторону! — удушливо сказал Павел и, хромая, вернулся к плугу.— В сторону, кому сказал! Карько, пошел вперед...

Сережка с открытым ртом, испуганно глядел на все это. Карько навалился, снова напряг гужи, но плуг не сдвинулся с места: Митька, видимо, дернул за кончик супони, и хомут раздвинулся. Карько стоял, прядая ушами.

Павел в ярости тихо сказал Митьке:

— А ну, засупонь... Засупонь, кому говорю... Сделай, как было!

Митька улыбался. Он стоял перед Павлом, держал руки в карманах галифе и стоял. Павел подскочил к Сереге, выхватил у него погонялку, закричал на Куземкина:

— Счас я тебе устрою колхоз...

Кнут со свистом стегнул по ногам Митьки Куземкина. Сыромятная плеть обвила сапоги, дернулась, и председатель Куземкин упал на луг. Павел успел выдернуть погонялку и начал стегать Митьку.

— И... э-э-эх, погань, ты у меня запляшешь. У-у-ух, блядь шибановская, ты у меня завертишься... Р-р-рых!

Куземкин крутился на земле, пробуя встать, но его снова сапогом кувыркали на луг, снова стегали. Так славно гуляла Серегина погонялка по Митькиной жопе, не один раз обвилась вокруг поясницы, досталось ногам да и по роже разок вроде заехала.

Митька, наконец, увернулся от очередного удара. Вскочил и бежать к деревне. Отбежал саженей на десять, обернулся. Подтянул галифе и показал роговским пахарям кулак. Павел поднял с полосы увесистый камень, побежал, бросил в Митю да не попал. Куземкин убегал уже без оглядки, а Серега тоже начал палить камнями в догон Куземкину.

Один Карько, шевеля большими ушами, видел, что случилось в четвертом поле около роговской борозды.

Павел ударил о землю шапкой, схватился за буйную голову:

— Все, Серега... Теперь упекут... Беги домой к дедку, скажи... Беги, говорю! Не плачь...

Павел и сам не знал, что надо передать дедку Никите. Его все еще трясло от гнева.

Держась за оглоблю двумя руками, пахарь прямо лбом уперся в теплый пах мерина:

— Каюк...

Мерин вздохнул глубоко и шумно.

IV

За неделю до Николина дня распустилась черемуха. Она забелела по всем опушкам и распадкам лесным, по скотским прогонам, над рекой и в родниковых овражках. Но особенно густо цвела на огоро-

дах и в палисадах. Недвижным кремово-белым облачком нежданно-негаданно явится под окном либо на задворках, окутает дом и все около дома сладковатым, терпким своим духом, разбудит стариковскую память, кинется в голову, одурманит и растревожит юное сердце.

Но в самый разгар черемухового буйства грозно вздохнуло Белое море. Пронизывающий холод сочился с севера сквозь таежные гривачи. В боязни ночного инея люди закрывали старыми половиками обрубы капустных и огуречных рассадников. На ветру средь чистого поля мерзли самые задубелые уши, а в лесу либо на солнечном усторонье прошибала жара до пота.

Шибановцы общей артелью еще ходили к осеку, догораживали в лесу большую поскотину. Так уж хотелось Палашке Мироновой как раньше, при отце и при матери, сходить со всеми в лес к осеку! Да не уйдешь, нет ни отца, ни маменьки, ни родимого дома. Правда, сама стала маткой, хоть сирота-сиротой и ночует в чужом дому. Зыбку драночную с березовым очепом и ту отняли... Когда семейство Брусковых вселилось в свой дом, Самовариха раздобыла откуда-то очеп. Она же нашла большое старое веко[1], вытряхнула из него в сундук веретена и подвесила на веревочках к очепу:

— Рай не зыбка! — сказала.— Так сама бы и поспала в эдакой-то...

Самоварихе, правда, некогда спать и на широкой горячей печи. Обрядила скотину, топорик на плечо, кусок в зубы и в лес, к осеку, с ватагой баб и подростков.

Палашка с утра — за кросна. Скрипят подножки, челнок летает справа налево, дважды хлопает бердо. Младенец пробудится в зыбке, мать качнет за веревочку и снова хлоп-хлоп. Не пройдет и часу — поларшина холста! Отпустит Палашка притужальник, расстопорит тюрик с основой, переведет готовый холст на валик, закрепит основу и опять хлоп да хлоп.

А за низким окном Самоварихиной избы встало кремово-белое облачко. Запах белых черемуховых

[1] Веко — плетеная из дранок плоская корзина для хранения сушеных грибов, ягод и т. д.

цветов проникает в избу и в окна, и в двери. Палашка ткет. Порою она качает зыбку, и хочется ей то запеть, то заплакать. Но некогда ей ни попеть, ни поплакать. На тюрике еще много основы. Хлоп-хлоп...

Вдруг в сенях, на мосту, упал то ли водонос, то ли воротный засов. Двери в избу распахнулись.

— Здорово живем!

Акимко Дымов в хромовых сапогах, в праздничном пиджаке на один только миг приостановился посредине избы под матицей. Сразу шагнул к Палашкиным кроснам. Палашка остановила тканье, поздоровалась.

— А где Самовариха? — Дымов оглядел избу.

— Тебе на што Самовариха? — спросила Палашка.— Тоньку-пигалицу в те разы требовал, нонь подавай ему Самовариху.

— Палагия, вся на тебя надия! Не надобна мне ни та, ни эта, а ты у нас лучше всех!

И Дымов запустил обе руки подмышки ткачихе.

— Отстань! — обозлилась Палашка.— Лучше всех... И у тебя одно на уме.

Она вылезла из-за кросен. Качнула зыбку, сдернула с гвоздика рукотерник и промокнула глаза. Дымов сник, сел на лавку к столу и вытащил из кармана початую бутылку.

— Ладно, Палагия Евграфовна. Ты не сердись. Дай-ко лучше ножик да луковицу. Ну и черепяшку какую-нибудь.

— У тебя, Акимушко, что северни за праздник? — усмехнулась Палашка, подавая хлеб и луковицу с солью.— До Николы-то вроде бы не дожили, а ты ходишь в хромовых сапогах. А много ли жита насеял? Чево опеть прибежал в Шибаниху?

— Чево? — не по-людски засмеялся Дымов.— А вот чево. Слышно, у вас в Шибанихе объявился поп! Дак я к ему на исповедь... Правда ли, что поп третий день у вас в деревне ночует? У Пашки Рогова в доме? Дак вот, сходила бы ты...

Палашка качнула зыбку и в тревоге присела на табуретку. Гость махом опорожнил стакан, приставил к носу разрезанную луковицу.

— Где Самовариха? — тихо спросил он.

— Ушла к осеку. Тонюшка тоже в лесу, шел бы и ты туды...

— Палагия Евграфовна...— Дымов долго глядел в пустой стакан.— Может, выпьешь со мной? Не будешь, я тебя знаю... Дак я тебе поклонюсь хоть в ноги, сделай одно дело... Сходи... Сходи за Верой Ивановной! Сбегай... А я и зыбку качну и чего хошь для тебя сделаю.

— А ежели не пойдет?

— Дак ты сделай, чтобы пришла!

Палашка видела, как Дымов сжал правый кулак, слышала, как скрипнул зубами. «До чего же парень хорош, до чего ядрён, какая сила в руках, какая жара в глазах! Да на Тонькином месте босиком бы по снегу за ним бежать, не то что узориться. Ой, дура какая! Да и ему вроде бы не нужна Тонюшка-то... За Верой послал... А што я-то? А ничево, возьму да и сбегаю! Вот!»

Такие мысли промелькнули в Палашкиной голове, пока надевала казачок и сапоги на босу ногу.

Выглянула за ворота — на улице никого. Все равно, лучше задами. Шмыгнула в загороду, перебежала хмельник и вниз к реке, как будто бы к бане. Снизу поднялась к роговскому подворью. Летние ворота открыты. На припеке, укрытый от холодного ветра южной стеной, возился с топором Сережка. Новые, только что вырубленные ходулины лежали на земле. Палашка сказала:

— Дома Верушка-то? Скажи-ко ей, чтобы пришла поскорее ко мне! Не надолго, чтобы подсобить пряжу сновать! Скажи, батюшко!

И Палашка теперь уже напрямки через огороды побежала обратно. Она спряталась в хмельнике Самоварихи, притихла там и вскоре увидела Веру. Та, укутанная в зимний платок, прошла мимо изгороди и хмельника. Ворота в сени хлопнули. Палашка совсем обезумела. Какая-то горькая злость вскипела в горле и вместе со слезами от холодного ветра сочилась из глаз, волнение мешало обдумать все как следует. «Вот! — мысленно что-то доказывала она кому-то.— Вот! Пусть. Так и надо, пусть...» Что пусть? Кому и что так и надо? Про это она себя не спрашивала и ни во что сейчас не вникала. Через некоторое время она решила выйти из хмельника. Палашка этого не запомнила. Запомнила она лишь то, как уже на рундуке Самоварихиной избы встретила Веру. Вся в сле-

зах подруга остановилась, дрожащими руками перевязала платок и сказала Палашке:

— И не стыдно тебе? Неужто не стыдно было? Ведь я мужняя жена, у меня двое деток, оба крещёные. А ты позоришь меня... Тьфу!

И Вера отвернулась от задушевной подруги. Не оглядываясь, пошла она от подворья, а Палашка обозлилась еще больше и вбежала в избу.

Ребенок плакал в плетеной зыбке. Аким Дымов стоял посреди избы, голова под самую матицу, весь красный, с нездешним лицом. Не глядя на Палашку, он рванул рубаху. Пуговицы покатились по половице. Сдернул с головы новую кепку и бросил ею прямо в божницу.

— Все одно, рано или поздно моя будет! — сказал он, скорее самому себе, чем Палашке. Повернулся и сапогом ударил в тяжелые двери.

Палашка в страхе и в диком отчаянии ничком кинулась на кровать, ткнулась мокрым носом в жесткую Самоварихину подушку.

* * *

Павел ждал ареста если не с часу на час, то со дня на день. Едет ли кто берегом, идет ли незнакомый шибановской улицей, щеколда ли на воротах брякнет, телега ли скрипнет в заулке — все казалось, что это за ним. Давно налажена котома сухарей. В четвертое поле Митька больше не появлялся. Вспаханы и посеяны оба загона. Дедко насеял ячменя и овса, уже проклюнулось. Небольшой пригончик по бабьим просьбам выкроили под лен. Вот и картошка в огороде посажена, и к осеку схожено, а за ним все не идут. По ночам не во время просыпался, думал: «Женка вся извелась. Сразу бы, что ли... Чего они тянут?» Когда подряжали пастуха, Павел видел Куземкина. Как будто ничего не случилось. В другой раз у клюшинского гумна встретились лоб в лоб: Павел хмуро прошел дальше, а Митька даже кивнул, вроде бы поздоровался. Не знал Павел что и подумать.

Так дожили до Николина дня...

И до Троицы дожили, а за Павлом все не шли. В сухарях завелась какая-то моль. Аксинья вытряхнула их из мешка и вручную пестом истолкла в березовой ступе. Споила корове...

На Троицу выросла в загороде трава, привезли с дедком брошеный у реки жернов. Серега с Аксиньей надрали много корья. Павел Рогов с часу на час все ждал собственного ареста.

Не приходил в голову Павлу Рогову простой и ясный вопрос: а отчего это в Шибанихе нет никаких разговоров ни про Митьку Куземкина, ни про Павла Рогова? Разговоры были, конечно, но по отдельности и совсем не о том. Куземкин просто-напросто никому не сказал, как пороли его в четвертом поле. Ни одна живая душа, кроме Сереги да мерина, не знала, что случилось в четвертом поле! Серега давно научен молчать кое в каких делах, даже Олешке не рассказал. Или рассказал все ж Олешке-то? Павел попробовал выведать у брата, что он знает, что не знает. Нет, ничего Олешка не знал. Вот так Серега! Вот так Митька! Опять у Куземкина пролетарский колхоз, даже напахали с Кешей Фотиевым да с Мишей Лыткиным. Пахать, можно было и не пахать, у Евграфа было под зябь вспахано. Заборонили колхозники, овса и ячменя посеяли. (Рассевать в колхозе Самовариху звали.) Митька Кузёмкин опять ходил с документациями. В Николу напился, плясал под лошкаревской черемухой:

Старая сударушка,
Глазам не поводи,
Ты сама не ладно сделала,
Сказала — не ходи.

(Тонька-пигалица только в платок прыснула, она и не подумала водить перед Куземкиным невеселыми своими глазами.)

В Троицу председатель плясал в Ольховице, был там в гостях. Отчего и там не сказал никому, не нажаловался, как пороли его в четвертом поле?

Может, Куземкину стыдно было, что пороли кнутом и что сдачи не дал. Может, бумагу не настрочил на разу, а потом и зло прошло. Может, и совесть засказывалась, припомнил грех с пачинским пиджаком, с маткиной наволочкой, с меерсоновскими червонцами. Кто знает? Не трус же был Митька, не боялся же он, что убьют. Вон как высоко на церкву лазал и то не боялся. Правда, гороховый флаг одним углом от креста отцепился, прибило материю первым летним дождем и обмотало вокруг луковки травяным ветром.

Павел как будто бы слегка успокоился насчет Куземкина. Но не узнаешь вовек, с какой стороны встанет ненастная хмарь, откуда дунет поднебесная злоба... Бумага в район ушла отнюдь не от Митьки и совсем не про четвертое поле писалось в этой бумаге.

В начале петровского поста умерла в Ольховице мать Катерина Андреевна. Отстрадалась сердешная на банном полке! Павел приехал было за ней, привез корьё и хотел на обратном пути увезти в Шибаниху. Но везти уже было нечего: лежала Андреевна сухая и легкая в прохладной бане. И был у нее настоящий пост. Третий день ни крошечки в рот не брала, хотя Матрена и Славушко носили в баню еду. И воду Андреевна глотать уже не могла, а когда Павел хотел унести ее в одрец, очнулась, заплакала: «Паша, не трогай меня, схорони тутотка...» Под вечер благословила обоих с Алешкой. Постонала немного и снова впала в беспамятство. Павел отправил подводу в Шибаниху с Иваном Нечаевым. Бродячий священник, что пришел из Залесной и с неделю тайно прожил в Шибанихе у Роговых, был по слухам где-то поблизости, то ли на Горке, то ли в Ольховице. Когда Андреевна умирала, Павел послал Матрену искать его, чтобы почитал хотя бы псалтырь, но она не нашла попа. Славушко утром с помощью других соседей выкопал могилу. Матрена с Маряшей обмыли Андреевну, мужики выстрогали сухие доски и сделали гроб. Едва ли не все ольховские бабы и старухи оказались на похоронах, пришли кое-кто и мужской пол. Павел послал Славушка в магазин, Матрена раскинула скатерть, образовались вроде бы небольшие поминки. Как раз в этот момент и прибежала из сельсовета растрепанная Степанида:

— Павло Данилович, ведь меня за тобой турнули!

— Кто? — Павел отставил поминальную стопку.

— Да этот с лысиной-то. На гармонье-то который играет...

— Фокич? Пусть играет, а мне не до пляски.

— И милиция тут,— добавила Степанида.

Павел оглядел поминки, извинился перед мужиками и, стараясь быть спокойным, спросил Степаниду:

— А на что я им?

— Да все попа-то ищут! Акимко им грит, что видел попа в Шибанихе.

— Ну дак с Дымова бы и спрашивали! — сказал Славушко, подавая Степаниде налитую рюмку.

Павел не пошел в сельсовет. Вместе с братом Алешкой он пешком ушел домой в Шибаниху, а через неделю с конным нарочным из Ольховицы привезли повестку. На серой толстой бумажке со штампом в левом углу печатными буквами значилось:

д. Шибаниха Ольховского с/с
гражданину Пачину П. Д.

На основании постановления ВЦИК от 15.II.30 г. вы привлекаетесь к уголовной ответственности по статье 61 УК РСФСР. Вам следует явиться в Народный суд к 10 часам утра 12.VII. 1930 г.

Нарочный — ольховский подросток — попросил расписаться в получении, спрятал карандаш и бумагу с подписью в карман и стукнул по лошадиным бокам босыми пятками.

— А где живет Акиндин Судейкин? — спросил нарочный.— Ему тоже повестка.

Павел не слушал. «Вот тебе и весь сенокос,— мелькнуло в сознании.— Откосился...» Руки ослабли. Новое косьевище лежало у ног. Опустился на дедков чурбак под взъездом. Что за шестьдесят первая статья, какое постановление? Фамилию ставят старую, отцовскую...

Двенадцатого к десяти. Пешком уже не успеть, надо ехать на лошади. Даже в голову не пришло, что обратно могут и не отпустить. Какая за ним вина? Митьку выстегал погонялкой? Дак в праздники с усташенскими дрались бывало и кольями. Никого не судили. «До чего дожил, в суд вызывают, как колодника...»

Светило теплое, ясное, слепящее солнце, ветер дул теплый, тугой, настойчиво давил с юго-востока. Махали над миром крылья роговской мельницы. Скворцы в березах все еще пели, не могли угомониться с весны. С поля веяло духом цветущего в сто цветов разнотравья. Снизу, с реки долетали голоса купающихся ребятишек. Все везде вроде бы ладно, тепло, солнечно... Лишь в роговском доме нависла невидимая печальная мгла. Всех, вплоть до младенца, знобила сердечная стужа, когда узнали, с чем приезжал нарочный. Молчал большой роговский дом... Не скри-

пела плетеная зыбка, не стучали в зимней избе неустанные кросна, не звенели ведра, не хлопали ворота. Один петух то и дело глупо орал в хмельнике.

Павел сидел на чурбаке под взъездом в тяжком раздумье. Из летней избы долетел сначала приглушенный словно бы собачий скулеж. Он становился громче и громче, перешел уже и на два голоса.

— Иди, скажи бабам-то чего-нибудь,— услышал Павел дедка Никиту.— Когда ехать-то надо?

— Завтре... За што, дедушко? Чево им надо от нас? — Павла и самого чуть не трясло.

— То и надо, чтобы все хромому бесу служили. Да не эк служили, как богоборец Митька Куземкин, а почище. Кресты своротить много ли надо ума? Да ведь и мы с тобой от ево, антихриста, не далеко ушли, от Митьки-то.

— Выходит у тебя что я, что Митька...

— А кто лучше-то, где? Вон в люльке ногами мелет. Может, этот будет воин Христов...

— Да ведь не дадут и ему на ноги встать! — в отчаянии закричал Павел.

Дедко ничего не ответил и побрел в загороду.

Пришел босиком Киндя Судейкин, испуганно показал Павлу свою повестку:

— Вызвали! В свидетели! А чему я свидетель? Вон Селька Шило у их главный свидетель, пусть он и идет в ихние райёны! Разгребы... Пашуха, ты гляди, што у меня есть...

Судейкин оглянулся и вытащил из кармана школьную тетрадку. Отогнул листок с печатью, зашептал:

— Ежели тебе справка нужна какая, написал и дело в шляпе. Бери, ежели...

Павел покачал головой:

— Где ты взял-то?

— А какое твое дело где, бери да и все! Мало ли где. Ты в суде-то раз им бумагу. Нонче вся жизнь на справках.

— Нет, Акиндин, обери... Не буду и связываться.

— Ну, гляди сам,— обиделся Судейкин.— Я думал как лучше. Не! Эти гумажки нам ешшо пригодятся! Только ты — ни-ни, чтобы глухо.

К ночи о двух судебных повестках знала и говорила вся Шибаниха. Пришел Володя Зырин, сказал, что и ему надо ехать на станцию за вином, что лучше бы ехать вместе. До Ольховицы корье повезет, еще

просятся Киндя и Тонька-пигалица с поповной-учительницей.

Павел не спал всю ночь, держа на сгибе правой руки голову Веры Ивановны. Рука была мокрой от женских слез. С вечера Аксинья все же сумела затворить, а рано утром испечь подорожники. Дедко еще до восхода успел помазать колеса одноколой телеги. Когда показалось солнышко, он запряг ленивого с ночи мерина. Потыкал бока, спину, шею и брюхо лошади дегтярной мазилкой, чтобы меньше садилось оводов. Кубышку с дегтем привязал к тележному передку, обвязал тряпицей отбитую косу.

Народ, кое-кто с косами, копился в заулке.

— Чево Володя-то Зырин, тоже в суд?

— За вином!

— Небось свою лошадь дома оставил, запряг ковхозную.

— Какая она ковхозная? Евграф Миронов в ковхоз не записан.

— Зато кобыла записана.

Зацепка пряла ушами, она чуяла, что говорят про нее. Тоня с учительницей привязывали свою поклажу сзади двуколой зыринской телеги, груженной сухим корьем.

— А куды Антонида-то? Тоже в Вологду?

— Нет, эта еще дальше. Завербовалась, говорят, в Архандельскоё.

— На корье-то, не больно и мягко.

— Уйдут и пешком, не маленькие.

Вера Ивановна вынесла корзину-пирожницу, Павел, в сапогах, в шерстяном костюме, воткнул в тележную щель дорожный топор:

— Не реви! Через три дня буду дома!

Она ткнулась ему в плечо, осушила слезы о его синюю ластиковую косоворотку. Он запрыгнул в телегу, схватил ременные вожжи. Дедко перекрестил Павла и мерина:

— Поезжай низом до Ольховицы. У реки травы накосишь. На большой-то дороге и оводов больше...

Вера открыла отвод, и Павел, не глядя на жену, направил мерина под гору, к мосту. Зырин, груженный сухим корьем, вместе с учительницей и Тонькой-пигалицей поехали большой дорогой, Судейкин догнал их уже за отводом в поле.

Карько ни с того ни с сего остановился на средине моста. «Не хочет идти, знать не к добру...» — подумалось Павлу. Пришлось ударить вожжиной. Вспомнилось то лето с купанием коня, когда только что вышел в примы и стал Роговым, когда задумал про мельницу, вспомнилось и про огнестрельный прибор, брошенный в глубину омута. «Может, не надо было бросать?» — мелькнуло в уме. Еще горше стало, когда проезжал заречной пожней. Накосить бы сразу травы, но у сеновала, где была схватка с Игнахой, даже Карько не захотел останавливаться. «Пошел, Кареван! — крикнул ездок.— Вперед, заре навстречу...»

Солнце едва оторвалось от горизонта, заслоненного березовой и ольховой порослью. Еще пищали ночные кровожадные комары, а первый матерый овод с желтым полосатым брюхом уселся на репицу лошади. Павел смахнул его вожжиной, подумал: «Хитер кровосос... Вишь, уселся на самое безопасное место, ни мордой, ни ногой, ни хвостом тебя не достать. Напьются чужой крови и улетают. Вот так и нашего брата. Кусают почем зря, клюют, а оборониться нечем». Он старался не думать о том, что творится там позади, в доме жены. На пожнях трава была высока и густа, вся она полыхала молодым зеленым своим огнем, пронизанным разноцветными бликами. Особенно ярко светились малиново-розовые полевые гвоздики. Яростно желтые, почти золотые купавы уже отцветали, уступали место под солнышком синеве колокольчиков. Семена многих трав осыпались. Можно бы и косить, успевать, пока стоят знойные дни...

Павлу не хотелось являться в Ольховицу. Проехать бы мимо, чтобы никто не увидел, да больно много надо открывать отводов и раскладывать заворов, если ехать полями. Пришлось правиться через родную деревню... Эх, ступай, Карько, не косись в родимый заулок! Нету там никого, кроме Гривенника. И у лавки нечего нам делать, и у сопроновского мезонина. Пошел дальше! На кладбище заезжать тоже не стоит. Еще и земля на материнской могиле совсем свежая. Ступай дальше, друг бессловесный!

Так бы и проехал Павел без остановки всю Ольховицу, но на выезде, около прозоровского дома, где была теперь контора и жил председатель Димитрий Усов, дорогу у отвода загородила чья-то пустая подвода. Павел вылез из телеги и хотел отвести подводу

в сторону, чтобы открыть отвод и выбраться, наконец, в чистое поле. Едва он взялся за под уздцы, как от прозоровского флигеля долетел голос Митьки Усова:

— Стой, стой, погоди, Павло Данилович, я тут...

Усов, закидывая хромую ногу, спешил к отводу:

— Погоди, Данилович! Я тоже на станцию! Попутчиком будь...

— А чего? Откуда знаешь, что и я в район? — спросил Павел, здороваясь с Митькой.

— Да уж знаю, паря. Давай ты спереди, а я-то сзади тебя.

И Митька открыл отвод, пропустил Карька вперед.

— А ты чего на станцию-то? — спросил Павел.

— Да вишь, за вином послан. От потребиловки...

— Володя Зырин за вином да и ты за вином,— сказал Павел, но Митька уже не расслышал. Обе лошади дернули. Оводы не давали стоять спокойно. Павел пустил Карька одного, а сам сравнялся с телегой Усова. Митька предложил ему место в своей телеге. Павел отказался. Обоим надо было накосить травы, чтобы мягче ехать.

— Я косы-то не взял, накидал старого сена,— оправдывался Усов, закуривая.— И колеса скрипят, не мазаны. Не знаю, как и доеду... А чем мазать-то? У нас в Ольховице ни мази, ни дегтю нету. Вон на Горке есть дегтярники, дак скалья-то не надрано. Без дегтю сидим... Сапоги и те нечем помазать.

Павел усмехнулся, не стал говорить, почему Ольховица осталась без дегтю. Все дегтяри, так же как и мельники, вплоть до самой Пунемы записаны в буржуазный класс и обложены налогом. Все забросили свое дегтярное дело. Усов про это и сам как член ячеи знал да ведал, чего он сам на себя жалуется?

Во ку, во кузнице,
Во кузнице молодые кузнецы.

— запел Усов и хлестнул по кобыле, чтобы не отстать от передней подводы.

«И во кузнице та же стать, много не накуешь,— подумалось Павлу Рогову.— Один только и есть простор, что вина зелена в лавке досыта...» Осталась и Ольховица позади, скрылась из виду. У Карька свихнулась на бок шлея, оводы облепили конскую репицу. Надо было остановиться, подмазать это место дегтем и накосить травы.

Вот и отворотка к водяной мельнице, вот знакомые с детства пожни. Нет, лучше уж не тут покосить, лучше проехать подальше. Душа скорбела от всего, что было перед глазами и в памяти. Сердце билось неровно, зубы сжимались. Что ждет его в районном суде? Вон Усов, этот сидит да поет, видать, опять с похмелья. В похмелье поет и с похмелья поет...

На отворотке около безымянной полянки съехали с большой дороги. Ездоки отпустили чересседельники, чтобы лошади попаслись. Павел взял обмотанную тряпкой косу, пошел в траву. Чья пожня, не Насонова ли Гаврила? Она и есть. Мышьяк да клевер. Усов, хромая, подоспел сзади:

— Дай-ко я покошу. А ты клади.

Павел подал косу нежданному спутнику. Усов с прикряхтыванием начал косить. Павел взял беремя тяжелой душистой травы, понес к подводе. В телеге ольховского председателя лежало прошлогоднее сено. Павел сдвинул его в передок, чтобы положить траву, и удивился: под сеном лежала прозоровская берданка. Она! Та самая, из которой целился в Павла Игнаха Сопронов. Для чего в дороге нужна она Митьке Усову? И как попала она в Ольховицу? Павел завалил ее свежей травой и сделал вид, что ничего не заметил.

Усов оказался добрый косец. Вскоре обе телеги до верху набили хорошей травой, надо было подтягивать чересседельники и ехать.

— Садись на мой воз! — предложил Павел.— Твою кобылу пустим вперед. Колхозная или своя чья?

— Нонче дома одна баба своя, остальное все колхозное.

— А не боишься, што и бабу отымут?

— Пускай! — отшутился Усов.— Только чтобы вместе с детишкой. Мне было бы вино каждой праздник, проживу и без бабы...

Павел обвязал тряпкой косу и пристроил в передок вострием. Усов залез в телегу. Павел вывел усовскую подводу на большую дорогу, но тронуться не успели. Подъехал Володя Зырин на своей обширной двуколке. Он сгрузил в Ольховице шибановское корье. С одного боку сидела учительница, с другого Тонька-пигалица. Киндя Судейкин топал пешком рядом с телегой:

— Вот, поехали девок на государство сдавать, больно много их развелось! Зырин, ты погляди, почем нынче девки-то? У тебя записано.

Зырин не отозвался. Тоня не утерпела, сказала:

— Заодно, Акиндин, и тебя примут!

— Устарел. Кому я без зубов-то нужён? А вот на тебя, Тонюшка, много будет охотников. Пашка, давай я к тебе за кучера!

— Давай,— согласился Павел и залез к Усову.— Только бегом не гони.

Киндя переложил свою котомку в роговскую телегу и взыкнул. Недовольный мерин оглянулся на нового ездока, но пришлось дернуть. Теперь тронулись сразу три подводы, получился малый обоз.

Зной становился все гуще, солнце поднялось над лесом, стаи оводов гудели и кусали теперь не только лошадей, но и возниц. Да и всех попутчиков без разбору. Было уже около девяти часов. Телега усовская и впрямь пела с каждым поворотом левого колеса. Павел прихлопнул ладонью на колене сразу с полдюжины оводов:

— Ты, Дмитрий, скажи, чего это их так много?

— Ково?

— Да кровососов-то этих... Жучат и жучат...

— Иной чуть ли не с воробья,— согласился Усов, не догадываясь, о ком толковал Павел Рогов.— Проткнет, как шилом сапожным. Кожу-то...

—Да. А ему вон и брюхо проткнешь, хоть бы что. Гляди вот!

Павел поймал крупного овода, вытянул из прошлогоднего сена сухую былинку. Проткнул ее сквозь полосатое брюхо и отпустил овода. Тот полетел прочь вместе с грузом, и его долго было видно в знойном воздухе.

Нет, не выходил разговор с трезвым Усовым. Даже о колхозе ничего не рассказывал ольховский председатель. Злость и горечь все больше копились на языке, но Павел сдерживал и злость, и горечь. Он вынул из пиджака судебную повестку и показал Усову:

— Вот! Погляди. Не боишься, што и тебе такую пошлют?

Митька крякнул. Дернул веревочными вожжами.

— Боюсь, Павло Данилович! Как не бояться? Нонче таких нет, чтобы не боялись... Ты вон гляди на до-

рогу. С левой стороны канава и с правой канава. Игнаха Сопронов уж на што упруг и то загребли.

— За што его загребли?

— Не знаю! Вроде за левый загиб.

Павлу хотелось спросить, против какого загиба припасена под сеном берданка. Вновь утерпел, ничего не спросил. Уж не его ли караулит с ружьем Митька Усов? Это подозрение волной прошло по всему и без того жаркому телу. Захотелось одним пинком вышибить спутника из скрипучей телеги, исколотить берданку о Митькину спину. Но вспомнилось, как порол погонялкой другого начальника, и стало смешно. Злость пропала так же быстро, как накатилась.

На волоку догнали Гурю, залесенского дурачка. Тоже с котомкой. Сапоги не по росту и вроде бы разные. В шапке. Идет, котомка на палочке через плечо. Холщевый балахонишко на левой руке.

— Гуря, а ты куды? — крикнул Судейкин.

— Здравствуйте пожалуста, здравствуйте пожалуста,— бормотал нищий и, не глядя на ездоков, ступал по обочине.

— Садись, Гуря, подвезу до деревни! — кричал и Зырин, но Гуря лишь бормотал свое «здравствуйте пожалуста» и не глядел на Зырина.

— Ну, дурак недоделанный,— в сторону плюнул Зырин.— А куды, Гуря, правишься нонче?

— В районе, в районе. На комиссию. В районе меня ждут, в районе, в районе!

— Многих вызвали-то? — подделался Зырин под Гурю, но дурачок все твердил про комиссию да, остранясь от подвод, ступал и ступал по обочине.

Зной трепетал вдали над березами и над сосновой поскотиной, скрипело усовское колесо, чихали от пыли потные кони. Дороге не видно было конца, не было счету ни оводам, ни белым облачным пуховичкам, медленно и лениво идущим с юга на север.

Зырин не унимался:

— А скажи, Гуря, оводы-то тебя тоже кусают?

— Оводов-то я боюсь, боюсь, летают оводы-то, летают, боюсь я их, убегаю от их. В районе, в районе, там оводов-то нет.

Гуря так и не сел в телегу.

— Устанешь дак скажи, я тебя тоже подкачу,— сказал Киндя Судейкин, который ехал на роговской лошади. Гуря ничего не ответил. Он топал да топал,

подобно тому как топал вспотевший Карько, как ступала зыринская, вернее мироновская, кобыла Зацепка. Та ольховская лошадь, что везла сейчас Павла с Усовым, была уже без всякого имени. Долга дорога до района, ох долга! Успеешь вспомнить всю свою жизнь, с начала до теперешних оводов.

Павел приткнулся к тележной обшивке, замолчал в тревожной дремоте. Усов же запел было свою обычную, про отряд коммунаров. Запел да не допел, тоже задумался и долго сворачивал табачную самокрутку. Махорочный дым не испугал оводов, они гудели еще настойчивей.

Впереди всех правил роговским Карьком Судейкин. Его высокий купеческий картуз мелькал за усовской дугой, а что творилось под картузом, никому не известно. Может, думалось Киндe про своего Ундера, может, вспоминал голоногих своих девчонок, которым насулил привезти гостинцев. А на какие шиши покупать гостинцы-то? Киндя не боялся суда, хотя знал свою вину. Какая вина? Частушки в Шибанихе пели испокон веку, хоть при старом режиме, хоть при новом. А ежели оштрафуют? Возьми с меня горсть волосья... Киндя и сейчас, в жаре и на оводах придумывал коротушки.

Последней в обозе бодро ступала Зацепка, хотя ей-то было потяжелее всех, она везла трех человек. Зырин давно отдал вожжи Тоньке, а сам сидел, свесив ноги. О чем думал Володя Зырин? Обо всем, что приходило в голову. Но больше всего его волновала учительница Марья Александровна. От нее веяло на Зырина чем-то приятным и ему неизвестным. Сборчатая, с пышнями, белая кофта и черная юбка учительницы были Володе не интересны, а вот запах... Запах от нее не позволял Зырину ехать спокойно. Он то и дело косился на полные в черных чулках ноги учительницы. Тонька давно углядела, куда Зырин то и дело косит глаза, хотела сказать что-то ехидное, да не придумала. Потом ей стало почему-то смешно, она еле сдержалась, чтобы не фыркнуть.

Марья Александровна еще во время масленицы уговорила Тоню вместе поехать в Вологду за покупками, и Тоня с ранней весны, когда отелилась Пеструха, копила деньги. Носила чуть не каждый день утренний удой, сдавала Зое Сопроновой. Маменька с братьями знали, куда и для чего она копит деньги,

никто из родных на нее не сердился. Поедешь и поезжай. Как раз перед сенокосом и время свободное.

Но вот, когда объявился в Ольховице архангельский вербовщик, за одну слезную ночь удумала девка подписать вербовочную бумагу. И ни мать, ни брат с невесткой не могли своротить: поеду и все! Шесть месяцев не велик срок. Спасибо брату Евстафию, один он встал на ее сторону. Все равно, сказал, весною на сплав пошлют либо зимой в Сухую курью, пускай едет в Архангельск. Не пропадет, не маленькая...

Что думала, какие мысли таились сейчас под синим платочком? Никому, кроме Веры и Палашки, эти думушки не доверила бы, а им-то обеим не до нее нынче, ничего и не спрашивали. А спросить-то было чего...

Аким Дымов всю зиму выходил на шибановские беседы. Вроде бы к Тоне ходил, но они-то с Палашкой знали, из-за кого ходит в Шибаниху Аким Дымов. Ухаживал за ней только для виду, самого тянуло в другую сторону... Какая ему та сторона! Зря только ноги мнет... Новый начальник Митя Куземкин тоже к Тоне подсватывался, сулил у столбушки новую кашемировку. Нет, не нужна ей Митькина кашемировка. Не было ни одного дня, ни одной ночи, чтобы не вспомнилась ей гроза над ночной Ольховицей и та гостьба у ольховской божатушки, то сусло и тот запах от керосиновой лампы, те белые лавки и те половики, по которым ходила в ту темную, теплую грозовую ночь. Где он сейчас? Увезли и ничего не известно. Прошли слухи, что видели Владимира Сергеевича в Архангельске, в Соломбале. Но кто знает? Далеко до Белого моря...

Тоня задумчиво шевелит вожжиной, отмахивается от оводов. Платочек вышитый белый давно мокрый от пота. Володя, словно угадывая ее невеселые думы, шутливо обнимает ее за плечи, но она знает, что Володя обнимает ее вместо Марьи Александровны. Того и гляди и за пазуху сунет свою ручищу.

Тоня ругается с Зыриным и слышит, как Усов кричит Кинде Судейкину:

— Сворачивай ближе к мостику! Покормим часик другой...

Лошадей распрягли около моста у какой-то речушки, пустили кормиться. Зырин, не раздумывая долго, побежал за кусты купаться. Усов начал развя-

зывать свою корзину с харчами. Тоня отряхнула пыль с нового бордового сарафана и разулась. Материнские с пуговками полусапожки она берегла больше всего. Марья Александровна тоже спрыгнула на траву.

— Иди, Гуря, сюды, пирога дам,— крикнул Судейкин.— Иди, не бойся.

Но Гуря не остановился. Он уходил по дороге все дальше и дальше.

Часа полтора кормили у мостика лошадей, подкормились немного и сами. И опять запело Митькино колесо, вновь отдохнувшие кони вывезли ездоков на большую дорогу. На привале Павел хотел отвязать кубышку с колесной мазью, но Усов отказался мазать колеса:

— Доеду и так!

Судейкин предложил:

— Ты, Димитрей, посси в ступицу-то, оно и не будет скрипать. Сурьезно советую...

Усов не знал, обидеться или нет за этот совет.

Павел, сдержав улыбку, пересел на свою подводу, к Судейкину. Взял вожжи в свои руки. Проехали еще один волок. Поле еще одной волости встретило путников полуденным зноем, легким, еле заметным, но слегка освежающим ветерком. Оводов сразу убавилось. В струях дальнего марева дрожали, переливались очертания полевых изгородей, сеновалов, амбаров и бань. Приоткрылся вид большой деревни. Павел обернулся к Судейкину:

— А куда Антонида-то собралась, в Вологду что ли?

— Туды. Говорит, в гости к наставницам. А я так думаю, что убегает от сплаву. Куземкин ее замуж тащит, она упирается. Вот он и пригрозил, што на сплав отправит.

— А что, и отправит ведь!

— Отправит,— согласился Киндя.— Это дело такое. Чево нам-то с тобой будет, не знаешь? Сроду перед судом не стоял, под старость сподобился. Эх, ёствой корень, куды нас кривая власть вывезла! А Данилович? То сплав, то лесозаготовки. Вон теперь пятилетку придумали, заём какой-то. А у кого займуют? У меня взаймы дать нечего, одна пустая мотня. Только и знают мужиков пугать, прижимать, судить да ругать, да в турму сажать. Да ведь и стрылят, возьмут не дорого! Вон про Фоку Бебякина из

Устюга в газете написано. Калинин помиловать отказал, стрылили, как зайца. Либо вон братанов из Катромы, тож стр...

— Молчи! — Павел оборвал Судейкина. Тот заглох на полслове. Сжимал челюсти Павел, шел рядом с телегой, сделанной дедком Никитой. Читал он про все расстрелы, о которых писали газеты, знал он, что и отец Данило Семенович, и кузнец Гаврило по прошлогодним постановлениям подлежали расстрелу. Где лежат отцовы-то косточки? Где тесть, Иван Никитич? Тоже, может быть, нету живого.

— Молчи, Киндя...— потише, примиряюще добавил Павел.— Лучше не говорить...

— Да как, Данилович, промолчишь? Тебя вот в суд, меня в свидетели. Вон подъезжаем к большой деревне. Ты тут не ночёвывал? Я-то в этой деревне, помню, огурцы воровал. Ехали мы, значит, с Ванюхой Нечаевым из Онеги. После Успенья дело было. Проголодались. Ночью, людей будить неохота. Я чужих огурцов нарвал. Через год еду мимо того дома, покраснел, что красная девка. Чуешь, вроде гармонья поет?

Они подъезжали к большой деревне. Павел открыл отвод, пропустил все три подводы, закрыл за ними ворота и догнал обоз.

У часовни, посредине деревни, оказалась порядочная праздничная толпа. Нарядные девки и бабы глядели на чью-то пляску, играла гармонь.

— Киндя, а што за праздник?

— Видно Петров день,— ответил Судейкин.

— Петров день? Дак ведь я именинник! Стой, Карько, тпры! Поглядим, как в чужих волостях гуляют.

Судейкина не пришлось уговаривать. Он по-ребячьи ловко спрыгнул с телеги, бросил мерину охапку травы:

— Вишь, как пляшут, может, и коммунистов у их нет. Наверно, и пива наварено.

Две других подводы тоже сделали остановку.

V

У часовни две девки плясали кружком да так тщательно, что касались плечами друг дружки, когда в середине частушки смолкали, затем поворачивались

и дробили в обратную сторону. Гармонист помогал рукам белой нестриженой головой, перекидывая ее со стороны на сторону. Играл натужно, будто дрова рубил, однако ж гармонь пела приятно, звонко, с печальной нежностью в ладах под правой и с приятной хрипотцой на басах под левой не совсем умелой рукой. Павел сразу почувствовал все это. Девки и бабы расступились, давая у часовни место проезжим.

Да, гармонь не вздыхала в своей печали, как подобало ей по ее тону и голосу, она захлебывалась от веселого праздничного восторга. Переборы у парня были все одинаковы, но в одном месте Володя Зырин ревниво изловил неизвестный ему переход.

Бабы и старухи пооглядывались на новых зрителей да и отступились, а одна спросила, откуда едут: «Не ольховские ли? Ольховские, нечего отпираться».

— А ты как узнала-то? — восхитился Судейкин.

— Да по телеге! — старушка хихикнула.— У вас, у ольховских, всю жизнь копылья-ти низенькие...

— Зато пляшут у вас, как принудиловку отрабатывают,— буркнул Киндя. Нарядная старушонка не расслышала. Она уже обсуждала с товарками достоинства и недостатки своих плясуний.

Сначала при виде гуляющих у Павла защемило что-то в груди. Затем веселое безрассудство родилось где-то в ногах, от земли что ли, стремительно бросило в жар щеки и уши. Он крепко сдавил зыринский локоть:

— Нет, Володя, твои переборы не хуже... Возьми тальянку-то, а?

Зырин стоял вроде бы в каком-то раздумьи.

Две девки заканчивали свой выход, упевали гармониста своими словами: «Еще тому спасибо скажем, кто любил да изменил». Киндя подскочил к Зырину, когда гармонь стихла:

— Иди, Володька, играй! Иди! Пашка спляшет, он сей день именинником.

Зырин прямо через круг решительно двинулся к гармонисту. Тот встал с камня и подал гармонь проезжему. В толпе смолкли все громкие разговоры, женщины заперешептывались, заговорили, заспрашивали, чьи да откуда, куда едут. «А вот мы покажем счас, чьи!» — подумал Киндя и хлопнул по колену своим картузом:

— Пашк? А ну, покажи выходку!

Сердце Павла сильно забилось. Бесшабашное веселое безрассудство, как в детстве, когда нырял в глубокий омут, охватило его всего. Боль последних недель и вся усталость, вся горечь тяжких обид, скопившихся в один тяжкий сердечный ком, вдруг исчезли, когда Зырин взыграл на этой незнакомой чужой гармони. И Павел вышел на середину круга...

Он пропустил один проигрыш без движения. Дождался чего-то непонятного, какого-то самого нужного момента и пошел по вытоптанному девками плотному пятачку, пошел с дробью и с каким-то до сих пор даже самому себе незнакомым переплясом. Земля глушила сапожный топот, но люди-то видели что и как!

Прошел проезжий сразу два круга, остановился и, покачиваясь в такт игре, спел:

Разрешите поплясать,
Эх, я давно не плясывал.
Потерялась моя доля,
Все ходил расспрашивал.

И опять ноги (о девяти-то пальцах в сапогах) сами понесли Павла. Он слегка раздвинул круг, прошелся вплотную к стоящим бабам и девкам, остановился перед Володей и спел вторую частушку:

Незнакомая деревня,
Незнакомое село,
Незнакомая хроматика
Играет весело.

Зырин играл на чужой «хроматике» так, как никогда ему не игралось, пляска Павла Рогова заразила его, заставила позабыть и про лошадь, и про все остальное. Руки и пальцы Володи кидались и бегали по всему гребню гармони, меха раздвигались слишком широко. Игрок вошел в такой же азарт, в каком плясал и пел Павел Рогов:

Ох, родина смородина,
Зеленая река,
Ты куда меня направила,
Таково дурака!

Павел на ходу придумал эту частушку. После очередного круга хотел еще спеть что-то про себя, но сбился и замотал головой. Он пропустил один круг, притопывая на одном месте:

Извините, в песне спутался,
Дела невеселят,

Мне на этой на неделюшке
Изменушку сулят.

Народ вокруг все прибывал, но Павел еще раз с дробью и новым для него узором движения прошел круг, остановился напротив Судейкина, топнул, вызывая его на выручку:

Мы с товарищем плясали
У высоких у рябин,
Я досыта наплясался,
Ты пляши буде один...

Судейкин только того и ждал. Павел разжал кулак со скомканной кепкой. Обессиленный, опустошенный, не глядя на расступившийся перед ним народ, хромая, прошел к лошадям. Дмитрий Усов, наблюдавший за пляской, начал восторженно что-то говорить, хвалить Павла и Зырина, но Рогов скрипнул зубами:

— Поехали...

— Так ведь вон Судейкин пошел выделывать!

— Поехали... Оне догонят. Киндя не скоро выпляшется...

Из круга долетел скрипучий голосишко Кинди Судейкина:

Не плясальник я,
Опоясали меня
Не широким ремешком
С огорода колышком.

Павел дернул за вожжи, Карько взялся с места бегом. Хромой Усов еле успел вскарабкаться в тележный задок. Усовская подвода с пустой телегой тронулась следом. Хозяин ее, разволнованный пляской, крутился в телеге:

— Ну, Данилович! Ну, парень! Да я... Это... Как ты без пальца-то? Ух! Мне бы хорошую ногу. Да я... Это... Где мои годики?..

Павел ударил по мерину. Обиженный Карько в галоп вынес телегу в зеленое поле. Отвод в другом конце деревни оказался настежь открытым. Митька затих надолго. Лошадь его поленилась их догонять. Дорога была не больно ровна. В колеях телегу кидало то вправо, то влево.

— Стой, Рогов, остановись! — приказал Усов.— Кобылы не видно...

«Чего останавливаться? Берданка что ли потребовалась? Не остановлюсь!» — подумал Павел и снова

ничего не сказал. Мерин все же сам остановил скачку, перешел на обычный шаг. Хлопья мыльной зеленоватой пены стекали по конским ляжкам.

— Так...— заговорил председатель.— Нонче, Данилович, ты послушай меня... Вот цыгарку только сверну. Неужто не чуешь, куды я поехал-то? Как да пошто... Ведь миня над тобой конвоем послали! Ведь и ружье в телеге лежит...

— Да ну! — притворился Павел, что ничего про берданку не знает.— Заряжено?

— Заряжено. И два патрона в запасе. Картечь на волков. Фокич уполномоченной лично ружье вручил. Вези, грит, глаз с Рогова не спускай. Пали при первом случае...

— Дак ты чево не стрылял, когда я плясать-то вышел? Надо было палить...

— Эх, Павел Данилович, тебе легко говорить! А мне чево было делать? Может, красный билет на стол? Оне вызвали, оба с милицией! Вот, говорят, патроны и вот ружье, поезжай. Я тебе, Данилович, так скажу, у меня выходу не было. А штоб ты в моей дружбе не сумневался... Вот што я тебе скажу! Это... Уходи! Вон кустики, лес рядом. Я для виду пальну в другую сторону. А ты котомку на плечи и в лес! На какой-никакой разъезд, после на паравоз. Только и видели. Уезжай! Все одно тут тебя упекут. Беги! А я лошадей заверну да обратно в Ольховицу. Фокичу доложу, что я хромой, не мог догонить, патрон пустой покажу...

Павел крепко обнял Митькины плечи. Переборол волнение. Его и самого трясло:

— Упекут, говоришь?

— У их все уж налажено! Не отпустят, может, и суда-то не будет. А знаешь, кто на тебя бумагу послал? Акимко Дымов послал.

— Какую бумагу?

— А такую, што ты гарец не свез, што три дня у тебя поп ночевал. Я эту бумагу сам видел у Веричева...

Павел мотал головой от горя:

— Чего говоришь? Какая нужда Дымову меня в тюрьму садить?

— А ты не мотай головой-то. Думай сам, какая нужда... Видать, есть нужда, коли написал да и вручил Фокичу. Говорю тебе, уезжай куда глаза глядят.

Беги в лес! Потом смекнешь. Тпры! Забирай котомку! Беги! Пока нет никого...

Мерин остановился. Павел начал было отвязывать корзину с харчами, но вдруг замер:

— А за што? Эх, Митя... Разбойник я, што ли? По лесу-то бегать... Нет, брат. Никуда я не побегу... Я што, тать ночной? Убил я кого или зарезал? Нет, брат, уж будь что будет! Явлюсь в райён. Закон-то есть какой-никакой или его совсем нету?

Усов ничего не ответил. Сник, сидя с понуренной головой. Ничего больше Митька не сказал, только пересел в свою телегу. Павел всхлипнул. Казалось, что от всего этого даже Митькино колесо перестало скрипеть, что оводы перестали гудеть, что потускнело солнце вечернее. «Дымов. Акимко... Дымов ходил до него к Вере Ивановне. Холостяком у столбушки с нею сидел. А может, у их и еще было чего?» Он зажал голову руками. Всхрапнул сдавленно, зубами скрипнул и треснул кулаком по тележному краю.

Волок тянулся дальше и дальше. Солнце садилось. Карько устало фыркал, отмахивался от мелкой вечерней мошки и от комаров. Запахло ночной росой, солнце скрылось за лесом. Приближалась другая большая деревня, где приставали с ночлегом шибановские и ольховские ездоки.

* * *

Карько сам нашел знакомый заулок. На подворье, в большом доме, похожем на роговский, со въездом и двумя летними избами, в иную ночь размещалось по десять — двенадцать ночлежников. Хозяйка всегда ставила для них ведерный самовар. Кипятку и посуды хватало богатым и нищим. Заваривали кто чего мог. Спали тоже кто где, а утром со вторым петухом люди оставляли около самовара по двугривенному, запрягали коней и ехали в свою сторону.

Мужики распрягли коней, не заходя в дом. Чего спрашивать? Если в избе будет много народу, можно подремать и под взъездом либо в своей же телеге. Главное, чтобы напоить и выкормить лошадей.

Павел распряг мерина. Не снимая хомута и седёлки, подвел к телеге с травой, сказал Усову: «Гляди, Митя. А я пойду поищу... Через полчасика можно и напоить...»

Усову было понятно, куда и зачем уходил Павел Рогов. Кандейка в деревне, другими словами потребиловка вроде зыринской лавки, размещалась в другом конце. Лавочник наверняка еще не спал, а ежели и улегся, то ничего. Его будили бывало и в полночь.

Настроение у ольховского председателя слегка повысилось. Он пощупал в телеге ружье, завалил его травой и поковылял вверх по взъезду. Надо было заказывать самовар. Время позднее, тянуть нечего. Завтра к десяти Пашку Рогова приказано сдать в районной милиции. «А чего его сдавать? — проскочила в голове мысль.— Он и сам уедет... Завернуть бы оглобли да и обратно в Ольховицу... Телега не мазана. В колхозе силосовать велят. Новая мода...»

На взъезде, где лежало прошлогоднее сено, наглухо укрывшись овчинным тулупом, спал какой-то мужик. В избе, уже за вечерним самоваром, сидели вместе с хозяйкой три сестры, три украинские выселенки. Усова не однажды по телефону и так трясли из-за этих черноглазых миловидных сестер.

— Здорово-те, бабоньки! Чай да сахар, хлеб да соль! — бодро заговорил Митька.— Разреши, хозяюшка, пристать, лошадей покормить.

— Пожалуста, пожалуста! — Хозяйка мыла уже чашки.— Много ли вас? Тоже ольховские?

— И шибановцы есть! — подтвердил Усов.— На станцию правимся.

— А вон мужит-то на взъезде спит, тоже вроде шибановский,— сказала хозяйка.

— Да ну? Кто, интересно?

— Не знаю, батюшко, не знаю. К самовару не стал садиться. Попросил тулуп да лег на сено.

Трое украинских сестер выселенок сидели ни живы, ни мертвы. Они уже имели дело с ольховским начальством и знали Усова.

— Бабоньки, а вы-то куды правитесь?

— Да какие оне бабы,— со смехом перебила Митьку хозяйка.

— Мне што девка, што баба, лишь бы мягкая.

— Оне у меня девушки вси три. Замужем не бывали. Овдотьюшка, надо бы самовар-от вдругорядь налить,— попросила хозяйка.

Та, что была самая молоденькая, вышла из-за стола и проворно унесла самовар в куть, две другие за ней следом.

— Оне у меня пятой день живут,— рассказывала хозяйка.— Летнюю избу штукатурят, уж и старика моего выучили глину-то жамкать. Потолок сделали. Сперва-то драноцками околотят, потолицины-то, после глину копают да коневий кал с глиной мешают. В цетырёх домах зимние избы оштукатурили.

Митьке было не интересно, сколько домов оштукатурили украинки. Он ждал Павла, а вместо Павла в дверях оказался Зырин:

— Э, вот он где! Еле вас догонили. Девки, и вы с нами? Ночуете? Ох, это добро!

И Зырин схватил Авдошку в охапку. Она ловко вывернулась из Володиных рук. В избе появились Тоня и Марья Александровна. Положив на лавку свою корешковую боковушку и увидев Груню, Тоня всплеснула руками. Она обрадовалась выселенкам словно родным, достала воложный пирог, даже вроде бы прослезилась, но три сестры молча, одна за другой, исчезали куда-то. «Чего они бедные тут делают? Наверно, опять штукатурят». Тоня хотела спросить об этом хозяйку, но появился Киндя Судейкин, шумно потребовал самовар:

— Где жареная вода, северни праздник! Оксинья, а ты, может, и пиво варила?

— Это ты ли, Акиндин Ливодорович? Проходи, проходи, давно не бывал.

Судейкин давно знал здешних хозяев, много раз останавливался в этом дому. Самовар у хозяйки был скороспелый. Едва уселись на лавках, он уже зашумел.

Усов подался на улицу, чтобы напоить лошадей, чтобы освежиться и встретить Павла с бутылкой. (В том, что Рогов обязательно вернется с бутылкой, а может и с двумя, Усов нисколько не сомневался.) Спящий на сене тревожно ворочался под овчинным тулупом и бормотал что-то. «Во сне говорит,— подумал Усов.— Пьяный, видать». Других причин сонного говорения Усов не знал не ведал.

Он спустился со взъезда, взял у колодца бадью, надел ее на длинный березовый крюк и начал поить лошадей.

Залесенский дурачок, отбиваясь от ночных комаров, стоял у зыринской телеги и тоже, как тот, кто спал под тулупом, разговаривал сам с собою.

— Гуря, и ты тут? Иди в избу-то, там тебе пирога дадут.

— У меня есть, есть пирога-то. Есть,— быстро заговорил Гуря.

«Чего у тебя есть,— подумалось Усову.— Ничего у тебя нету». Он выпоил коням по две бадьи. Павла все еще не было.

Комары налетели со всех сторон. С писком, сходу влипались в кожу. Кричал в поле ночной дергач. Кони шумно хрупали, ели траву. Стемнело. Зарница полыхнула. Заржала вдали чья-то местная лошадь. Павел вывернулся из-за угла совсем неожиданно:

— Зови Володю и Киндю! В избу не пойдем... Не станем тревожить. Попроси только две черепяшки... Не украли ружьё-то?

Усов не уловил насмешки в голосе Павла. Он заспешил по взъезду в избу, мимо спящего под хозяйским тулупом странника. Вскоре он явился обратно вместе с тремя фарфоровыми чашками, а также с Володею Зыриным и Акиндином Судейкиным. Павел сказал:

— Садись! Кто в телегу, кто на оглоблю...

Мерин Карько насторожил уши, его встревожил необычно прерывистый голос хозяина. Павел развязал котомку, достал рыбник и посыпушку. Усову хотелось сказать, что пироги-то Рогову надо бы экономить. «Не известно, чем его завтре в районе накормят... А может, и ничего? Оштрафуют да и отпустят... Ох, нет, не отпустят..» Усов вздохнул, взял налитую на половину чашку:

— Ну, Данилович... Не обессудь. Я тебе чево знал, все сказал. И сделал чево мог.

Павел налил Володе и Кинде:

— Выпейте...

— А ты сам-то чево, а, Данилович?

Судейкин ответил Володе вместо Павла:

— Да вишь, посуда в чужих людях по-очереди. А кто там спит на взъезде-то? Фуражка вроде знакомая...

* * *

Не в небе, а словно бы из-под земли ехидно и грозно рычали небесные громы. То надвигались издалека, то удалялись, ворчливо стихая. Или гремели это

вагоны железной дороги, бегущие за паровозом, пробуя обогнать окутанное черным дымом чудовище? Жалобный комариный стон тоже то нарастал и приближался, становился похожим на детский плач, то снова стихал, растворялся в глухой и вязкой, такой непривычной тишине ночлежной деревни. Какая это деревня и где он?

Игнатий Сопронов давно отвык от такой вязкой всепоглощающей ночной тишины. После всего, что видел и слышал он за последние два месяца, после тюремных тревог и допросов, после архангелогородских чекистов и дорожного лязга он не мог пересилить такой тишины. Ему хотелось проснуться, сбросить какое-то душевное удушье вместе с этим овчинным тулупным запахом. Темя болело во сне еще больше. Наверное, приближался очередной припадок. Кошмарные образы толпились над ним, менялись. Боль разрывала голову, страх и отчаяние нарастали во сне. Он услышал собственный стон, но никак не мог освободиться от болезненной дремоты, не мог сбросить с себя этот страшный тулуп, душивший его.

Близкий мужской говор прогнал от него слуховые призраки. Сознание его прояснилось, он встрепенулся по-птичьи и, наконец, вспомнил, где он. Голова болела, но Сопронов все осознал и вспомнил. После двухмесячного ареста, после всех приключений он идет пешком со станции. Ночует на середине пути. Не хотелось и вспоминать, что случилось за два этих летних месяца, но тюремные вши, ползающие под гашником и под воротом гимнастерки, снова напомнили обо всем. Скачков, это он виноват, гад ползучий! Он оформил уголовное дело за левый уклон. Ладно еще вовремя подвернулся Яков Наумович. Он переправил Сопронова из Архангельска в Вологду и не допустил суда. Скачков за все это еще ответит. Еще вспомнит Сопронова, сука. Отрыгнется и Микулёнку за тот очный допрос. Колька бумагу не подписал, гад, а в устных-то словах почти все подтвердил.

Игнаха сел. Сквозь звон в ушах в эту тошнотворную тишину вплетался какой-то неспешный мужской говор. Что это? Кто? Вроде знакомые голоса... Игнаха прислушался. Ольховские! Свои. Куда едут? Митька Усов, еще кто-то. Игнаха узнал голос Володи Зырина:

— Ты, Усов, своим колхозом особо не хвастай! Всю коммуну с прозоровскими хоромами в неделимый фонд записал? Гаврилину кузницу прибрал к рукам? Еще шустовское подворье да и пачинское. Ково ставишь на очередь?

— Ставлю, Володя, не я,— уныло возразил Усов.

— А кто? — включился Судейкин.— Ты предводитель, ты и ставишь! Скажешь: всем делом командует партейная ячея. Да вон Шустов-то Саша сквозь вашу ячею давно проскочил! Сопронова вычистили как вредного алемента. Веричев да ты и осталось-то. Да еще Дугина! Вся табаком пропахла...

«Кроме Зырина да Судейкина с Митькой Усовым есть кто-то четвертый,— подумал Сопронов.— Довезут, ежели к дому правятся».

Распряженные кони ели с телег траву. Очертания домов расплывались в туманных сумерках, близилось утро. Сопронов нырнул под тулуп, когда Зырин неожиданно ступил на взъезд.

«Куда это он?» — подумал Сопронов и услышал ответ Кинди Судейкина:

— А не наше дело куды! Нам с тобой, Данилович, в телегу да храпака. Ежели комары позволят поспать. К девкам Володя ударился! К выселенкам... Я, грит, всех троих давно знаю, еще с весны... Из трех-то выбирать легче...

— А вот нам-то с тобой и выбирать не из чего,— услышал Игнаха голос Павла Рогова.— Одна осталась и та неполная. Усов уснул...

Сопронова перекосило от этого голоса. Опять откинул тулуп, сел, скребя в потных подмышках.

«Пьют... — подумал Игнаха.— И пироги в котомках. Нет, оне не домой едут. На станцию...»

Голодная тошнота подступила к самому горлу.

* * *

Зырин, осмелевший от выпитого, с бьющимся сердцем пробрался в темноту верхнего сарая. Он уже знал, где ночевали сестры-украинки. В этом большом доме было два сенника: в одном спали хозяева, а во втором предположительно ночевали три сестры. У Авдошки такие густые и черные брови... Эх, не успел Зырин приударить за ней как следует, когда выселенки жили у Тоньки-пигалицы! Была такая возмож-

ность... Девки только отштукатурили зимовку у Клюшиных, собирались переходить к Новожиловым, а Селька Сопронов с Куземкиным тут как тут. Спугнули, болобаны! Три сестры в одночасье, ночью, снялись и ушли из Шибанихи. Не умеешь, дак не берись! А что ежели в этом сеннике Тонька с учительницей? Нет, не должно... Оне в избе разместились, на лавках...

Зырин подкрался к дальнему сеннику и услышал испуганный громкий шепот:

— Вой! Шо це таке? Хто?

Зырин узнал Груню, старшую. Вкрадчиво, как кот на шестке, зашептал Зырин, зауговаривал: «Грунюшка, матушка, и ты тут? Не бойся меня, я не к тебе... Я к Авдошке... Тише, тише. Я в чуланчик...».

— Ни! Не шукай ты их... Господи... Володя, миленькой! Ради Христа, не ходи туды... Не надо туды ходить, не надо...

Но у Зырина было другое мнение. «Как это не надо, ежели очень даже надо?» Зырин заговорил тихо, но вслух:

— Пропусти! Не мешай... Чево это постелили тебе у самых дверей?

Слезные, умоляющие слова выселенки не поколебали зыринскую решимость. В темноте он хотел было перешагнуть через Груню, чтобы проникнуть в сенник, а она, не вставая с постели, обеими руками охватила его ноги, зашептала горько, прерывисто:

— Не пущу! Хлопчику, миленький, не трогай дивчину, ради Христа! Остановися... Все для тебя сделаю, только... туда не надо...

— Сказал тебе, не мешай!

В слезах, путая украинские слова со здешними, Груня увлекла Володю Зырина, уронила на широкую, набитую соломой постель. Зырин враз одурел от бессвязных ее слов и от ее слез, от женского сладкого для него пота и огуречного запаха из ее рта...

Когда под взъездом во второй раз запел хозяйский петух и в щели верхних ворот начал сочиться рассвет, Груня растрясла голову крепко уснувшего Зырина. Он очнулся и снова потянулся к ней, но она отстранилась:

— Тише! Ничого не говори... Иди! Иди, хлопчику, и никому ничего не сказывай. Не был ты туточки ни утром, ни с вечера... Иди!

Володя Зырин не стал ни спорить, ни объясняться: «е был, так не был». Вскочил Зырин с постели и по-кошачьи тихо прошел через весь верхний сарай, открыл бесшумные воротца, ведущие в сени.

На верхней площадке взъезда, в ночной тени, еще хранились остатки вчерашней жары, а снизу тянуло утреннею росой. Солнышко еще не всходило, за березами палисада заря едва золотилась. Трясогузки, синицы и ласточки только-только проснулись: кто ощипывался, кто пробовал голосок. Внизу стоя спали отдохнувшие кони. Судейкин, Усов и Павел Рогов спали в телегах. Зырин хотел уж было по-разбойничьи свистнуть, чтобы поднять их на ноги. Но... что это? Кто там развязывает роговскую котомку? Человек, спавший с вечера под тулупом, оторвал от роговского пирога большой ломоть, затолкал остаток обратно. Поспешно завязал котомку и начал жадно кусать.

Зырин медленно, даже с некоторой торжественностью сходил со взъезда:

— А што, Игнатей Павлович, может, тамо и выпивка есть? В котомке-то... Мне дак не мешало бы опохмелиться...

Игнаха вздрогнул и подавился. Успел сунуть пирог в карман и нарочно долго откашливался. Когда Зырин подошел ближе, Сопронов вздумал здороваться и протянул Зырину руку. Но Володя как будто не заметил сопроновского движения.

— Как знешь,— сказал Сопронов.

— А чево тут знать, давно все узнано.

— Я два дня не едал...

— На третий малость закусил...— Зырин свистнул.— Вставай, мужики! Ехать пора. Пока пироги не кончились... Откуда правишься, Игнатей да Павлович?

Игнаха поднялся по взъезду, нашел там свою фуражку, отряхнул. Прежняя злоба вывела его из неловкого положения и решительность вернулась к нему:

— Откуда правлюсь? Отсюды не видно.

Павел проснулся и сел в телеге, ткнул в бок Судейкина:

— Киндя, чево спишь? Комиссары приехали!

Павел выпрыгнул из телеги и прошел к колодцу. Достал бадью с водой, две пригоршни плеснул на лицо, остальное понес лошади. Карько высосал из бадьи не всю воду. Остатки Павел выплеснул на траву.

— Не надо было в траву, давай выльем на Усова,— сказал Зырин.— Вишь, спит как убитый. Гуря, а ты где ночевал?

Не известно откуда появившийся Гуря весело забубнил:

— У меня есь, есь где ночевать-то, есь!

— Все-то у тебя, Гуря, есть. Молодец ты у нас. А чего в котомке-то? Ну-ко, покажи, чево у тебя в котомке? Игнатей Павлович, иди, поглядим, чево у Гури в котомке. Устроим ревизию...

Судейкин пробудился в телеге. Зевнул, спугнув с лысины опузыревшого от крови, беспечного комара. Уставился на Игнаху:

— Ты ли, Игнатей? Али во сне снишься? В какую сторону нонче, вперед к коммуне или назадь? Митька, вставай, нечего дрыхнуть. Гляди, должность проспишь... Долго ли до греха?

Усов пробудился, слез на землю:

— О, вот так номер! Игнатью да Павловичу. Откуда куды?

— Домой!

Сопронов за руку поздоровался с Усовым...

Всходило за палисадом солнышко. В доме тоже встали, и проезжие, и хозяева. Уже кипел, наверное, самовар, но Павел торопил Киндю, надо было ехать, пока не было оводов. Он быстро запряг мерина и подошел к телеге Усова.

— Поезжай, Димитрий, домой! Не подведу я тебя, куда надо явлюсь в срок. Чего здря кобылу гонять? Поезжай. Вези теперь нового седока!

Павел Рогов стремглав подскочил к телеге Усова и выдернул из нее прозоровское ружье. (Или оно было шустовское? Нет, вроде бы то самое.) Сопронов побелел, коленки у него дрогнули. Павел Рогов играл ружьем, как сенокосным граблевищем:

— Гляди, Митя, в оба, будь ему хорошей охраной! Не подпускай ни конных, ни пеших, береги пуще глаза! Есть патрон-от? Есть! На месте...

Павел поиграл еще раз берданкой Шустова (или Прозорова?), у Игнахи снова затряслись поджилки.

Поиграл Павел и вдруг подал ружье Митьке. Прыгнул в свою телегу.

— Садись, Киндя!

Судейкин успел заскочить на воз.

Карько рысью вынес телегу из заулка на большую дорогу.

Зырин все еще не отступался от дурачка:

— Ладно, Гуря, поедем. Не будем глядеть, чево у тебя в котомке. Иди, возьми пирога... Не хошь? Совсем ты, Гуря, заелся...

Зырин не спеша напоил Зацепку. Запряг и тоже не стал подниматься по взъезду, попросил Усова, чтобы Тоня и Марья Александровна не задерживались за самоваром. К нему совсем близко подступил Игнатий Сопронов:

— Куда Рогов поехал?

— Ты, Игнатей Павлович, за ворот меня не бери! — обозлился Володя.— Ежели один на один дак за ремень бери, как мужик мужика.

— Ну?

— Чего ты нукаешь? Нукай лучше на свою бабу! А то она без тебя совсем скурвилась...

Сопронов был и так бледный, а тут начал белеть:

— Кто говорит?

— Да все! Сам чул, в лавке бабы рассказывали.

— Врешь! — Опять схватил Игнаха Володю, но уже за рукав.— Кто в лавке был?

— А пошел ты...— всерьез обозлился Зырин.— Ты у братана у своего, у Сельки, спроси. Тот знает, кто с твоей бабой ночует... Во всей точности...

Тоня и Марья Александровна спускались со взъезда, и Зырин проглотил матюги. Он сбегал в избу, положил на стол деньги за ночлег, за себя и за Павла.

Когда прибежал обратно, то не поверил глазам: на его двуколой телеге вместе с Тонькой и Марьей Александровной сидела в лазоревом сарафане радостная Авдошка. «А ты куда? — хотел спросить Володя, но раздумал, хлестнул по кобыле.— Ладно, узнаю после...»

Несколько местных баб с косами, в праздничных белых рубахах судили-рядили у соседнего дома. Ждали восхода, чтобы всем вместе двинуться на косьбу. Они затихли при виде проезжих. Зацепка бодро топала по деревенской улице.

У отвода Володя спросил-таки Авдошку, куда она навострилась. Оказалось, что Марья Александровна еще вчера сманила ее ехать в Вологду, узнать там что-нибудь о своих земляках, кое-чего купить.

— Не боишься одна-то? Там... в городе-то,— спросил Зырин.

— Ни! С Марьей Александровной я не боюся. Меня мамо на три дня отпустила.

— Кто, кто? — громко переспросил Зырин. Тоня оглянулась вокруг и сильно ткнула Зырина в бок. Сказала шепотом:

— Ты бы не кричал на весь-то свет. Им запрет семьями жить. Груня-то им не чужая и не сестра, матка родная... Узнают, неизвестно што сделают.

Зырин оторопел так, что выронил вожжи. Совсем очумел Володя, от чего и спрыгнул с телеги. Тоне пришлось брать вожжи в свои руки.

Колки тележные стучали на неровных местах. Зацепка ритмично, в лад своим же шагам, отмахивалась от комаров. На очередном волоку снова догнали Гурю, который терпеливо шел неизвестно за чем и куда. Он не просил подвезти, шел да шел вдвоем со своею котомкой. Куда второй день шел дурачок, к чему стремился? Никто не знал, не ведал. Не знал, может быть, и сам Гуря.

VI

По лесам и крестьянским полям, по сенокосным подсекам и пустошам да по широким деревенским улицам стремится куда-то и большая дорога. Улеглась между двумя канавами, но не спит ни ночью, ни днем, ни в зимнюю волчью стужу, ни в летний зной, звенящий от гнуса, ни в дождливую слякоть, увенчанную холодным осенним золотом.

Ступают по той дороге крестьянские ноги, от века скрипят телеги и дровни. Идут солдаты и нищие, едут богомольцы, купцы и торговцы. Нищие ходят в лаптях из бересты либо в тряпичных шоптаниках, мужики и купцы в сапогах либо валенках, иногда и с калошами...

О, веселая эта тоска, о, тревога дорожная, неусыпная! Чем скрасить тебя, кроме разговоров сердечных, ежели едешь обозом? Чем, кроме долгой песни, скоро-

таешь тебя, ежели едешь один? Под синими звездочками в морозную ночь поет и стонет даже березовый полоз. В летнюю комариную пору поет даже убогий калека, застигнутый в зеленом лесу, а на гуменной околице девки поют у каждой даже самой малой деревни. Хорошо в пути и в гости заехать, коли есть родня, еще лучше сделать свои дела да причалить к ночи к родному подворью, ежели едешь от станции. А ежели к станции правишься? Неизвестно, что ждет около железной дороги. Кони и те безумно храпят и бросаются в сторону через канавы и огороды, ломают оглобли от паровозного страха.

Тесно вдвоем в одноколой телеге. Павел вылез на землю, за ним зашевелился и Акиндин, чтобы облегчить воз.

— Сиди, сиди! — остановил Киндю хозяин мерина.— Сиди и пой... Может, комаров-то поменьше будет.

Судейкин крякнул. Павел подумал: не обидел ли веселого ездока? Нет, вроде бы ничего, Киндя опять поет. Что увидит, про то и поет:

Счетоводы на кобыле,
А в телеге целый воз.
Ты куды, товарищ Зырин,
Этих девушек повез?

Володя, сидевший на хребте у Зацепки, не услышал Судейкина. Стук тележных колков да скрип гужей, фырк лошадиный да девичья трескотня заслонили слова частушки.

Гуря, Гуря, ты откуда,
Гуря, Гуря, ты куды?
На чужой-то на сторонушке
Ни хлеба, ни воды.

И Гуря не обратил никакого внимания!

Будет ли он, конец этому долгому волоку? Ничего нет хуже ехать по тряскому поперечному кругляку. Телега мужицкая без рессор и ремней. На каждом бревнышке все нутро твое вздрагивает, иной раз и язык до крови прикусишь. «К добру ли вчера устроили пляску?» — думает Павел. Правда, душа болела и до вчерашней пляски. Давно ли была Пасха, когда убегал с лесозаготовок. Вот уже и Петров день позади. Не больно-то веселы именины. Вспомнились вчерашние слова Усова: «Упекут ведь тебя!» Сердце сжалось. Дымов Акимко послал бумагу... На него, на

Павла Рогова! Кабы Куземкин послал, понятно было бы. А Дымов к чему? Дружили ведь. Бывало с балалайкой по морозу ходили на все ближние и дальние игрища. Крестами менялись...

И вдруг августовской зарницей полыхнула простая мысль: Аким не может забыть Веру Ивановну. Присох. К ней, как бывало, на гулянки ходил, так и сейчас ходит. Бумагой решил сгубить... А может, и сама она...

Лицо Павла Рогова вспыхнуло от стыда и от гнева. Ревность захлестнула его, обожгла всего каким-то звериным огнем. Павел остановился. Мелькнуло желание немедля повернуть либо распрячь лошадь и вскачь обратно в Ольховицу. Он овладел собой, но сила в ногах исчезла, словно ушла в дорожную земляную мякоть. Он сел на канаву. Руки его тряслись, хватались за траву, рвали высокий уже отцветший лесной кипрей. Володя Зырин, боком сидевший на бедной Зацепке, увидел спутника:

— Чево, Паша? Мозоль набил?

Павел ничего не ответил. Зырин решил было остановиться, но Павел отмахнулся, пропустил подводу вперед, поднялся. Тонька-пигалица, свесив с телеги ноги в полусапожках, тревожно глядела на Павла. Учительница и выселенка сидели на другом краю широкой двуколой телеги. Гуря залесенский остановился на противоположной обочине. Выставил редкую сивую бороденку и заговорил, обращаясь к Павлу Рогову:

— Ты комаров-то не боись, не боись! Совнышко выйдет, оне все в траву улитят! Все улитят! Комары-ти.

— Не боюсь, Гуря. Не боюсь я их...

— Вот и добро, вот и ладно! Ладно, ладно. Оне в траву, комары-ти, в траву... Совнышко вышло, совнышко вышло, совнышко вышло...

Чего он бормочет, дурачок из Залесной? Да, солнышко... Солнышко всходит. К десяти часам надо на станцию, иначе в райцентр. И суд в райцентре, на станции. Народный суд... Нельзя опаздывать, надо успеть к десяти... Травы покосить бы... Волок, трава худая. А за что его, Павла, судить? Кого судить? Игнаху тоже судили... Сопронов домой идет, в Шибаниху. Отпущен Игнаха! А его, Павла, от малых де-

ток на станцию, под суд... Дымов Акимко... Где правду твою искать, Господи?

Потухло отчаяние, но не развеялось. Павел ступал рядом с Гурей, догоняя подводы. Теперь дурачок добродушно бормотал что-то свое, что-то насчет какой-то пропавшей грамоты.

— Садись, Гуря, в телегу! Садись, еле бредешь!

Павел плакал без слез, одним своим сдавленно-горьким нутром, как плачет лошадь или корова, обреченная на убой. Он догнал подводу и остановил мерина. Гуря испугался. Торопливо полез в телегу... Карько навострил уши: далекий паровозный гудок долетел до его чуткого лошадиного слуха.

— Данилович, надо бы покормить! — сказал Акиндин.

Павел Рогов молчал. Ступая впереди своего мерина, он сглатывал горловую судорогу, сжимая зубы, щурился на восходящее солнце.

За последней перед железной дорогой деревней на отлогом поле, заросшем диким клевером, он, по мостику через канаву, шагнул с дороги. Карько не дождался указаний возницы, шагнул вслед за хозяином.

Роса еще мерцала на белых клеверных маковках, на лазоревых гвоздичных цветочках, переливалась на солнце и высыхала. Первые крупные оводы, не дождавшись утреннего тепла, кругами носились около морды мерина. Киндя отвязал вожжи, отпустил чересседельник, рассупонил хомут, сбросил с правой оглобли гуж и высвободил дугу. Не снимая седелок и хомутов, лошадей навязали на вожжи и пустили кормиться. Зырин наломал в кустах ольхового сушняку, содрал с березы берестину и развел теплину. Марья Александровна начала отвязывать свой саквояж, Тоня открыла корзину с дорожной едой. Судейкин подошел к ним и обратился к Авдошке:

— Ну, Евдокия, в этом баском сарафане тебе хоть сейчас в Москву! Не устоит не то што Клим Ворошилов, сам Калинин за голову схватится. Где, скажет, я раньше-то был? Почему никто не доложил, не сказал?

Авдошка смущенно одернула свой лазоревый сарафан. Она покраснела от похвалы.

— Это мамо еще на свою свадьбу сошила, после мне подарила.

Киндя прицокивал языком.

— А сестре кофту с гарусом,— добавила Авдошка.

Павел взял косу с телеги и лопатку в берестяном футляре, размотал лезвие и отошел за кусты, чтобы запастись травой. Звук наставляемой косы снова разбудил в душе тоскливую горечь: косить бы надо, а он вдали от семьи и от дома. Как там справятся с сенокосом? Надежда на то, что через день-два он вернется домой, все еще не покидала его...

Он наставил косу и начал косить. Трава была высока и густа. Коса обнажила шмелиное гнездо с комком крупноячеистых коричневых сот. Павел не стал зорить гнездо, бережно прикрыл моховиной. Остановился. Совсем близко, в черемуховой густой зелени дважды смачно и сильно щелкнул соловей. Помолчал и вдруг разрядился восторженной, сочной и долгой трелью. Павел изумленно прислушался. «Чего это он? Петров пост кончился. Уже и кукушка не сказывается, а он поет...» Словно угадав укоризну, соловей щелкнул еще, хотел спеть, но как бы захлебнулся в своей же песне и больше не сказывался. От дороги послышались цыганские голоса. Таская траву в телеги, Павел увидел две кибитки, обе на железном ходу.

— Ух, ямы-хасямы! — восхитился Киндя Судейкин.— Не сеют, не пашут, руками машут. А лошадито до чего дородны. Не хуже моего Ундера.

Павел сложил траву на обе телеги, хотел обвязать лезвие косы, но услышал обвораживающий и чем-то знакомый цыганский голос:

— С праздничком! Ах, дорогой, покоси заодно и мне, такая травка, хоть заваривай чай, покоси, милой, покоси, долго ли тебе?

Тот самый цыган, который продал весной «джимы», стоял и униженно просил покосить.

— Что ж... Покосить недолго,— сказал Павел.

Цыган не узнал Павла, может, не разглядел. Начал таскать клевер к своим лошадям. Штук шесть цыганят облепили телегу Зырина. Две цыганки уже гадали Авдошке и Тоне. Марья Александровна сидела растерянная: цыганенок настойчиво выпрашивал у нее пирога. Она краснела, не знала как отказать, пирог-то у нее был всего один, а в Вологду неизвестно когда приедешь...

— Чего пристал? — цыкнул Володя Зырин.— На вот тебе десять копеек. Только пока не спляшешь, не дам!

Цыганенок начал плясать на лугу. Пляска у него выходила неважная, но старательная. Особенно хорошо выходило, когда он выкидывал голые пятки и шлепал по ним ладошкой.

— Ну, молодец! — сказал Зырин и подал денежку.

Пока запрягали коней, две цыганки настойчиво ворожили суженых Авдошке, Тоне и Марье Александровне.

— Куды едете, православные? — спросил цыган, не дожидаясь ответа.— Христос с вами, Христос с вами, мы тоже дорожные люди, надо и нам...

Вскоре показалась насыпь железной дороги. До станции оставалось еще с версту. Киндя потянул обе вожжины:

— Стой, Данилович, пускай машина сперва пройдет. Вишь, семафор-то поднят. Лучше постоим... Погоди, а где коса-то с лопаткой?

Павел ощупал поклажу:

— Коса-то тут. А вот кубышки с дегтем не стало... Может, Володя брал? Нет, у Володи своя кубышка.

Судейкин заругался, хотел бежать догонять цыганский обоз, да было уже поздно, отъехали не меньше версты.

— Так и знал, што чево-нибудь да упрут. Эй, девки, глядите, все ли при вас! У нас кубышку свистнули.

Девкам было не до Судейкина. Они восхищенно глядели на приближавшийся поезд. Кони задрожали мелкой дрожью, словно от холода, хотя до линии было еще далеко. Когда паровоз засвистел, Карько неспокойно заперетаптывался, но Павел твердо держал поводья:

— Стой, Карько, стой...

Поезд прошел, семафор согнулся, на нем закраснел какой-то кружок. Можно было ехать. Приблизились к высокой железнодорожной насыпи. Километра полтора до самого переезда надо было ехать вдоль железной дороги.

— Ну, теперь будь что будет! — сказал Киндя и вылез из телеги. Зыринские ездоки тоже встали на

свои ноги. Павел снял с пирожной корзины чистый женский платок, закрыл им глаза лошади. Володя Зырин попросил платок у Тоньки и тоже завесил кобыльи глаза. За под уздцы повели коней вдоль железной дороги. Впереди показался поселок с вокзалом, с кирпичным заводом и с кожевенным, со всякой милицией, с лавками и гавдареями. За переездом Зырин сдернул завесу с лошади:

— Рогов, а где ночевать будем? Давай к Орлову, до Микуленка-то поди нас не допустят... А может, я нагружусь, накладную в карман да и домой без ночлега? Как думаешь?

Ах, зря торопился Зырин на постой, напрасно сдернул с Зацепки Тонькин платок! Поезд, встречный тому, который только что проехал станцию, пыхтел совсем близко, почти за спиной. Карько всхрапнул, опять весь задрожал, заплясал, как давешний цыганенок, задергался. Павел гладил горбатую лошадиную морду:

— Стой, Карько, стой! Не бойся, я тут, с тобой...

Машинист — нарочно, что ли? — с шумом выпустил пар, паровоз сделал пробуксовку да еще засвистел соловьем-разбойником, и Зацепка совсем обезумела. Она запрягом отбросила Володю далеко в сторону. С жутким ржаньем кобыла сделала кавалерийский бросок через чью-то обветшалую изгородь, через гряды капустные, смяла зыринским тарантасом еще одну изгородь и, теряя саквояж и корзины с едой, вскачь полетела новоиспеченным райцентром.

— Вот тебе и «севодни уеду»,— невесело передразнил Зырина Киндя Судейкин.

Зырин, не стесняясь учительницы, материл машиниста и грозил кулаком во след последнему вагону, который убегал на север, в сторону Архангельска:

— Мать-перемать, я ведь видел и кочегара! Глядит из окна, я не я! Ну, прохвост, хуже Игнахи...

И побежал по следу, через разломанный огород, заторопился искать подводу. За ним следом побежали и Тоня с Авдошкой. Марья Александровна немного подумала, но делать было нечего. Тоже заторопилась следом за ними.

— Ну и ну! — сказал Киндя.

Павел гладил по шее мерина, Карько медленно успокаивался.

— Куды мы топерь-то, а Данилович?

— Давай прямо в народный суд! Там видно будет... Времё идет к тому... К десяти часам, то есть.

— Да я ведь не знаю, где он, народной-то... Залезай, будем спрашивать...

* * *

Не первый раз приехал на станцию Киндя Судейкин. Бывал тут не однажды на Ундере и пешком. Знал, где находится база кооперации, знал, где живут нынче Орловы, знал, где военкомат и где главные магазины. А вот то, что было нужно сегодня, не знал...

Расторопная тетка, которая щипала на грядке лук для обеда, на вопрос, где народный суд, начала объяснять: «Где миличия, там, батюшко, и народный суд».— «А где миличия?» — «Да как где. В котором доме народной суд, дак там и миличия».— «Тьфу, ты...»

Судейкина рассердила эта бестолковая баба: «Сама знает, дык думает, что и я знаю. А откуды мне знать?»

— Гражданоцка, не знаешь ли ты Микулина? — спросил Киндя другую женщину, когда отъехали от злополучного места.— Земотделом работает.

— Миколай Миколаевиця? Да как не знать! У меня и живет.

— Оченно хорошо!

Киндя обрадовался, заприметил калитку.

Не велик и весь был новый райцентр! Базарчик с навесом и двумя рядами столов, окруженный двухэтажными строениями, лабазы да старые склады. Крашеный охрой вокзал СЖД с медной рындой, с пакгаузом. Вышка пожарная и три новых двухэтажных дома за старыми гавдареями. И Микулёнок живет вон тут, под боком. А вот где Володю искать? Пропал вместе с возом и с тремя девками...

Скопление подвод, разномастные лошади и смурные бабенки около подвод навели Судейкина куда надо. Да и Павел узнал то место, где встретил в Пасху божата Евграфа, где украдкой давил на пороге белую вошь и покупал цыганские сапоги. Он молчал, слушал Киндю, но не вникал в слова. Думал одно и то же...

Сколько сейчас времени? Судя по солнцу, можно было предположить, что народный суд уже действует,

что двери внутрь давно отперты. Павел нащупал в кармане повестку. Велел Судейкину оставаться пока с лошадью и вошел в коридорчик. «Господи, прости, сохрани,— мысленно повторял он.— Господи, спаси, сохрани...»

Фанера чуть не в аршин была прибита под потолком коридорчика. На ней зеленой краской печатными буквами написано: «Не курить, не плевать!» В какие двери ступать?

Павел открыл дверинку справа. За столом сидела девица с круглыми как у куклы глазами. Перед ней стояла печатающая машинка. Вторая дверь вела в другой кабинет. Слева от стола стояла скамья, а на скамье, нога на ногу, сидел... Микулёнок. По всему было заметно, что он любезничал с секретаршей. Потому и не узнал земляка. Или не пожелал узнавать? Павел поздоровался, держа повестку в дрожащей руке:

— Вот... значит. Вызывали к десяти часам.

— На какое число? — спросила девица. Она, тоже не глядя на Павла, взяла повестку.— Так. Я вас зарегистрирую, а вы ждите вызова.

Павел недоуменно переступил с ноги на ногу. Может, домой можно ехать? Он спросил:

— Какого вызова-то?

— Я же вам ясно объяснила, тава... гражданин Пачин! Ждите на улице, мы вас вызовем. Заседанье сейчас начнется.

Павел вышел во двор. Ждать значит, ждать. А Микулёнок-то... Неужели забыл его? Должен ведь помнить. Бывало и гащивал в Ольховице. Какая у его должность-то нынче?

Смутная надежда на то, что Микулёнок подсобит и выручит из беды, рассеялась. Не подсобит, не выручит. На ногах сапоги хромовые, на заднице галифе...

На улице люди не разговаривали друг с другом. Мужики хмуро курили табак, проверяли упряжь, другие безучастно жевали пирог либо зеленый лук с хлебной горбушкой. Павел не сразу нашел свою подводу. Судейкин подскочил к нему:

— Ну? Чево говорят?

— Велено ждать... Вызовут...

— Ждать да погонять хуже нет,— буркнул Судейкин ямщицкую поговорку.

Ждать им пришлось не долго. Судебное заседание началось, и молодой парень, вызванный первым, тряхнув овсяным чубом, с фальшивой бодростью взбежал на крыльцо. Прошло всего с полчаса, когда он появился вновь, но уже в другом виде: белый как полотно. Милиционер или охранник в кавалерийской форме, придерживая длинную шашку, легонько подтолкнул парня с приступка: «Иди, иди, нельзя останавливаться!» Девка, а может жена, в атласовке и полусапожках, увидев арестованного, кинулась к нему как птица. Но милиционер встал между ними. Она взвыла на весь райцентр. Что было дальше, Павел не видел, следующим вызывали его.

...Он вошел опять в ту же правую дверь. Там уже не было Микулина. Оказывается, надо было не туда, а наверх, по лестнице. Большая неоклеенная комната с рядами полупустых скамеек, невысокая сцена или подмостки... Стол с красной скатертью, на столе графин с водой, на стене бумажный портрет Ленина. За столом сидело три человека. Микуленок был в их числе... Он сидел по правую руку от судьи, этого серого человечка в парусиновом пиджачке. Вместо галстука под воротом черной рубахи у судьи навязано было рябое розовое кашне. По другую руку судьи сидела какая-то женщина, она то и дело шмыгала носом. Внизу за столиком сидела еще одна, помоложе. Павел заметил ее только после, когда начались вопросы.

— Подсудимый Пачин, встаньте,— бабьим трескучим голосом сказало рябое кашне, хотя Павел Рогов и так не сидел, а стоял. Он подсудимый? Почему, за что его судят? Зачем спрашивать отцову фамилию, ежели в бумагах она уже записана? Руки перестали дрожать, когда судья начал зачитывать «матерьялы следствия». Какое такое следствие? «Не было никакого следствия!» — хотел сказать Павел, но ему не дали говорить. Говорили и спрашивали они:

— Гражданин Пачин, в каком состоянии ваша двухпоставная мельница? Действует ли она в настоящее время?

— Толкет и мелет,— ответил Павел.

— Каково ваше отношение к соввласти?

Павел молчал. Судья вроде бы не очень и ждал ответов. Он застрекотал словно кузнечик, перечисляя вины Павла. Главная вина была в том, что «зажиточ-

ное хозяйство мельника Пачина не уплатило социалистическому государству гарнцевый сбор зерна в количестве двухсот тридцати двух пудов пятнадцати фунтов».

Павел словно во сне одну за другой слушал свои вины: «Зажиточное хозяйство Пачина Павла Даниловича числится в недоимщиках по сельхозналогу и самообложению, отказалось от подписки на заем индустриализации, не выполнило общественное задание по вывозке леса, поддерживает антисоветские выступления кулаков д. Шибанихи и Ольховского сельисполкома...»

В конце трескучей своей речи судья спросил:

— Гражданин Пачин, подтверждаете ли вы факт трехдневного пребывания в вашем доме подпольного священника?

— Да. Только я не Пачин, а Рогов.

— Хорошо. Подтверждаете ли факт собственного членовредительства для того, чтобы не служить в совармии? — безучастно спросил судья.

— Чево?

Павел как бы очнулся. Стряхнул забытьё.

— Вы отрубали палец на левой ноге, чтобы не служить в совармии?

Судья близоруко водил носом по какой-то бумаге.

Кровь бросилась в голову Павла, охватила жаром лицо. От гнева кулаки его сжались, глаза побелели. Рябое кашне и парусиновый грязно-белый пиджак, размытые слезным туманом, тряслись и переворачивались. Женщина заседатель заметила новое состояние подсудимого. Она под столом толкнула судью в бедро, быть может, дёрнула за парусиновый пиджачок. Судья оторвал тусклые глаза от бумаг и, наконец, посмотрел на Павла Рогова:

— Хорошо, хорошо... Слушайте тогда обвинительное заключение.

Павел Рогов стоял как пьяный, качался, и слова обвинения не достигали его сознания: «...руководствуясь частью третьей статьи шестьдесят первой Уголовного Кодекса выслать Пачина Павла Даниловича за пределы области с немедленным взятием под арест и с конфискацией всего имеющегося у него имущества. На основании постановления ВЦИК от пятнадцатого февраля одна тысяча девятьсот тридцатого года гужевая сила, принадлежащая хозяйству Пачи-

на, подлежит изъятию на нужды лесозаготовительных органов... Обвинение обжалованию не подлежит...» Где ваша подвода, гражданин Пачин?

Милиционер с длинной шашкой, неизвестно когда появившийся в суде, взял за локоть побелевшего Павла. Секретарша, что писала судейский протокол, вышла следом, выкликнула другую фамилию.

Судейкина — свидетеля — даже не вызвали на заседание, и Киндя успел сходить поискать Зырина. Сейчас он подбежал к арестанту:

— Данилович, это... надо нам к Микулёнку! Он выручит.

Милиционер пригрозил:

— Отойти в сторону!

Судейкин долго прискакивал за рослым конвоем:

— Микулин, Николай Николаевич... Он подсобит и направленье даст!

— Прощай, Акиндин Ливодорович! Не поминай лихом, ежели что,— издалека уже крикнул Павел.— Скажи там дома...

Ошарашенный Киндя не расслышал, что просил передать домой арестованный Рогов. Столбом долго стоял Акиндин посредине дороги. У рубленого крылечка пришел немного в себя. А когда побежал к телеге и к лошади, то не обнаружил на старом месте ни телеги, ни лошади. Он заприскакивал к мужикам: «Где подвода-то? Где?»

Кто-то ответил ему в поганую рифму, другой голос поведал, что подводу только что увели.

— Хто?

— Цыганы...

— Откуда их наехало-то? — заскулил Киндя.

— А с Кадникова,— сказал незнакомый мужик и плюнул себе под ноги.— Все в красных шапках, все с усами да саблями...

Судейкин понял, про каких цыган говорится. Он обогнул обширное здание милиции.

Карько с телегой стоял на задворках, привязанный к скобе какого-то черного хода. Котомка Судейкина лежала в телеге целехонька. А где Пашкина ежа? Поклажи роговской в телеге не было! Одна коса, обвязанная по лезвию холщовым виском, еще дорожный топор, воткнутый в щель между досками.

Хотел Киндя отвязать мерина и уехать, но тут новая мысль осенила его лысую голову: «А вить и

миня заберут! Вызвали как свидетеля, а за гребень возьмут хоп-хны. Фокич-уполномоченный сказал в Троицу: «Пой, пой, Судейкин! Хорошо поешь да куда сядешь!» Попадись им на глаза, только тебя и видели!»

Акиндин не стал ждать новых событий. Бросил котомку на сухое плечо. Без оглядки, стараясь не торопиться, проворно завернул сперва за угол и лишь после этого дал волю ногам и чувствам.

Чувства Кинди нахлынули скопом, заставили мотать головой, плеваться влево и вправо. Ноги принесли его напрямки к гавдареям, то есть к складам кооперации и Маслосоюза. Где же было Зырину получать рыковку, как не тут? Акиндин не ошибся: евграфовская Зацепка стояла у коновязи.

Зырин как раз выходил из конторы с накладной.

— Где наши девки-ти? — не успев отдышаться, спросил Киндя.

— Все три давно на вокзале!

И Зырин рассказал Кинде, как догонял испуганную паровозом кобылу. Потерянную поклажу собирали всем миром. Авдошка-выселенка оказалась проворнее всех, принесла Марье Александровне саквояж, указала, где валялась Тонюшкина корзина. Под конец обе, и Тонюшка, и Авдошка, начали хохотать как дурочки. Володя без натуги расстался с ними.

— Ох! — перебил Акиндин Зырина.— Что творится! Пашку-то... Ведь загребли вместе с лошадью!

— Отпустят,— сказал Зырин.

Киндя взвился:

— Много ли отпустили евонного тестя? Данило да Гаврило тоже. Ушли как в Канский мох.

Кладовщик торопил их.

— Давай, подсобляй! — Зырин убежал в складское нутро получать ящики с водкой. Киндя поплелся за ним. Четыре ящика с рыковкой были плотно привязаны, опутаны веревкой. В двуколке совсем не осталось места. «Придется ему либо мне ехать на кобыльем хребте,— подумал Киндя.— А то и пёхом до самой Шибанихи. Пускай! Лишь бы из центра да с глаз долой...»

К обеду они покинули гавдарею и направились в сторону чайной. Судейкин видел, что Володя не останется ночевать на станции. Может, опять торопится к той выселенке? Так думал Судейкин, но мысли то и дело возвращались к Павлу Рогову...

У чайной не было ни одной подводы. Вонючий бородатый козел ошивался около палисадника. Оборванец-мальчишка дразнил козла, тыкал его длинной вицей. Козел изредка жалобно блеял, не глядя на своего супостата. Увидев подъехавших, мальчишка оставил козла, сплюнул, как большой, и обратился к Володе:

— Дяденька, сколько время? Я свои часы дома **на рояле** оставил!

— А ты, ваше благородье, живи по солнышку! — расхохотался Судейкин.— Я свои тоже **на рояле** оставил. Есть матка-то?

Беспризорник, разочарованный в новоприбывших, вновь обратился к животному.

Зырин, дожидасяь, когда откроют чайную, хотел привязать кобылу у коновязи. Киндя не выдержал, встрепенулся:

— Володька! Стой, погоди...

— Чево стоять?

— Давай Микулёнка найдем! Может, он выручит Пашку-то...

— Микулина? — Зырин обматерил Киндю.— Ищи, только без меня.

— Ты дай мне пол-литра в долг! Чайная все одно пока заперта. Неизвестно когда отопрут. А што? Давай к Микулёнку! И самовар поставит, и бумагу какую даст. Насчет Пашки-то...

— Даст да ишшо поддаст! Вороти домой! Покуда возможности не ушли... Вино у нас есть, пирог с рыбой тоже есть. А травы кобыле в любом поле... Нам бы только за переезд выбраться... Нет, Киндя, не выручить нам Пашку! Не в те он руки попал, которые назадь отдают...

Зацепка, подобно Кинде, тоже чувствовала, что кого-то не хватает. Заржала. Зырин сильно огрел ее вожжиной. Она поволокла нагруженную водкой двуколку по главной улице. Что будет с возом, подвернись к этому времени очередной поезд? Об этом лучше было совсем не думать... Повезло всем троим.

За переездом, когда отъехали от железной дороги на безопасное расстояние, Зырин вышиб ладонью первую пробку. С этого времени Киндя перестал трепыхаться. Но еще не однажды, забывшись, оглядывался вокруг себя: «А где девки-ти?»

VII

Тоска начала подбираться к Тоне под вечер, когда Марья Александровна вместе с Авдошкой уехали в Вологду. Со всех сторон начала подкрадываться тоска! Днем, во время тележной тряски, под ясным солнышком, между своими людьми она еще не чуяла почти никакой тревоги. Беспокоилась только, как бы не замарать праздничную одежку. На вокзале Тоня достала новый платок. Но даже материнские полусапожки и кремовая с розанами кашемировка не веселили сейчас шибановскую певунью!

Куда и надолго ли уехала она от братьев и маменьки? Что ждет ее? Как билет выкупить до Архангельска? И перед всеми домашними стыдно, ведь с часу на час сенокос, а она укатила не известно куда. Господи, прости меня грешную...

Два этих дорожных дня некогда было думать, чего наделала. Шла босиком по обочине, то в телеге тряслась, то отбивалась от Володиных шуточек, будто от оводов. Глядела, какие окошки в чужих деревнях, слушала бухтины Акиндина Судейкина. Гулянку видели в какой-то деревне, а приемыш с Киндей даже плясали под зыринскую игру. На ночлеге — новая радость, встретила украинских выселенок. Груня с дочками бросились ее обнимать. Авдошка отпросилась у матери в город. Правда, когда поехали от дома, Груня не простилась и не показалась на улице. Неужто обиделась за то, что Авдошку в город сманили? И ехали они весело, пока цыганы не встретились. Цыганка нагадала какое-то семеренье с пустыми хлопотами, еще было жалко Гурю залесенского. Что за дурак этот Володя Зырин? На ночлеге незаметно развязал у Гури котомку и положил в нее полкирпича. Гуря не поглядел и нес этот кирпич до самой станции, веселил Зырина... Вот и наказал Бог Володю, когда лошадь испугалась поезда. Да одного ли его Бог наказал? Вон Павла-приемыша в суд вытребовали.

Тоня боялась думать насчет себя...

С того дня, когда прошел слух о Владимире Сергеевиче, что будто бы видели его в Архангельске, перестала Тоня ходить на гулянки. Бабы и девки давно корили ее Акимком Дымовым, только напрасно корили. Рогова Вера с Палашкой Мироновой знали, из-за

кого ходил Акимко в Шибаниху... Нет, не по Акиму тужила Тонюшка, не на его глядела во снах, не о нем песни придумывала!

Когда на Шибаниху пришла разнарядка назначить пять человек на сплав, она сама, добровольно вызвалась ехать. Брат Евстрафий ушел на сплав заместо сестры. Что в ту пору в голове было? Неизвестно что, но казалось, что на сплаву или где-нибудь на станции услышит, узнает что-нибудь про Владимира Сергеевича. А когда из Ольховицы дошел слух, что его видели в Архангельске, она перестала не только петь на беседах, но и спать по ночам. Задумала тайно от братьев съездить в Архангельск, найти Владимира Сергеевича, может, в тюрьме сердешный, может, болен. Поеду сама туда... Да разве отпустила бы ее маменька? Братцы-то, может, и отпустили бы...

Еще прошлой осенью уговорила Тоня родных, чтобы отпустили с Марьей Александровной в Вологду, погостить и кое-чего купить. Собирались до самого заговенья. А около Николы вешнего Антонида возьми да и завербуйся на лесозавод в Архангельск...

Марья Александровна, неделями сидевшая дома, и не подозревала такой измены... Стыд да и только! Когда открыли кассу и когда подошла очередь брать билеты, Тоня, пунцовая от смущения, попрощалась со спутницами. Учительница с Авдошкой не стали ничего спрашивать. Тоня только моргала да вздыхала, а тут и ударил вокзальный колокол. Все бросились в двери и к поезду. И вот она осталась одна на вокзале...

Сначала Тоня бодрилась, заставляла себя думать о чем-нибудь веселом и добром. Нашла место получше, около бачка с кипятком. Развязала корзину с едой, пожевала воложной налитушки. Пшеничников маменька напекла, не поглядела на то, что Петровский пост. И сахарку положила. Не зря всю весну молоко носили, сдавали на государство. Только в чужом месте, в одиночестве, без своих, и сахар не сладок, и пирога не хочется. Что-то будет? Как билет-то купить? Вокзальные двери то и дело стонут, почти и не закрываются. Народу не много, но все чужие. К ночи стало совсем жутко. Пришел дежурный с керосиновой лампой, повесил ее над билетной кассой. Какие-то мужики храпели на деревянных диванах, другие курили. Милиция ходит и всех разгляды-

вает. И на нее поглядел! Ничего не сказал, пошел дальше. Спросить у кого-нибудь про архангельский поезд и когда будут давать билеты она стеснялась. Встала в очередь прямо с поклажей. И стояла она до самой полночи. Ноги устали. Народу вдруг прибыло, очередь сбилась. Тоню сдавили со всех сторон. Она держала в одной руке поклажу, в другой платочек с завязанными в него деньгами. Долго не могла она протолкнуться к окошечку и купить билет! Дело дошло до слез, и какой-то дяденька подсобил приблизиться к кассе. Она купила билет и, чтобы не опоздать, заторопилась из вокзала на улицу, к тому месту, где висел колокол. Спросила у дежурного, когда придет поезд на Архангельск. Дежурный, сонный и равнодушный, буркнул что-то совсем непонятное.

На рассвете комары лезли в глаза и в уши, видимо, к дождю. Керосиновый фонарь тускло, почти незаметно горел на высоком столбе. Прогремел грузовой поезд, паровоз обдал дымом и брызгами. Никогда не слыхала Тоня такого грома, такого страшного железного лязга! Народ выпрастывался из вокзала на песчаный перрон. Из разговоров и возгласов можно было понять, что вот-вот подойдет архангельский поезд. Тоня заволновалась еще больше. В билете не указан номер вагона. Куда идти, как забраться на поезд?

Вдруг со стороны поселка Тоня услышала женские причитания и какие-то крики. Небольшая толпа с какими-то конными приближалась к вокзалу. Тоня в страхе отпрянула от мотающейся лошадиной морды. Конный милиционер дернул поводьями. Тоня услышала, как сильно клацнули удила о лошадиные зубы. Голова лошади задралась высоко вверх. Милиционер зычно крикнул:

— Вольная публика, отойти в сторону! Вольным гражданам в сторону. Дайте дорогу, не подходить!

Как раз ударил вокзальный колокол, чей-то голос захлебнулся в рыданиях, но в другом месте сразу запричитал кто-то другой. Два конных милиционера и несколько пеших с винтовками наперевес отгоняли народ.

— Молчать! Отойти в сторону!

Крики из толпы арестованных заглушило шипением подоспевшего паровоза. Раскулаченных — это были одни мужчины — прогнали в самый конец по-

езда. Тоне показалось, что Павел Рогов окликнул ее и что-то сказал, но пеший конвойный с длинной винтовкой оттолкнул ее вместе с корзиной.

— Вольным гражданам в сторону! Вольные граждане отойти! — орали милиционеры.

Вагоны остановились. Тоня, забыв про Павла, побежала туда, где шевелилась куча народу. Пассажиры устремились к вагонной подножке.

* * *

Привязанный к скобе, не распряженный Карько всю ночь дремал на милицейском дворе около черного хода. Он по-очереди отпускал то левую, то правую заднюю ногу. И спал, стоя на трех остальных. Комары облепили ему все места, недоступные для хвоста. Комары сосали лошадиную кровь, набухали от крови, вытаскивали свои жальца и с ленивым писком смывались подальше. Карько спал, пока не потянуло из-за угла предрассветной свежестью и пока новое уже утреннее комариное стадо не облепило ему мошонку и губы. Он сильно мотнул головой. Натянутая вожжина выдернула из милицейских дверей, видимо, не очень плотно забитую скобу. Карько стоял голодный всю ночь, ему хотелось и пить, и кататься по земле, чтобы избавиться от зуда. Когда начало всходить солнце, он услышал какое-то незнакомое ржанье. Нет, это был не голос Зацепки, это был какой-то чужой голос, но все равно это дальнее ржанье встревожило и окончателно разбудило мерина. Карько отфыркался и вместе с телегой, волоча по земле вожжи, выпростался из чужого подворья, пахнущего скипидаром и нужником. Куда было идти ему, кроме как к переезду? Бывал он на станции много раз, дорогу знал.

Поселок, вернее райцентр, спал на заре. Лишь от вокзала долетали какие-то звуки, то человеческие, то паровозные. Карько прислушивался к человеческим звукам и прижимал уши, когда гудел паровоз. Пустая телега катилась сзади. На бревенчатых мостиках через канавы телега тряслась и стучала колесами. Вожжина с железной скобой тянулась вослед. Карько подступил к деревянному настилу переезда, когда железное страшилище, окутанное паром и запахом горячего масла, было еще далеко. Но оно приближа-

лось неотвратимо и грозно. С нездешним шипением и громом оно стремительно выросло откуда-то сбоку. Карько сделал длинный судорожный прыжок через переезд. Безумно заржал и понесся в галоп, не разбирая ни канав, ни камней... Он скакал до тех пор, пока железное чудовище гремело за ним, пока оно не обогнало его и не исчезло. Все неожиданно стихло. Измученный страшным бегом, Карько перешел сначала на рысь и вскоре на шаг. Мускулы на его груди мелко дрожали. Налившийся слезами и кровью глаз косил в сторону и назад. Телега тащилась копыльями по земле. Тележные спицы оборвало между камней, ось вылетела из них вместе с колесами, осталась далеко позади. Карько услышал теперь земляной запах дороги и запах росистой травы, которые по-настоящему его успокоили. Он встал и долго стоял, дожидаясь хозяина и мотая хвостом.

Никто не пришел к нему, никто не окликнул.

Конь отфыркался и деловито пошел по большой дороге. Он хромал на левую переднюю ногу, а с правой задней отлетела подкова. Телега скребла за ним сухую дорожную землю...

Сколько часов, сколько верст отшагал он вот так по безлюдной дороге? Сначала было раннее утро, теперь же вокруг роем гудели сенокосные оводы. Они насквозь протыкали лошадиную кожу, садились на спину, куда не достать ни хвостом, ни ногой. Они лезли в уши и ноздри. Во время скачки среди камней Карько сильно ушибся. Теперь он тоже прихрамывал, подобно его пропавшему куда-то хозяину... Конь ступал безлюдной дорогой, пока было терпенье, а когда боль от укусов стала невыносимой, свернул с дороги в густой ивовый и ольховый подрост, попер через березняк и мелкий осинник. Ветки сбили с его спины часть крылатых и яростных кровопийц, но телега цеплялась за пни и коряги. Запах раздавленных трубок дягиля, запах зверобоя и папоротника вновь успокоил мерина.

Он остановился в лесу и опять начал ждать хозяина. Он прядал ушами, ловил каждый звук. Все звуки вокруг были лесными, без признаков деревни и поля. Трещала сорока. Лесной барашек летал высоко над Карьком, издавая крылышками жалобно блеющие звуки. Поблизости в смолистых елях стучал дятел. Ветер шумел в сосновых тревожных кронах.

Карько ловил ноздрями запах влажного болотного мха и запах осоки, скреб копытом. Жажда мучила хуже всего, и он вновь выбрался на дорогу.

Это был первый от станции лесной волок. Сколько будет их всех, лесных волоков, пока конь доберется до родимой Шибанихи, три или четыре? Карько не умел считать даже до трех. Зато у него имелась иная память и другое уменье. Он знал, что идет в ту, самую нужную для него сторону. Знал, как и где он встретится с прохладным и синим речным плесом. И он шел и шел по большой дороге, хромая подобно своему ездовому, который исчез неизвестно куда...

В поле оводы вновь налетели кровожадным облаком. У отвода первой деревни Карько долго и терпеливо ждал, чтобы открыли, но никого не дождался. Выведенный из себя жаждой, жарой, укусами оводов, он грудью надавил на полевые ворота, и они распахнулись.

Народ весь был на покосах. Одни мелкие ребятишки увидели подводу без колес. Второй отвод от толчка не раскрылся. Карько свернул в сторону. Он грудью раздавил изгородь и вновь оказался в зеленом поле.

На втором волоку дорогу пересекала какая-то малая речка. Минуя мосток, мерин зашел в нее прямо с топкого места. Брюхо его коснулось отрадной лесной прохлады, мягкие лошадиные губы начали шевелиться, первые большие глотки яблоками покатились по лошадиному горлу.

Карько пил долго, неторопливо. Вот он кончил пить, перешел на другой берег, жадно сорвал волоть зеленой травы и вышел опять на дорогу. Она уводила его все дальше и дальше от страшных видений...

В этом лесу уже все было похожим на шибановские проселки: и кипрей на обочинах, и обсохшая колея, и древесная поперечная стлань, и березовый шум на горках, и канавы, пахнущие земляникой. Но почему никого нет позади, никто не бодрит н не понукает, не шевелит вожжами, не поет и не говорит ничего?

Мерин остановился и начал жадно рвать и поглощать пучки придорожной травы. Он переступил канаву и насыщался долго, тщательно, пока не почуял прилив новых сил и позывов к движению.

Солнце уже скрывалось за большими деревьями, жара ушла вместе со стаями оводов, и Карько пошел дальше большой дорогой. Телега тащилась за ним, скребла копылами. Еще утром какая-то встречная подвода едва не сцепилась с Карьком левым запрягом. Возница спал в набитой травой повозке. Никто не встретился больше, никто не остановил, не окликнул.

Но кто там идет впереди лесной обочиной, сухою тропой рядом с большой дорогой? Карько не мог жить один, без людей. Он прибавил шагу. Человек впереди остановился. Мерин подошел прямо к нему и тоже остановился. Прислонился мордой к человеческому плечу, мирно всхрапнул.

— Ну, ну, ну,— заговорил Гуря.— Ну, ну. Чево встал, чево встал. Пойдем, пойдем... Надо идти, надо, надо идти.

Гуря увидел, что телега была без колес, начал оглядываться, плескать руками и бегать вокруг подводы:

— Ох, батюшки-светы! Батюшки-светы! Без колес! Без колес телега-то, украли колеса! Украли!

И Гуря побежал, несмотря на усталость, побежал подальше от Карька и от этой непонятной телеги. Он отбежал от мерина саженей на пятьдесят и остановился. Оглянулся. Мерин быстро догнал Гурю. Дурачок испуганно отбежал еще, Карько снова скорым шагом догнал его...

Так, убегая и догоняя, они оставили позади еще один лесной волок. Солнышко село. Показались еще одно поле и гумна.

...Это была как раз та деревня, где ночевали и кормились в позапрошлую ночь. Сюда не долетали никакие даже самые пронзительные голоса паровозов. Кричал за баней вечерний дергач. Булькали колокола, навязанные на лошадиные и коровьи шеи, перекликались и пели сенокосные девки, идущие полем. У домов мычали недоенные коровы. Гуря, обрадованный, пропустил Карька через отвод в деревню.

У взъезда стояла распряженная Зацепка. Она мирно махала хвостом, хрупала диким еще не завядшим клевером. Зато Киндя Судейкин совсем завял. Бревном лежал он поперек зыринской двуколой телеги рядом с ячеистыми ящиками. Гуря начал дергать Киндю за сапог. Судейкин не смог очнуться, сумел

проговорить лишь такие слова: «Володька, Володька, где у нас девки-ти?» Но Гуря был Гуря, а не Володька. И Судейкин опять уронил пьяную голову.

Самого Зырина рядом не оказалось.

* * *

Чего было спрашивать, где девки, если гнездовой, на двадцать мест ящик был в трех, а может, и в четырех ячеях заткнут свежей травой? Все ж у Судейкина и в похмельном сне болела душа. Не о девках болела, а скорее об арестованном Пашке Рогове.

И девки давно забыли про Киндю, давно похерили его из своей девичьей памяти. Поезд увозил Тоньку на север. Марья Александровна уехала с Авдошкой на юг и уже утром оказалась на вологодском вокзале. Учительница, узнав про Авдошкины планы, пригласила ее домой, желая познакомить с сестрою и тетей. Авдошка не знала, как и благодарить.

С той не забытой поры, когда на вокзале ходила Авдошка за кипятком с тем парнем военным, прошло много дней и ночей. Никому не говорила она, как он обнял ее у ссыльного поезда. Записка с городским адресом, которую он оставил, все эти месяцы хранилась в мамином кошельке и не давала забыть про тот самый первый в Авдошкиной жизни поцелуй. Военный парень постоянно стоял в глазах. Не пропадал он из ее памяти и в самую невеселую пору их кочующей жизни. Мама выдавала себя за старшую сестру, иначе давно бы их разлучили. Всем троим приказали каждый месяц являться в милицию и отмечаться. Они ходили по деревням словно цыганы, пробивались кой-как, а последнее время, лишь наступило тепло, приноровились штукатурить стены и потолки. И вот мама отпустила Авдошку в Вологду... Конечно, если б не Тоня и не учительница Марья Александровна, то ни за что бы не отпустила! С ними-то отпустила и даже денег дала. Сестра Наталочка заплакала, но мама ее успокоила, пообещала, что осенью съездят в город втроем, только бы найти кого-нибудь из своих хуторян. Где Иван Богданович Малодуб со всем семейством? Петро Казанец с Марийкой живы ли? Митрука с Петренкой отправили из монастыря куда-то под Тотьму, у Пищухи двое деток умерли еще в

Вологде. Груня Ратько считала, что ей-то с дочками Господь подсобил больше всех...

Авдошка никогда не видела таких больших деревянных домов, таких резных дверей и оконных наличников. Город был весь в зелени, на улицах летал пух одуванчиков. Дом, где жила тетя учительницы, был тоже красивый, из двух этажей. Лестница, устланная цветной домотканой дорожкой, скрипела даже от кошки, зато чистая и крашеная. В комнате, где приезжих поили чаем, были приятные розовые обои. Часы били каждую четверть. Рядом с часами висели рамочки с фотографиями. В углу у окна рос и зеленел большой, до самого потолка фикус, который собирался цвести. Шкафы с точеными украшениями были полны всякой посудой. На круглом столе, где пили из самовара настоящий чай, была расстелена льняная вышитая цветочками скатерть.

Тетя и сестра Марьи Александровны, как показалось, радовались больше Авдошке, чем самой Марье Александровне. Они расспрашивали Авдошку про все на свете, сами тоже успевали рассказывать про себя и про всю родню. Авдошка, путая украинские слова со здешними, щебетала на ту и другую сторону...

Какие хорошие и добрые люди, как хорошо пахнет подушка и одеяло с простыней, какие красивые на комоде скляночки и фигурки! Засыпая на старом диване, Авдошка забыла, что она в городе и в гостях. Что-то похожее на родную среду, на недавний, но уже забытый домашний покой чуялось во всем доме и в каждом слове доброй и очень разговорчивой тетушки, в этих настенных фотографиях и в мелодичном бое часов. Авдошка уснула с зажатой в кулачке сложенной вчетверо бумажкой, где был записан заветный адрес. Во сне рука ее разжалась и выронила записку. Авдошке снилось что-то широкое и светлое, что-то приятное как материнская колыбельная песня. Образы эти были неопределенны, утром они исчезли, но оставили явственный след в девичьей душе.

Сестры учительницы спали в другой комнате. Авдошка бесшумно оделась, на цыпочках вышла в коридор. Дверь на веранду открыта. Там на столе стояла ваза с голубенькими цветами неизвестно какого названия. Занавеска в окне слегка шевелилась. Мыло, что лежало около медного умывальника, пахло земляничными ягодами. Полотенце было свежим и чи-

стым. Двери внизу открыты и виден зеленый лужок. Авдошка спустилась по лестнице.

Что двигало ее юной душой, когда она, ничего не думая, радуясь своему лазоревому сарафану, обула материнские старые башмаки и вышла на улицу? Она знала, что сестры спят, и чувствовала, что тетушки в доме нет. Куда она ушла, старая тетушка? Куда-то туда... Ей, Авдошке, тоже хочется туда же. Но она не думала, что значит туда, она просто пошла потихоньку куда глаза глядят. Она расстроилась, что потеряла записку. Правда, и название улицы, и номер дома давно затвержены наизусть, они давно представлялись ей в определенном виде. Сейчас она почему-то забыла о том, что надо спросить, где нужная ей улица. Она просто шла, и раннее солнышко мерцало ей сквозь ветки городских палисадников. Синее утреннее небо только начинало кудрявиться первыми белыми облачками. Авдошка ступала, сама не зная куда. Дома и тополя, и сирень в огородах безмолвствовали в солнечном блеске, а она шла серединой улицы, усыпанной золотыми цветочками одуванчиков. Вскоре перед Авдошкой открылась река. Недвижимое застывшее плёсо отражало дома и стройную церковь, стоявшие на другом берегу. Справа вдали, где река сделала излучину, девушка с изумлением увидела высокую колокольню и серебристые массивные купола. Слева, совсем рядом, тоже виднелись высокие белые храмы. Она прошла немного туда, налево, вдоль берега и, боясь заблудиться, решила идти обратно, но улица оказалась не та, а другая. Авдошка пошла по ней, по этой новой улице, удивляясь тому, что она заблудилась, а ей почему-то совсем не страшно. Начались зеленые огороды. Одноэтажные домики с калитками и заборами перемежались крепкими двухэтажными пятистенками. Улица была долгой и не очень прямой. Авдошка шла и шла, пока не открылась еще одна церковь, заслоненная наполовину зеленой волной деревьев. Что-то непонятное шевельнулось и замерло в сердце Авдошки. Двойные каменные ворота ограды были открыты. Авдошка, ничего не думая, прошла по дорожке мимо могильных крестов. Небольшая, но уютная церковь была полна народу...

* * *

Ему подумалось, что на правом клиросе людей меньше, что там можно бы встать где посвободней, у стены или у простенка между окнами. Но как перебраться туда в такой тесноте? В церкви собрались главным образом женщины. Он был на целую голову выше толпы, увидят со всех сторон. Начнут шикать, оглядываться. Нет уж, лучше стоять и не двигаться...

Безусый молодой человек в синей косоворотке, в новом шевиотовом пиджаке высвободил руку, зажатую соседями. С трудом, медленно он поднес ко лбу пальцы, сложенные как положено.

Рука была свинцово тяжелой, не желающей подчиняться.

Когда он крестился в последний раз? Невозможно даже и вспомнить... Может, в Ольховице, может, в Шибанихе. Еще при Ленине. Нет, бери дальше — при Николае втором! Лет пятнадцать прошло, немудрено и забыть...

Петька Гирин по прозвищу Штырь (а это был действительно он, хотя и без усов) переступил с ноги на ногу, перенося собственную тяжесть слева направо. Не подозревал Гирин, что служба такая долгая... После евангельского чтения началась сугубая ектенья, отец Василий торжественно, медленно перечислял, за кого надо молиться. Во время молитвы об умерших Гирин слегка задумался и забыл про себя, а когда отец Василий предложил оглашённым выйти из храма, Петька снова стал прежним. Никто, конечно, не вышел. «Елицы вернии паки и паки миром Господу помолимся!» — призвал священник. По всему было видно, что раньше чем через час-полтора из церкви не выбраться. «Три к носу, товарищ Гиринский! — приказал Петька сам себе.— Бывало и хуже...»

Да, бывало и хуже. После московского бегства, когда Петька добавил в своей фамилии четыре буквы, много воды утекло. Пришлось пройти огни и воды. Частично прошел и медные трубы. Даже родился заново, хотя и без святого крещения. Все с начала! Не осталось ни московской литейки, ни родной деревни Шибанихи, ни квартиры Шиловского. Ни портфеля, ни командирского звания. Шесть добавочных букв в двух справках и в паспорте спасли Петь-

ку от неминуемой пролетарской кары. Сумел скрыться и начать свою жизнь с нуля. Спасло его то, что после многих мытарств, благодаря счастливому случаю, попал в число переменников десятой дивизии. Служил на славу. Подив Степанов лично перед строем объявил красноармейцу Гириневскому Петру благодарность за отличные стрельбы. Потом, когда прошли маневры под Вологдой и его, как отличника, рекомендовали для службы в органах, сам Кясперт не однажды выносил благодарность за выполнение особых заданий.

Бывали у Петьки и другие, уже служебные фамилии — Гиринец, Гиринштейн... Были дальние командировки, ночлеги во всяких дурных местах. Чего только не было, покуда из Вологды не уехал товарищ Кясперт! В марте Петька по службе почти ежедневно бывал в особом отделе Окружкома. Решение Крайкома по отзыву Кясперта и замене его Александром Карловичем Альтбергом стало известно Петьке раньше всех членов бюро Окружкома. Оно было подписано зам. секретаря Севкрайкома Иоффе, но где сейчас этот Альтберг? Петька не знал... Вместо Альтберга приехал некто Сенкевич, назначенный уполномоченным ОГПУ по Вологодскому округу. Теперь в ОГПУ из прежних начальников один Райберг... Нынче и округа товарищ Сталин решил отменить. В связи с осадным положением в Кадникове Петьке пришлось уйти с частной квартиры, его перевели на казарменное положение. А недавно новый начальник приказал Петьке сбрить усы. Опять пришлось получать на складе хозяйственного отдела гражданский костюм...

Переодетый в гражданское, он чувствовал, как пропадает прежний интерес к службе. Его посылали то слесарем в мастерские к тяговикам, то в цех «Красного пахаря». Вот и остаться бы там навсегда! Но от Петьки требовали не только слесарничать, но и каждые три дня докладывать о разговорах и настроениях. На днях его отозвали из «Красного пахаря», послали в поселок под Вологдой. В молочно-хозяйственном институте у Петьки не было никаких знакомых. Пришлось заводить общую тетрадь для записей лекций про телячьи болезни и про коровьи «лактации». Задача была такая: выявить среди студентов МХИ правизну. Никто толком не знает, что значит право и

что значит лево. Теперь вот началась чистка аппарата совorганов. Петьку сняли с молочно-хозяйственного института и начали посылать в Лазаревскую горбачевскую церковь для выявления совслужащих, посещающих культовые места... Одновременно требовалось выявить всех знакомых священника Швейцова и управляющего епархией Амвросия по фамилии Смирнов.

Да где же их всех выявить и запомнить, товарищ Райберг! В церкви негде упасть яблоку... В городе достаточно ячеек воинствующих безбожников, посылали бы их. Спихивать колокола и выявлять верующих — это их дело...

Херувимская песня отодвинула обиды и горечь куда-то в сторону. Петька Гирин по прозвищу Штырь, а ныне боец Гириневский, вспомнил свое нищенское хождение по миру, затем память просочилась в более глубокое прошлое. Он как бы вновь ощутил атмосферу той самой обедни, когда сидел на руках матери и впервые услышал не здешние и прекрасные звуки. Запах горящего воска и кадильного дыма мешался с нафталиновым запахом женских платков. Голоса певчих не проникали в сознание, но что-то давно забытое и отрадное в какой-то миг шевельнулось в душе. Гириневский усилием воли вернул себя к служебным обязанностям. Во время великого входа он все же пробрался к южной стене, скосил взгляд на стоящих сзади. Женщина в шляпке с вуалью была явно совслужащей из Окрисполкома. Она стояла с опущенными глазами. Там дальше молится бухгалтер из Северолеса, а впереди, около южных врат, видна белая лысина почтового служащего. Всех троих требуется запомнить и сразу после конца обедни где-нибудь в безлюдном месте записать, кто они такие и где служат. Но ведь они наверняка давно записаны каким-нибудь членом СВБ! Какой смысл сообщать о них, ежели...

«И без меня вычистят всех троих!» — решил Петька, не желая помнить ни бухгалтера, ни почтового служащего.

Во время пения Символа веры он был вынужден снова перекреститься. И снова рука была будто и не своя, она не слушалась... Как будто гиря привязана. Но что это? Мелькнуло что-то в толпе, и сердце почему-то странно ёкнуло. Отчего оно так забилось?

Гирина как будто ошпарили кипятком. Кровь бросилась в лицо, когда он разглядел впереди себя лазоревый сарафан Авдошки. Она или не она? Петька ждал, когда она повернется в профиль. Не дождался. Забыв про свои обязанности, начал он проталкиваться вдоль стены ближе к солее... Она, конечно, это она!

В глубоком, каком-то оздоровляющем и радостном волнении Гирин раздвинул молящихся и вышел на паперть. Из церкви он скорым шагом пошел вправо мимо старинных и свежих могильных крестов. Дорожка, обросшая цветущим морковником, увела Петьку в середину горбачёвского кладбища. Он остановился, резко, по-военному развернулся через левое плечо и сам себе приказал: «Тихо, таварищ Гириневский! Никакой ты не невский, ёствою корень! Ты Гирин Петр Николаевич. Тихо! Не торопись...»

Боясь потерять из виду лазоревый сарафан, Петька минут двадцать стоял на теплом солнечном горбачёвском кладбище. Обедня закончилась. Люди начали выходить из церкви. Он приблизился к паперти. Неужто это она, та самая выселенка? Она, она и есть! Те же темные косы, те же черные скобки бровей... И сарафан тот же!

Петька Гирин по прозвищу Штырь с ликующим, сильно бьющимся сердцем ступал следом за нею. Он не глядел теперь на других богомольцев. Толпа быстро редела. За оградой ему пришлось придержать шаг. Он видел, как Авдошка обратилась к пожилой женщине, что-то спросила. Они оживленно беседовали, видимо, женщина объясняла Авдошке дорогу. Гирин шел за ними, не помня себя. Он не глядел под ноги, запнулся... Модная кепка с плетеным шнурком упала в пыль. Они уходили... Вот они свернули направо, на длинную улицу Воровского. Женщина показала Авдошке дом с верандой и дальше пошла, Гирин же остановился и с недоумением глазел вокруг. Очень знакомое место!.. Он знал этот дом через сестер, учительниц Вознесенских, будучи еще курьером Калинина. Заходил однажды и позже. Родная сестра шибановского священника отца Александра была когда-то полной хозяйкой этого дома, после революции она занимала одну верхнюю половину. И Гирин вспомнил, что именно этот адрес черкнул на бумажке, оставляя юную украинку одну у отцепленно-

го вагона, среди вологодской стужи. Забор. Калитка... Авдошка прошла через эту калитку. «А будь что будет!» — подумал Петька и тоже ступил за эту калитку.

Это случилось в воскресенье, тринадцатого июля, в день двенадцати апостолов. Гирин шагнул за эту калитку. Ему и в голову не могло придти, что за ним тоже следили...

У новых постояльцев вологодского Духова монастыря покоя не было ни днем, ни ночью, не соблюдали они ни праздников, ни постов. Петька шагнул за калитку, а тот, кто шел следом за Петькой, насвистывая, прошмыгнул дальше.

Вороватый нижний сосед притворил дверь. Петька и его не заметил. Смело ступил он вверх по крашеной лесенке. Тетушка сестер Вознесенских, выходя из веранды, не узнала Гирина:

— Молодой человек, вы к нам?

Петька заперетаптывался. Она всплеснула руками:

— Господи, Петр Николаевич! Вы ли это? Напрасно вы свои усы-то сбрили. Что за мущина, ежели без усов? Не стойте тут, проходите в комнату. Милости прошу к нашему шалашу. Нет, нет, лучше сюда на веранду!

Старушка в гарусной кофте усадила Гирина на венский стул:

— Как же вам, голубчик, не стыдно. Совсем нас позабыли... Ты сколько месяцев не захаживал-то?

— Виноват! Служба...

— Уж какая такая служба? Тебе, Петр Николаевич, грех нас забывать. Не женился ли ты?

— Никак нет, холост.

За последнее время он разучился говорить по-граждански, хозяйка же так и сыпала скороговоркой:

— А у меня, Петр Николаевич, в Петров день экая радость! Из Шибанихи-то наша племянница приехала, да не одна, с гостьюшкой. А ты не вчера ли был именинник? Маша, Оля, несите-ко самовар-то сюда! Овдотьюшка, это ты обронила записочку с нашим адресом? Возьми, я ее на комод положила. Где ты эдак баско писать-то выучилась?..

Авдошка стояла в дверях веранды с самоваром в руках. Увидела Петьку, охнула и чуть не выронила булькающий самовар. Петька подхватил самовар из ее ослабевших рук, поставил на поднос, лежавший

посредине стола... Гарусная кофта мелькала в глазах.

— Вот, познакомься-ко, Петр Николаевич, ну чем тебе не невеста? А Маша-то наша, Маша-то. Адресто опять продиктовала не так! Будто не знает, что улицу-то нонече называют не Богословская, а Вора́вскова...

Гирин начал старательно, за руку здороваться с вошедшей на веранду учительницей. Он ничего не соображал. Щеки и уши полыхали, сердце восторженно билось, он боялся даже повернуть голову и взглянуть на юную выселенку.

VIII

В субботу двенадцатого июля в день христианских первоапостолов, когда Павел Рогов плясал у придорожной часовни, в первопрестольной столице нашей Москве, в Большом театре завершил **свои работы** шестнадцатый съезд. (Так и писалось в жирной газетной шапке: **работы.** Во множественном числе... Что это было? Специфическое выражение или обычный грамматический ляп?) Скучные, хвастливо-восторженные доклады и речи звучали вперемёжку с рукоплесканиями более двух недель. Многодневное сидение в креслах императорского театра и бесчисленные фотографирования с вождями и без вождей наконец прекратились. Делегаты выбрали руководящий синклит. Составители цековского и цекэковского списков еще знали русский алфавит: Эйхе в цековском списке стоял семидесятым по счету, Яковлев Я. А. семьдесят первым, т. е. последним. Во втором, цекэковском списке, тоже преобладали розенгольцы и сойферы. Некоторые фамилии даже как бы дублировались: Беленький З. М. да Беленький И. Ф., Гроссман Б. Я. да Гроссман М. П.

Завершал этот список главный богоборец страны Емельян Ярославский.

Кандидатов в ЦК, видимо, не успели распределить по алфавиту. Уншлихт стоял двенадцатым, а Бергавинов почему-то после Ягоды, чуть ли не в самом конце.

После выборов Калинин, олицетворявший в партии зачумленный и обманутый русский народ, еще раз потряс с трибуны козлиной бородкой:

«Никто из оппозиционеров не дерзнул выступить на съезде против намеченной линии партии. Наоборот, мы были свидетелями капитуляции и признания правильности этой линии со стороны бывших лидеров правой оппозиции, что касается «левого» уклона, то никто его здесь и не представлял».

Путиловский токарь под крики «ура» закрыл съезд. Термин «левый уклон» и до Калинина редакторы многих газет ставили в кавычки. И хотя газеты по-прежнему призывали к борьбе на два фронта, мало кто всерьез выступал против левых загибов. У верных ленинцев врагов слева не было и до ноябрьского пленума... Погромщикам русского крестьянства, притихшим после мартовской иезуитской статьи Сталина, опять открывался полный простор! Главный силосовальщик страны Яковлев не терял времени, подобно Менжинскому и Ягоде трудился в поте лица. В начале мая в письме для ЦК комсомола он вопрошал: «Нельзя ли миллион силосных ям и траншей сделать вашим боевым лозунгом? Нельзя ли дело поставить так, чтобы вы организовали специальный учет хода организации ям и траншей по линии комсомола, и только по линии комсомола, с тем, чтобы вы взяли на себя ответственность за выполнение этого плана?»

В конце письма народный комиссар земледелия еще раз говорит о миллионе силосных ям и траншей. Но большевистское «силосование» полным ходом шло еще по снегу, задолго до зеленой летней травы. Тысячи ям и траншей были уже вырыты и заполнены телами безвинных страдальцев без «церковного пенья, без ладана, без всего, чем могила крепка». Что касается главного богоборца Емельяна Ярославского, то статья Сталина вообще его не коснулась. По всей России колокола летели на землю и раскалывались, самих звонарей без передыху ставили к стенке. С православных иерархов срывали панагии, душили, топили, морозили среди сибирских и беломорских снегов.

Тринадцатого июля, в воскресение, в день двенадцати христианских апостолов, большевистский синклит, называемый пленумом, выбрал своих апостолов, но не двенадцать, а десять. Не было никакой странности в том, что в эту десятку Сталин включил Николая Ивановича Рыкова (Бухарина и Томского

он оставил в списке Центрального комитета.) От безвольного и пьющего впридачу, честного и, не в пример Калинину, не хитрого Рыкова толку было не много, опасности и того меньше. Ворошилов в глазах Сталина был дурак, зато надежный и голосовал каждый раз как надо. Рудзутак с Коссиором — тщеславные бюрократы. Скрябин, по всей вероятности, по-прежнему верен. Оставались непредсказуемыми лишь Киров и Куйбышев. Но разве нельзя нейтрализовать их с помощью кандидатов в Политбюро?

Впрочем, на Политбюро Сталин по-прежнему надеялся меньше всего. Куда нужнее сейчас Оргбюро и секретариат. Каганович, олицетворяющий самую мощную, самую могучую силу в партии, состоял одновременно в секретариате и в Оргбюро, но Скрябин и Сашка Постышев тоже выбраны в два эти органа... Будучи председателем контрольной комиссии успокоится ли ортодоксальный Орджоникидзе?

Сталин нехотя утвердил список президиума контрольной комиссии, куда вошли Акулов, Беленький, Гольцман, Гуревич, Енукидзе, Затонский, Землячка, Ильин, Михаил Каганович, Коротков, Кривов, Назаретян, Осьмов, Павлуновский, Петерс, Покровский, Розенгольц, Райзенман, Сольц, Струппе, Трилиссер, Шкирятов, Янсон и Ярославский. Но для чего была нужна еще и парколлегия ЦКК с этим Бризе и с этой дурой Землячкой? Да еще и представители контрольной комиссии в Политбюро и в Оргбюро. Сталин и на это ничего не стал возражать. Ни усатому ленинцу Орджоникидзе, ни пламенному сионисту Лазарю. «Кто кого будет контролировать, еще посмотрим»,— подумал он, когда в белом кителе и белых штанах уходил с Пленума контрольной комиссии.

Борьба продолжалась не на жизнь, а на смерть. Третий Интернационал, зараженный масонской чумой, разумеется, не оставит в покое ни Москву, ни Иосифа Сталина. Разумеется, Каганович ведет двойную игру, и он, Сталин, безусловно, вынужден считаться с евреями. Задача стояла лишь в том, чтобы любыми средствами, любыми способами поставить эту силу на службу себе... Как это сделать?

Никто не умел делать это с таким блеском, как Ильич, лежащий теперь в мавзолее выпотрошенный и с пустым черепом.

Так, или примерно так, думал Сталин, когда прошли пленумы и делегаты, загрузив чемоданы московскими покупками, разъезжались во все стороны от столицы.

Секретарь Северного Крайкома Бергавинов покинул Москву в плохом настроении. Он гасил в себе горечь обиды. Наркомпрос Бубнов, когда приезжал на Север, заверил его в том, что на предстоящем съезде Бергавинов станет членом ЦК. Однако опять не избрали. Бухарин с Томским остались в ЦК. Они что ли обеспечат страну золотыми рублями? Сидя в пределах Бульварного кольца, легко писать циркуляры о лесозаготовках. И многие тысячи раскулаченных, выселенных с юга семейств тоже висят на шее не кого-нибудь, а Бергавинова. Ему было известно, что перед самым голосованием Сталин и Молотов почему-то вычеркнули его из списка...

Бергавинов не знал истинной подоплеки случившегося.

Двадцать седьмого мая Центральное плановое управление Наркомпути утвердило эскизный проект инженера Иогансона по строительству грандиозного Камско-Печорского канала. Стоимость одной только первой очереди определили в 75 миллионов рублей. «Управлению строительством канала поручено форсировать проектные работы по соединению северного порта Индиго с Камо-Печорской водной системой,— писала «Правда Севера».— В 30—31 году на работы по сооружению канала предполагается затратить пятнадцать миллионов рублей». В разговоре со Шмидтом Бергавинов заметил однажды, что, прежде чем строить такие каналы и электростанции, надо сначала за счет лесоэкспорта заработать валюту и купить зарубежную технику. (Ту же мысль высказывали Бергавинову и в Северо-Западном пароходстве, где заправлял Иван Михайлович Шумилов, бывший когда-то секретарем Вологодского Губкома.) Конечно, Бергавинов тоже любил размах в строительстве. Но какой там к черту сейчас канал, если не можем построить причалы и лесозаводы! А тут еще и ОГПУ со своими запретами в использовании на строительстве высланных куркулей...

Кому-то в Москве очень не нравилось упрямство архангелогородского секретаря, уже готовилась переброска Бергавинова на Дальний Восток. Но секретарь

ничего не знал об этих подспудных происках, его натура не допускала существования коварства. Если б он был похитрее, он сразу бы заметил, что и Шумилова во вновь избранной Центральной контрольной комиссии тоже не было. Правда, Шумилов еще до Камского канала был обвинен в правом уклоне...

Бергавинов вместе с Шацким спали в мягком вагоне, когда немногочисленная вологодская делегация сошла с поезда.

Ответсекретарь Вологодского Окружкома Волков, сменивший перед съездом Стацевича, также был не в духе. Полумесячная гостьба в Москве, Большой театр, встречи и знакомства на съезде отодвинули на время вологодскую суету. Теперь опять пойдут суровые партийные будни. Быть может, его ждет то же, что и предшественника, не сумевшего организовать борьбу на два фронта. Но кто, как не Бергавинов, вместе со своим заместителем Иоффе настойчивыми шифровками требовал усилить напор, увеличить процент зимней коллективизации? Да и Шацкий с Турло не сидели в Архангельске сложа руки. К началу марта Стацевич под давлением и с помощью бригады ЦК силой вогнал в колхозы 61 процент всех крестьянских хозяйств Вологодского округа. После статьи Сталина Стацевича же и обвинили в левом загибе. Интересно, по какой причине произошла смена начальника Окружного ОГПУ и политорганов десятой дивизии? Волков слыхал мимолетно, что этим наоборот Москва вменила не левый, а правый уклон. А какой он к чертовой матери правый, хотя бы и тот же Кясперт? Нет, бывший начальник ОГПУ округа не был похож на правого. Вот и разберись, где у Москвы право, где лево...

Волков в тот же день отправился на Козлёнскую улицу и не менее часа просматривал директивы и телеграммы. Их за время съезда накопилась целая куча, сотрудники Бергавинова не жалели бумаги. Судя по всему, в Вологде в связи с упразднением округов опять началась административная паника. Все служащие уже в июне ёрзали на стульях, боялись за свои должности. Упразднение намечалось еще до съезда. Высвобождающиеся кадры партийные и советские

рекомендовано посылать в районное звено и в низовку. Сразу целая кипа заявлений на отпуска и с просьбами отпустить из пределов области, на лечение и т. д. Никто не хочет ехать из Вологды в районы. А что там пишет «Красный Север»? Редактор Тепцов, возвращаясь с краевой партконференции, устроил в поезде пьяный скандал. Пришлось выносить выговор на бюро. На последнем заседании 23 июня разбирали руководство из Сокола — тоже за пьянку. Один так упился, что и наган потерял...

Секретарь Волков просматривал последние июньские номера «Красного Севера»: «Торги финансового отдела на продажу изъятого за недоимки имущества...» Рядом с объявлением о пропаже дойной козы (зачем Тепцов печатает подобную чушь?) — публичное заявление какого-то Михаила Михайловича Квашникова: **«Порываю всякую связь со своим отцом Михаилом Ивановичем Квашниковым и всей его семьей»**. Дальше? Информация по округу. Доклад товарища Сталина на съезде. Заметка о театре Ленинградского пролеткульта, объявление о пропаже собаки. «Порываю всякую связь с родителями Александром Алексеевичем и Раисой Гордеевной Кукушкиными, проживающими в г. Вологде по площ. III Интернационала... Любовь Александровна Кукушкина». Кто такая? Кажется, из ОКРЗУ... Снова съездовские материалы.

Надо срочно собирать бюро по итогам съезда, наметить план на июль—август. А что тут? Еще одна пачка заявлений на санаторий и отпуск...

После просмотра местной газеты Волков начал разбирать бумаги и заявления, поступившие из вновь образующихся районов. «Настоятельно прошу бюро Окружкома назначить комиссию по выяснению моего социального прошлого и моей недавней работы на лесозаготовках,— читал ответсекретарь.— Считаю решение о моем несоответствии занимаемой должности несправедливым, а утверждение о связи с вологодской группой Бухарина не соответствующим действительности. К сему Лузин».

Да, Лузин. Степан Иванович. Как раз перед съездом они долго беседовали об организации и строительстве поселков для высланных. У него были интересные предложения об использовании фонда колонизации, о летней заготовке пиловочника. Что же

случилось с Лузиным за две эти недели, почему он написал такое радикальное заявление?

Секретарь Окружкома Волков решительно снял телефонную трубку.

За стенами вологодского Духова монастыря, внутри массивных каменных монолитов в летнюю пору всегда было прохладно. Ни мухи, ни комары не беспокоили сотрудников. Конечно, зимой тут не особенно тепло. Но не особенно и студёно. Единственное неудобство — это холодная уборная. Еще не любил Семен Руфимович Райберг запах печного зноя. Боясь угару, приходил в кабинет ближе к полудню и для проветривания открывал дверь в коридор. Никто не злоупотреблял этой открытой дверью, даже новый начальник ОГПУ Сенкевич. Весной Семен Руфимович своими глазами видел документ с грифом «строго секретно», поступивший на имя бывшего секретаря Окружкома Стацевича. То была выписка из протокола № 20 заседания Краевого секретариата от 17.III.30 г.: «Слушали: «О замене начальника Вологодского Окротдела ОГПУ тов. Кясперта и нач. Коми областного отдела ОГПУ тов. Витола по предложению ПП ОГПУ. Постановили: 1) Освободить от занимаемой должности тов. Кясперта и Витола, откомандировав их в распоряжение ЦК ВКП(б) для работы по линии ОГПУ. 2) В должности нач. ОГПУ утвердить тов. Альтберга Александра Карловича». Документ был подписан зам. секретаря Севкрайкома Иоффе.

Утвердили Альтберга, а послали почему-то Сенкевича...

Отчего что ни начальник, то обязательно либо поляк, либо латыш?

Семен Руфимович любил иногда слегка обмануть самого себя. Он знал о причине замены, но сделал вид, что не знает. Он ухмыльнулся, встал и глянул в большое купеческое зеркало. Постучал по стеклу восковым бескровным перстом: «А ведь прав был тот рыжий поп! — с улыбкой подумал Райберг.— В зеркальном отражении все меняется. Левое становится правым, правое левым... Философский вопрос! Печать и радио тоже ведь отражение действительности. А почему Толстого Ленин называет «зеркалом русской революции»?»

Семен Руфимович с надсадной бодростью поспешил сесть за свой двухтумбовый тоже купеческий стол, покрытый зеленым сукном. Обманывать самого себя было не к чему. Ему давно хотелось в Москву, как хотелось в Москву или на худой конец в Архангельск Яшке Меерсону, за которого так хлопочет Турло — член Краевой контрольной комиссии. Дело житейское. Причина срочной замены Альтберга Сенкевичем попросту не интересна. Обычная внутренняя склока в окружении Менжинского и Ягоды. Впрочем, что значит обычная? Достаточно одной небольшой докладной, чтобы автор вот этого сочинения кубарем полетел из своего кресла...

«В Холмогорах из одного раскулаченного семейства трудоспособные отправлены на лесозаготовки, а старуха и дети 6 мес., 6 и 13 лет помещены без продуктов в баню.

Выселенные кулацкие семьи в Мехреньге (Плесецкий р-н) загнаны в церковь, и поставлена вооруженная охрана.

По Вокскому с/с (Пинежский р-н) из 13 раскулаченных хозяйств трудоспособные отправлены на лесозаготовки, для остальных членов семей, охраняемых сельисполнителями, были установлены правила: 1. ходить по деревне с места поселения на 4 дома вперед и 4 дома назад и до 4-х часов дня. 2. детей раскулаченных в школу не пускать.

Уполномоченный Вол. ОЧК рабочий Сухонских фабрик Киров, ворвавшись в дом середняка Николаева, сорвал у жены Николаева из ушей серьги, снял с пальца кольцо и скрылся. (Киров арестован.)

В Нянд. окр. за невзнос семфонда попу Верхне-Пуйского с/с местными властями было приказано за несколько километров вывезти на себе восемь бревен леса, «тогда примем на работу и дадим паек». Поп бревна вывез.

В Елгорском с/с того же округа кулацкие семьи выгонялись на улицу в том, в чем находились и без куска хлеба.

Там же, в Каргопольском р-не, пред. с/с по телефону говорил: «Вы, наверно, газет не читаете, почитайте «Бедноту» и увидите, что повсеместно раскулачивают вовсю». Уполном. РИК — член ВКП(б) на это отзывался так: «Мы делаем правильно и будем рас-

кулачивать. Такого момента я ждал 12 лет. Теперь не остановишь».

Пальма первенства в этом деле принадлежит Сухонскому р-ну (Вологодский округ). На почве безобразий, проявленных работниками этого района, вырос судебный процесс, который вскрыл такие факты из Сухонской практики раскулачивания: бригадир по раскулачиванию Нагольный допрашивал беднячку Серову, целился в нее из революльвера, выстрелил, и лишь по счастливой случайности пуля попала в пол вместо груди женщины. Не ограничившись этим, Нагульный постращал выстрелом 12-ти летнюю девочку.

Бригада Раздухова, допытываясь у одной крестьянки о якобы спрятанных вещах, писала ей смертный приговор, инсценируя обстановку расстрела. Представитель революционной законности милиционер Невзоров не возражал.

Секретарь Воробьевской ячейки Кузичев явился раскулачивать семью учителя с огромным ножом в руке...»

Райберг читал «Информационно-политическую сводку № 1 по состоянию на 20.III.30 г.». Это был обширный, на многих страницах текст, написанный явно кулацким прихвостнем, ободренным сталинской статьей. Каким образом эта сволочь проникла в ряды чекистов? Одна лишь ироничная фраза о «представителе революцнонной законности» выдает с головой бухаринского последыша...

Семен Руфимович дочитал до седьмого раздела, где говорилось о влиянии религиозных общин на раскулачивание, и сделал закладку. Отложил материал в особое место...

Тема седьмого раздела была особенно важна. Райберг гордился успехами в деле антирелигиозной борьбы. Не Кясперту и не Сенкевичу, а именно ему, Райбергу, с помощью Союза безбожников удалось нейтрализовать вологодское духовенство. В городе на двенадцать тысяч жителей построено около семидесяти церквей. Часть действующих приходов ликвидирована еще во время гражданской, нынче и остальные удалось передать обновленцам. На сегодняшний день сторонники патриарха Тихона служат всего в двух местах: в подвале Богородицкого собора и в Горбачёвской церкви.

Семен Руфимович отложил «сводку». Он взялся за оперативные утренние донесения. Они были скучны и неграмотны. Сплошная рутина. В Вологде готовился большой судебный процесс. Подготовлены материалы на два десятка врагов народа, арестована группа финансовых работников. Немногочисленные сексоты, работающие в окружных организациях, словно бы сговорились: все как один сообщали о сочувственном отношении к арестованным финансистам...

Как всегда, множество сообщений о пьянстве руководителей. Целый ворох анонимных записок в комиссию по советской чистке. Черт бы побрал! Сколько раз твердить, что материалы о пьянстве его, Райберга, не интересуют! И этот дурак-сексот на строительстве завода «Красный пахарь» старательно переписал фамилии родственников бывших земских учителей, купцов и урядников.

А вот это уже чуть посерьезнее: письмо на судью Рязанова из Шуйска. К дополнительному сообщению про вожегодского народного судью Воронова, где пришпилена вырезка из газеты «Уголовное дело № 2253», добавился еще один серьезный сигнал, материал о судебном деятеле, теперь уже из Шуйска. Сколько можно терпеть таких народных судей? И Семен Руфимович пометил что-то на своей шестидневке.

Еще что? Извольте любить и жаловать, сообщение сексота об агенте ОГПУ Гириневском Петре Николаевиче:

«...два раза крестился на богослужении, после службы в церкви заходил на квартиру, провел больше часа на улице Воровского в семье бывших священнослужителей Вознесенских».

Райберг оживился. «Надо посмотреть, что пишет сам Гириневский...» — подумал Семен Руфимович, но не успел этого сделать. В раскрытую дверь энергично, без предупреждения вошел начальник ОГПУ Сенкевич. Он поздоровался за руку, от стула отказался и сходу спросил, имеются ли компрометирующие материалы на Лузина Степана Ивановича?

— Лузин? — Райберг встал.— Что-то не помню. Да, да, Лузин... Вероятно, это тот самый, что **сплавные** деньги сплавил украинским кулакам... Своих же местных кулаков он пристраивал на теплые должности. Почему ты заинтересовался Лузиным?

— Звонил Волков.— Сенкевича слегка коробило то, что Райберг при первом же знакомстве перешел на «ты».— Просит выяснить.

— А что, собственно, выяснять? — Райберг вынул из сейфа папку. Полистал.— Лузин Степан Иванович... В Соколе у Волкова целый букет **попкулорга.** На каждом шагу поп, кулак и торговец. Ничего удивительного, что и на Сухонском заводе правые свили себе уютное гнездышко.

— Но Волков говорит, что Лузин был начальником лесоучастка?

— Да, но закваска-то сухонская. Волков человек новый в Вологде. Я позвоню ему насчет Лузина.

Сенкевич не стал возражать. Он тотчас ушел, а Семен Руфимович продолжил просмотр бумаг. Гириневский. Каким-то крючком фамилия оперативника цеплялась в сознании, что-то неуловимое помешало Райбергу перейти к следующим материалам. Что? Гириневский... Петр...

Райберг достал из стола еще одну папку. Здесь были подшиты объективки на всесоюзный розыск. По стране бегали тысячи уголовников, но еще Кедров говаривал, что пьяницы и уголовники интересны лишь с медицинской точки зрения. Нет, в этой папке числились совсем другие люди. Райберг листал бумажки одну за другой. Так! Вот что цеплялось в памяти.

«Гирин. Петр Николаевич, из группы курьеров. Урожденец Ольховской волости Вологодской губернии. Исчез тогда-то и тогда-то с личным оружием номер такой-то... Уж не он ли Богу-то молится?» — подумал Райберг.

В донесениях Гириневского за последние дни не было ничего особенного:

«...в литейке паровозо-ремонтного читали газету, как умер в Москве последний коммунар Парижа Антуан Гэ. Один рабочий сказал, што и тут Гэ и там Гэ, што куда ни ступи, везде Гэ. Все захохотали».

Семен Руфимович подчеркнул слово «один» и поставил около знак вопроса.

«...в очереди за селедкой рассказано два анекдота: хто Сталину сапоги чистит. Молотов или Каганович?»

«...сказали, што из Архангельска прилетел чижик и поет не по здешнему. А Чижик ведь это фамилия представителя из Крайкома».

«...про Бергавинова сказано, што он говорил, што Америка скоро объявит войну Англии».

Райберг вышел в коридор и окликнул дежурного. Попросил, чтобы к нему сразу послали Гириневского, как только тот появится в управлении.

* * *

Обычно Петька докладывал начальству стоя, а тут Райберг усадил его на стул и предложил папиросу. Петька Гирин по прозвищу Штырь (он же Штырев, Гириневский и Гиринштейн) сразу сообразил, что это не доклад, а допрос. И сердце его тревожно сжалось. После обычного, ничего не стоящего разговора Семен Руфимович спросил, знает ли он Лузина. Петька сказал, что знает, поскольку Лузин связан со строительством поселков для южных раскулаченных.

— А Шустов? Слышали вы где-нибудь эту фамилию?

— Нет, Шустова я, Семен Руфимович, не слыхал,— спокойно произнес Петька, и все нутро его заныло, словно он натощак выпил стакан водки. Райберг глядел в упор.

— Хорошо, Петр Николаевич, хорошо. В отпуске давно не были? Вы ведь, кажется, родом из Ольховской волости? Кадниковский уезд.

У Петьки сдавило сердце.

— В отпуск мне, Семен Руфимович, ехать некуда, никого нет. Я и был сирота. А родом я из бывшей Северо-Двинской губернии... Не знаю, про какую волость вы говорите.

И Петька назвал деревню и волость, которые были отмечены в его нынешних документах.

— Разрешите идти? — Гириневский стоял навытяжку.

Райберг неожиданно переменился в лице. Его злила стройная фигура, солдатская выправка и пронзительная небесная синева в глазах этого парня. Семен Руфимович тоже встал и вышел из-за массивного своего стола.

— Ты, Гириневский, расскажи, как ты Богу молишься! Как крестишься! Может, и на исповеди был в Лазаревской? Святых тайн у отца Василия не причащался?

— Никак нет, товарищ Райберг, не причащался. Креститься приходилось по долгу службы...

— Чай с поповнами пил тоже по долгу службы? — спросил Райберг и опять переменился в лице.

— Семен Руфимович, чай пил не по долгу. Желательно подрениться... Познакомились на танцах в литовском клубе.

Райбергу стало скучно.

— Идите,— сказал он.

Петька по-военному, через левое плечо повернулся. Вышел из кабинета. Гирин только сейчас стал белый как холст. Испарина выступила на лбу.

В тот же день, не простившись с Авдошкой, он уезжал из Вологды. Для прохождения дальнейшей службы ему было предписано срочно явиться в отдельный пятнадцатый дивизион ОГПУ, который размещался в Архангельске в здании бывшего Краевого финансового управления. Напрасно, вся в тревоге и радости, два дня ждала своего сужего украинская дивчина!

Гирин исчез. Уезжая, он оставил себе надежду на новую встречу. Хотя жениться, имея так много фамилий, было почти невозможно...

IX

Степан Лузин ехал в Архангельск искать партийную правду. Так долог путь до Белого моря! Поезд то осторожно крадется по лесам и болотам, то безучастно стоит на безвестных разъездах. Зато можно было спокойно читать газеты, которыми снабдила запасливая жена.

«**Порываю всякую связь** с родителями Иваном Евграфовичем и Алевтиной Павловной Кузнеченковыми, проживающими...» — Лузин не дочитал. «Баланс треста «Волкирпич», реклама лекарства: «Вытяжка из половых желез «Спермоль»...» Лузин хмыкнул. В другом номере «Красного Севера» он прочитал еще одно объявление: «Анонс! Заслуженные шуты Грузии братья Танти». Сходить бы вместе с детьми на этих шутов. При воспоминании о семье Степан Иванович впервые ощутил ясно выраженное тревожное чувство. Что ждет жену и троих детей-малолеток, если... Дальше он просто останавливал свои мысли. «Ничего. Не может этого быть, не может... В Архангельске он обязательно отыщет партийную правду,

его восстановят, его знают многие товарищи в Северолесе. Они подтвердят его ничем не запятнанное прошлое. В худшем случае придется писать Шумилову, а то и непосредственно Сольцу».

Чем дальше на север, тем светлей и короче летняя ночь. Сумерки не спешат укладывать пассажиров на жесткие вагонные полки. Лузин развернул «Красный Север» с заключительными материалами съезда. Он искал в списках центральных выборных органов фамилию старого друга. Ни в контрольной комиссии, ни в ревизионной Шумилова не оказалось. Лузин рассеянно, с недоумением прочитал заключительное слово Калинина. Тянуло, однако, к спискам. Шацкий, Швейцер, Шкирятов, Шотман, Штраух... Увы, среди нового состава центральной контрольной комиссии Шумилова действительно не было! Может, его ввели в число кандидатов ЦК? Но тут на букву «Ш» вообще никого. Один Шмидт, видимо, тот самый Шмидт, который организовал прошлым летом полярную экспедицию.

Лузин отодвинул газету. Проезжали разъезд, куда зимой и весной возили бревна подшефные Лузину мужики.

Поезд остановился. Степан Иванович не без тщеславия разглядывал два новых барака, срубленных для ростовских и киевских переселенцев. Лесорубов, вероятно, переселили уже из зимних «вигвамов» Сухой курьи. Сколько нервов потрачено из-за финансирования строительства! Железная дорога была обязана расселить высланных за счет своих средств. Не потратила ни рубля. Бюро Окружкома отозвало Степана Ивановича из леспромовской системы и перебросило на кооперацию. До Лузина и до сих пор не дошло, почему так случилось. Житье в лесу нельзя было сравнивать с городским, и тот перевод был благом для всей семьи. Но ему не приходило в голову, чем закончится подобное понижение. Не мог он догадаться, что человеческое, то есть здравомыслящее, отношение к высланным в планы Кагановича, Яковлева и их местных последователей отнюдь не входило, что по логике Центра ростовских куркулей надо наоборот морить голодом и морозить, как тараканов, а не выписывать им новые рукавицы.

Нет, Лузин до сих пор не мог додуматься до истинных причин его перевода и последующей чист-

ки из кооперации. Шустов, бывший бухгалтер Ольховской маслоартели, принятый на работу десятником, арестован и находится сейчас неизвестно где. Но и это из рук вон серьезное обстоятельство Лузин все еще не связывал со своей личной судьбой. Промфинплан участком был выполнен. Лес зимой все-таки вывезли. За что же его ничем не запятнанного члена ВКП(б) понижать в должности, преследовать? Во время аппаратной чистки в конторском коридоре, на самом виду, висел фанерный ящик для компрометирующих записок. Служащие прозвали этот ящик «кляузником». Можно было писать все, что кому вздумается, и опускать. Анонимные записки разбирались потом на комиссии. Лузину вменили в вину то, что он будто бы потворствовал на лесозаготовках местным кулакам, разрешая поездку на религиозный праздник, выдавал продовольствие и дефицитную обувь украинским раскулаченным и т. д.

Его «вычистили» из системы кооперации. Угроза исключения из партии стала реальной, несмотря на то, что Лузин числился в резерве Окружкома. Он написал письмо Волкову и поехал в Архангельск. Он верил, что в Крайкоме во всем разберутся, что помощь Ивана Михайловича Шумилова потребуется лишь в крайнем случае...

Лузин почему-то так и не смог догадаться, что Шумилова тоже обвинили в правом уклоне.

Будучи в полной уверенности, что все нормализуется, он сошел с поезда. Без приключений перебрался на правый берег Двины. Из поклажи почти ничего нет, один небольшой баул. Ночевать можно у знакомых либо в гостинице. Погода в Архангельске стояла отличная. Безмолвная и светлая северная ночь незаметно сменилась теплым, едва ли не жарким солнечным утром. Впридачу ко всему сразу начал встречать знакомых. На площади около Троицкого собора, которого уже не было, Лузин замедлил ход. Собор снесли, и на его фундаменте строился драмтеатр. Лузин слыхал об этом событии. Готовилось и строительство нового Дома связи, но пока Степану Ивановичу было не до новостроек. Он торопился «в крайком прямиком», бодрил себя этой неожиданной рифмой и машинально читал афишки. В кинотеатре «Арс» «За-

говор мертвых». Кинотеатр «Эдиссон» приглашал на немецкую фильму «Виновен». Дети не допускаются. «А зачем такое кино, если дети не допускаются?» — мелькнула мысль. Заботы дня тотчас стерли ее, как стираются на уроках грифельные уже не нужные записи.

С легким и даже с каким-то спортивным волнением Лузин в семь тридцать утра ступил на крайкомовскую лестницу. Наверху, в коридоре, он без труда отыскал приемную первого. Лузин знал, что Бергавинов приходил на работу довольно рано.

* * *

Товарищ Аустрин, полномочный представитель ОГПУ в Северном крае, координировал свои действия с одним лишь секретарем Крайкома, да и то не всегда. Подчеркнутая независимость чекистской элиты сказывалась буквально во всем, включая многозначащее молчание на заседаниях бюро. Бергавинов Сергей Адамович видел, что это молчание было красноречивее любого ораторского приема. Литературные персонажи из русской классики этим товарищам вовсе не требовались. Бергавинов, как впрочем и Конторин, сам был выходцем из чекистской среды. Оба не только не противились подобной специфике, но и поощряли ее.

Тем не менее ПП ОГПУ был обязан официально информировать руководство Крайкома о положении в крае. Вот почему сегодня на секретарском столе с утра появилась очередная красная папка. В спешке перед съездом Бергавинов не успел как следует изучить и предыдущую папку... Предстояло заново прочитать обширный, на двадцать машинописных страниц, матерьял, подписанный заместителем Аустрина Шийроном. На титульном листе стоял рукописный номер и дата. В правом верхнем углу обозначалась специальная серия:

> **«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.**
> Перепечатке и разглашению
> не подлежит».

Это была «Спецсводка» № 6, за период с пятого по десятое июня, характеризующая настроения высланного с юга кулачества.

Бергавинов повесил новый, купленый после съезда пиджак на спинку стула. Орден еще не успел перекочевать со старого пиджака на новый, а что за костюм-тройка без ордена? В новом костюме секретарь покамест не чувствовал себя уверенным и полноценным.

Итак — спецсводка... С первой страницы копится раздражение: план по приему и расселению кулаков не выполнен. За пять дней принято всего две тысячи сто сорок восемь семей. Каков же прирост за две декады июньских и полторы июльских? Эти сведения будут в другом донесении, под номером семь, а сейчас необходимо заново изучить предыдущее. Бергавинов углубился в чтение.

«...8-го мая в Усть-Пинегу была отправлена партия кулаков в количестве 693 чел.

...Назначенный Окр. Админ. Отд. комендант знал, что на днях ожидается партия кулаков, абсолютно ничего не сделал, а в день прибытия кулаков сам уехал в Архангельск. Пока сопровождающий партию милиционер собрал представителей местных организаций и пока они обсуждали вопрос принять кулаков или нет и если принять, то куда их разместить, люди находились на п/х и в барже. Обсуждение вопроса и подыскание помещений длилось 6 часов, выгрузка 3 часа, таким образом простой п/х и баржи выразился в 9 часов».

Бергавинов подавил в себе желание, не читая, перелистнуть страницу.

«...Кроме общих вопросов антисоветский элемент кулачества открыто выражает недовольство на Совласть. В/кулак ШЕРОНОВ Герасим говорил: «Нас гоняют, как скотов, загнали в холодный барак, выставили посты, чтобы мы не убежали. Я раньше сочувствовал Соввласти, но теперь, когда я сам на себе все эти прелести испытал, я с каждым днем жду переворота. Такое издевательство над народом даже при крепостном праве не было...»

«...В результате такого разжигания имеют место массовые недовольства со стороны в/к против отправки в открытых выступлениях и выкриках: «Кровопийцы, стреляйте лучше на месте, чем нам ехать замерзать». Масса от погрузки скрылась в бараке, а вещи оставили около путей. (Разъезд 61, Няндом. окр.)».

«Долго ли нас будут возить с места на место. Время прекратить издевательство, лучше бы расстреляли» и т. п. (Архан. переселенческий пункт.)».

«В Пенозере Приозерского района до 400 семейств кулаков подлежит перевозке из деревень в места поселения. Выезжать из деревень и строить поселки кулаки отказываются, требуя возвращения на Украину. Погруженное 8-го июня для отправки имущество на подводы в количестве до 200 лошадей кулаками снято, и последние от выхода отказались...»

Позывы исправлять чекистскую грамматику прекратились, Бергавинов продолжал чтение:

«Адм. выслан. Лоренц Федор Федорович надеясь быть освобожденным говорит: «Нам товарищи надо ожидать XVI съезд партии большевиков, может быть что хорошее для нас скажет, а как мыслит Сталин этого не будет. Сталин это упорный осел, он не останавливается ни перед чем, миллионы людей позагоняли, рука не дрогнет. Во время отпуска красноармейцев домой Ворошилову поступило тысячи писем о том, как Власть издевается над крестьянами. Ворошилов зачитал письма перед Сталиным. Сталин начал отвергать эти письма. Ворошилов выхватил наган из кобуры и выстрелил в Сталина. Ворошилова арестовали и он просидел 5 дней, узнала Красная Армия подняла шум и Ворошилова выпустили».

«Не попал что ли? — рассмеялся Бергавинов.— Такой плохой стрелок, этот Ворошилов... И просидел только пять дней».

Секретарь развеселился, но не надолго:

«Работа антисоветского актива имеет значительное повышение,— писал работник ОГПУ.— Если за прошлую пятидневку отмечено 261 случай, то за данную из разного рода источников зарегистрировано свыше 500 случаев. Наиболее развитый актив АСЭ для разжигания остальных пишет стихотворения, о их кулацкой забитой доле, одновременно стремясь их распространять: В бараке № 3 ссыльный Еременко Иван Осипович пишет стихотворения о их кулацкой забитой доле, и читает по другим баракам, благодаря его произведениям ссыльные плачут и негодуют...»

Вошла секретарша, положила на стол новую пачку бумаг:

— Сергей Адамович! Товарищ приехал из Вологды. Сидит второй час.

— Я же предупреждал,— прервал ее Бергавинов.— До обеда у меня не будет времени.

— Очень уж он настойчивый! — От секретарши сильно пахло каким-то одеколоном.— Все время говорит, что по важному личному делу.

«Личные дела важными не бывают» — хотел сказать Бергавинов и удержался.

— Как его фамилия? Лузин? Что-то не помню. Пусть выслушает его Шацкий или Конторин.

Секретарша бесшумно ушла. Сергей Адамович перелистал чекистскую сводку. На трех страницах на украинской мове перепечатаны кулацкие вирши.

«До воли», «До дитей» — читал секретарь названия.— «Мое прохання».

Лита мои молодии,
Лита золотии
Повернниця, усмехниця
Усмешкой надии.
Прилитайте ви до мене
Из ридного краю,
Я вас стрину риднисенько,
Широ спрнвитаю.
Прилитайте, разважайте
Миж цими лисами
Выплакав я свои очи
гиркими слезами...
Але ви мене побачьте
Любо усмехниця
И на мое тяжко житя
Прийдить поднвиця.
Подивиця ви на мене
На лице на очи
Помаринили потускнили
Що цвити в пивночи.

«Ишь как нюни умеют пускать! — подумал Бергавинов.— И эти друзья... Не лень переписывать, не жалеет Шийрон бумагу».

...Ой крихотка моя мила
Нисщасна дитина
Захватила нас в дорози
Лихая година.
Тихо, тихо ти умерло,
Слова не сказало
И за що ти умираешь
Ти и не спытало
Бо несщасна твоя доля
Ничого не знало
А за що ш ти мое бидне
Тут отак страдало,

Плаче мате припадае
То нам не пизнати
Що у неи там на серци
Нам того не знати.

Мало забот, объявился еще и новый Тарас Шевченко! Что-то давнее и забытое шевельнулось в секретарской душе... Когда-то он знал и напевную украинскую мову, и позабытую ныне белорусскую речь. Но как далеко отодвинулось его детство и юность...

Ой не плачь ти бидна мате
Бо плач не поможе
Нихай долю цю рассуде
Святий правый Боже.
Твое ж миле не вернеця
Ни у день ни в ночи
Не суши ти бидна мате
Свои ясни очи.
Хай радиють вороженьки
Не забарам кара
Повисне над головою
Як черная хмара
Во ци слези не загинуть
Що отут пролити
И разнесця грим великий
По всим билим свити.

Что с ним? Всю жизнь освобождался от сентиментальной слякоти, не терпел ее ни в себе, ни в товарищах. А тут... Нет, нет, он, Бергавинов, не таков... Идет борьба. Когда-то на Украине огнем и дымом была опалена его молодость. Однажды чудом ушел от смерти. Белые приговорили к расстрелу. «Но ведь не расстреляли же?» — возразил далекий, какой-то очень далекий и робкий голос. Они приговорили меня к расстрелу, но отложили расправу! «И ты убежал... И после сам расстреливал их...» — Дальний, но уже окрепший голос не исчезал. Да, но если б я не расстреливал, я бы не победил. «А тебе обязательно надо было победить? Кого ты победил?»

Бергавинов, собирая себя в кулак, грохнул по столу сразу двумя руками. Он не любил раздвоения.

Секретарша, принесшая чай, заметила мимоходом:

— Товарищ Лузин никак не уходит...

— Я же сказал: пусть примет его Конторин! Сегодня я занят.

Сергей Адамович Бергавинов отхлебнул из стакана и продолжил чтение:

«Сов. Власть, власть мародеров, она выслала не

кулаков, а середняков и бедняков... Власть начиная с ВЦИКа и кончая самым последним милиционером хамы и вредители... За это вредительство на заседании бюро ЦК ВКПб Ворошилов пристрелил Сталина. Скоро дождемся гибели этой мародерской власти...»

— Не дождетесь! — вслух и со злобой подумал секретарь Крайкома.

Он снова стал собранным и решительным. К нему возвратилось прежнее состояние цельности. Может ли быть ущербным состояние борца? Он герой гражданской войны! Большевик, поставленный партией на передний рубеж по добыче валюты для пролетарского государства. Как он мог поддаться позорным минутным слабостям? Надо выявить и обезвредить антисоветскую агитацию! Следующая запись в сводке лишь подтверждает необходимость террора:

«...Как только вернусь домой я первым долгом убью всех активистов нашего района».

Сидевший у дверей кабинета Лузин разволновался и решил покинуть приемную. Вскочил и сердито спросил секретаршу:

— В каком номере товарищ Дмитрий Алексеевич Конторин?

Секретарша, не скрывая облегчения, сказала номер. Но... Заворга и члена бюро Конторина не оказалось на месте, уехал на совещание, проводимое Комиссаровым — председателем Крайисполкома.

Лузин не стал развивать крамольную мысль о значении фамилий. Конторин... Комиссаров... Пришлось уходить и устраиваться в гостиницу.

* * *

В промежуток между крайкомовскими визитами Степан Иванович побывал в Крайисполкоме и в Северолесе, пообщался с кооперацией и кой с кем из профсоюзных работников.

В конторах веяло бесшабашным унынием. Все судачили об административных чистках, гадали, что будет после ликвидации округов, и шёпотом, с оглядкой рассказывали еврейские анекдоты.

Сексоты заносили антисемитчиков в специальные ведомости с пометкой «контра».

Это по конторам и учреждениям. В очередях же и в питейных местах, на шумном базарном торжище крикливые жёнки в открытую ругали евреев. Иногда милиция тут же хватала самых горластых. Хватала и отпускала. Недовольство властью простой народ гасил драками и пьяным разгулом.

Отдельные служащие вроде инженера Живописцева осмеливались на открытый бунт. Такие карались без всякой задержки. Весь город говорил о суде над Живописцевым, который сделал пощечину Миндлину — главному инженеру Северолеса. (В последний момент суд заменил год тюрьмы принудиловкой.)

Лузин почувствовал, что и он за два этих дня заразился антисемистским духом. Что такое? Никогда раньше не испытывал он неприязни ни к евреям, ни к армянам.

Ему удалось проникнуть к заворгу Конторину. Тот внимательно выслушал и... сделал «пас». Отправил к члену бюро и председателю краевой контрольной комиссии Турло.

Лузин полностью разочаровался в Конторине...

Рано утром на другой день Лузин еще раз явился в Крайком.

С председателем ККК Степан Иванович был знаком с тех времен, когда Турло жил и работал в Вологде. В последний раз Лузин видел его на митинге во время окружной партконференции. На трибуне он выглядел куда представительней, чем сейчас. В кабинете уныло сидел посторонний. Несмотря на жаркое лето он был в кожаной потертой куртке. Сидел почему-то в кресле хозяина. Звонил что ли? Лузин тотчас узнал в нем бывшего зав. АПО Меерсона. Сидевший сбоку Турло не встал навстречу, но руку подал. Долю секунды Лузин колебался, здороваться ли за руку с Меерсоном. Тот сидел совершенно равнодушный, не очень довольный. (Позднее Лузину стало ужасно стыдно, что протянутую для рукопожатия руку пришлось убрать.)

— Извините, я прервал вашу беседу,— сказал Степан Иванович.— Но мое дело к вам, товарищ Турло, отлагательств никак не терпит. Я изложил его письменно и подаю апелляцию...

Меерсон освободил место за хозяйским столом.

Степан Иванович подал председателю контрольной комиссии свои бумаги. Турло мельком просмотрел их:

— Товарищ Лузин, на ближайшем заседании мы заслушаем ваше заявление! Но не ранее как на следующей неделе. Где вы работаете?

— Работал! — Лузин сдерживал раздражение.— Я работал в системе Северолеса... Меня перебросили в потребкооперацию...

— Хорошо, на следующей неделе мы досконально изучим ваше дело.

Меерсон, перейдя на другое место, разглядывал скучный заоконный пейзаж. Низкорослый Турло суетливо двигался между столами и стульями, нервно играл метелками пышных черных усов и намеренно не глядел в лицо собеседника. Впрочем, если б он и посмотрел в лицо посетителя, то ничего бы путного не получилось, поскольку по заглазному выражению четвертого члена бюро бывшего моряка Иоффе, левый глаз у Турло глядел на зюйд-вест, а правый на норд-ост. (Такие шутки у членов Крайбюро считались верхом остроумия, и тон задавал сам Бергавинов.)

Степан Иванович попрощался и вышел из кабинета, как говорится, в полной прострации. (В лучшие времена он произносил это словечко без буквы «т».) Поездка явно затягивалась. Приходилось думать, у кого бы занять денег. Да и в успехе дела появилось первое неосознанное сомнение. Что делать дальше? Ответ на этот вопрос был отодвинут на неопределенное время странной и весьма неожиданной встречей.

Едва закрыв за собой дверь, Лузин нос в нос столкнулся с Прозоровым. Оба опешили. Волей-неволей пришлось здороваться.

— Владимир Сергеевич, вы ли это? — встряхнулся Лузин.— Да еще в таком коридоре...

— Все дороги, Степан Иванович, ведут в Рим! — рассмеялся Прозоров.— Глория виктис! Слава побежденным. Того и гляди, стану марксистом...

Они обменялись краткими фразами о здоровье.

— Не выйти ли нам на свежий воздух? — предложил Степан Иванович.

— С большим удовольствием. Но меня вызвали туда же, куда и вас. Подождите где-нибудь хотя бы минут пятнадцать...

Степан Иванович, изрядно заинтересованный, сказал, что подождет в скверике на скамейке. «Вызвали. Туда же, куда и вас...» — Лузина покоробила эта фра-

за.— Во-первых, меня не вызвали, я приехал сюда сам. Во-вторых...»

Ревнивое чувство не успело облечься в слова. Прозоров уже выходил из крайкомовского подъезда. Светлый заморского покроя костюм. Отнюдь не пролетарский блеск на штиблетах... Высокий лоб Прозоров осушает белым как снег платком. «Ничего себе административно-высланный»,— подумалось Лузину.

— Попросили зайти позднее. Что-то там не готово насчет моей высокой персоны,— сказал Владимир Сергеевич.

Они вышли на проспект Павлина Виноградова. Утренний воздух Архангельска был свеж, дыхание Двины напоминало весеннюю вологодскую пору.

X

— Так где же она, ваша хваленая пролетарская солидарность?— возмутился Прозоров, когда узнал про кабинетные хождения и партийные передряги Степана Ивановича.

Лузин развел руками.

— Я не понимаю... — продолжал Прозоров.— Есть в этом что-то дьявольское... Вы, коммунисты, преследуете друг друга. Точнее, сами себя.

Лузин возразил:

— Владимир Сергеевич, вы по-прежнему ошибаетесь... Идет классовая борьба.

В словах Лузина не было прежней твердости, прежней беспрекословности. Прозоров заметил это и вспомнил разговор во флигеле в присутствии отца Иринея. Хотелось узнать про Ольховицу, спросить что-нибудь про Шибаниху, но собеседник не был там не меньше самого Прозорова. Земляки остановились вблизи руин Троицкого собора. Работа по возведению на соборном фундаменте городского драмтеатра шла полным ходом, а ледокол «Седов» стоял на Двине, готовый к походу. Двинское дыхание доносило от Красной пристани звуки духового оркестра. Лузину тоже вспомнился спор во флигеле:

— Владимир Сергеевич, а ведь вы считали справедливой экспроприацию фабрик. Помните?

Лузин покраснел.

— Ваше мнение изменилось? — допекал собеседник.

— Да! — твердо сказал Прозоров.— Мое мнение несколько изменилось.

Июльский ветряной вздох донес от пристани крики «ура». Прозоров предложил сходить на проводы ледокола.

— Степан Иванович. Скажите мне вот что... Разрушение собора... Оно что, тоже имеет отношение к борьбе классов?

— Конечно! — отозвался Степан Иванович.

— Какое же отношение и при чем здесь Маркс? Просветите меня, как соединить несоединимое? Или вы подобно Ленину считаете православную веру народным опиумом?

— Безусловно! — Лузин разгорячился как на собрании.— И не только православную, но и прочую. Иудейскую, например. Мы преследуем всех одинаково, потому что дурман есть дурман.

— Раввинов и синагог за полярным кругом раз, два и обчелся. А православные храмы со времен Александра Невского стоят по всему северу. Нельзя же сравнивать преследования единичные с массовыми! Но даже не в этом дело...

— Вы что, и верить начали? — Лузин хохотнул.— В Отца, Сына и духа **святаго**?..

Степан Иванович нарочно произнес последнее слово издевательски. Но Прозоров оставался серьезным:

— Нет, в Троицу я еще не могу почему-то поверить. А в двоицу, то есть в отца-вседержателя и в духа святого, я, Степан Иванович, верил и раньше.

— Так вы тоже вроде оппортуниста или сектанта,— вновь подкузьмил собеседник.

— Выходит так... Но я всерьез предупреждаю. Вам опасно общаться со мною в обоих смыслах: и в церковном, и в гражданском.

— Ерунда! — Лузин вдруг разозлился, но Прозоров спокойно сказал:

— Именно по этой причине я не приглашаю вас на ночлег...

— Спасибо, я устроился в гостинице. А у вас что, появилась мания преследования?

Прозоров ответил горькой улыбкой. Они приближались к пристани. Ледокол «Седов», готовый к от-

плытию, стоял у стенки, небольшая толпа провожающих одобряла приветствия отважным полярникам аплодисментами. Торжественный митинг с плакатами и духовым оркестром вела член бюро Крайкома Наталья Когинова. Рядом с нею на деревянных подмостках несколько начальников. Профессор Самойлович из Ленинграда был в военной фуражке и в кожанке, профессор Визе в шляпе и в галстуке. Оба носили очки и усы. Шмидт возвышался рядом с капитаном Ворониным. Ветерок, пролетавший с двинского плёса, шевелил широкую черную бороду начальника экспедиции. Эта борода еще с прошлого лета была известна каждому архангельскому мальчишке.

Толпа провожающих прослушала краткие речи. Профессора поднялись на борт. Грянул оркестр, послышались недружные крики «ура», ледокол прогудел и отвалил от причальной стенки.

Густой, с печальной старческой хрипотцой голос «Седова» еще звучал над Пурнаволоком, когда Лузин и Прозоров уходили от Красной пристани.

— Опять Шмидт стремится ближе к Северному полюсу! Как вы думаете, что ему надо за полярным-то кругом? Ведь моржи и медведи...— Прозоров оглянулся.— Моржи и медведи, насколько мне известно, в кооперации не участвуют...

Лузина начинал бесить прозоровский тон, и он сухо заметил:

— Экспедиция организована с научными целями.

— А каким и чьим целям служит наука? Вон Бергавинов взахлеб докладывает, что идут химические опыты и научные исследования для превращения в сахар древесных опилок. Идея хоть и утопична, но зато понятна миллионам обворованных Шмидтом кооператоров. А какова идея у Визе, Шмидта и Самойловича? Тоже впрочем очень простая идея! Все трое сознательно или бессознательно выполняют поручения европейских банкиров. Нужна срочная колонизация Русского Севера? Пожалуйста! И газеты тотчас подхватывают гнусную мысль о якобы перенаселенной России... Ну, а денежки на полярные экспедиции можно спокойно взять хотя бы и с тех же кооперативных счетов. Помяните мое слово, следом за ледоколами пойдут целые караваны. Грабеж лесных ресурсов уже начался, на очереди пушнина и недра.

Лузин возмущённо молчал.

Взволнованный Прозоров оглянулся и заговорил спокойнее:

— Уверяю вас, дорогой Степан Иванович, разница между большевиком Шмидтом и банкиром Ротшильдом чисто внешняя. Оба делают одно дело. Вы, кажется, знали Шумилова? Бывшего секретаря Губкома?

— Да, Шумилова я очень хорошо знаю. А при чем здесь Шумилов?

— А при том, что разницы между нынешним вологодским секретарем и тогдашним никакой нет, не правда ли? Я говорю о их мировоззрении.

— Да, я с этим соглашусь.

— Разницы нет, а газеты вопят, что разница есть. Один, мол, правый, а другой правильный. И что примечательно, вы верите этой дьявольской диалектике! И не один вы, а все.

— Кроме вас?

— Напрасно иронизируете! Мнимую разницу вы замечаете, а сходство большевика и банкира игнорируете. Для России...

Тут Лузин резко оборвал Прозорова:

— И все это вы говорите всерьез?

— Разумеется. Потому и прошу: держитесь от меня как можно дальше...

Прозоров с печальной насмешкой протянул прощальную руку.

Лузин без энтузиазма ответил на рукопожатие. Они поспешно расстались и разошлись в разные стороны.

* * *

У Прозорова после встречи с Лузиным то и дело вскипала горечь в душе. Мания это преследования или не мания, если всем, кто с ним общался на бытовом и производственном уровне, действительно грозила слежка, а то и гонения. Не много минует времени, когда Степан Лузин сам, на своем опыте узнает, что значит быть на положении изгоя. По-видимому, он близок уже к этому положению...

Так думал Прозоров на обратном пути в Крайком.

Что им надо? Почему он их интересует? Ведь он же не имеет к партии отношения. Он строит лесоза-

воды. Он высланный. Им, Прозоровым, занимаются люди Шийрона. Зело борзо занимаются! Вон и старух поморок тащат в свое учреждение для приватных бесед...

Как раз из-за последнего обстоятельства снялся Прозоров с квартиры и переехал недавно в рабочее общежитие. Добрые хозяйки всеми силами останавливали:

— Это куда у нас Володя-то вызнялся? Там в бараке поди-ко и туалету нетутка... Видать, мадаму нашел. Это она завлекает, перетянула поближе к себе...

Прозоров поднялся на нужный этаж и нашел двери председателя ККК, у которых он встретился с Лузиным. Его отправили «погулять» всего минут на сорок, он же прогулял с Лузиным чуть ли не полтора часа. Может быть, поэтому Меерсон оказался совсем в другом кабинете, в противоположном конце широченного коридора. «Забыл, как его звать. Кажется... Кажется, Яков Наумович. Или Наум Яковлевич?»

Прозоров поблагодарил за подставленный стул. Кабинетишко был совсем убогий, без дивана и без графина с водой. Письменный стол с какими-то брошюрами не вызывал никакого почтения, диаграмма по вывозке древесины, пришпиленная к обоям, совсем выцвела. Окно было открыто, но табачный дух, исходивший от оклеенных стен, не поддавался никакому проветриванию.

Образовалось молчание.

Но вот Меерсон закрыл окно и по-домашнему крякнул.

— Владимир Сергеевич, мы ведь с вами не совсем, э-э-э, как говорится, мы бывали с вами немного знакомы. У нас к вам есть несколько вопросов...

«У кого это у вас?» — хотел спросить Прозоров, но промолчал.

— Итак, вопрос первый. Вы регистрацию проходили? Вы ведь административно-высланный, как я понимаю...

— Я еще не ходил на регистрацию,— ответил Прозоров.

— Почему?

— Потому что до буквы пэ еще не дошла очередь. Регистрируют строго по алфавиту.

— Ясно. Теперь второй вопрос... Второй вопрос у меня такого свойства: где вы сейчас работаете?

Прозоров коротко рассказал о своей работе на строительстве лесозавода в Маймаксе.

— Это именно там, где обретается небезызвестный инженер Живописцев? Вы не знакомы с этим хулиганом?

Прозоров смутился, поскольку Живописцева он знал. Это не ускользнуло от Меерсона:

— Хорошо, хорошо, гражданин Прозоров! Вы можете не отвечать на этот деликатный вопрос. Но третий вопрос у меня не менее деликатный... Я хотел бы знать ваше семейное положение.

Прозоров, наконец, возмутился:

— На все эти вопросы в органах есть соответствующие ответы! Позвольте, Яков Наумович, спросить и мне: кто вы теперь по должности и чем могу быть полезен?

Меерсон сразу заулыбался:

— Да, да, конечно! Разумеется, вы правы. Кто я? Я есть профорг Архангельской базы флота. И сейчас же скажу что требуется, сделайте мне только одно одолжение...

Меерсон подал Прозорову газету на английском языке.

— Прочтите и переведите, э-э-э... Ну, хотя бы вот это!

Прозоров удивился:

— Это что, экзамен по языку?

— Если хотите, да!

— Яков Наумович, я мало знаком с английским... Когда-то бегло читал по-французски. Это было давно!

— Но знающие французский нам тоже нужны! — вскинулся Меерсон.— Мы хотим предложить вам работу в порту... По решению бюро Крайкома организуется клуб иностранных моряков, вы, Владимир Сергеевич, будете очень, очень нам нужны...

И Прозоров начал, наконец, понимать, зачем его специальной повесткой пригласили сюда. Он спросил, сколько будут платить. Но в этих стенах юмор был редким гостем...

Под конец разговора Прозорову дали понять, что в случае отказа его ждут крупные неприятности, связанные с путешествием на остров Вайгач.

Цинковые и свинцовые копи!

О, да, он кое-что уже слышал о них. Что ж, это не так уж и плохо. Во всяком случае лучше, чем... Не

обнаружив в себе даже признаков шпионских способностей, Прозоров вышел на солнечную полуденную улицу.

Нет, это надо ж! «Воспитательная работа среди иностранцев». Последние иллюзии относительно большевистской порядочности исчезли, как исчез за мысом Пурнаволок голос «Седова». Разницы между Крайкомом и заведением Шийрона не существовало. Не велика была сия истина! И разве не мог он раньше додуматься до нее? О, санкта, симплицитас!

Хотелось зайти к добрым поморкам, он вспомнил их убаюкивающую речь, их старомодные чаепития за самоварным столом. Сегодня Прозорова особенно влекло в ту сторону.

Но что же тут долго думать? Его отпустили с работы на весь день. Домик с геранями на окошках недалеко от проспекта. По деревянным болотным панелям, мимо крыльца, у которого не однажды встречался писатель Гайдар. Где он сейчас? Говорят, на Дальнем Востоке. Надо бы хоть какие-нибудь гостинцы...

Прозоров зашел в магазин, купил два фунта самаркандской халвы и «Малиновую» настойку.

Тундровый мох подступал вплотную к Архангельску. Торфяные коричнево-черные ямы были свежими. Плотники били сваи для нового деревянного дома. За последние месяцы Прозоров успел полюбить запах влажной еловой коры, свежесть ядреной древесной плоти, всегда приправленной дымкой мужицких цигарок. Эти люди умели делать из дерева все, вплоть до водопроводов и подъемных машин! Повсюду, где не доставало бетона и стали, они обходились деревом. Из дерева они много веков строили жилища, крепости, корабли и плотины. Теперь на размашистых большевистских стройках плотницкие артели трудились, вероятно, точь-в-точь как и во время шумной Новгородской республики. Или совсем не так? Нередко они с великодушным молчанием прощали ошибки в инженерных расчетах. Но Прозоров знал, что больше всего в жизни они не любили перестраивать то, что уже построено!

Поморки углядели его еще в окошко. Он знал, что Платоша успеет скинуть буднюю стеганую кацавейку и выбежать встречать, а ее золовка метнется наливать самовар.

...Что-то невидимое витало в доме, потому что глаза обеих старушек необычно поблескивали:

— Экой ты, Сергиевиць, басалайко! — Платоша сходу начала выговаривать гостю.— Ведь мы с золовушкой которой день тебя ждем! Вон и во сне обеим нам привиделся! Ты бы нам хоть какую неражую вестоцьку поцьтой послал, мы бы про тебя и не думали. И чево у тебя там хорошего в общежитьи-то? Поди, и не стирано! Клопов-то нет ли?

— Есть и клопы,— сказал Прозоров, вспоминая одеяло и грязный, без простыней матрац, на котором спал.— Все в нашем бараке есть, даже московское радио...

— Радиво радивом, а и нас бы с золовушкой тебе послушать не грех. Вот дай-ко цево-то на ушко скажу...

И Платоша начала шептать Прозорову на ухо, словно из боязни, что кто-то услышит.

Владимир Сергеевич выслушал и начал бледнеть. Отпрянул, вспыхнул. Вскочил со стула:

— Не может быть!

— Может, может, Сергиевиць! Как не может-то? — Платоша вся так и сияла, как десятилинейная лампа.— Как не может-то, ежели мы и цяю пили, и бумагу она нам с золовушкой показывала. С лесозавода-то. Тоже в бараке устроена. Мы уж ей говорили, цево тебе, Онтонидушка, в бараке-то жить? Ты на квартеру определись, возьмут не дорого. Да вот хоть бы и...

Тут Платоша нарочно споткнулась и сделала паузу, но потрясенный Прозоров ничего не заметил. И пошла Платоша честить дальше:

— А до чево бойка, до чево бойка-то! Полусапожки-ти у ее так и постукивают, а как фату-кашемировку на плеци-ти кинула... мы с золовушкой обе так и сидим. Глаза-ти сперва защурили. Как открыли, матушки вы мои! Тонюшка, говорю, ты откуда эдака? А она увернулась от зеркала-то, на венской-то стул не стала садиться. Да и заплакала... Я говорю, не плаць, матушка, нецево зря реветь! Я ево кряду найду. Однем маментом, говорю, тутотка будет! Свернулась, да за тобой. Иду да прискакиваю: ой, хоть бы не убежала до вецера. А в грудине-то у меня так и тукает, так и тукает, думаю, мне хоть бы на Маймаксу-то причалить, уж там-то я найду слой, найду

слой! А она, Тоня-то, мою золовушку на произвол судьбы бросила, меня настигла на улице. Дорогу-то загораживает, плачет и Христом-Богом молит, чтобы я тебя не искала, не бегала. Я и поворотила обратно...

Прозоров стоял в полном смятении.

— Гляди, Сергиевиць, упустишь в воду золотую-то рыбину, век будешь каяться да сам себя ругать.

Он легонько обнял Платошу за плечи, не прощаясь с ее золовкой, вышел из дома. Золовушка принесла самовар, а гостя не оказалось. Нераспечатанная малиновая настойка по-праздничному рдела на самоварном столе. Лепестки герани тускнели и съёживались.

Погода менялась. Гроза урчала и приближалась, но это была иная гроза, совсем не похожая на ту, далекую и счастливую ольховскую, еще не совсем забытую Прозоровым. Сегодняшний гром показался ему голосом близкого будущего...

Охваченный трусливым отчаянием, Прозоров нет, не уходил — убегал все дальше и дальше от поморского домика!

Свинцовые заполярные копи заранее погасили волю к борьбе и жизни, Вайгач призывал его к себе, манил в свои холодные и вечные недра.

За чередой порывистых грозовых штормов явилась пора обманчивой морской тишины. Океан уснул, и на лике его потухли, расправились провалы водных морщин. Безбрежная океанская гладь, серая и бесцветная, но позлащенная незакатным солнечным светом, сливалась с белой голубизной небесного горизонта. Вода и небо, словно проникая друг в друга, размывали вдали свои границы.

«Георгий Седов» днем и ночью, не оставляя следов, споро шел в океане. Да и где они были, те дни и ночи? Не было их. Не было ни утра, ни вечера. Неустанное солнце, едва коснувшись дальних океанских глубин, едва успев проложить по воде золотую дорогу, вновь отрывалось от влажной бездны. Оно поднималось и расширялось в небе, затем, сделав урочный круг, снова склонялось к бескрайней воде.

Куда он шел, этот трудолюбивый и терпеливый «Георгий Седов», по чьей воле гудело его железное сердце? Сифонили, дымили, сипели его дымогарные

бронхи, золотился, затем краснел, осыпался и чернел, остывая, угольный шлак. Но из-под раскаленных колосников беспрестанно дуло бодрящей полярной свежестью.

Товарищ, я вахту не в силах держать,
Сказал кочегар кочегару,
Огни в моих топках совсем не горят,
В котлах не сдержать больше пару.

О, нет, огни в топках метались, как в вавилонской пещи! Пар в мощных котлах беспрестанно давил и ярился, пытаясь раздвинуть границы своей жаркой тюрьмы, но в железных потемках ему была одна лишь дорога, и он без устали гонял взад и вперед горячие поршни. Кочегары, играя потными мускулами, весело скалили белые зубы. Кочегары были полны сил, и топливный трюм был тоже полон. Первоклассный уголь, добытый из недр Груманта, подражая незакатному полярному солнцу, горел непрестанно и мощно. Полны, обильны, запасливы были объемистые ледокольные трюмы. Вместе с многотонной пищей для прожорливых топок, вместе со смазкой для безотказных британских ползунов и подшипников ледокольное чрево хранило в себе добротные стройматерьялы, стрелковое оружие, приборы, инструменты, изрядный запас пресной воды, разнообразную свежую, замороженную и консервированную еду, бочки с жирной атлантической селедкой, с красной астраханской икрой и мезенской семгой. Рефрижератор был перегружен тушами быков и баранов, ящиками ароматного вологодского масла, запасами галет, печенья, кофе, ленинградского шоколада, водки, грузинского коньяка и сухого азиатского вина. Все это дополнялось ящиками и упаковками с меховой одеждой и специальной полярной обувью. Унты и ненецкие малицы, пыжиковые шапки, шведские свитера, фуфайки на легком, почти воздушном гагачьем пуху — все это лежало в трюмах и плыло, плыло куда-то, даже неизвестно куда. Со времен Киевского университета Шмидт во все свои действия привносил изрядную долю импровизации...

Давно обогнули Канинский нос, за спиной остался и остров Колгуев.

В теплой и уютно-просторной кают-компании за низким дубовым столиком вкусно пахло свежесваренным кофе и дымящимся «Беломором». Золотился

в рюмках коньяк, и массивный человек в свитере неторопливо рассказывал анекдот про Бухарина. Широкая черная борода металась с плеча на плечо. Анекдот касался академика Павлова. Профессор Визе допил коньячный остаток. Выпуклые с сильнейшей диоптрией очки его недовольно блеснули: Владимир Юрьевич Визе недолюбливал Шмидта. Он втайне считал его дилетантом и выскочкой. Слишком за многое хватался Отто Юльевич. То ударится в математику, то в революцию, то он физик, то нарком продовольствия. Однажды Визе спутал его с другим Шмидтом, известным петербургским зоологом. Заговорил третий участник беседы:

— Когда я учился во Фрайберге...

Профессор Самойлович всегда начинал с этой фразы. Его рассказы о серебряных рудниках Силезии давно надоели Шмидту. Отто Юльевич перебил:

— Рудольф Лазаревич, как вы думаете, нельзя ли в помощь геофизике привлечь лингвистику?

Самойлович на десять лет старше Шмидта. Задолго до революции изучал Арктику, сопровождал русановскую экспедицию. Вот и ему, старику, приходилось выслушивать всевозможные гипотезы Отто Юльевича:

— Известно, что индейское название острова Пасхи... — Шмидт поднял палец.— Вайгу! То есть Вайгач. Вы знаете, что на Вайгаче тоже полно каменных идолов?

— Предлагаю развернуться и взять курс к острову Пасхи,— протирая очки, произнес Визе.

Но Шмидт не отреагировал на иронический тон:

— Я согласен, Владимир Юрьевич! Только зачем разворот? Пойдем на восток через пролив Беринга. Будущим летом мы все равно двинем к проливу Беринга...

— Вы уверены, что правительство выделит средства? — спросил Визе.

— Недавно вопрос обсуждался на Политбюро. Докладывал Сергей Каменев.

Шмидт уже наполнял рюмки за будущий рейс.

Профессорский триумвират поднял было и рюмки, но дело остановилось из-за профессора Визе:

— Отто Юльевич,— сказал он.— Нам без Воронина не добраться даже до Русского заворота, не то что до Дежневского мыса.

Шмидт тотчас послал за Владимиром Ивановичем вестового.

...Казалось, что капитанскую рубку все еще продувал свежий шалоник, долетавший с той стороны, где стоял Сумский посад. Тот ветер подсоблял судну, пока не вышли за Канинский нос. Земля пропала в сизой морской дымке. Чайки возвращались обратно. Море Баренца дохнуло в рубку первым как бы случайным холодом, и собачий вой, то и дело звучавший с кормы, затих. По-видимому, псы успокоились, когда почуяли родную, почти что колымскую стужу. Или они просто голодные? Шмидт рассказывал про колымских собак, что на Дальнем Востоке они успешно служат у пограничников. Таскают по снегу тяжелые «максимы».

Писатель Соколов-Микитов, корреспондент «Вечерней Москвы», вернул капитану бинокль, поблагодарил и ушел в каюту. Сколько корреспондентов на судне? Оказывается, этот корреспондент, Соколов-Микитов, сам бывший моряк, плавал в Атлантике. Гайдар, тот уехал из Архангельска на Дальний Восток. Выходит, что писатели — первые любители путешествий...

Матрос, прибежавший снизу, передал просьбу начальника.

— Скажите Отто Юльевичу, что первый помощник только что лег отдыхать. Я не могу пройти в салон...

Вестовой проворно покинул рубку.

Итак, курс прямёхонько на Гусиную Землю! До Белужьей губы никаких остановок...

Капитан глубоко, с наслаждением вдохнул свежий, пахнущий йодом и рыбой воздух.

Последние дни прошли в утомительной береговой канители. В Архангельске стояла необычная для здешних широт жара. Сорок восемь по Реомюру. После длинных совещаний, после митинга на Красной пристани пришлось долго грузиться в Международной гавани. Собачий вой и скрежет лебедок не затихал на «Седове» много часов. Особенно канительна была погрузка в трюмы живых коров. Поднимаемые краном высоко в небо, они жалобно мычали, и те звуки были похожи на человеческие голоса. Конеч-

но, предупреждая цингу, зимовщики обошлись бы и без этого груза. Но Шмидту виднее...

Воронин вел судно с решительной осторожностью. Всем своим поморским нутром он всегда ощущал, например, близость первых полярных айсбергов. С детства было знакомо коварство тайных подводных глыб, опасность песчаных кошек, сюрпризы неожиданных вихревых глубинных воронок. Ведь на картах отмечены далеко не все мелководья. В полярных льдах все это приобретало тройную опасность. Обычно политические начальники экспедиций занижают любую опасность, намекая на капитанскую трусость. Они толкают людей на риск...

Владимир Иванович прекрасно помнил прошлогодний поход. На восемьдесят втором градусе оборвали лопасть винта, впридачу получили пробоину. Если б на траверсе был не мыс Флора, а Святой нос! Едва-едва до подхода сплошного льда и до начала полярной ночи успели выбраться на чистую воду. Еще день-два, и пришлось бы зимовать на архипелаге. Конечно, до бочек с шелегой вместо угля не дошло, но каков результат этого труднейшего похода? Поставили на Землю Франца-Иосифа домик для зимовщиков, обследовали брошенные американские склады. Могилу лейтенанта Седова так и не нашли. Кажется, не очень-то и искали... На острове Гукера Отто Юльевич лично помогал матросам ставить выкроенный из толстой жести и крашеный железным суриком флаг. «Седов» и сейчас идет на север с запасом железных флагов...

Воронин вспомнил, с каким оживлением встретили на заседании Крайисполкома предложение Шмидта включить в Архангельскую область весь район Северного полюса.

Вчера за ужином в кают-компании профессора опять завели разговор о неведомых землях и островах. Что значит неведомые? Безымянный не значит неведомый. Море Баренца обшарено русскими и норвежцами еще в допетровские времена. Поморы живали на Северной Земле задолго до появления европейских лоций. А Новую Землю и сейчас называют по-своему — Холодная матка.

Капитан усмехнулся: неведомых островов пока не предвиделось.

Море не крупной, однако довольно хлесткой волной било в левую скулу ледокола. Слева по курсу дымил какой-то двухмачтовый корабль, видимо, иностранец. Наверняка идет на Югорский шар. Ледокол «Ленин» специально для проводки иностранцев дежурит у полуострова Варнек около южной оконечности Вайгача. «Русанов» тоже где-то в той стороне, но что возит — неизвестно. А где «Малыгин»? Пожалуй, из крупных судов только «Малыгин» с «Русановым» да старушка «Умба» не пожелали переименовываться. Нет, есть еще «Сибиряков» с «Кией» и, разумеется, «Георгий Седов»... Все остальные ходят с новыми именами: «Ленин», «Сталин», «Молотов», «Яков Свердлов», «Софья Перовская», «Томский», «Володарский», «Урицкий»...

Что за беда! Иному острову тоже можно припечатать новое имя. Любое. Разрешено и в честь своей короткой фамилии. Вчера за ужином капитану недвусмысленно намекали, что и в его честь обязательно появится название в полярных лоциях. Был бы остров. Конечно, можно открыть **неведомый,** хотя и давно известный остров. Можно переименовать и давно ведомый, как переименовывают нынче города, улицы, корабли. Вон лесовозную «Сайду» сняли с мели и, не успев отремонтировать, перекрестили в «Яна Фабрициуса»...

Капитан Воронин — потомственный архангельский мореход — склонился к раструбу переговорной трубы. Он приказал пустить машину на полную мощь. В ответ Воронин услышал бодрое: «Есть!». Капитан вскинул бинокль. Кто там идет, что за двухмачтовик дымит? Правится на юго-восток. Нет, это не иностранец, те покамест не ходят под красными флагами. Вероятно, трюмы забиты моржовыми тушами, а может, выполняют спецрейс по заданию ОГПУ. На корме собаки, плывущие в специальных клетках, опять подняли свой дьявольский вой.

Ледокол шел на север, в сторону полюса. Вода за бортом заворачивалась изумрудным пузыристым жгутом. Клубилась вода неустанно, как неустанно и грозно клубилось равнодушное время. Многие люди, не считая веселых энтузиастов, становились равнодушными не только друг к другу, но и сами к себе. Одни плавали в теплых светлых салонах, с кофе и коньяком, разгадывали тайны острова Пасхи и под

видом изучения природы искали новые острова, чтобы увековечить свои имена. Другие уезжали на свинцовые рудники...

Прозоров еще успел в то лето построить на Вайгаче полдюжины средневековых землянок, куда ГПУ селило заключенных геологов и топографов. Дальше и сам он, и память о нем исчезли. Набухшая слезами и окропленная кровью, насквозь пропитанная народным потом канцелярщина навеки похерила имя Владимира Сергеевича Прозорова.

XI

И кто скажет, что все это происходит в тридцатом году? По Сталину год великого перелома начинался в двадцать восьмом. На самом деле не закончился он ни в двадцать девятом, ни в тридцать первом... Миллионы людей не считали теперь не только дни, но и недели, тысячи забыли про очередность месяцев. Трюмным гиперборейцам не интересен был даже счет по летам, а отлетевшие души до трубных звуков архангела были совсем свободны от времени.

«Сайда» под именем «Яна Фабрициуса» плыла в океане подобно другим русским и европейским судам. В ее беспросветных трюмах копошилось живое человеческое месиво. Ежели и бывает ад на земле, то это и есть трюмы, набитые человеческими телами. И не так уж это важно, трепещут ли над палубой паруса или шипит под палубой паровая машина... Четырехтрюмная, построенная в Англии «Сайда» служила когда-то французским лесоторговцам. Она возила лес из России, пока прочно не села на грунт у Терского берега. Ее хозяева были настолько богаты и самонадеянны, что бросили пароход на произвол судьбы. Революционные власти сняли «Сайду» с беломорской мели, отремонтировали, и сейчас она (вернее он) со скоростью в девять узлов влекла в океане почти две тысячи безвинных страдальцев. Кто такой был Ян Фабрициус? Латышский герой русской гражданской войны. Член ЦКК и ВЦИК. Морфинист, награжденный Троцким и Калининым четырьмя орденами «Красной Звезды». Погибший в авиакатастрофе, помкомандарм. Подражая «Глебу Бокию», он вез теперь живые дрова истории... ОГПУ приказало закрывать

люки брезентом. По тем, кто будет пытаться вылезть из трюма в ночную пору, охрана была обязана стрелять без предупреждения. Но что значит ночное время в конце июля за полярным невидимым кругом? Океан, несколько суток качавший «Яна Фабрициуса», застыл и, равнодушный, уснул. Солнце свершало свои круги раз за разом, никаких ночей не было. Стоны и вопли, долетавшие из пароходного чрева, сопровождавшие килевую качку, начали понемногу спадать, когда океан заснул. Усатая нерпа всплыла из серой ровной воды, удивленно взглянула на пароход и булькнула снова. Водный волдырь от ее всплытия сравнялся до подхода пароходной волны. Глухо и монотонно шумела машина, нигде не видно никаких «иностранцев», которые не должны знать о грузе «Яна Фабрициуса». Двое красноармейцев оба сразу кляцнули затворами мосинских винтовок, когда брезент одного из люков слегка приоткрылся. Чья-то голова мелькнула и скрылась, но крик со словами «возьмите покойника!» успел пролететь над палубой. Один из охранников остался на месте, другой подошел к люку, отбросил брезент. На часового пахнуло тяжким запахом подсланевых вод, смешанных с блевотиной и человеческим калом.

— Давай! — заорал часовой. Из трюма ногами вперед вытолкнули тщедушное тело какого-то старика, босого и в холщевой рубахе.

— Фамилия! Как фамилия? — кричал красноармеец в черную бездну двухэтажного трюма. Оттуда летели одни матюги и проклятья. Часовой захлопнул люк брезентом. Он побежал к начальству.

Старик лежал на спине, не мигая глядел в упор на косматое полярное солнце.

Стрелок прибежал обратно, сопровождаемый командиром. И пока начальник с маузером в руке стоял на охране закрытых брезентом люков, двое красноармейцев за шиворот подтащили покойника к левому борту. Уцепившись за леера, они ногами спихнули старика в море.

Омерзительное удушье, густая кромешная тьма, стоны и бредовые возгласы — все это объединилось, растворилось друг в друге, и эта адская смесь вновь стала как бы вполне осязаемой.

Человек, подсоблявший выталкивать покойника из нижнего трюма в верхний, потерял способность что-либо соображать. Ему не хотелось больше ни думать, ни двигаться. Но какая-то странная и властная сила пробудила его сознание. Он удивился тому, что сумел залезть на место, которое занимал умерший старик. На верхнем настиле было не так тесно. Человек ощупал пространство вокруг себя. Рука наткнулась на что-то живое. Послышался голос:

— Ты сево миня саришь? Миня несево сарить, я не жонка.

— Тебя как зовут? — улыбнулся в темноте Павел Рогов.

— Тришка! А тибя?

— Трифон, не знаю как по отчеству-то... Ежели ты Тришка, то я Пашка.

— Нисево, нисево, нам холосо и без оссесва.

Сколько времени их везли? Павел Рогов не знал этого. Пока держали на Обозерской, пока в телячьих вагонах с длинными остановками тащились к Архангельску, пока гонили от поезда к реке, грузили на баржи, везли и перегружали на большой пароход, Павел различал утро и вечер. В пароходном трюме время сбилось и как бы остановилось. Не зря вертелись в голове слова частушки: «что-то часики не ходят, гиря до полу дошла».

Прошло около года после ареста. Но, видать, не совсем дошла гиря до пола, если остался жив. Уцелел посередине всех бед и несчастий. И был этот год всем годам год. Всю осень и зиму валил Павел Рогов архангельский лес. Однажды самого чуть не прихлопнуло мохнатой лесиной. Неопытный напарник из украинцев подставил шест не с того боку, ёлка пошла прямо на Павла. Успел отскочить, но ободрало всего. Быстро зажило, как на собаке. И тифом переболел, и со шпаной схлёстывался. Чего только не было за этот год! Не выжил бы, ежели б не вострый топор: ГПУ ценило хороших плотников. Письма писал в Шибаниху, в Ольховицу, в Ленинград брату Василью. В ответ не получил ни словечка, хотя одно время было постоянное место жительства. Весной, когда полетела на север птица, Павел не утерпел и вздумал бежать. Уезжали же из барака многие украинцы! Бросил барак, пешком добрался до железной дороги. А там посты... Дежурят на каждом разъ-

езде. Только после второго суда спознал Павел, что такое веселая тюремная жизнь...

Но что значила сухопутная камера по сравнению с плавучей?

Во время погрузки в Архангельске в трюм проникал свет, было заметно, что и как: многоярусные настилы из необрезных досок, узкие проходы, ржавые закругленные корабельные стены, клёпки железных рёбер-шпангоутов. Люди обоих полов и всех возрастов, начиная с грудных младенцев, долго, очень долго спускались из верхнего трюма по отвесной стремянке в эту железную преисподню. По мере того как трюм наполнялся народом, становилось все теснее, детский плач смешался с бабьими криками и мужицкой руганью. В разных местах слышались причитания. Вперемежку со скулящими голосами и подвываниями многие женщины молились вслух. Павла сдвинула, сдавила людская масса, узлы, ящики и чьи-то корзины. И тут свет совершенно исчез. Как в деготь опущенные, люди замерли, все в трюме затихло, но не надолго.

С того момента и остановилось время для Павла Рогова: «что-то часики не ходят, гиря до полу дошла».

Двух завернутых в полотенце хлебных буханок давно не было. Полотенцем Павел подпоясался как кушаком. За все многосуточное плавание покормили всего дважды и то всухомятку. У начальства не надолго хватило трески и галет... Голод сочился по телу сперва легкой тошнотой. Затем как будто исчез и голод. Слабость растеклась по рукам и ногам. Павел преодолел эту первую голодную слабость, почуял было какую-то новую не испытываемую ранее легкость.

Но сейчас все в нем было иным...

Утробно дрожала стенка железного пароходного брюха, дальний машинный шум отзывался в обшивке. За бортом иногда что-то скрежетало и бухало. Куда их везут? За что? То злые голодные, то горькие от обиды слезы уже не подступали к пересохшему горлу, и уже не душил их Павел разговорами с ненцем Трифоном.

Когда началась килевая качка, подступила, охватила все и всех кошмарная тошнота. В промежутках между приступами блевания сознание Павла двоилось либо совсем пропадало. Выблевывать было нечего,

казалось, что само нутро хотело вывернуться наизнанку. Двоилось сознание, и Павлу чудилось, что он катает зачем-то речные круглые камни. То хочет он остановить мельничные махины, то ползет зачем-то по скользкой, как стекло, гумённой долони. Его трясло и корёжило и, казалось, что-то душило. Образы Веры Ивановны и матери Катерины Андреевны, то зимние, то летние, проплывали в сознании и таяли, таяли, исчезая бесследно. То вдруг он пробует бороться с братом Василием, а брат нежданно становится отцом Данилом...

Отец звал его голосом ненца Трифона:

— Паска, Паска, оснись! Сходи, попей водиськи, луссе будет...

Павел открыл глаза. Или он стал слепой? Темнота давила со всех сторон, со всех сторон слышались стоны, оханья, надрывный плач. В трюме нечем было дышать. Какая вода? Где вода? Сколько суток прошло? Желудок перестал сокращаться. Стало вдруг легче, и Павел уснул без движений, без кошмарных видений.

Потому что уснул океан.

Океан спал, и солнце кругами ходило над ним, и пароход шел неизвестно куда. В трюмах стоял ад кромешный, а «Ян Фабрициус» шел все дальше к далекой Печоре. Иногда, когда вынимали очередного покойника, июльское солнце золотым снопом падало в верхний грузовой трюм, и тогда косвенный свет достигал нижнего трюма. Людские крики и вопли немного стихали. Но темнота снова топила полтысячи трюмных душ...

И кто их считал сейчас, те крестьянские души? Никто не считал ни стариков, ни младенцев, когда на восьмой день плавания «Фабрициус» подошел к Печорской губе...

Охрана открывала пароходные люки. Свежий воздух вместе с лучами незакатного полярного солнышка проник наконец в четыре железных емкости, набитых живыми дровами. Позеленевшие, слабые, люди вылезали наверх. Их толкали снизу, а вверху в грузовом трюме толкали в сторону, чтоб не мешали.

Но из грузовых трюмов на верхнюю палубу уже выбралось несколько человек, уже плач над мертвым младенцем огласил морскую равнину.

— Тассы, тассы! — приговаривал Тришка и толкал вверх чью-то обессилевшую старуху. Павел Рогов не мог ни толкать, ни тащить. Его самого в пору было тащить наверх. Сердце учащенно билось, в глазах рябило, хотелось упасть и ничего не думать.

«Тассы, Паска, тассы» — слышал он среди стонов, среди стариковского кашля и детского плача. Паска? Какая Пасха? Она давно прошла... Нет, это не праздник, это ненец Тришка зовет его, Павла Рогова. Подсобляет подыматься наверх, подает узлы, торопит: «Тассы, Паска, тассы...»

— Все, что ли? — орали сверху из грузового трюма.— Или еще есть куркули?» — «Все, все! — прискакивал Тришка у отвесного трапа.— Паска, Паска, а ты сево? Вылезай, остались ты да я, вылезай, вылезай...»

Схитрил Тришка, не все вылезли из нижнего трюма. Двое или трое лежали в трюмном углу на стлани среди дрисни и блевотины. Но лежали они уже очень давно, и Тришка кричал наверх, успокаивал Ерохина, стоявшего над верхним трюмом «Фабрициуса»:

— Все, все, тавалис насяльник!

Тришка протолкал Павла вверх, в грузовой трюм, подсобляя ставить на ступени трапа то одну ногу, то другую. Руки Павла едва держались за железные поручни, ноги подкашивались. Чья-то рука с верхней палубы подсобила ему вылезть и из грузового, загруженного ящиками трюма. Павла ослепило равнодушное полярное солнце. Тришка вылез на свет последним, начал опять подсоблять лежавшему на палубе Павлу: «Ставай, Паска, ставай, не лезы. Нельзя лезать...» Рогов поднялся с помощью самоеда. Послышался звонкий голос охранника:

— Этих куда, Нил Афанасьич? Налево или направо?

Может быть, в суете Ерохин не услышал вопроса, но Тришка не услышал этот голос нарочно. Без разрешения начальства смело ступил Тришка направо, поволок за собой и Павла Рогова...

Шла какая-то сортировка. Стариков и старух, ходячих детей, женщин с младенцами охранник отгонял налево, молодых мужиков ставил направо. Тифозных, дезинтерийных и ослабевших от голода отпихивали в третью, совсем отдельную кучу. Голос Ерохина тут и там звучал на «Фабрициусе», но звучал как-то не-

уместно, не нарушая широкой и неизбывной тишины над золоченой водой под синеватым безоблачным небом. «Фабрициус» стоял на якоре у берега в Печорской губе. Его четырехтрюмное брюхо еще изрыгало изжёванную и переваренную многодневным плаванием плоть человеческую, когда первая баржа, причаленная к борту, заполнялась стариками, детьми и женщинами.

Океан спал и равнодушно блистал своей бескрайней стеклянной золоченой пустыней. И солнце делало свой новый круг над великою Пармой. Никакое воображение, ничье сознание не смогло бы осилить, осознать и представить всю безграничность этих безлюдных синих и желто-зеленых просторов!

«Убегу! — мелькнуло светлой искрой в мозгу Павла.— Силу скоплю и убегу. Вон Тришка подсобит, он тутошний...»

Не знал еще Павел, что такое великая Парма. Если б знал, то не стал бы загадывать.

Печора несла с юга на север свои обширные воды через темные леса и мимо холмов, через желтые и охристые болота, через великую Парму. Отлагая по бокам свои золотые пески, она до капли отдавала себя равнодушному океану. И эти пески от отрогов Урала и до самого Пустозерска, где все еще витает дух Аввакума, уже темнели от соленых переселенческих слез. От рыданий и горя второй год бусело водное серебро.

— Гришка! — Павел Рогов не мог сдержаться от возгласа при виде оборванного, обросшего, но улыбчивого Грицька. Оба шагнули навстречу друг к дружке и обнялись, чтобы не упасть. Оба держались друг за дружку.

— О, це дюже складно, Даниловичу! — Грицько хлопнул Рогова по широкой гулкой спине.— Дюже гарно, витру не буде, пойдем до девок...

Наверное, Грицько уже отвыкал от напевной украинской мовы. Ненец Тришка улыбался во все лицо при виде этой нежданной встречи. Все трое отпрянули друг от друга, затихли. Длинная ерохинская шинель приблизилась к ним, заслонила синюю даль Печорской губы.

— Всем, кто на ногах стоит! На разгрузку! — весело поведал начальник.— Кормить будем как на убой...

Отобранных повели кормить, чтобы они смогли разгрузить чрево «Фабрициуса». (В трюме, под полом которого остались два или три мертвеца, лежали сотни ящиков с папиросами и... с гармонями.)

Ерохин не шутил, обещая насытить голодных. Он остановился напротив среднего трюма. И вдруг хохотнул со словами:

— А, и ты тут, жеребячья порода! Ну, ну...

— Ты, Нил Афанасьич, хоть меня и запряг, а телегу-то волочёшь сам! — сказал отец Николай и перекрестился.— Вон сколько грузу припёр! Небось, тыщи полторы есть, не менее. Поди-ко из жопы-то у тебя росток подался...

Отец Николай Перовский обвел рукой палубный муравейник.

— Ничего, сила в руках есть! — произнес Ерохин. Кулак врезался в переносицу отца Николая. Рыжая борода лишь слегка качнулась назад:

— А что ваша, Нил Афанасьевич, сила? Справится одна тифозная вошь...

Ерохин с ненавистью глядел не в глаза, а в огненную с проседью бороду. Кровь текла по усам, минуя плотно сжатые губы отца Николая. Борода становилась красно-коричневой. Вид крови еще сильнее взбесил Ерохина. Он отвернулся и неохотно двинулся дальше.

Из трюмов еще вылезали люди: бледные, вялые, словно тараканы в морозной избе. Солнце в небе делало свой урочный круг, увеличивалось. То ли оно клонилось к воде, то ли поднималось над морем. То ли утро было, то ли вечер, многие ничего не могли разобрать.

Отца Николая не взяли на разгрузку «Яна Фабрициуса»...

* * *

Сгорела лилово-красная разлитая вширь заря небесная, Божье светило коснулось далеких водных краев и бесшумно потушило само себя. Но никто ничего не успел сделать иль сотворить, ни хорошего, ни плохого. Успел пробудиться один океан. Морским дыханием овеяло белые лики страдальцев, безмолвно ждущих своей очереди в золотые песчаные печорские терема! Обсушил ветерок и слезы живых... Но вот

сгорела и еще одна утренняя заря сразу вслед за вечерней. Синий небесный шатер белел, опускаясь на горизонт. Там, над лишаями желтых болот, низко над бесконечной и плоской тундрой слоились сиреневотемные облачки. Подымаясь, они росли и пушились.

Не здесь ли развеяло ветром пепел Аввакумовой плоти, не тут ли частицы ее приняла в себя и поглотила желто-зеленая тундра? Или сделано это бескрайним морем? Наверху, осталось и небо таким же синим, как в ту давнюю пору, когда русские люди впервые разделились надвое.

Сгорела одна заря, сгорела и другая, и третья. И от четвертой ничего не осталось.

Отделилась от моря Печора-река, обозначила свое широкое плёсо. Она втянула в свой главный рукав дымящий пароходный буксир с тремя баржами, груженными до отказа не рыбой, не лесом, а живыми людьми... Теперь им было вдосталь света и свежего печорского ветра.

Больше у них ничего не было.

Тысяча, а может, и более православных душ... Вначале, надеясь на лучшее, они вздыхали, молились и плакали. Затем, отупевшие от водного блеска, от голода и безмолвья, начали проклинать судьбу. Мертвецы были не видны в пароходном темном удушье. Тут, на свету, закрывать глаза родным людям особенно тяжко. Холодные веки покойников не слушались под пальцами живых. Первыми в семьях умирали от голода грудные дети. Они безмолвно и тихо уходили из этого еще не познанного ими сердитого мира, и сдавленный материнский крик слышался то на одной барже, то на другой.

Белые ночи, солнце вместо луны.

День без конца и начала и красные зори без утра и вечера.

Таяла, уменьшалась чуть ли не с каждой зарей шустовская большая семья...

Границу между многодневным отчаянием и полным безразличием ко всему миру Александр Леонтьевич почуял уже в трюме, когда перестала дышать самая младшая девочка. Глазами Шустов не видел, как завернутую и завязанную в домотканую наволочку, часовой бросил ее в море, но видел все это внутренним оком, представлял, как сверток качнуло килевой волной, как медленно уходит он в холодную

бездну. И сердце Александра Леонтьевича тоже упало в холодную бездну...

В трюме наверняка было множество земляков, но в удушливой тьме, во время качки, среди миазмов кала и рвотных извержений мало кому приходило в голову знакомиться и рассказывать о себе. Здесь, на барже, на свежем и теплом полярном воздухе кое-кто узнавал земляков, а то и дальних родственников. Шустова окликнул парень, гостивший в одном с ним доме и даже плясавший с ним когда-то на перепляс. Четвертые сутки во рту парня не бывало маковой росинки.

— Полезу в реку... Нырну, а после, может, и выплаву, а Александр Леонтьевич?

Шустов с усилием прояснил сознание, сказал:

— Пристрелят. А ежели убежишь, так все равно изловят, будет еще хуже. Тюрьма... Потерпи, братец. Должен же конец-то быть! И у Печоры мели пойдут...

Нет, не было конца у великой реки Печоры!

Она текла по земле на две тысячи верст, она собирала вечную дань с необозримых таежных, уральских, тундровых и небесных источников, она была равнодушна к судьбе птенчиков из разоренных крестьянских гнезд.

Печора синела своими широченными плесами. Буксир надрывался и выбивался из сил, заглушая мужские крики и женский вой, периодами доносящийся со всех трех барж. Молча, равнодушно слушали эти звуки песчаные берега, потому что сама смерть плыла между островов и песчаных кос по бескрайней равнине. И вдруг в эту монотонно-печальную какофонию пробилось нечто совсем несхожее и непонятное, нечто противоречивое, прекрасное и необъяснимое. Мелодия! Она вмешалась в эти безобразные вопли, и они стали стихать. Отступили, исчезли. Казалось, что даже буксирный гул смирился и опустился в речные глубины. Одна мелодия плыла на юг, подгоняемая северным ветром, одна она реяла над великой рекой Печорой. Басовые рокочущие звуки заворожили реку:

> Вниз по матушке по Волге..,
> По Волге!
> По широкому раздолью,
> Да раздолью...

Бас, словно подражавший шаляпинскому, не торопился, не надрывался, как надрывался сиплый паро-

ходный гудок, пытавшийся заглушить звуки нездешнего мира. Этот бас был широк и рокочущ, было в нем что-то и от молодого вешнего грома, и от печального листопадного шелеста, от знойного сенокосного полдня и от полуночной отрадной прохлады. Нет, не было в тех звуках запредельной тоски, разве одна усталость вплеталась в песенный стрежень, как вплетается ледяная струя в теплый и мощный речной ток в меженную июльскую пору!

Разыгралась непогода!

Буксир, тащивший баржи, начал рыскать, на секунду ослабив толстые «цынки». Эти железные струны провисли, коснулись воды и тотчас же напряглись. Судно дернулось. В чем дело?

Долгополая командирская шинель, вероятно, осталась в каюте, темно-синие галифе были широко раздвинуты, хромовые сапоги блестели на солнце. Холеные руки вцепились в ремень. (Командир никогда не держал руки в карманах, говорил, что и у подчиненных не потерпит карманного биллиарда.)

— Красноармеец Девяткин! Что, не видишь?

Девяткин поставил винтовку в положение «к ноге». Левой рукой он держался за поручень.

— Вижу, товарищ командир.

— Убежит, пеняй на себя. Пойдешь под трибунал. Что надо делать по инструкции? Правильно, стрелять! Стрелять и бить по классовому врагу. Без пощады! Правильно?

— Правильно, товарищ командир.

— А ты?

> Ничего в волнах не видно...
> Не видно!
> Только лодочка чернеет...

Девяткин вскинул винтовку. Матрос, державший в руках ведро и веревочную мокрую швабру, изумленно застыл на палубе.

— Отставить! Стрелок Девяткин, на каком делении прицельная планка? Так! Вот, теперь правильно... Заряжай!

Хорошо смазанный затвор беззвучно послал патрон в патронник.

Снова рыскнул буксир, и пар засипел, и печальный гудок на минуту заглушил ерохинский мат, в это же время раздался мощный глухой щелчок. Выстрел был

неудачным, рыжая борода никак не попадалась на мушку.

— Не тянешь ты, Девяткин, на ворошиловского стрелка! А ну, дай сюда!

Ерохин вырвал винтовку из рук Девяткина, стремительно передернул затвор. Гильза отлетела направо. Ерохин вскинул винтовку и выстрелил, почти что не целясь. Сидевший на кнехте баржи отец Николай дернулся от тупого удара. Левой рукой он схватился за правое плечо. И вдруг поднялся с кнехта во весь свой двухметровый рост, шагнул к бушприту. Выстрел Ерохина вогнал пулю вместе с куском ваты в мякоть левее правой ключицы. Отец Николай почувствовал боль тогда лишь, когда в рукав потекло и пальцы правой руки стали неметь. «Шалун ты, Нил Афанасьевич!» — хотел крикнуть отец Николай, но третий выстрел словно удар степного бича прозвучал над Печорой.

И подкосились ноги отца Николая, и рука отказала ему в последнем крестном знамении... Упал, сумел и успел лишь перевернуться на спину...

Александр Леонтьевич Шустов плыл на последней, третьей барже. Он слышал винтовочные хлопки, но не обратил на них никакого внимания. Так же равнодушно воспринял он и разговоры об убитом, который хотел бежать с первой баржи. Шустову было все равно. Его не занимало ничто из того, что происходило вокруг. Трое деток лежали мертвыми на деревянной стлани аккуратным рядком, ничем не прикрытые. Рядом с ними, беспамятная, стонала хозяйка, да и сам он терял временами память.

Сколько прошло дней? Сколько суток? Неизвестно. Он знал лишь, что дети умерли не столько от голода, сколько от горловой болезни. Скарлатина иль дифтерит? Эти друзья гуляли еще и по родимой земле. Вначале Александр Леонтьевич выходил на нос, кричал, требовал фельдшера. Никто не услышал его отчаянного и последнего зова...

Время остановилось. Печора была так же бесконечна и равнодушна, как бесконечны светлоохристые береговые пески вдали, и эти бессчетные отмели, и эти однообразные берега. Ера — низкорослая приполярная ива — начала понемногу расти, приподымать-

ся над берегом. Однажды темная гряда елей встала в глазах тех, кто был еще способен смотреть, слушать и осознавать пространство и время. Люди потеряли надежду, но буксир начал барахтаться у невысокого берега одного из печорских притоков. Баржа коснулась бортом глинистого отвесного берега. Корни высоких ив, обнаженных паводками. Серый глинистый грунт, камушки, и над всем этим... живая трава! Высокая пырейно-осотная, зеленая, сочная, хотя и без всяких цветочков. Трава была так близко от человеческих глаз, что родилась надежда, зашевелились самые ослабевшие, заговорили лежавшие без движения посреди давно ненужного скарба.

Три двухдюймовые доски, кинутые с баржи на берег... Подобие поручней, и даже бодрые мужицкие матюги, смягченные звуковым искажением... Узлы, крики охраны, плач уцелевших деток... Все это заставило Александра Леонтьевича собрать воедино последние силы.

Парень, гостивший в праздник Покрова в одной деревне с Шустовым, подсобил перетаскать с баржи на берег живых и мертвых. Александр Леонтьевич подложил под голову жены ее небольшой узелок, погладил по белым головенкам оставшихся в живых сынка и дочерь, которые лежали рядышком с мертвыми. На большее у него не хватило сил. Он забылся.

Люди ползли от берега как слепые, тыкались прямо в траву и лежали, вздрагивая от рыданий и кашля. Иные уже пытались подняться на ноги. Хотелось им поскорее встать, распрямиться и оглядеться вокруг! Но другие лежали без всяких движений. Комары отлетали от мертвецов...

Неясные и неопределенные видения теснились в потухшем сознании Александра Леонтьевича Шустова. Эти видения пересиливали явь окружающего. Сердце стучало то редко, то часто, в ушах стоял беспрерывный звон, и он почему-то сливался с током воды на великой Печоре. Что было общего между водными струями и звоном, Александр Леонтьевич не знал, но ему почему-то страстно хотелось узнать. И он напрягал какие-то, может, внешние заемные силы, чтобы вернуться в реальность.

— Дяденька, дай курнуть! — послышалось рядом.

— Один курнул да в реку нырнул. Семь лет и отрыжки нет,— ответил со смехом мужской голос. В том

голосе звучало нечто знакомое, что-то вологодское, от чего Шустов снова пришел в себя. Мутным взором обвел он сколько мог окружающее пространство и вспомнил себя. Стоял перед военным мальчишка в трепаном пиджачке, в зимней шапке с одной завязкой. Стоял и просил докурить. Не отвечая мальчугану, высокий военный смотрел на Шустова. Рядом топтался другой военный с винтовкой, но совсем низкорослый и без шинели. Шустов, лежа, долго глядел на них снизу вверх, потом с усилием сел на траве и сделал попытку встать:

— Андрей, Андрей... Если не ошибаюсь, Никитин?

Военный ничего не сказал, и Шустов сразу забыл про него. Отбросив папиросный окурок, военный быстро пошел по берегу. За ним, закинув винтовку за спину, стараясь не отставать, заторопился маленький веснущатый красноармейчик. Шустов уже не мог слышать, что торопился сказать стрелок Девяткин:

— Я, понимаешь, на стрельбище выбивал сразу помногу очков! А тут, ну, прямо как на зло! Вижу, чево-то краснеет, а на мушку не попадаёт. Я, понимаешь, прицелился, бух! А он все, понимаешь, поет, я только хотел перезарядку...

— Молчи, сука! — не поворотив головы, сплюнул высокий военный. И пошел быстрее. Трава была ему по колено. Метелки пырея путались в сапогах. Стрелок Девяткин забежал вперед, не веря своим ушам. Но Андрей Никитин молчал. Он даже не взглянул на Девяткина. Он быстро прошел вдоль всего пространства, где шевелилось, ползало, стонало и плакало. Никитин думал о приказе Ерохина: «Митинг... Какой тут митинг... Какой тут митинг, ежели и на ногах не стоят? Ерохину только бы повыступать...»

С того самого дня, когда следователь познакомил в тюрьме с Шиловским, в гимнастерочном кармане Андрея Никитина лежала завернутая в плотную бумагу красноармейская книжка. Но Шиловский напрасно трудился, чтобы подготовить себе замену. Когда вышла статья Сталина и начался откат, Шиловский уехал в Москву. Как были расстреляны мародеры-большевики Котлозеров и Мельников из Приморского района? Кто нажимал на спусковые крючки? Уроженец деревни Горки Ольховского сельсовета Андрей Никитин не знал да и знать этого не хотел. Ерохин едва не вышиб ему передние зубы, когда вы-

полнять особое задание Никитин начисто отказался. Задание сопровождать баржи с вологодскими раскулаченными было, может, и не намного, но все-таки лучше. Теперь вот Ерохин оставляет его, Андрюху Никитина, комендантом спецлагеря... Требует собрать всех на митинг... Полдела ему выступать, командовать завтрашними покойниками!

И Никитин развернулся на сто восемьдесят градусов. Не замечая Девяткина, он зашагал обратно к буксирному пароходу. Пароход разворачивался и выводил на стремя первую отцепленную баржу. Всему каравану не хватало места для разворота. Ерохин был упрям и уже говорил речь... Десятка полтора еле живых голодных людей сидело в траве, а Ерохин говорил речь, выкидывая вперед правую руку. Рядом лежала большая куча лопат, пол-дюжины неточеных топоров и с десяток пустых ведер.

— ...отныне все зависит от вас самих, товарищи спецпереселенцы! — тыкал пальцем оратор.— Да, пролетарское государство дает вам первый шанс, от вас самих зависят теперь ваши будущие годы и дни! Вашим комендантом назначен товарищ Никитин. Без его разрешения не разрешается никуда отлучаться и не вздумай кто убежать! Бежать, граждане, вам некуда и незачем, у нас на всех дорогах боевые посты и заслоны! Приступайте к рытью землянок, организуйте социалистическое соревнование по освоению. Все инструкции комендант получит отдельно. Медпомощь будет оказана в ближайщем населенном пункте, сухой паек через два дня будет выдан ржаной мукой...

Сиплый гудок буксира прервал Ерохина.

Человек с десяток целоможных мужиков и ребят обступили начальников, остальные лежали и сидели в траве, брели и ползли подальше от берега. Где был этот ближайший населенный пункт, как дотянуть до сухого пайка, как и что делать для своего спасения — никто ничего покамест не знал.

Никитин попросил охранников выкидать доски с двух барж, еще стоящих у берега. Красноармейцы помогли сколотить деревянный станок — кибитку без пола, без окна и дверей.

Вскоре караван опустевших барж вместе с Ерохиным уплыл вниз по течению. Торопились выбраться на Печору. Шел одна тысяча девятьсот тридцать первый год. Новые партии раскулаченных по всей

стране ждали своей очереди плыть и ехать, чтобы погибнуть или выжить в чужих, не родных местах...

Сам Шустов все же очнулся от лучей незакатного полярного солнышка, а жена, умирая, так и не пришла в себя. Он пересчитал своих живых и мертвых детей. Не хватало восьмилетней девочки Дуни. Куда она уползла? Что с ней, где? Александр Леонтьевич потрогал уже остывшую руку жены и приник к ее костенеющему плечу. От ситцевой кофты, от сарафанной проймы все еще пахло далекой родиной, отцовским домом, навсегда ушедшим семейным счастьем. Шустов заплакал впервые в своей жизни.

Никитин, теперь уже в одиночку подошедший к семейству Шустова, наклонился, тронул за локоть:

— Александр Леонтьевич! Не обессудь меня. Нельзя было... Вот возьми... Тут спички и полведра муки. Убери, спрячь, не то расхватают. Мне надо срочно искать жилые места... А то пропадем все поголовно...

Никитин ушел. Шустов схватил ведро и начал зобать муку. Откуда-то появилась даже слюна. Он глотнул раза два животворящую клейкую массу, выплюнул остаток теста в ладонь, открыл рот еще живому мальчику, начал толкать эту полусухую массу за щеку ребенка. Сынок шевельнул ртом, но ничего не смог проглотить. Да, мальчик пытался глотать отцовскую жвачку. Только ему было уже невозможно не только глотать, но и дышать... Дуня... Где Дуня?

Шустов поднялся сначала на четвереньки, затем и на ноги. Одною рукой он вцепился в ведро, другой рукой пробовал опереться на высокую и корявую печорскую ивушку. Огляделся. Люди ползли и брели от травянистого берега. Куда они двигались?

...Какая-то сила, может быть, внешняя, влекла восьмилетнее существо, заставляла передвигаться в одном направлении. Дуня не знала, куда и кто ее влечет, но ползла, двигалась. Трава перед глазами ее закончилась, высокие ивы тоже. Она ползла теперь между каких-то кочей. Ее обессиленные ручки не чувствовали болотную влагу. И захотелось Дуне лечь и уснуть в этой мшистой перине, но перед глазами ее вдруг загорелась желтая капелька вроде брошки. Дуня губами дотянулась до этой янтарной брошки.

«Брошка-морошка, брошка-морошка» — все запело внутри восьмилетней Дуни. Животворная мякоть еще не растаяла у нее во рту, а вторая ягодка, намного крупнее первой, сама так и просилась в рот, потом третья, а после третьей девочка перестала считать. Она ползла и ползла, как птичка, ловила ртом янтарные крупные ягоды, и силы возвращались к Дуне, такие силы, что она уже пробовала встать на коленки...

Солнце пошло по новому кругу, костры задымились на берегу. Она собрала горсточку ягод. Преодолевая неудержимое желание съесть эти желтые мягкие комочки, она пошла на лагерный дым. Отец стоял на коленях около мертвых. Он поставил ведро с мукой так, чтобы чувствовать его близость. Он прижал Дуню к себе, а она, рыдая, совала ему ягоды. Он брал эти янтарные шарики и совал в рот еще живому сыну. Те, что лежали рядком на траве, ничего уже не просили...

Дуня осталась стеречь ведро с мукой. От никитинского станка Шустов принес еще одно, но пустое ведро. И лопату. Люди тут и там рыли могилы. Однако Александр Леонтьевич Шустов не стал сейчас хоронить родных. Он каким-то чудом извлек из реки воду, насобирал сушняку и развел костер. Собрал куски глины у свежих могил. Слегка смочил глину и начал ее разминать, горстями добавляя воды. Довести глину до вязкого состояния Шустов не смог и призвал на помощь вологодского земляка. Тот достал из реки полведра воды и долго, очень долго собирал сушняк для костра. Шустов залил воду в ведро с мукой. Вытер травой черень лопаты и начал размешивать этим чернем тесто в мучном ведре.

Откуда взялись возможности двигаться? Он не думал об этой загадке. Костер горел в полную силу. Когда образовалась целая копна горячих углей, земляки слепили из глины нечто вроде пивной корчаги с толстыми стенками. Шустов сложил ржаное свое тесто в эту посудину, запечатал его глиной же, лопатой разгреб кострище и обложил корчагу жаром кроваво мерцающих углей.

Хозяйка его лежала все это время рядом, безмолвная и родная. Она словно прислушивалась к нему, все ли он ладно делал. Так ли...

* * *

Большое село новгородских потомков гляделось в широком осеннем печорском зеркале. Двухэтажные с чердаками и вышками дома стояли плотно, плечо к плечу, на высоком и ровном, на могучем этом холме. Сверху открывалась вся безоглядная печорская даль.

Десять недель назад Ерохин зря тратил слова, предупреждая побеги переселенцев.

Бежать было некуда.

Одна Печора, огибающая холмы и разрезающая горные кряжи, знала, куда ей бежать и куда стремиться.

Земля здешняя до того велика, так бескрайня и так безлюдна она, что даже река уставала бежать по равнинам. Хляби небесные обильно питали влагой безбрежную тундру со всеми ее озерами и протоками. Небо осыпалось на землю дождем и снегом, ковало ее в ледяные и настовые кандалы, кутало саваном бесконечных снегов.

И все же, и все же...

Сколько беглецов не выдержало встречи с чужбиной, погибло в снегах либо позднее в лагерных зонах!

Александр Леонтьевич Шустов стоял с дочерью над старинной Усть-Цылмой, с высоты глядел на Печору.

Ветер летел с Ледовитого океана, но Печора не подчинялась даже холодным океанским ветрам. Она была величественна и спокойна. Серая зеркальная гладь напоминала морские просторы, и детским строением выглядели сверху дома, амбары и прибрежные бани. Лодки же на воде и вешала с неводами на берегу казались вовсе игрушечными. На две трети усть-цылмского горизонта разверзались и как бы подымались, стремясь к небесам, неописуемо прекрасные дали. Там, далеко-далеко, земля растворялась в сиреневой дымке. Чуть ближе слоями шли синие лесные полосы, еще ближе различались уже и болота, и темные еловые гривы, расцвеченные разноликой осенней листвой. Четко видны были косые дожди, то тут, то там возникающие из-под хмурых облачных шапок. В небе хватало места и темно-синим тучам, и лазоревым пронзительно голубым разводьям, и редким, но ослепительно золотым небесным полянкам. Малые,

еле заметные радуги бабьего лета еще вставали и затухали вдали. А тут, над рекою исполинской многоцветной дугой отлого встала осеняя радуга. И дождь перемещался вдали, и солнце золотыми снопами падало на далекие леса и болота, а тут — на гладкой высоте, как в песне поется,— секанула вдруг тяжелая снежная дробь. Крупные капли дождя, расставаясь с родимой, еще не холодной тучкой, не успевали долетать до земли. Встречаясь с холодным ветром, они мгновенно превращались в белые сухие горошины и больно секли по рукам, закатывались в карманы и складки одежды.

Александр Леонтьевич Шустов рассмеялся, вытряхивая из кармана плаща эту не тающую крупу:

— Вот, Дунюшка, манна-то наша небесная! Подставляй-ко передник...

Он держал дочку за руку, согревал ее крохотную ладошку, прикидывал, где бы купить ей варежки.

— Тятя, а Бог-то есть? — тихо спросила Дуня.

Александр Леонтьевич сверху вниз удивленно взглянул на дочку. Из-под синего пионерского беретика кокетливо выглядывала первая в ее жизни девичья прядка.

— Бог-то? А как же, Дунюшка, нет, конечно, он есть. Кто же и что тогда есть, ежели нету Бога? Но учти, что в школе тебе ничего не скажут. Поэтому учительницу об этом лучше не спрашивать. Пойдем, а то и простудишься. Тебе в первом классе болеть запрещается. Мы с тобой и так год пропустили...

Он застегнул пуговицу ее нового шерстяного пальтишка, стряхнул с воротника белые шарики:

— Да, год мы пропустили...— повторил Шустов.— Стало быть, придется наверстывать.

Они спускались к домам по глинистой тропке, и Александр Леонтьевич вспомнил свою глиняную квашню, пришла и другая печальная мысль... Он отпустил руку дочери, остановился и еще раз оглядел весь необъятный лесной и болотный простор, дальняя синева которого сливалась с небом и растворялась в нем, как Печора-река растворялась в Северном океане.

Оттуда, через древнее новгородское село Усть-Цылма, несло холодным снежным дождем. Сколько суток пройдет, пока это северное дыхание докатится до родимой и, может быть, навсегда потерянной Оль-

ховицы? Шустов не стал думать об этом. Он вел в школу дочку Дуню, единственную живую кровинку, единственную, но такую прочную ниточку, державшую Шустова на плаву.

Печора, бесшумная и великая, все так же стремила свои могучие водные токи. Шел одна тысяча девятьсот тридцать первый год. Время великого перелома клубилось со свежим упорством. Дьявольский вихорь всего лишь опробовал свои беспощадные силы.

СОДЕРЖАНИЕ

БЕЛОВ В. И.

Б 43 Год великого перелома: Хроника начала 30-х годов.— М.: Голос, 1994.— 480 с.

ISBN 5-7117-0191-6
ISBN 5-7117-0125-8

В новом романе В. Белова «Год великого перелома» с предельной правдивостью, со всей остротой, ярко показана трагедия России начала 30-х годов XX века: коллективизация сельского хозяйства, начало сталинских репрессий. Как и все лучшие произведения писателя, этот роман написан с предельным пониманием быта и характеров жителей северной русской деревни.

Б $\frac{4702010201 - 63}{М800(03) - 94}$ Без обьявл. **ББК 84Р7-4**

БЕЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА

Хроника начала 30-х годов

Редактор *С. Фрольцова*
Художественный редактор *Ю. Булдаков*
Технический редактор *Н. Александрова*
Корректор *С. Ткаченко*

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 040020 от 06.07.91

Сдано в набор 16.08.94. Подписано в печать 2.12.94.
Формат 84 × 108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 2. Печать высокая.
Гарнитура «Литературная». Усл. печ. л. 25,2. Тираж 10000 экз.
Заказ № 2099.

Издательство «Голос». 113184, Москва, ул. Пятницкая, д. 52.

Издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера».
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32.

ПИКУЛЬ Антонина

ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ. ИЗ ПЕРВЫХ УСТ. Мемуары

Валентин Пикуль... Вокруг этого имени множество легенд, слухов, былей и небылиц. Одни считали, что у писателя в руках оказался фантастически богатый научный архив, доставшийся в наследство от отца, ученого-историка. Другие полагали, что под фамилией Пикуль скрывается несколько авторов. Ведь это же невероятно — написать сорок томов объемистых книг, которые пользуются любовью всего народа.

А за этим невероятным стояли просто талант, знание и огромное трудолюбие.

Диапазон творческих пристрастий крупнейшего русского писателя удивительно широк. Его привлекают события и интересные личности трех последних столетий из истории Отечества. Его знаменитая историческая картотека давно стала объектом внимания известных наших историков. Его галереей портретов интересовались художники и искусствоведы.

Как создавались крупнейшие романы последнего десятилетия жизни Валентина Саввича Пикуля, сколько душевных сил он вкладывал в свои творения, каким был Пикуль — человек, писатель, друг,— доверительно рассказывается в книге его жены и единомышленника, которая на протяжении всей их совместной жизни наиболее интересные события и наблюдения заносила в дневник.

Серия «Русская проза XX века»

ЛЕОНОВ Леонид

ПИРАМИДА. Роман

Леонид Леонов — великий русский писатель, автор всемирно известных романов «Русский лес», «Вор», «Барсуки», «Соть» и др., над своим последним романом «Пирамида» работал около сорока пяти лет. По оценкам ведущих русских писателей, этот роман — самое выдающееся произведение Леонида Леонова, одно из величайших творений второй половины XX века.

Действие романа происходит в конце 30-х годов XX столетия.

Сюжет романа, как и всех произведений Леонида Леонова, сложен. В центре его — командированный на землю ангел, которого хотят использовать в своих целях различные темные силы, среди которых Сталин. Вместе с тем в романе ярко показана реальная зловещая обстановка в России в предвоенные годы, когда судьбы русских людей были в руках КГБ. Автор считает, что человечество идет в тупик и предсказывает скорый конец человеческому циклу на Земле.

Серия «Русская проза XX века»

ЗНАМЕНСКИЙ Анатолий

БЕЗ ПОКАЯНИЯ. Роман

Герой романа «Без покаяния» — подросток, укравший в годы репрессий краюху хлеба, дабы не умереть с голоду, и прошедший за это все круги тюремного ада.

Через страдания и надежды, через родство душ лагерных зэков писатель, испытавший сам муки заключения, прекрасным языком показывает воскрешение человека, а в целом возрождение народа.

Серия «Чтение у камина»

МЕНЬКОВ Алексей

ОСЕННЯЯ СОНАТА. Новеллы

Писатель Алексей Меньков известен читателю как один из лучших авторов лирической прозы. Его произведения переводились на английский и испанский языки. На предыдущие свои книги «Две рябины при дороге», «Когда часов не наблюдают», «В пору зрелости табака» и другие писатель получил огромное количество благодарственных писем читателей. Вот несколько строк из одного: «Дорогой Алексей Титович! С большим удовольствием прочитал Вашу чудесную книгу «Когда часов не наблюдают» и решил написать Вам письмо со словами читательской благодарности. Я — инвалид, прикованный к постели, поэтому для меня встреча с умной и яркой книгой — это дополнительный заряд бодрости...»

Новую книгу писателя составили тонкие, поэтические, завораживающие повествования о любви, о человеческих взаимоотношениях, о тайне души, никогда не разгаданной и всегда манящей.

Однако не чуждо писателю и чувство юмора, но не эстрадного, а истинного — народного.

«ГОЛОС» — КНИГА-ПОЧТОЙ»

Поздравляем наших читателей!

Издательство «Голос» по рейтингу еженедельника «Книжный бизнес» в настоящее время занимает третье место среди лидеров российского книгоиздания.

Дорогие читатели!

Мы получаем от вас большое количество заказов и все непременно удовлетворяем. Если от нас нет ответа, то либо ваше письмо затерялось на почте, либо наш ответ. В таком случае просим позвонить или написать.

Все ваши заказы занесены в компьютер, и каждому из вас присвоен номер, который при новом заказе нужно написать, чтобы вас легко можно было найти.

Наш адрес:

113184, Москва, Пятницкая, 52/1. Издательство «Голос», с пометкой «Книга-почтой», или звоните по телефону: *(095) 233-0225.*

В письме не забудьте указать: форму оплаты (наложенный платеж или предварительная оплата почтовым переводом), обратный адрес, фамилию, имя, отчество и по возможности телефон для оперативной связи с вами.

Пожалуйста, разборчиво пишите фамилию и обратный адрес.

При предварительной оплате заказа почтовым переводом в бланке необходимо указать:

ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД

Куда: 101514, *г. Москва, Автобанк, к/с 774161100 в РКЦ ГУ ЦБ РФ, МФО 201791, расчетный счет № 8467304*

Кому: *АОЗТ «ГОЛОС» — КНИГА-ПОЧТОЙ»*.

От кого: *Фамилия. Имя. Отчество.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОЧТОВОМ ПЕРЕВОДЕ

Куда:*101514, г. Москва, Автобанк, к/с 774161100 в РКЦ ГУ ЦБ РФ, МФО 201791, расчетный счет № 8467304*

Кому: *«Голос» — книга-почтой»*

ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО СООБЩЕНИЯ

Укажите название и количество вами оплачиваемых книг.

Жителям стран СНГ книги высылаются только при условии предварительной оплаты заказа почтовым переводом.

ВНИМАНИЕ! **Оплачивать заказ почтовым переводом следует только после его подтверждения по телефону: 233-0225 !**

Заказывая книги у нас, вы гарантированно получаете их по минимальной цене и в первую очередь. Мы ждем ваших заказов.

Телефоны для книготорговых организаций: *231-93-25; 231-40-80.*



